

ВІТ
КГО

ИСТОРИЯ
И
ИСТОРИКИ

2004

2004 ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ИСТОРИЯ

И

ИСТОРИКИ

2004

Историографический вестник

Ответственный редактор
член-корреспондент РАН
А. Н. САХАРОВ



МОСКВА НАУКА 2005

УДК 930
ББК 63.2
И90

Издание основано в 1965 году,
возобновлено в 2001 году

Редакционная коллегия:

Г.Д. АЛЕКСЕЕВА, М.Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ, Р.А. КИРЕЕВА,
Л.П. КОЛОДНИКОВА, В.Л. МАЛЬКОВ,
Л.А. СИДОРОВА (ответственный секретарь)

Рецензенты:

доктор исторических наук В.Г. КОШКИДЬКО,
доктор исторических наук В.М. ЛАВРОВ

История и историки : историограф. вестн. / Ин-т рос. истории. – М. :
Наука, 1965– .

2004 / отв. ред. А.Н. Сахаров. – 2005. – 363 с. – ISBN 5-02-010283-0
(в пер.).

Выпуск посвящен актуальным проблемам отечественной исторической науки. В него включены материалы "Историографической среды", проведенной Комиссией по истории исторической науки ИРИ РАН (10 декабря 2003 г.) и посвященной 100-летию со дня рождения видного советского историка М.А. Алпатова. Вестник содержит подборку материалов по вопросам воссоединения Украины с Россией, публикации, раскрывающие творческие портреты российских историков, статьи по историографии отдельных проблем исторической науки России.

Для историков, преподавателей, студентов.

ТП-2005-I-№ 320

ISBN 5-02-010283-0

© Коллектив авторов, 2005
© Российская академия наук и издательство
"Наука", продолжающееся издание "История и историки" (разработка, редакционно-издательское оформление), 1965 (год основания), 2001 (год возобновления), 2005

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

*

В.В. Фомин

ЛОМОНОСОВ И МИЛЛЕР: ДВА ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ВАРЯЖСКОГО ВОПРОСА

Выдающийся вклад М.В. Ломоносова в развитие многих отраслей науки бесспорен, и о нем, как о гениальном ученом, надолго опередившем свое время, на конкретных примерах говорят химики, физики, математики, литераторы, лингвисты и многие другие их собратья по научному "цеху". Но когда речь заходит о Ломоносове как историке, то в устах большинства историков звучит иная тональность, тональность негативная, и при этом в качестве главных обвинительных пунктов ему предъявляют как его антинорманизм, так и его роль в обсуждении диссертации Г.Ф. Миллера в 1749–1750 гг. Состоятельность такой оценки Ломоносова-историка сомнительна уже потому, что она, во-первых, априорна, и, во-вторых, исходит от норманистов, к тому же придавших ей, уклоняясь от разговора по существу, ярко выраженный политический характер. Взгляд своего противника на этнос варягов они квалифицируют как якобы ложно понятый им патриотизм, что позволяет им выводить его за рамки науки.

При жизни Ломоносову не составляло труда открыто отстаивать свою концепцию начальной истории Руси в спорах с немецкими учеными, работавшими в Петербургской Академии наук. Но его кончина позволила им без всяких помех взять реванш не столько для себя, сколько для норманизма, бросив на Ломоносова тень как на специалиста в области истории. В 1773 г. Миллер утверждал, что в ней он не показал "себя искусным и верным повествователем"¹. На рубеже XVIII–XIX вв. А.Л. Шлецер охарактеризовал Ломоносова "совершенным невеждой во всем, что называется историческою наукою" (даже в отношении других его научных занятий Шлецер сказал, что он и "в них остался посредственностью"). Не довольствуясь таким приговором, он навесил на Ломоносова еще и ярлык национал-патриота, объяснив причину его выступления против Миллера тем, что "в то время было озлобление против Швеции"². Позже дерптский профессор Ф. Крузе с прозрачным намеком говорил, что "теперь уже миновало то время, когда история, вследствие ложно понимаемого патриотизма, подвергалась искажениям"³. Мнение немцев-ис-

ториков, выдавших норманской теории своего рода охранительную грамоту, что ставило ее вне критики именно русских ученых, получило дальнейшее развитие в трудах авторитетнейших представителей исторической и общественной мысли России.

Н.М. Карамзин живописал, как Миллер, доказав ошибку Ломоносова, подвергся "гонениям", в результате чего "занемог от беспокойства", параллельно тому несколько раз подчеркнув, что его оппонент хотел опровергнуть "неоспоримую истину" о скандинавском происхождении варяжских князей. Норманская теория, утверждал Н.И. Надеждин, не только "оскорбила в некоторых народную гордость, но и возбудила политические опасения" в силу еще свежих неприязненных отношений к Швеции. "Грустно подумать", заключал он, что по вине Ломоносова Миллер не произнес своей речи⁴. "Властитель дум" тогдашней России В.Г. Белинский бичевал "надуториторический патриотизм" Ломоносова, в основе которого лежали убеждение "будто бы скандинавское происхождение варяго-русов позорно для чести России" и "небезосновательна вражда" к немцам-академикам, с которыми он "так опрометчиво, так запальчиво и так неосновательно вступил в полемику". Миллер, считал С.М. Соловьев, преследовался лишь за то, что "был одноземец Шумахера и Тауберта". Против него, с осуждением говорил П.С. Билярский, боролись те, кто считал "себя способными судить и решать исторические задачи без специального исторического образования и которые притом вооружены были против его результатов всею силой национального чувства"⁵. К.Н. Бестужев-Рюмин уверял, что прения Ломоносова с Миллером "о происхождении руссов имели основой раздражение патриотическое, а не глубокое знание источников". Ломоносов, добавлял он, и против Шлецера "восстал со стороны национальной"⁶.

По словам П.П. Пекарского, М.В. Ломоносов опротестовал речь своего "личного врага" "не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности", тогда как она "замечательна... как одна из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и историческую критику". Согласно В.О. Ключевскому, "нападки Ломоносова на Миллера... вытекали из его патриотических взглядов", причем доводы его, подчеркивал ученый, "не столько убедительны (здесь и далее курсив автора. – В.Ф.), сколько жестоки". К тому же "речь Миллера явилась не вовремя; то был самый разгар национального возбуждения, которое появилось после царствования Анны" и войны со Швецией 1741–1743 гг. И если диссертация имеет "важное значение", то антинорманизм Ломоносова историк назвал "патриотическим упрямством". В 1897 г. П.Н. Миллюков охарактеризовал Ломоносова представителем "патриотическо-панегирического" направления, "мутной струи" в историографии XVIII в., где главными были не "знание истины", а "патриотические

преувеличения и модернизации", ведущие свое начало от Синописа. М.В. Войцехович в юбилейный год русского гения расписывал, как жертвой его "патриотического усердия" стал Миллер, диссертация которого, лишь скромно опровергая положения Синописа, "подверглась настоящему разгрому со стороны неистового академика", не имевшего твердых исторических знаний и нападавшего на своего оппонента "не по соображениям научным, а национально-патриотическим"⁷. В 1865 г. Н.А. Лавровский, хотя и возразил, что Ломоносов "вовсе не был предубежден против иностранных ученых и вовсе не был заражен национальной исключительностью", вместе с тем говорил, что его взгляд на характер и значение трудов по русской истории был основан "на преувеличенном и ложно понятом патриотическом чувстве", согласно которому история должна служить прославлению отечества. Объяснение чему исследователь видел в отсутствии у Ломоносова "сколько-нибудь солидного и основательно-го исторического образования", не позволившего ему также оценить "научное достоинство трудов Шлецера"⁸.

В среде дореволюционных ученых, принявших легенду о Ломоносове как борце "с иноземцами только потому, что они иноземцы"⁹, такой же аксиомой стало мнение Шлецера о нем как историке. В 1829 г. Н.А. Полевой был предельно краток, говоря о Ломоносове: "История не была его уделом". А.В. Старчевский уверял, что труды Ломоносова по истории, вызванные соперничеством с Миллером, "не могут выдержать исторической критики". Белинский, видя в нем предтечу славянофилов и потому с особой силой обрушившись на "исторические подвиги Ломоносова", охарактеризовал его как "человека ученого и гениального, но решительно не знавшего" русской истории и искавшего в ней "не истины, а "славы россов", противопоставил ему немцев-академиков, стоявших "в отношении к истории как науке неизмеримо выше его" и желавших "очистить историю от басни". Соловьев закрепил такой взгляд на Ломоносова в историографии, считая, что исторические занятия были чужды ему "вообще, а уж тем более занятия русскою историею". Ему недоставало, перечислял Соловьев, "ни времени, ни средств изучить вполне русскую историю", ни ясного понимания предмета, в связи с чем он смотрел "на историю с чисто литературной точки зрения, и, таким образом, являлся у нас отцом того литературного направления, которое после так долго господствовало"¹⁰.

В.О. Ключевский проиллюстрировал заключение своего учителя картиной, как "пожилой ученый... с трудом одолевал громадный и непривычный материал". Его же "Древняя Российская история", подводил он черту, не оказала "большого влияния ни на историческое сознание общества, ни на ход историографии", так как Ломоносов стремился сделать русскую историю "академическим похвальным словом в честь России", тогда как ученые-немцы занимались

критическими исследованиями, "не заботясь о большой публике". Ученик Ключевского Милуков, наделяя последних владением всеми приемами классической критики, в отношении Ломоносова с его "чисто литературными приемами" был непреклонен в своем вердикте: для него критические приемы европейской науки остались "недосягаемыми образцами". По мнению Войцеховича, Ломоносов в истории "не только не поднялся выше тогдашнего уровня... но как будто даже попятился назад, стал отрешиваться от новых приобретений русской исторической науки и объявил им жестокую войну", ибо слепо следовал за Синописом, настойчиво расписывающим "события, льстившие национальному и патриотическому чувству". В результате чего было создано даже "нечто отрицательное, с чем науке русской истории считаться не приходилось, и что последующими исследователями рассматривалось как печальное недоразумение, не достойное ни гения Ломоносова, ни его научной репутации"¹¹.

Насколько подобные высказывания не вязались с фактами, показывают сами же критики Ломоносова. Так, Соловьев признавал, что в той части "Древней Российской истории", где он разбирает источники, "иногда блестит во всей силе великий талант Ломоносова, и он выводит заключения, которые наука после долгих трудов повторяет почти слово в слово в наше время". Причину чего ученый увидел в том, "что этот предмет был ему вполне доступен, после тщательного изучения он мог овладеть им в полном, по тогдашнему состоянию науки, объеме". Ключевский говорил, что "его критический очерк в некоторых частях и до сих пор не утратил своего значения", что "в отдельных местах, где требовалась догадка, ум, Ломоносов иногда высказывал блестящие идеи, которые имеют значение и теперь". Одобрительно он отзывался о "Кратком Российском летописце", ставшем во времена Екатерины "довольно распространенным школьным руководством по русской истории". Войцехович также счел нужным отметить, что Ломоносов обнаруживает немало проницательности, что некоторые частные вопросы получили у него "блестящее разрешение, несмотря на скудость тогдашних научных средств", а некоторые догадки ученого впоследствии получили "научное подтверждение"¹². Такие признания Соловьева, Ключевского и Войцеховича несколько не вязались с их же выводами, составлявшими Ломоносова за рамки исторической науки, да и несколько ими не объяснялись.

Более того, в целом вменяя в вину Ломоносову его споры с немцами-историками, ученые, весьма благожелательно относящиеся к последним, в чем-то даже солидаризировались с ним. Он, констатировал Пекарский, "подметил на этот раз довольно справедливо какое-то особенное довольство, с которым Миллер указывает все неудачи и неуспехи славян ...В речи его есть не мало неприличного для самолюбия русских". Ключевский, осуждающе подчеркнув, что Ло-

моносов "до крайности резко разобрал" русскую грамматику Шлецера, в то же время признавал: "Действительно, странно было слышать от ученика Михаэлиса такие словопроизводства, как боярин от баран, дева от Діев, князя от Knecht". Ценны вместе с тем и критические замечания ученых-норманистов в адрес человеческих и научных качеств Шлецера. Пекарский отмечал, что он был самого неуживчивого характера и чрезвычайно высокого мнения о своих знаниях, поэтому с презрением относился к грамматическим и историческим трудам Ломоносова. Бестужев-Рюмин говорил, что Шлецер своим "Нестором" "внес большую смуту в умы", ибо смотрел на славян как на "американских дикарей", которым скандинавы "принесли веру, законы, гражданственность". По заключению Ключевского, Шлецер не уяснил самого свойства Повести временных лет (ПВЛ) и прилагал к ней приемы, к ней "неидущие". И его "Нестор" историк рассматривал не как "результат научного исследования, а просто повторение взгляда Нестора", прокомментированного пояснениями Байера и частью Миллера. Милуков соглашался, что Шлецер лишь "снабдил извлечения из Байера некоторыми частичными возражениями и поправками"¹³.

Из лагеря антинорманистов к противникам Ломоносова предъявлялись более принципиальные претензии. Ю.И. Венелин подметил, что рассуждения Байера о "варягах есть попытка пояснить собственно не русскую, а шведскую древность". Байер, Миллер, Шлецер, указывал С.А. Гедеонов, "трудились над древнейшей историей Руси, как над историей вымершего народа, обращая внимание только на письменную сторону вопроса", не показывая при этом, "отозвалось ли это норманство в истории и жизненном организме онемеченного ими народа". По мнению Н.В. Савельева-Ростиславича, Байер и Шлецер были проникнуты "своим народным патриотизмом", который увлекал их "за пределы исторической истины". М.А. Максимович именно "северным ветром критики шлецеровской" объяснял тот факт, что Ломоносов "имел ограниченное участие в дальнейшем ходе русской истории вообще". М.О. Коялович, говоря о "зле немецких национальных воззрений на наше прошедшее", доброжелательно отозвался лишь о Миллере. Байера он характеризовал человеком "великой западноевропейской учености", но совершенным невеждой в "русской исторической письменности", а результат его научной деятельности отнес в разряд крайне вредных, "потому что авторитетно отрезал путь к изучению того же предмета с русской точки зрения". По оценке историка, Шлецер в России не созрел еще "в научности", но обнаруживал "невыносимое самохвальство и глумление над другими", презрение к русским и корыстолюбие к России. Назвав его план разработки летописей удачным и указав, что в его основе лежал труд В.Н. Татищева, Коялович высказал невысокое мнение о самом итоге этого проекта – о "Не-

сторю". "Пали", перечисляя он, желание Шлецера восстановить подлинный текст ПВЛ, его утверждения о диком состоянии восточных славян до призвания варягов, о невозможности найти что-либо верное в иностранных источниках, "пали" большей частью даже его объяснения текста летописи, его предубеждения против позднейших летописных списков, и удержал значение лишь "его научный прием, т.е. строгость, выдержанность изучения дела". Вместе с тем Коялович судил о Ломоносове как об историке и мотивах его выступления против Миллера абсолютно в русле мыслей норманистов¹⁴.

В историографии середины XIX в. слышался протест против низкой оценки Ломоносова как историка. Негативное отношение к нему со стороны немецких ученых, работавших в Академии наук в разное время, В.И. Ламанский объяснял недостатком общего характера немецкой образованности и национальной предубежденностью немецкого общества¹⁵. С особенной силой этот протест прозвучал тогда из уст П.А. Лавровского. Заметив, что Ломоносов для России "был и есть беспримерным явлением, недостижимым великаном", ученый заключал, что он в обработке русской истории, как и на "не открытой прежде почве" русского языка, натолкнулся "также на неподготовленную еще почву и вынужден был сам и удобрять, и вспахивать, и засеять и боронить ее", совершив тем самым "многогранный подвиг". До Ломоносова, говорит исследователь, не было труда, обнимавшего бы в общих чертах историю России, и что он в стремлении написать такое сочинение, на которое не были способны иностранцы, "вооружился всеми источниками, какие только могли найдаться у него под руками", причем тогда еще не было переводов большинства приводимых им греческих и латинских авторов. Лавровский справедливо отмечал, что, во-первых, современная наука много повторяет, в том числе и в варяжском вопросе, из Ломоносова, "хотя и забывает при этом о Ломоносове", во-вторых, "русские привыкли судить о своих великих людях по отзывам Запада", и, в-третьих, "некоторые из русских немцев выбивались из сил, чтобы унижить и сдвинуть гениального туземца". Прозорливость ума, обширность и глубина знаний Ломоносова позволили ему, подчеркивает ученый, указать, например, на родство венгров с чюдью (до этого только в XIX в. дошла филология), а сами венгры, "кажется, убедились в этом только с 1864 г., после почтенного сочинения Гунфальви". "Краткий Российский летописец", по мнению Лавровского, представляет собою такое руководство по русской истории, "какому подобного не предлагала тогдашняя литература"¹⁶.

Такой же мощи голос в защиту Ломоносова, как у П.А. Лавровского, раздастся потом почти через полвека. В 1912 г. И.А. Тихомиров, прекрасно понимая, почему Ломоносова пытаются вывести за рамки исторической науки, специально показал, какие мнения, высказанные им против норманизма, остаются в силе. И он очень высо-

ко оценил его доказательства славянской природы названий Холмогор и Изборска, происхождения руси от роксолан, его указания на совершенно разрушавшие норманистские построения факты: что в Скандинавии неизвестно имя "Руси", что в скандинавских источниках нет информации о призвании Рюрика, что варяжские князья клялись славянскими, а не норманскими божествами, что термин "варяги" был приложим ко многим европейским народам. Научную значимость антинорманизма Ломоносова Тихомиров видел прежде всего в том, что он выступил против объяснения норманистами летописных имен, которые "коверкались в угоду теории на иностранный лад, как бы на смех и к досаде русских". Ломоносов "первый поколебал одну из основ норманизма – ономастику... он указал своим последователям путь для борьбы с норманизмом в этом направлении", окончательно уничтожившим привычку "норманистов объяснять чуть не каждое древнерусское слово... из скандинавского языка". Говоря о мыслях Ломоносова об участии славян в Великом переселении народов, в разрушении Западно-Римской империи, ученый отмечает, что они "в настоящее время сделавшиеся ходячими истинами, будучи выражены полтора столетия тому назад да еще не специалистом-историком, указывают только на гениальность Ломоносова". И.А. Тихомиров полностью согласился с высокой оценкой П.А. Лавровского "Краткого Российского летописца", а в "Древней Российской истории" видел первый научный труд, основанный на первоисточниках, одно "из выдающихся исторических произведений XVIII века", изложенное слогом, понятным "обыкновенному читателю"¹⁷.

Над Ломоносовым, ко всему же, долгое время тяготело еще больше затмевавшее суть дела обвинение, злостно меренно пущенное в ход Шлецером и подхваченное в науке, что именно он "донес двору" об оскорбляющей "чести государства" диссертации Миллера¹⁸. Хотя Шлецер прекрасно знал, что даже сам Миллер инициатором обсуждения речи видел П.Н. Крекшина, не забывшего ему своего фиаско как историка. Именно П.Н. Крекшин, говорил С.М. Соловьев, начал распускать слухи, что в речи Миллера "находится многое, служащее к уменьшению чести русского народа", после чего И.Д. Шумахер направил ее на освидетельствование академиком. П.С. Билярский же пришел к выводу, что "завязка" следствия была "изобретена одним Шумахером, без всякого постороннего влияния". П.П. Пекарский, опровергнув мнение, что все началось "по наущению Ломоносова", заключил: у истоков дела Миллера стоял Г.Н. Теплов, поддержанный затем Шумахером. М.И. Сухомлинов, верно заметив, что "судьба речи Миллера послужила поводом к несправедливым нареканиям на Ломоносова", еще раз продемонстрировал, специально обращаясь к почитателям таланта русского ученого, "красневшим", по их словам, за своего кумира только в случае с Миллером, что почин и руководящая нить в этом вопросе "принад-

лежит отнюдь не Ломоносову", а Шумахеру¹⁹. Миллер, остается добавить, в октябре 1750 г., т.е. уже после отклонения своей диссертации, в чем большую роль сыграл Ломоносов, в письме президенту Академии сообщал, что Шумахер давал читать речь Крекшину и об его суждениях "писал в Москву"²⁰.

Звучание голосов дореволюционной поры в защиту Ломоносова как историка не сказалось на науке. Во-первых, оно было все же слишком слабым, во-вторых, негативную оценку ему давали норманисты, а при тотальном господстве их доктрины этой оценке было обеспечено общее признание. Поэтому мнение о несостоятельности Ломоносова как историка было перенесено в советскую историческую науку предвоенного времени. "Страстность" выступления русских ученых против диссертации Миллера продолжали объяснять, как и раньше, тем, что тот "нанес величайшее оскорбление русскому народу, настаивая на его варяжском происхождении"²¹, что в отношении Ломоносова к трактовке варяжского вопроса "немецкими учеными выразился протест русского национального чувства, вызванный временем Бирона"²². В те же годы все также старательно лепился образ Ломоносова, сотрудничавшего и дружившего со многими иностранными учеными, как нетерпимого националиста и ксенофоба. Так, Н.А. Рожков утверждал в 1923 г., что "патриот в духе того времени, националист Ломоносов... отверг норманскую теорию и сделал варягов славянами", по той же причине отрицательно относясь к немцам, работавшим над русской историей²³. Через десять лет Г.П. Шторм массово растиражировал в серии "ЖЗЛ" мнение, как был "глубоко неправ" Ломоносов, "обрушившись" на Миллера – "беспристрастного историка" и "отца" русской научной историографии, стоявшего "несравненно выше Ломоносова как историка" – "с окрашенной в сугубо-националистический тон критикой"²⁴.

В подобном ключе разговор о Ломоносове был перенесен в работы по историографии, в чем приоритет принадлежит Н.Л. Рубинштейну, только и говорившему о поруганном национальном чувстве русского Ломоносова, лишь "во имя национальной гордости" восставшего против монополизации иностранцами исторической науки, норманской теории и вывода Шлецером русских слов из немецкого языка. С порицанием Рубинштейн заключает, что Ломоносов, не будучи "историком-специалистом" и борясь с иноземным засильем в Академии, "без достаточного основания распространил это свое отношение и на подлинных представителей русской науки из иностранцев, как Миллер". По его словам, "национальная идея и ее литературное оформление в основном определили работу Ломоносова над русской историей", что он был весьма далек даже от критического духа "Истории Российской" Татищева, что его аргументация "малоубедительна". Работы же Миллера ученый характеризует как "совершенно новый этап в развитии русской исторической науки",

предельно высоко оценивает "строгость научной критики, точность научного доказательства" Байера и требование Шлецера "точности научного исторического метода", "точности доказательства каждого своего положения"²⁵.

Вместе с тем ряд довоенных исследователей усомнились в историографических легендах о Ломоносове. Так, Б.Н. Меншуткин подчеркивал, что он "ополчался против тех, кто являлся гонителями наук" ... а не против иностранцев вообще или немцев, многие из которых были его друзьями". А из материалов дискуссии ученый вывел, что Ломоносов "тогда уже много прочитал книг по этому предмету". Н. Пономарева также отметила, что в научных вопросах у Ломоносова не было "личных врагов или друзей. Могли быть только враги или друзья русской науки". К этому она добавила, что знания ученого «вовсе не ограничивались "Синописом", и что "Древняя Российская история" далеко опережала свое время»²⁶. Особо следует выделить статью Б.Д. Грекова, где он высказался именно в пользу Ломоносова как историка, правда, не слишком твердо, ибо велико было давление груза традиции. Ученый утверждал, что в полемике с Миллером Ломоносов обнаружил знание предмета и источников, отметив при этом, что диссертация Миллера – "невысокого качества". Не развивая этот тезис, а лишь ограничившись приведением весьма нелестных мнений в ее адрес А.Л. Шлецера и А.А. Куника, Греков тут же сказал, что Ломоносов историком-профессионалом "в узком смысле слова, не был. Он не отдал всей своей жизни этой отрасли знания". Озвучил историк и давнюю идею, также выставляющую суть проблемы в надуманном свете, что Ломоносов вступил в спор с Миллером не столько как ученый, не удовлетворенный его доводами, "а главным образом как борец за свой народ, защитник его чести в прошлом (хотя и в ложном ее понимании)". Привычным рефреном звучали и слова, что Ломоносов иногда был несправедлив к Шлецеру, ни в малейшей степени не заслужившему "столь резкого к себе отношения"²⁷. В целом, как справедливо заключал в 1940 г. Л. Бычков, "исторические труды Ломоносова ждут своего исследователя"²⁸.

Агрессия фашистской Германии против СССР, Великая Отечественная война и победа в ней, издание Полного собрания сочинений М.В. Ломоносова, юбилейные даты МГУ и русского гения дали мощный импульс к изучению исторического наследия Ломоносова, в том числе и по варяжскому вопросу. На начало этого разговора наложили свой отпечаток борьба с преклонением "перед иностранщиной" конца 1940-х годов, тот факт, что норманская теория была взята на вооружение вождями третьего рейха и широко пропагандировалась фашистскими историками, убежденность советских исследователей в том, что ее антинаучность доказана марксистской наукой, а также вполне заслуженная критика весьма низкого мнения Н.Л. Рубинштейна о русских историках XVIII в. Так, Л.В. Черепнин

пояснял, что негативная оценка вклада немецких ученых в развитие русской исторической науки, с особенной силой прозвучавшая тогда из уст М.Н. Тихомирова²⁹, в определенной мере является реакцией на ошибочные утверждения Рубинштейна, "явно недооценившего уровень развития русской историографии в XVIII в. и связывавшего ее достижения с западноевропейским влиянием" и особенно с именем Байера³⁰. Позиция Черепнина, выступившего против отрицательного отношения к немцам-историкам, характерного для работ конца 1940 – начала 1960-х годов³¹, была принята наукой³².

Ученые того времени не сомневались, что исторические труды Ломоносова "по праву занимают место рядом с его гениальными творениями в области естественных наук". Ими указывалось, что интерес Ломоносов к истории пробудился во время учебы в Москве и Киеве, где он, работая в богатых библиотеках, почерпнул многое, неизвестное составителю Синописа. В дальнейшем, самостоятельно изучив большое число источников, Ломоносов стал прекрасным знатком русской и всеобщей истории, в силу чего он начал историю Отечества с более древнего времени, чем призвание варягов, что было "новым и важным построением в науке, и его выводы в этой части получили много лет спустя "блестящее подтверждение"³³. Характеризуя "Древнюю Российскую историю" как "выдающийся научный труд", исследователи подчеркивали, что она создавалась "не для специалистов-историков, а для широкого читателя", и это надо иметь в виду, оценивая ее как историческое произведение. Как заключал М.Н. Тихомиров, «можно критиковать "Историю" Ломоносова, но нельзя забывать того, что она долгое время была единственным учебником русской истории», и "что за весь XVIII в. академики из иностранцев не написали русской истории, хотя и были якобы исполнены всевозможными научными доблестями". И "ошибки Ломоносова, – добавлял историк, – были ошибками его времени, а то, что он сделал для исторической науки, является ценнейшим вкладом"³⁴.

По своим историческим знаниям Ломоносов, говорил Тихомиров, стоял "выше Миллера", к тому же, "он занимался вопросами языкознания и историей литературы", что давало ему большое преимущество перед оппонентом. И в полемике с ним Ломоносов предстает квалифицированным историком, прекрасно знавшим летописи, античные и средневековые источники, обладавшим профессиональным умением их анализировать. Г.Н. Моисеева, показав работу Ломоносова над большим числом русских памятников, отметила, что его "как историка отличает критическое отношение к источникам. Он стремится проверить каждый факт... внимательно сличал разные версии об одном и том же событии в разных летописях". Д. Гурвич подчеркивал то обстоятельство, что мысли о происхождении русского народа, высказанные Ломоносовым в ходе дискуссии, были затем включены в "Древнюю Российскую историю" и "Крат-

кий российский летописец", т.е. были им давно продуманы. В историографии также отмечалось, что он правомерно указал на ненаучность приемов Миллера, игнорировавшего показания русских источников и следовавшего только скандинавским сагам, а норманистские объяснения Байера и Миллера русских имен были охарактеризованы "антинаучной лингвистикой". Причем Тихомиров указывал, что "до сих пор норманисты не могут ответить на те вопросы, которые поставил перед ними Ломоносов", например, почему так мало скандинавских слов в русском языке, почему в Киевской Руси не было ни одного города, который "носил бы скандинавское название"³⁵

В оценке вклада Шлецера в копилку русской исторической науки Тихомиров в 1948 г. резонно заметил, что при этом надо различать его труды 60-х годов XVIII в. и "Нестора" начала XIX в. Вскоре Г.П. Блок на конкретном материале продемонстрировал абсолютное превосходство Ломоносова над только что берущимся за изучение русской истории Шлецером. Так, в мае 1764 г. Шлецер представил в Канцелярию Академии наук небольшой сборник исторических и филологических этюдов на латинском языке под названием "Опыт изучения русской древности в свете греческих источников". Протест Ломоносова вызвал тот из четырех этюдов, где Шлецер уверял, что после принятия Русью христианства русский язык настолько изменился "под влиянием духа греческой речи... что сведущий в обоих языках человек, читая книги наших древнейших писателей, может иной раз подумать, что читает не русский, а греческий текст, пересказанный русскими словами". Остановился Блок и на анализе плана работы Шлецера над русской историей, предложенного им в июне 1764 г. Академическому собранию. Так, в той же части, где речь идет об изучении летописей, он на полном серьезе утверждал, что к этому занятию иностранец "способнее", чем русский. Отвергая труды В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова по русской истории и предлагая в этом деле свои услуги, он четко изложил свое видение нашей истории. По его убеждению, русская нация "обязана благодарностью чужеземцам, которым с древних времен одолжена своим облагораживанием". Блок также показал правоту Ломоносова, оспорившего мнение Шлецера, что исторический стиль летописцев сложился на основе слога Библии. Заострил он внимание и на том обстоятельстве, что против назначения Шлецера профессором истории выступил не только Ломоносов, но и Миллер. Причем именно последний выразил основательное сомнение в чистоте помыслов Шлецера, напомнив его же слова, что он в России лишь желал собрать материалы, которые в Германии "мог бы употребить с большею прибылью". Действительно, по признанию самого Шлецера, он мечтал "в Германии обращать в деньги то, что узнавал в России"³⁶.

М.Т. Белявский опротестовал суждение, что Ломоносов в своем отношении к Шлецеру руководствовался "исключительно личными

мотивами", и что конфликт между ними был лишен научного содержания. Отмечая "развязную самонадеянность" Шлецера, Г.П. Блок признавал, "как справедливо было негодование, с каким Ломоносов отозвался" о его плане, не руководствуясь при этом личными побуждениями. М.Н. Тихомиров отверг обвинения Ломоносова в "немце-дстве", в особой нелюбви к Миллеру. Параллельно с этим Д. Гурвич заметил, что Миллер и Шлецер "все, сделанное Ломоносовым в области русской исторической науки", постарались как можно скорее забыть, представляя его "то в роли химика, то в роли придворного стихотворца, но только не в качестве крупного русского историка". И если в XVIII в., констатирует ученый, исторические труды Ломоносова знали, на них учились и им подражали, "то русская историческая наука XIX – начала XX в., по сути дела, не знала Ломоносова-историка; его исторические работы упоминались с такими оговорками, что ценность их казалась совершенно незначительной", в связи с чем, добавлял Белявский, на фоне других сочинений ученого "его работы в области истории оставались в тени". С.Л. Пештич уточнял, что именно Шлецер "всем своим авторитетом европейски известного историка и источниковеда направил историографическое изучение Ломоносова по неправильному пути". А.М. Сахаров заключал, что Шлецер не мог простить ему борьбы с норманизмом. В целом, как подытоживал ученый, в дореволюционной историографии "антинорманистские идеи Ломоносова не могли получить одобрения в науке, где норманизм стал официальной теорией происхождения Древнерусского государства", поэтому его постарались вычеркнуть из исторической науки³⁷.

В рассматриваемом плане значительный интерес представляют работы 1961 г. немецких историков П. Гофмана и Э. Винтера (ГДР). Гофман указал, что мнение о Ломоносове как историке в значительной мере определялось отрицательными высказываниями А.Л. Шлецера, усиленными С.М. Соловьевым. Он не сомневался, что Ломоносов в варяжском вопросе занял "прежде всего позицию русского патриота", но при этом, основываясь на превосходном знании источников и литературы, предвосхитил результаты исследований более позднего времени. Гофман, поставив перед собой задачу рассмотреть, насколько аргументация Ломоносова соответствовала научным требованиям и принципам той эпохи, "удивлен был", что она нашла широкое отражение в последующих работах Миллера. По его заключению, Ломоносов был на высоте исторической науки своего времени, тогда как Миллер был ограничен как историк, и что к источникам он относился почти всегда "совершенно некритически". Винтер, подчеркивая самохвалство и заносчивость Шлецера, что не могло не задеть Ломоносова, вместе с тем высказал мысль, что русского ученого против Шлецера настраивали Миллер и Тауберт. Так, по его мнению, два достойных человека "по недора-

зумению" стали врагами. Говоря о плане Шлецера, содержащем много верного и плодотворного, Винтер отмечает "бессмысленность" его экзальтированных утверждений, что будто иностранец способен понимать древний язык народа лучше, чем коренной житель страны, что он, благодаря знанию церковно-славянской Библии, уже является знатоком языка летописей³⁸.

Суть работ о Ломоносове в отечественной историографии конца 1940 – начала 1960-х годов целиком укладывается в слова Б.А. Рыбакова, охарактеризовавшего в 1958 г. норманскую теорию "величайшим злом русской исторической науки", а Ломоносова – "прекраснейшим знатоком русской истории", обрушившимся на "ненаучные построения норманистов", при этом присовокупив к ним убежденность А.М. Сахарова, что значение трудов Ломоносова для борьбы с норманизмом "выяснены с достаточной полнотой и убедительностью"³⁹. Но все было далеко не так, ибо разговоры о Ломоносове как основоположнике антинорманизма, создателе "новой исторической концепции", разбившей "лженаучную" норманскую теорию⁴⁰, были абсолютно декларативными. И сводились лишь к тому, что в споре с норманистами Ломоносов был прав в основном, "доказывая, что возникновение государства не может быть объяснено случайными явлениями, вроде призвания варягов"⁴¹. Эти разговоры были, к тому же, явно двусмысленными, так как диссонансом им звучали слова, что антинорманисты "непомерно раздували некоторые, часто неудачные мысли и гипотезы Ломоносова", например, о славянской природе варягов⁴². Из чего непреложно выходило, вопреки официальным заверениям, что Ломоносов в дискуссии с норманистами ошибался в главном, значит, ошибался и в частности. Следовательно, он уступал им как историк, что всегда и утверждала предшествующая историография, чьи воззрения на сей счет в послевоенное время подверглись вообще-то весьма обоснованной критике⁴³.

Подняться до действительной оценки Ломоносова как историка советским исследователям не позволял норманизм, с которым они расстались только на словах. Твердо полагая, что в рамках марксистской концепции возникновения государства спор об этносе варягов, в связи с установлением самого незначительного характера их участия в социально-политической жизни Руси, стал "беспредметным"⁴⁴, они, именуя себя антинорманистами, сохранили основополагающий тезис норманизма о скандинавстве варяжской руси. Причем ученые искренне верили, что они, показав происхождение Киевской Руси "как этап внутреннего развития восточнославянского общества" до появления варягов, "добили норманскую теорию"⁴⁵, видели в ней "труп"⁴⁶ и под "настоящими норманистами" понимали лишь тех, "кто утверждал неспособность славян самим создать свое государство"⁴⁷. В таких условиях, конечно, никого уже не интересовали ни конкретные доводы Миллера в пользу норманства варягов, ни их оп-

ровержения Ломоносовым, ни в целом его контраргументы норманизму, а сам разговор о дискуссии между ними по существу был беспредметным. Объективно оценить исторические возможности Ломоносова мешал и вывод, что "главной побудительной причиной", толкавшей его на занятия историей, "была деятельная любовь к своей родине", вывод о "патриотической основе" его исторических интересов⁴⁸. Об этом говорилось так подчеркнуто и так громогласно, что вкупе с норманистскими убеждениями научной общественности также заставляло основательно усомниться в параллельно звучащем тезисе о Ломоносове как выдающемся историке XVIII в. и ниспровергателе норманизма. Вот почему никакого отголоска не получило в историографии предостережение С.Л. Пештича, высказанное им в 1961 г., что "представления, унаследованные от старой объективистской историографии, о национальных чувствах, якобы затемняющих научный рассудок, нельзя принимать всерьез"⁴⁹. Но вскоре сам историк, к сожалению, начнет судить теми же представлениями.

В свете сказанного неудивительно, что уже в конце 1950 – середине 1960-х годов в науке, незаметно для глаз, исповедовавших норманизм, ревизии были подвергнуты те положения о Ломоносове, которые так активно в ней утверждались. В 1957 г. Л.В. Черепнин, отметив, что исторические работы Ломоносова "явились новым словом в науке", и выступив против умаления вклада немецких ученых в русскую историческую науку, вместе с тем внес элемент сомнения в оценке исторических заслуг Ломоносова. Побудительные мотивы, заставившие его обратиться к истории, Черепнин квалифицировал в духе Рубинштейна: "Национальное достоинство русских было оскорблено тем, что они фактически оказались отстраненными от участия в работе Академии по изучению русской истории и что это дело было поручено лишь немецким ученым", да, к тому же, "норманская теория происхождения Руси использовалась немецким дворянством в целях умаления достоинства русских". Он также со значением подчеркивал, что Ломоносов "проявлял слабость, когда задачи исторического исследования подчинял потребностям текущей политики царизма и спрашивал, например, "не будут ли из того выводиться какого опасного следствия", что "Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода". Позже Черепнин, говоря о положительном влиянии Шлецера на развитие исторической науки в России, в то же время сказал, что якобы Ломоносов вместо научной полемики с ним в отношении его "Русской грамматики" применил "методы идейной борьбы", а противостояние ученых объяснял взаимным непониманием и обоюдной личной недоброжелательностью⁵⁰.

С.Л. Пештич в 1961 г., настаивая на том, что для Ломоносова история "была таким же делом всей его жизни и творчества, как фи-

зика, химия и литература", уже утверждал, что его "великие заслуги... как естествоиспытателя все-таки не сопоставимы с его достижениями в области разработки русской истории"⁵¹. Эти же слова историк повторил в 1965 г. в исследовании о русской историографии XVIII в., значительная часть которого была отведена анализу исторического наследия Ломоносова, Миллера и Шлецера. В целом она производит двойственное впечатление, ибо ученый, следуя официальной точке зрения на Ломоносова как историка, взвешивает его в том качестве лишь на весах норманизма. С одной стороны, Пештич рассуждает о Ломоносове как "выдающемся историке", имевшем самую солидную историческую подготовку, и многие гипотезы которого были приняты наукой, констатирует, что Миллер как историк не был способен "к широким обобщениям и глубокому анализу исторических событий", что в конце 1740-х годов он уступал Ломоносову "в понимании предмета истории". С другой стороны, Пештич, заявив о своем стремлении дать "более беспристрастную оценку историографического спора середины XVIII в.", все свел к тому, что норманизм Миллера был не приемлем "для национального патриотизма", при этом дополнительно и настойчиво говоря о "национальной тенденциозности" и "уязвленном национальном самолюбии" Ломоносова вообще, в целом о патриотических побуждениях русских историков середины XVIII в., придававших "национальную заостренность их выступлениям".

Читателя убеждает в необоснованности выступления Ломоносова против норманской теории и мысль Пештича, что у нее была "прочная историографическая традиция в средневековой отечественной литературе и летописании", его утверждение о "норманизме" автора ПВЛ. Тезис о "норманизме" летописцев проводили многие историки второй половины XIX – середины XX в.⁵², но в разговор о Ломоносове его привнес Пештич. Параллельно тому он уверяет, что вывод "основоположника антинорманизма" о славянском происхождении варягов "не выдержал научной проверки". Само представление Ломоносова о Пруссии как родине варягов ученый связал с политической ситуацией времени Семилетней войны, когда Восточная Пруссия входила в состав России, при этом умолчав, что варяжских князей из Пруссии выводила "августинская" легенда, возникшая во второй половине XV в., т.е. почти за 300 лет до Семилетней войны. Он не сомневается, что ПВЛ привлекала Миллера "более, чем его оппонентов", что его позиции в целом "были более серьезно обеспечены", чем точка зрения противостоящих ему. Явно симпатизирует Пештич Шлецеру, хотя и считает, что ему не была присуща скромность в оценке своих собственных научных заслуг, но при этом подчеркнуто говоря, не вдаваясь в объяснения, что против него неоднократно выступал Ломоносов, к тому же давший отрицательную оценку плану научных работ Шлецера "достоинство которого было

несомненным". Сам же отзыв Ломоносова на "Русскую грамматику" Шлецера Пештич охарактеризовал как "наиболее резкий документ, вышедший из-под пера русского ученого и направленного против немецкого автора". Заслугу Шлецера исследователь видит прежде всего в том, что он дал русским историкам критический метод в изучении источников⁵³.

Разговор о Ломоносове как историке и его оппонентах в последующее время, в конце 1960-х – начале 1980-х годов, не носил уже той актуальности, что была характерна для первых послевоенных десятилетий. Н.Л. Рубинштейн, в корне поменяв свой взгляд на Ломоносова, уже говорил, что он "обнаружил значительные познания в русской истории в самом начале своей деятельности в Академии наук", а в полемике с Миллером показал "прекрасное знание" источников, причем основные положения, высказанные им в ходе ее, получили свое развитие в "Древней Российской истории". В системе доказательств Ломоносова Рубинштейн особенно выделил получившие признание в науке его указание на наличие имени "русь" в Восточной Европе до призвания варягов, его вывод об отсутствии скандинавских слов в русском языке. Но фоном этому позитиву продолжало звучать мнение, что "чувство национальной гордости, горячий патриотизм были важной движущей силой" научных интересов Ломоносова, боровшегося "против засилья немцев в Академии наук, за развитие национальной исторической науки"⁵⁴.

М.А. Алпатов, характеризуя норманизм как "антирусскую теорию", квалифицировал его как "идейный реванш" за победу в Северной войне. Приняв тезис Шлецера о не признании русскими шведского происхождения Рюрика "из-за ссоры" со шведами, он не сомневался, что конфликт Ломоносова с Миллером имел под собой прежде всего политическую основу, ибо в норманстве варягов Ломоносов увидел оскорбление чести государства, а сама борьба с норманистами была для него "составной частью его борьбы с немецким засильем в Академии". Создав выдающиеся исторические труды, построенные на широкой источниковой базе, Ломоносов, пользуясь устаревшим арсеналом "предшествующей русской историографии", ошибался, отрицая норманство Рюрика. В научном плане немцы, говорил ученый, сыграли прогрессивную роль, ибо покончили с легендарным периодом в русской историографии, много сделали для становления русского источниковедения. Вместе с тем он отметил, что план Шлецера, обладая несомненными достоинствами, имел и крупные изъяны, обусловленные недостаточным знакомством с русской историографией, а сама источниковедческая часть его была "построена на ложной предпосылке", так как первоначального Нестора не существовало⁵⁵.

А.М. Сахаров также традиционно утверждал, что Ломоносов, будучи горячим патриотом, не мог мириться ни с засильем иностран-

цев в Академии, ни со служившей оправданию этого засилья норманской теорией, а в "Древней Российской истории" он "намного опередил науку своего времени". Главную заслугу иностранных историков исследователь видел в том, что они приступили к критическому изучению источников и подходили к пониманию истории не с провиденциалистских, а с рационалистических позиций. А.Л. Шапиро называет Ломоносова автором "самых читаемых во второй половине XVIII в. трудов по истории России", а в науке, констатирует он, получила поддержку его мысль, что в русском языке не заметно влияния норманнов, что Миллер и Шлецер ошибались, говоря о совершенной дикости восточных славян до призвания варягов. Но вместе с тем не устоялись его мнения о происхождении россиян от роксолан и приходе Рюрика со славянского побережья Балтики, а в критике исторического баснословия Ломоносов уступал Татищеву. Шапиро считает, что Ломоносов, борясь с немецкими лжеучеными, "иногда обрушивался и на немцев, по-настоящему способствовавшим успехам науки в России", и что Шлецер еще в России хорошо изучил древнерусские источники⁵⁶.

Безраздельное господство норманизма в науке и объяснение побудительных мотивов, якобы приведших Ломоносова к занятию историей, лишь реакцией ущемленного национального достоинства ученого, на чем выросло несколько поколений историков, закономерно привели к тому, что в 1983 г. И.П. Шаскольский отказал антинорманизму в научности. Свой вывод он объяснял именно тем, что многие его представители, сознавая антирусскую направленность норманизма, выступали против него "не из научных позиций, а из соображений дворянско-буржуазного патриотизма и (Иловайский, Грушевский) национализма". Построения антинорманистов в целом носили, говорил Шаскольский, по причине отсутствия у большинства из них исторического образования, "любительский, дилетантский характер". И если норманская теория, по его мысли, не была изобретена Байером и Миллером, а была взята ими из "донаучной историографии – летописей", то гипотеза призвания варягов из южнобалтийского Поморья была заимствована из легендарной традиции XVI–XVII вв. После революции, заключал Шаскольский, антинорманизм "стал течением российской эмигрантской историографии", где и "скончался" в 1950-х годах, а его возрождение "на почве советской науки невозможно"⁵⁷. Тем самым ученый признал, что антинорманизма в советское время не было, а всегда был норманизм, прикрытый марксистской фразеологией, необходимость в которой все больше отпадала. С конца 1980-х годов в литературе началось осуждение "антинорманизма" советских лет: что он был "доведен до абсурда", что в науке с 1940-х годов верховодили "патриоты", что антинорманисты прошлого – это "посредственности типа Д.И. Иловайского"⁵⁸.

Новая ситуация в науке, а также политические процессы, протекавшие в стране, не замедлили сказаться на проблеме "Ломоносов-Миллер". В 1988 г. Л.П. Белковец утверждал, что Ломоносов, не приняв норманизма Миллера, "все его труды подверг суровой и небеспристрастной критике", и проводил мысль, что верхушка Академии поддерживала и подогревала неприязнь в их отношениях⁵⁹. В 1989 г. А.Б. Каменский, уверяя, что в оценке дискуссии Ломоносова и Миллера не хватает объективизма, тут же заполнил этот вакуум. По его мнению, Миллер к решению варяжского вопроса "подходил именно как ученый, а имевшиеся в его распоряжении источники (которые он, кстати, в то время знал лучше Ломоносова), иного решения и не допускали", и только политической подоплекой спора он объяснил "административный характер его завершения". Через два года исследователь к сказанному добавил, что Ломоносов, пользуясь высоким покровительством, подчас выдвигал "против своего оппонента не столько научные, сколько политические обвинения". И если Миллера в дискуссии интересовала только научная истина, то Ломоносов видел в норманском вопросе "прежде всего аспект политический, связанный с ущемлением русского национального достоинства". Отметил Каменский и "глубоко патриотическую и вместе с тем объективно ошибочную позицию" Ломоносова в споре с Миллером об истории, так как Миллер пытался показать все без изъяна, без прикрас, Ломоносов же выступал за создание в истории "запретных зон". Красной нитью автор проводит мысль, что образ Ломоносова как "положительного героя", существующий в историографии, закрывает "путь к познанию истины", и что Ломоносова возвеличили "за счет Миллера"⁶⁰.

В середине и второй половине 90-х годов XX в., когда пересмотру подвергались ценности советской историографии, ученые демонстрировали непоколебимую приверженность тезису, что Ломоносов, желая утвердить патриотический подход к русской истории, счел обязанным выступить против норманизма⁶¹. Причем, тональность его стала более жесткой: научную аргументацию Ломоносов зачастую заменял, уверял А.С. Мыльников, "доводами гипертрофированного патриотизма"⁶². Каменский усилил акценты недавних своих публикаций, говоря, что аргументация Миллера "была едва ли не безупречной", но для Ломоносова норманская трактовка русской истории была неприемлема именно "как антипатриотическая"⁶³. По линии другого противопоставления подчеркивалось, что если у Байера "достаточно объективный исторический подход к вопросу", то у Ломоносова многие положения "были лишены научного основания"⁶⁴. Параллельно с этим утверждалось, что антинорманизм почти всегда был "следствием отнюдь не анализа источников, а результатом предвзятой идеологической установки"⁶⁵, и привычно нагнеталась атмосфера вокруг антинорманизма с его "шумным национа-

лизмом"⁶⁶. Весьма показательна в плане состоятельности приведенных мнений позиция норманиста Д.Н. Шанского, сказавшего, что "интерпретация полемики Миллера и Ломоносова только как представителя антинаучных немецких кругов и русских патриотических сил чрезвычайно обедняет реальную картину и нуждается в качественно новом видении". Но в силу понятных причин он все свел к тому, что Миллер в диссертации "провозгласил высшей целью историка все же изыскание истины, приход через критику источников к подлинно научному знанию, главным критерием которого является не "полезность", а беспристрастность", с чем не мог примириться "гениальный Ломоносов". И даже значительно позже, осуждая уже "Опыт новейшей истории России" Миллера, Ломоносов вновь отверг мысль оппонента, "что история – наука, а следовательно, должна быть выведена за пределы эмоций"⁶⁷.

В те же годы Ломоносов был обвинен в создании ненужного ажиотажа вокруг проблемы этноса варягов. Э.П. Карпеев, говоря, что варяжский вопрос возник не в сфере науки, а в области политики, уточнил: "При этом не антирусской политики, выразителем которой выставляется Байер, а скорее, амбициозно-национальной, пламенным выразителем которой был Ломоносов". По мнению И.Н. Данилевского, именно Ломоносову «мы в значительной степени обязаны появлению в законченном виде так называемой "норманской теории". Точнее, "химии адъюнкту Ломоносову" принадлежит сомнительная честь придания научной дискуссии о происхождении названия "русь" и этнической принадлежности первых русских князей вполне определенного политического оттенка»⁶⁸. Следует заметить, что Ломоносов никогда не был "химии адъюнктом". В январе 1742 г., через полгода по возвращению из Германии на родину, он был назначен адъюнктом физического класса Петербургской Академии наук, а в июле 1745 г. – профессором химии. Именно как "профессор" и как "химии профессор" Ломоносов подписал свои замечания на диссертацию Миллера⁶⁹.

Неприкрытая и все более усиливающаяся в науке недоброжелательность к Ломоносову вызвала ответную реакцию. А.Г. Кузьмин напомнил научной общественности, по сути, неизвестные ей доводы Ломоносова, которым так ничего и не могут противопоставить норманисты. Так, он показал нелогичность произведения имени "русь" от финского названия шведов "руотси", так как ни славяне, ни варяги такого этнонима не знали, при этом обращая внимание на то, что "имя страны может восходить либо к победителям, либо к побежденным, а никак не к названиям третьей стороны". Ломоносов ввел новый документ – окружное послание византийского патриарха Фотия, говорившее о пребывании росов на Черном море до призвания Рюрика и перечеркивающее мнение Миллера об отсутствии в Причерноморье до варягов этнонима "русь". Высоко Кузьмин оценил

его заключения, когда он, отвергнув попытки выдать имена русских князей за скандинавские, указал, во-первых, "что на скандинавском языке не имеют сии имена никакого знаменования", и, во-вторых, что "сами по себе имена не указывают на язык их носителей". Остановившись на факте "отрицательного" характера, приведенном Ломоносовым, что в русском языке почти нет германизмов, Кузьмин подчеркнул: норманисты, столько веков выискивая эти следы в русском языке, пришли к неутешительному итогу. Историк отметил данные Ломоносова о "Неманской Руси", его вывод, что варяги – общее имя многих народов, отождествление славянского Перуна и литовского Перкуна, объединение проблем руси и роксолан.

Ценен вывод Кузьмина, что Байер вообще не анализировал Сказание о призвании варягов. В противовес утверждениям, что Ломоносов оперировал "общими рассуждениями, нередко эмоционально-патриотического наполнения", историк ответил: "Здравый смысл показывал Ломоносову такие решения, которые прямолинейно из источника как будто не вытекают и которые при формальном педантичном подходе даже и нельзя вывести из источника". И его преимущество перед немцами «заключалось в гораздо более глубоком понимании сущности и связей между явлениями внешнего мира, в стихийном понимании того, что явление, факт не существуют сами по себе вне связи с другими явлениями и фактами. "Немецкая ученость" вместо сколько-нибудь обоснованной теории брала за основу наивный германоцентризм, через призму которого рассматривались и все явления истории славян и руси». Вот почему Миллер игнорировал русские источники при изучении русской истории. В целом, заключает Кузьмин, первые замечания Ломоносова на диссертацию Миллера "носили более эмоциональный и общелогический характер, нежели основательный, научный". Но вскоре он "вошел в проблему и превосходил своего оппонента не только по методу, но и по широте эрудиции"⁷⁰.

Тогда же Ю.Д. Акашев отметил высокий потенциал Ломоносова как историка. Автор настоящей статьи привел негативные мнения о диссертации Миллера иностранных ученых XVIII–XIX вв., что уже ставило под сомнение наличие у Ломоносова лишь "патриотического порыва" в ее неприятии, отметил его превосходство как источниковеда перед Миллером. Н.М. Рогожин указал, что в ходе полемики с Миллером Ломоносов продемонстрировал хорошее знание источников⁷¹. Но насколько велика была инерционность заданного норманистами представления о Ломоносове, что даже те ученые, которые говорили об искажении немецкими академиком свидетелем ПВЛ, отделяющей русь от норманнов, и положительно оценивали борьбу Ломоносова "против теории о немцах-цивилизаторах", вместе с тем продолжали рассуждать в рамках привычного шаблона. Так, В.П. Макарихин утверждал, что "патриотическая об-

щественность России восприняла" норманскую теорию "как оскорбление, европейское хамство", а Ломоносов в ходе идейно-политической борьбы допускал "тенденциозное истолкование исторических фактов, исторических источников"⁷².

Чтобы понять, соответствует ли истине приговор Ломоносову как историку, вынесенный заинтересованной стороной – норманистами, следует обратиться к первоисточникам: к диссертации Миллера "О происхождении имени и народа российского" ("De origine gentis russicae") и замечаниям на нее Ломоносова. Над своим произведением Миллер работал с весны 1749 г., готовясь прочитать его на первой в истории Академии наук "ассамблее публичной", назначенной на 6 сентября (на следующий день после тезоименитства императрицы), а затем перенесенной на 26 ноября (на другой день празднеств годовщины ее восшествия на престол). Одновременно с Миллером получил предписание выступить на торжественном собрании с похвальным словом Елизавете Петровне Ломоносов. Как подчеркивалось в определении Канцелярии Академии, оба сочинения "требуют великого осмотрительства, так как новое дело"⁷³, в связи с чем были предварительно "апробованы" президентом Академии наук К.Г. Разумовским и Г.Н. Тепловым, находившимися тогда в Москве. Похвальное слово Ломоносова в начале августа 1749 г. было ими одобрено и разрешено к печати⁷⁴. Но у них вызвала сомнение речь Миллера, в связи с чем Теплов, возвращая ее первую часть, советовал "некоторые строки выпустить". Это сомнение возрастало по мере знакомства с нею, и по решению президента она была передана на экспертизу коллегам Миллера. 21 августа Шумахер поставил Теплова в известность о мнении профессоров, что, если напечатать ее в том виде, как есть, то "это было бы уничижением для Академии". Через два дня на соединенном Академическом и Историческом собрании речь была, по словам П.С. Билярского, "торопливо" рассмотрена и разрешена к печати с учетом замечаний, поступивших от присутствующих. Но, как уведомлял Шумахер Теплова, "Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнения, ни его способа изложения"⁷⁵.

Перенос торжественного заседания И.Д. Шумахер использовал для организации пересмотра диссертации Г.Ф. Миллера "по отдельности", и она была послана И.Э. Фишеру, Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, С.П. Крашенинникову, В.К. Третьяковскому, М.В. Ломоносову, Н.И. Попову с тем, чтобы "освидетельствовать, не сыщется ль во оной чего для России предосудительного". Названные лица и на сей раз вынесли ей тот же вердикт, который они высказали еще при первом знакомстве с нею, но только использовав теперь формулировку Канцелярии Академии: они расценили речь именно как "предосудительную России". Как выразил общий настрой Штрубе де

Пирмонт, Академия имеет справедливую причину сомневаться, "пристойно ли чести ее помянутую диссертацию публично читать и напечатавши в народ издать"⁷⁶. После того, как Миллер обвинил оппонентов в пристрастном отношении к своей работе, в стенах Академии разгорелась острая дискуссия (октябрь 1749—март 1750 г.). В итоге диссертация была забракована, а отпечатанный тираж был уничтожен. Надо сказать, что она не пропала для потомства и многократно была явлена ученому свету, да и не только ему. Список с нее А.Л. Шлецер послал И.К. Гаттереру в Геттинген, и к 1773 г., по словам Миллера, она была там напечатана "уже вторым тиснением"⁷⁷. С основными ее положениями, лишь несколько измененными под воздействием критики Ломоносова, в полной мере могли ознакомиться и русские читатели. В 1761 г. она была опубликована как вводная часть исследования Миллера, посвященного истории Новгорода, одновременно на страницах "Сочинений и переводов к пользе и увеселению служащих" и академического журнала "Sammlung russischer Geschichte"⁷⁸. Главные ее мысли Миллер затем повторил в книге "О народах издревле в России обитавших", изданной в 1773 г. в Петербурге⁷⁹.

В разговоре о полемике Ломоносова и Миллера симпатии большинства специалистов находятся на стороне последнего. Тому способствуют несколько обстоятельств. Первое из них заключается в том, что Ломоносов не мог терпеть иностранцев, потому-то он так и третировал Миллера. Еще Шлецер упор делал именно на то, что "русский Ломоносов был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских"⁸⁰, но как заметил Б.И. Краснобаев, были «вздорны обвинения Ломоносова в нетерпимости, нелюбви к "немцам". Они распространялись его недругами из числа приверженцев клики Шумахера—Тауберта, с которой он вел борьбу принципиальную, отнюдь не личную»⁸¹. Но к распространению этих обвинений еще в большей мере причастны многие наши исследователи, игнорирующие факты дружбы Ломоносова с работавшими в России иностранными учеными. После смерти Г.В. Рихмана, с которым, говорил Ломоносов, его связывали "согласие и дружба", он принимает живейшее участие в судьбе его семьи, оставшейся без средств существования, и просит влиятельных царедворцев И.И. Шувалова и М.И. Воронцова назначить вдове пожизненную пенсию. Ломоносов говорит о "добром сердце и склонности к российским студентам" И.Г. Гмелина, читавшего "им в Сибири лекции, таясь от Миллера, который в том ему запрещал". В отношении И.А. Брауна Ломоносов отмечал его "старание о научении российских студентов и притом честная совесть особливою похвалы и воздаяния достойны". Был очень близок со Я.Я. Штелиным, которого единственного из своих знакомых в письмах называл другом и который последние дни пробыл с умирающим Ломоносовым⁸².

Ломоносов, которого рисуют непримиримым борцом за "чистоту" рядов российской науки, рекомендовал для работы в Академии И.К. Шпангенберга. Предлагал он пригласить К. Дахрица, но Миллер, будучи секретарем Академического собрания, выписал У.Х. Сальхова, который, вспоминая Ломоносова, не пристав "к шумархерской стороне", был "выгнан из России бесчестным образом". Он же опротестовал мнение Л. Эйлера, вниманием и добрым расположением которого к себе очень дорожил, выступившего против приглашения в Академию И.К. Шпангенберга и И.П. Эбергарда. Объясняя Миллеру, почему Эйлер отклонил кандидатуру последнего, Ломоносов подчеркнул, что тот "Невтоновой теории в рассуждении цветов держится. Я больше, нежели г. Эйлер, в теории цветов с Невтоном не согласен, однако тем не неприятель, которые инако думают (курсив мой. – В.Ф.)". В отношении своего учителя немца Х. Вольфа Ломоносов проявил беспримерный такт. Дело в том, что его физические воззрения вошли в диаметрально противоположное противоречие с взглядами Вольфа. Но на протяжении нескольких лет Ломоносов не решался опубликовать результаты своих наблюдений, боясь, по его словам, "омрачить старость мужу, благоденствия которого по отношению ко мне я не могу забыть"⁸³.

Ломоносов, которому приписывают особую нелюбовь к немцу Миллеру, полностью его поддержал в конфликте с русским П.Н. Крекшиным, когда тот, получив отрицательный отзыв Миллера на свое сочинение по генеалогии, где выводил Романовых от Рюриковичей, обвинил его в "государственном преступлении". К разрешению конфликта были привлечены Штрубе де Пирмонт, Тредиаковский и Ломоносов. И в чью пользу он был решен и прежде всего благодаря кому, видно из жалобы Крекшина в Сенат в декабре 1747 г. Он писал, что Миллер, "не зная истины, заблудил и высочайшую фамилию неправо простою дворянскою дерзнул писать, и профессору Ломоносов, Тредиаковский и Штрубе в неведении же сию лжу за истину признавали", и требовал привлечь их к делу⁸⁴. Ломоносов, решительно встав на защиту правоты немца Миллера и выступив против фальсификации русского Крекшина, проявил при этом, как справедливо заметил С.Л. Пештич, "большое гражданское мужество"⁸⁵. По словам А.И. Андреева и В.Р. Свирской, позиция Ломоносова в данном споре говорит "о защите им исторической правды и принципа научности от чуждых науке влияний"⁸⁶, независимо от того, надо подчеркнуть, от кого они исходили – от русского или немца.

Хотя для А.Б. Каменского этот случай – лишь пример корпоративной солидарности, вызванной "необходимостью защиты авторитета Академии"⁸⁷, странный в свете разглаговольствований автора о крайне пристрастном отношении Ломоносова к Миллеру, да к тому же заручавшегося в том поддержкой своих высоких покровителей.

Ломоносов всю свою жизнь следовал принципу, который он изложил в заметках по физике в начале 1740-х годов: "Я не признаю никакого измышления и никакой гипотезы, какой бы вероятной она ни казалась, без точных доказательств, подчиняясь правилам, руководящим рассуждениями"⁸⁸. К этому нужно добавить слова, которые он произнес в 1761 г.: "За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю"⁸⁹. И, борясь за торжество правды и справедливости в науке, Ломоносов не был "ксенофобом, жизненная задача которого заключалась в борьбе с иноземцами". Это слова произнес недавно Э.П. Карпеев, правда, все сведя лишь к "идейным позициям" тех, кто стремился использовать его имя в своих целях⁹⁰. Но подобное представление о русском гении создали именно норманисты.

Отношения между Ломоносовым, Миллером и Шлецером были очень непростыми, но на них нельзя смотреть только с позиций последних. И Ломоносов отмечал, что Миллер "нигде не пропускает случая, чтобы какое-нибудь зло против меня вселять", что он "профессорами прозван бичом профессоров; он сущий Маккиавель и возмутитель мира в Академии". Так, в 1761 г. Г.Г. Миллер настраивал Г.Н. Теплова: "Верьте мне, сударь, Ломоносов – это бешеный человек с ножом в руке". Весной 1763 г., когда разнеслась весть об отставке Ломоносова, он делился радостью с одним из своих зарубежных корреспондентов: "Академия освобождена от г. Ломоносова"⁹¹. Вместе со Шлецером Миллер постарался после смерти русского ученого в негативном свете выставить его перед зарубежными историками. В Германии были напечатаны, указывали Т.А. Быкова и С.Л. Пештич, вероятно, "инспирированные самим Шлецером, недоброжелательные рецензии на труды Ломоносова". Причем, в них явно видно стремление просто опорочить имя Ломоносова. Так, в одной из них (1771) звучало, что покойный профессор химии Ломоносов "не сможет больше бесчестить свою страну и вредить русской истории". Сегодня Р.Б. Городинская, отмечая значительное количество откликов на исторические сочинения Ломоносова в немецких изданиях (среди которых всего одна положительная рецензия!), подчеркивает, что в них "совершенно отчетливо прослеживается влияние, а быть может и авторство А.Л. Шлецера и, вероятно, Г.Ф. Миллера". Исследовательница прямо говорит о враждебном отношении последних к Ломоносову, которое в значительной степени явилось, заключает она, отголоском дискуссии⁹². Шлецер в своих воспоминаниях постарался навязать просвещенной Европе более чем отталкивающий образ Ломоносова, говоря, что он противился изданию ПВЛ и труда В.Н. Татищева, так как хотел напечатать свой "Краткий Российский летописец", что он был полон "варварской гордости", тщеславия, что он клеветник, кляззник, грубый невежда, горький пьяница, "хищный зверь", "дикарь", который стремился не толь-

ко удалить Шлецера из Академии, но и хотел его "погибели, в серьезном значении"⁹³.

Второе из обстоятельств, определяющих расположение исследователей к Миллеру, это их убежденность лишь в патриотической подоплеке выступления русского Ломоносова против идей норманизма, только в силу политических причин (реакция на бироновщину, антишведские настроения) добившегося запрета диссертации немца, отстаивавшего истину. Но нелестные отзывы на нее дали и нерусские ученые – профессор истории И.Э. Фишер (Шлецер высоко ставил его "классическую критику" и знание "классических древностей"⁹⁴) и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, которых, в отличие от Ломоносова, сложно записать в патриоты. Более того, последний, по оценке норманиста В.А. Мошина, "наиболее жестоко критиковавший доклад Миллера, в сущности расходился с ним лишь в частности, признавая норманское происхождение руси"⁹⁵. Уже один этот факт многое говорит о научной значимости рецензируемого ими труда, что подтверждают мнения крупнейших норманистов, немцев по происхождению. Так, А.Л. Шлецер увидел во многих положениях диссертации Миллера "глупости" и "глупые выдумки"⁹⁶, А.А. Кунин же в целом охарактеризовал ее "препустою"⁹⁷. Тем самым они, не желая того, признали принципиальную правоту Ломоносова в ее оценке и отменили домыслы об отсутствии в его критике каких-либо серьезных оснований, кроме, как только патриотических. Немец И.Д. Шумахер, стоит добавить, назвал речь Миллера "галиматъей"⁹⁸.

Если ситуацию в науке середины XVIII в. воспринимать только как борьбу патриотов и непатриотов, то нельзя тогда понять, почему к этому времени были опубликованы все работы Байера, в которых доказывалось норманство варягов, но никто из русских ученых не препятствовал их выходу в свет уже после смерти автора, когда эпоха бироновщины канула в Лету. Более того, русский перевод статьи Байера "De Varagis" ("О варягах") был включен бесспорным патриотом В.Н. Татищевым в первый том своей "Истории", а в 1767 г. К.А. Кондратович выпустил его отдельным изданием⁹⁹. 6 сентября 1756 г. Ф.Г. Штрубе де Пирмонт на торжественном собрании Академии произнес речь "Слово о начале и переменах российских законов", где утверждал о норманском происхождении норм Русской Правды, о германской природе россос. И это далеко "непатриотичная" речь, если говорить языком норманистов, прозвучала на торжествах, посвященных тезоименитству императрицы, и нисколько не была вменена в вину немцу, да еще бывшему секретарю Э. Бирона. Тремя годами ранее ту же мысль он проводил в своей диссертации¹⁰⁰. Поэтому, как справедливо подчеркивал один из крупнейших норманистов прошлого столетия В.А. Мошин, ошибочно считать варяго-русский вопрос "борьбою объективной науки с ложно понятым патриотизмом"¹⁰¹.

За границей также не сомневаются, что Ломоносову норманская теория "казалось обидной для русского самосознания". К этому мнению, возвращенному российской наукой, там еще добавляют, что он "опасался, что шведский король, ссылаясь на шведское происхождение первой русской династии, снова может претендовать на русский престол"¹⁰². Такой аргумент, надо заметить, не брали в расчет даже шведские короли XVII в., когда их придворные историографы создавали норманскую теорию, направленную против России¹⁰³ (к тому же ни они, ни их преемники XVIII в. не имели никакого отношения к конунгам древности, в силу чего не могли ни на что претендовать). Весьма курьезным выглядит и другой вывод современного норвежского историка: в начале XIX в. варяжский вопрос в большей степени потерял характер патриотического спора, возможно, и по той причине, что взамен "германских" государств Швеции и Пруссии главным противником России стала наполеоновская Франция¹⁰⁴. Подобные мысли, как и слова Шлецера, что во времена Ломоносова "было озлобление против Швеции", выглядят довольно сомнительными в свете хотя бы факта избрания в апреле 1760 г. русского ученого почетным членом Шведской академии наук. И Ломоносов с искренними словами благодарности к "славнейшей академии" "за столь великую и особенную милость", принял этот почетный титул¹⁰⁵, которым очень гордился. Поэтому, можно согласиться с Н.В. Савельевым-Ростиславичем, сказавшим в 1845 г. в отношении слов Шлецера, что русские ученые не приняли шведского происхождения Рюрика из-за "ссоры" со Швецией: "Ссора сама по себе, а правда сама по себе"¹⁰⁶.

Рассматривая причины противостояния Ломоносова и Миллера лишь как противостояние русского и немца, исследователи-норманисты, чрезмерно преувеличивая роль "патриотического фактора" и упрощенно сводя принципиальную позицию Ломоносова лишь только к нему, тем самым грубо искажают ее, отчего из поля их зрения выпадают подлинные причины разгоревшейся полемики между ними. А этих причин две и они названы Ломоносовым. Во-первых, свое неприятие диссертации Миллера он объяснял в ходе самой дискуссии тем, что она, служа "только к славе скандинавцев или шведов... *к изъяснению нашей истории почти ничего не служит* (курсив мой. – В.Ф.)", т.е. фактически не имеет никакого отношения к русской истории. Во-вторых, в 1764 г. Ломоносов добавил, что Миллер при сочинении диссертации "из российской истории... избрал материю, весьма для него трудную, – о имени и начале российского народа", а академики в ней "тотчас усмотрели немало неисправностей и сверх того несколько насмешливых выражений в рассуждении российского народа"¹⁰⁷. Но как мог судить о недостатках речи "историографа" Миллера и что мог знать об этой "ученой материи" "профессор химии" Ломоносов?

Третье из обстоятельств, заставляющих специалистов занимать сторону Миллера, это как раз то, что Ломоносов, по их понятиям, "не был профессиональным историком". У истоков такого мнения стоял Шлецер, говоривший, что между всеми русскими, "писавшими до сих пор русскую историю, нет ни одного ученого историка". "...Что от химика по профессии, – иронизировал он в адрес Ломоносова, – уже а priori можно было бы ожидать такой же отечественной истории, как от профессора истории"¹⁰⁸. Но не то, что в "профессора истории", но даже в историки не готовились сами немецкие ученые, но они стали таковыми, как и Ломоносов, в ходе самостоятельной и напряженной работы. Байер, еще в школе начав изучать языки и историю церкви, продолжил свое образование в Кенигсбергском университете, где защитил диссертацию по крестным словам Иисуса Христа, после чего занимался в основном Востоком, Китаем. Миллер, менее двух лет пробыв в Рингельском и год в Лейпцигском университетах, проявил интерес к этнографии и экономике. Шлецер, проучившись около трех лет на богословском факультете Виттенбергского университета, защитил там диссертацию "О жизни Бога". Затем год слушал лекции по филологическим и естественным наукам в Геттингенском университете, где увлекся филологической критикой библейских текстов, говоря впоследствии, что "вырос на филологии". Некоторое время спустя Шлецер в том же университете изучал медицину (по ней он также защитил диссертацию), естественные науки, метафизику, математику, политику, статистику, юриспруденцию¹⁰⁹.

В университете Байер, Миллер, Шлецер, получая типичное для того времени эрудитское образование, могли ознакомиться с историей, но только с древней, да и то лишь "в своих главных событиях", если говорить словами Шлецера. Другие периоды в истории человечества не интересовали тогдашних ученых мужей. Так что до своего прибытия в Россию немецкие ученые мало что знали из средневековой истории и вообще не имели никакого представления о русской истории, начав к ней приобщаться только по приезду в Петербург и только в той мере, в какой они овладевали русским языком. Некоторое исключение представляет Шлецер, который перед отъездом в Россию два с половиной месяца, по его словам, "усиленно изучал Россию" и "узнал почти все главное, что об этом государстве можно было тогда узнать вне его пределов". Какого качества были эти знания, говорит его же признание: к середине XVIII в. Россия была совершенно ложно представлена "иностранцам большею частью людьми недовольными"¹¹⁰. Шлецер в марте 1764 г. в письме Ф. Эпинусу сообщал, что "русская история стала моим занятием в такой степени, что я без всякого раздумья хотел заменить ею библейскую филологию". Но еще тогда путешествие на Восток, как он сам же пишет, не вышло из его ума¹¹¹. И лишь в июне 1764 г. в своем плане

Шлецер сказал, что желает заняться русской историей, обещая за три года написать на немецком языке с помощью трудов Татищева и Ломоносова русскую историю до пресечения династии Рюриковичей, но только "по русским хроникам"¹¹². Так что только с этого времени Шлецер и занялся по настоящему русской историей, с головой уйдя в нее по своему возвращению в Германию, когда стал преподавать русскую историю и работать над привезенными из России богатыми материалами.

Ломоносов, взрастая на Русском Севере, аккумулировавшем народную память, уже с детства, по словам В.И. Ламанского, впитывал историю Родины¹¹³. Слушая в Славяно-греко-латинской академии курсы истории, а также пиитики и риторики, укреплявшие его интерес к истории вообще, он, овладев в совершенстве латынью (ее он знал, свидетельствует историк Фишер, "несравненно лучше Миллера"¹¹⁴) и читая по-гречески, самостоятельно изучает отечественные и зарубежные источники, затем приумножая знания русской и европейской истории и совершенствуя навыки в работе с письменными памятниками в Киеве¹¹⁵. Сверх того Ломоносов получил прекрасное европейское образование в Марбургском университете под руководством знаменитого Х. Вольфа, крупнейшего знатока важнейших проблем как естественных, так и гуманитарных наук. И университет он закончил просто блестяще. Вольф, характеризуя своего воспитанника, отмечал в июле 1739 г.: "Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики и с особенною любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращению в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю"¹¹⁶.

Успешно овладевая в Германии по программе математикой, механикой, химией, физикой, минералогией, металлургией, философией, Ломоносов по собственному почину занимался еще риторикой, изучением западноевропейской литературы, стихотворными переводами, писал стихи, создал труд по теории русского стихосложения, овладел немецким и французским языками. Не оставил он за границей и своей тяги к истории России. Так, в феврале 1740 г. им была приобретена "История о великом княжестве Московском" шведа П. Петрея¹¹⁷, вышедшая во втором десятилетии XVII в. на шведском и немецком языках. Ломоносов продолжал накапливать свой исторический потенциал по возвращению домой. О его высоком авторитете как историка перед началом дискуссии говорит тот факт, что свою "Историю Российскую" к нему на рецензирование направил В.Н. Татищев. Лестно оценив этот труд, Ломоносов особенно отме-

тил "Предъизвещение", которым он открывался. В письме автору от 27 января 1749 г. Ломоносов подчеркивал, что "оно весьма изрядно и во всем достаточно и поправления никакого не требует"¹¹⁸. Столь высокая характеристика введения, в котором Татищев обосновывает принципы понимания истории, задачи ее изучения, отбора и критики источников, в свою очередь, полно характеризует Ломоносова как историка.

Сам же интерес Ломоносова к варяжской проблеме пробудился задолго до 1749 г. В преддверии отъезда в Россию он из Марбурга обратился в апреле 1741 г. с просьбой к Д.И. Виноградову (товарищу по учебе в Германии, находившемуся во Фрейберге) выслать три книги из числа тех, что оставил, покинув этот город, а именно риторику француза Коссена, сочинение немецкого поэта Гюнтера и названное уже сочинение Петрея, а также "деньги за может быть проданные книги"¹¹⁹. Почему Ломоносов, остро нуждавшийся в средствах, не хотел расстаться именно с этими книгами? В отношении Коссена и Гюнтера все предельно ясно. Именно в рамках тематики этих трудов шла тогда интенсивная работа Ломоносова, вылившаяся в 1740-е годы в новационные исследования по риторике и поэзии. Внимание к Петрею могло быть вызвано только тем, что у него Ломоносов впервые встретил пояснение (положившее начало нормализму в шведской историографии XVII в.), "что варяги вышли из Швеции"¹²⁰. В пользу целенаправленного интереса ученого к варягам до 1749 г. говорит и тот факт, что к этому времени он очень хорошо знал статью Байера "De Varagis", часто упоминая ее в дискуссии с Миллером.

В Библиотеке Академии наук имеются рукописи, поступившие в ее фонды до 1749 г. и хранящие пометки Ломоносова. Так, в Патриаршем списке Никоновской летописи им особенно подчеркнуты те места, где излагается Сказание о призвании варягов, а в Хронографической редакции 1512 г. и Псковской летописи выделена иная, чем в ПВЛ, версия этого Сказания. И в других летописях Г.Н. Моисеева нашла следы работы ученого над теми текстами, где речь идет о варягах (например, что Ягайло "съвокупи литвы много и варяг и жемоти и поиде на помощь Мамаю", причем Ломоносов внизу сделал сноску: "варяги и жмудь вместе"). Исследовательница полагает, что интерес Ломоносова к варяжской теме обозначился в полемике с Миллером¹²¹. Но этот вывод ставит под сомнение материал, который Моисеева открыла в Киеве, и с которым работал Ломоносов, будучи несколько месяцев в этом городе в 1734 г. Так, в рукописи Киево-Печерского Патерика им выделена та часть, где говорится о Варяжской пещере, в которой "варяжский поклажай есть, понеже съсуди латиньстий суть. И сего ради Варяжскаа пещера зовется и доныне", а на полях Ломоносовым приписано: "Latini wasi[s]" ("латинские сосуды")¹²².

Многолетняя и целенаправленная работа с историческими источниками (большинство из которых еще не было опубликовано) и исторической литературой превратила Ломоносова к 1749 г. в высокопрофессионального историка. Об уровне квалификации Ломоносова в этой области знаний свидетельствует его отношение к источникам, и этот уровень диктовался как предыдущими занятиями историей, так и всем кругом научных интересов Ломоносова, в котором он показал себя уже выдающимся ученым, в совершенстве владеющим методами научного познания. Это сразу же позволило ему увидеть односторонность принципа отбора Миллером источников. Вопрос об источниковой базе оппонента Ломоносов (характеристика его профессионализма) поднял в самом первом пункте своего первого отзыва на диссертацию, указав, что Миллер использовал только иностранные памятники, совершенно игнорируя русские и маскируя свою тенденциозность утверждением, "будто бы в России скудно было известиями о древних приключениях". Сказав, что оппонент "весьма немного читал российских летописей", Ломоносов замечает, что Миллер выборочно пользуется свидетельствами иностранных авторов, которых употребляет "весьма непостоянным и важному историографу непристойным образом, ибо где они противны его мнениям, засвидетельствует их недостоверными, а где на его сторону клонятся, тут употребляет их за достоверных". Миллер, подытоживал Ломоносов, демонстрирует "презрение российских писателей, как преподобного Нестора, и предпочтение им своих неосновательных догадок и готических басней"¹²³.

Миллер, хотя и пишет в диссертации, что у датчан и норвежцев древняя история "наполнена баснями и написана больше для своей похвалы, нежели для подлинного изъяснения учинившихся тогда приключений", но тут же жестко задает цель своего сочинения: что из их истории "объявлю, чем показать можно, что скандинавы всегда старались наипаче о приобретении себе славы российскими походами"¹²⁴. Тенденциозный подбор Миллером источников, подлаженный под четко обозначенную им цель, был виден, кстати, не только Ломоносову. Его еще раньше заметил И.Д. Шумахер. В письме Г.Н. Теплову 7 августа 1749 г. он сообщал, что Миллер пытается разрушить "при помощи шведских и датских писателей мнение, столько стойвшее сочинителям, работавшим для прославления нации"¹²⁵. На абсолютизацию свидетельств северных авторов Миллеру указывал и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт¹²⁶. И вряд ли можно усомниться в правомерности вывода Ломоносова, что "опустить историю скандинавов в России" надо потому, что она "состоит из нелепых сказок о богатырях и колдунях, наподобие наших народных рассказов вроде сказки о Бове-королевиче". Уровень доказательств Миллера и запрограммированность самой речи полно характеризует его реакция на упоминание Ломоносовым Бовы-королевича, известного

героя русской волшебной богатырской повести: "Не помню, чтобы я когда-нибудь слышал рассказ о королевиче Бове; на основании имени подозреваю, что он, пожалуй, согласуется с северными рассказами о Бове, брате Бальтера... если бы это было так, то он еще больше иллюстрировал бы связь между обоими народами"¹²⁷.

Правоту Ломоносова, отдававшего, по сравнению с Миллером, приоритет летописей перед скандинавскими сагами в деле разработки русской истории, подтвердили именитые норманисты. Так, А.Л. Шлецер, выделяя ПВЛ из числа средневековых памятников, отмечал, что она превосходна "в сравнении с беспрестанной глупостью" саг, называл последние "безумными сказками", "глупыми выдумками", "бреднями исландских старух", которые необходимо выбросить из русской истории, сожалел о том, что Байер "слишком много верил" им¹²⁸. Н.М. Карамзин противопоставлял саги – "сказки, весьма недостоверные" ("и кто отличит в них ложь от истины"?) – летописям, достойным "уважения", заметив в отношении Миллера, что он в своей речи "с важностью повторил сказки" Саксона Грамматика о России¹²⁹. В.Г. Васильевский констатировал, что исследователи, "при пользовании сагами, редко дают себе ясный отчет о том, с какого рода источниками они имеют дело, то есть забывают первую обязанность критика"¹³⁰. Со временем Миллер поменял свой взгляд на летописи. И если в 1755 г. он, рассуждая о ПВЛ, указывал, что подобной летописи другие славянские народы не имеют, то в 1760–1761 гг. уже подчеркивал, что летописи представляют собой "собрание российской истории, толь совершенное, что никакой народ подобным сокровищем, толь много лет в непрерывном продолжении включительным, хвалиться не может"¹³¹. Показательный штрих. Миллер, признавая, что руководством в истории русского летописания для него был Татищев, отрицал за его трудом "научное достоинство"¹³². Значительно сдержаннее он стал и в оценке саг, говоря, что в них находится "много бесполезного, гнусного и баснословного, а особливо что нельзя оттуда выбрать никакого согласного летописания: однако, по сему не должно еще опровергать всего, что там ни упомянуто"¹³³.

Ломоносов заключал, что "иностранные писатели ненадежны" при изучении истории России, так как имеют "грубые погрешности"¹³⁴. Миллер усвоил и эту часть урока по источниковедению, который ему преподавал оппонент, говоря в 1755 г., что если пользоваться только иностранными авторами, то "трудно в том изобрести самую истину, ежели притом" не работать с летописями и хронографами, "которые для их точности и совершенства особой похвалы достойны; и когда притом не наблюдать, чтоб ничего российским летописям прекословесно не принимать за правду". Позже он добавил, что иностранцы не долго были в России, большинство из них не знало русского языка, и "то они слышали много несправедливо,

худо разумели, и неисправно рассуждали"¹³⁵. Но лучше по этой теме сказал Шлецер. Характеризуя работу профессора Г.С. Трейера "Введение в Московскую историю" (1720), излагающую ее с Ивана Грозного и лишь на основе записок иностранцев, он был весьма немногословен: "Слепца водили слепцы"¹³⁶. Вместе с тем Ломоносов не абсолютизировал показания отечественных памятников, в то же время предостерегая от отказа от них лишь на том основании, что "в наших летописях не без вымыслов меж правдою, как то у всех древних народов история сперва баснословна, однако правды с баснями вместе выбрасывать не должно, утверждаясь только на одних догадках"¹³⁷. В отношении этих слов А.Г. Кузьмин заметил, что «провозглашенный здесь методологический принцип в большой мере противоположен байеровскому: "лучше признать свое невежество, чем заблуждаться". Ломоносов призывает к бережному отношению к источнику и обоснованию не только утверждений, но и отрицаний»¹³⁸.

Под влиянием Ломоносова Миллер кардинально поменял свое отношение к исследованиям зарубежных историков, касавшихся варяжского вопроса, став относиться к ним критически. Так, в ходе дискуссии он советовал своим оппонентам и в первую очередь, конечно, Ломоносову почитать шведа О. Далина¹³⁹, полагая, что тот развеет все их сомнения в норманстве варягов. Действительно, в 1746 г. этот историк, повествуя о подвигах своих далеких предков на Руси, утверждал, что Швеция "покровительствовала Гольмгардскому государству" до самого прихода татар, а "подпорами" ему были скандинавы¹⁴⁰. Но уже в 1761 г. Миллер сказал о неправоте Далина, "когда немалую часть российской истории внес в шведскую свою историю", а в 1773 г. прямо назвал все его разглагольствования "вымыслами"¹⁴¹. Стоит в этом случае заметить, что А.Л. Шлецер, говоря о "смешных глупостях" писавших о России иностранных ученых, в качестве примера назвал "*Далинов роман о Голмгордском царстве* (курсив автора. – В.Ф.)". А Карамзин охарактеризовал выводы шведского историка "нелепостями" и "баснословием", отметив при этом, что он "обратил сказки древних о гетах и скифах в шведские летописи!"¹⁴²

В разговоре об исторических трудах Ломоносова обычно указывают, как он ошибался, считая, например, пруссов славянами. Но подобными заблуждениями полна, в силу своего еще младенческого состояния, тогдашняя историография, и их много у немецких историков. Так, Байер ставил знак равенства между названием "Москвы" ("Moskau") и "мужской" ("Musik"), т.е. монастырь, и между Псковом и псами¹⁴³, увидел на Кавказе народ "дагистанцы", а в "Казахии" "древнейшее казацкого народа поселения упомянутие", на что Татищев сказал: "Дагистань не есть особый народ, но обшее всех в горах Кавказских обитающих народов звание персидское, по-

русски тоже горские", и что "казацкаго народа древность Беера подобными именами не одна обманула". Он же уверял, что в Сибири живет народ чудь, а "чудь иное есть, как не самое имя скиф". И вновь Татищев разъяснял, что в Сибири нет такого народа и что "чудь и скиф разных языков и разное знаменование". Утверждение Байера, что литовцы зовут русских "гудами", т.е. готами, опять оппорил Татищев: "Сего имени я ни в польских, ни в русских не нахожу, но Стрыковский сказует, что они русских зовут креви". А его мнение, что до Владимира на Руси не было письменности, историк прямо охарактеризовал как "ложь"¹⁴⁴. Причину этих и других ошибок Байера Татищев видел в том, что "ему русского языка, следственно русской истории, недоставало" (как и "географии разных времен"), так как он не читал летописи, "а что ему переводили, то неполно и неправо", поэтому, "хотя в древностях иностранных весьма был сведом, но в русских много погрешал"¹⁴⁵. И Шлецер говорил, что Байер, не зная русского языка, "почему и зависел всегда от неискусных переводчиков и наделал важные ошибки", и что у него "нечему учиться". Карамзин также подчеркивал, что Байер "худо знал нашу древнюю географию"¹⁴⁶.

Принципиальные ошибки связаны с именем Шлецера. Считая, что ПВЛ испорчена позднейшими переписчиками, он стремился к восстановлению "чистого" Нестора, отрицал существование летописей до Нестора¹⁴⁷. Применив, констатировал А.М. Сахаров, свою излюбленную методику критики библейских текстов «к изучению русского летописания, Шлецер направил его по ложному пути поисков "очищенного Нестора", выбрасывая из поля зрения разночтения и редакции летописных текстов, которые он считал результатом невежества позднейших переписчиков»¹⁴⁸. Хотя при этом знал как мнение В.Н. Татищева и И.Н. Болтина, что "были прежде Нестора летописцы, но писания их от времени утратились"¹⁴⁹, так и работу Г.Ф. Миллера, в которой тот вслед за Татищевым утверждал, что "Нестор уже застал письменные известия, по которым сочинил он свою летопись, хотя на она и не ссылается"¹⁵⁰. В итоге, М.Д. Приселков, крупнейший специалист в области летописания, говорил о "величайшем произволе" Шлецера, подавляющего всякие сомнения своим европейским авторитетом, в отношении летописи¹⁵¹, а А.Г. Кузьмин заключил, что «колоссальный ущерб науке нанесло представление о том, что автором "Повести временных лет" был один летописец – Нестор, писавший якобы в начале XII в.»¹⁵² Поэтому, истинная разработка истории летописания началась лишь тогда, когда Г. Эверс и П.М. Строев установили сводческий характер летописей¹⁵³. Шлецер также привнес в науку тезис, лишенный основания, о совершенно низком уровне развития восточных славян, а несогласных с тем резко обрывал. Так, вывод немецкого экономиста А.К. Шторха, что до Рюрика у восточных славян существовала тор-

говля, назвал "ненаучным" и "уродливым", подчеркнув при этом, что этот вывод, будь он "научным", опроверг бы все, "что до сих пор" думали о Руси¹⁵⁴.

В угоду нормализму Шлецер пошел на отрицание подмеченного Байером факта, что россы были в Восточной Европе прежде Рюрика, и попытался вычеркнуть черноморскую русь из русской истории, говоря, что "никто не может более печатать, что Русь задолго до Рюрикова пришествия называлась уже *Русью* (курсив автора. — В.Ф.)"¹⁵⁵. Такая позиция вызвала протест Н.М. Карамзина, справедливо заметившего, что "народы не падают с неба, и не скрываются в землю, как мертвецы по сказкам суеверия"¹⁵⁶. Существование Руси Причерноморской намного ранее прихода Рюрика на Северо-Запад вскоре доказал Г. Эверс¹⁵⁷, что было затем закреплено трудами И.Г. Неймана, Г. Розенкампа и др.¹⁵⁸ Шлецер навязывал науке мнение, что русская история начинается лишь "от пришествия Рюрика" и основания русского "царства"¹⁵⁹, в чем Л.В. Черепнин увидел сильное отставание "от исторической науки своего времени"¹⁶⁰. В целом, как заключал В.О. Ключевский, А.Л. Шлецер "не был достаточно подготовлен к научному изучению истории России", а в "Несторе" "собственно, не двинулся ни на шаг вперед сравнительно с самим Нестором в понимании фактов". Советский историк А.А. Зимин констатировал, что "как историк Древней Руси, Шлецер намного слабее", чем критик текста летописи¹⁶¹. Впрочем, лучше всего сказал сам Шлецер, признавшись, "что для серьезных читателей, а тем более для ученых историков-критиков он не способен написать связной русской истории"¹⁶², хотя и ставил перед собой такую цель.

Но более всего скептически отзываются историки об исходном уровне знаний Миллера. Так, Шлецер с иронией говорил, что Миллер имел "хорошие основания, особенно в классической литературе", приобретенные им в гимназии. Но пребывание в Петербурге, а еще более десятилетнее пребывание в Сибири "стерли все до чиста". Дискуссия, продолжал он, надолго отбила у Миллера охоту к русской истории, "для занятия которою у него без того не доставало знания классических литератур и искусной критики". П.Н. Милюков отмечал отсутствие у Миллера "строгой школы и серьезной ученой подготовки". По словам С.Л. Пештича, Миллер по сравнению со Шлецером "не имел такой блестящей научной историко-филологической подготовки", и даже в годы обсуждения "Сибирской истории" "недостаточно знал древнерусский язык" (точнее, тогда он еще плохо владел русским языком, и его труд, написанный по-немецки, затем переводили на русский переводчики). А.Л. Шапиро указывал, что Миллер, "не окончив курс университетских наук, и к историографическим студиям прибилсл случайно"¹⁶³. Д.Н. Шанский, напротив, уверяет, что на родине он получил "разносторонние знания"¹⁶⁴. Сам же Миллер был очень скромнен в оценке своих возможностей.

Прибыв в Россию, он мечтал только о служебной карьере: "Я более прилежал к сведениям, требуемым от библиотекаря, рассчитывая сделаться зятем Шумахера и наследником его должности". И лишь когда эти планы не сбылись, он "счел нужным проложить другой, ученый путь"¹⁶⁵.

Этот путь Миллер в конечном итоге пройдет и пройдет с честью. Но он давался ему невероятно сложно, ибо изучение русской истории Миллер начинал с абсолютного нуля, и этот процесс долгое время отягощался незнанием русского языка, а тем паче языка летописей, что закрывало доступ к самым важным источникам. За пять лет своего пребывания в России в этом направлении Миллер мало что сделал, о чем полно говорит характеристика, которая была ему дана при назначении профессором истории в июле 1730 г. Она более чем сдержана и нацелена только на перспективу: «Хоть г. Герхард Фридрих Мюллер и не читал еще до сих пор в Академическом собрании никаких своих исследований, так как его работы собственно к тому и не клонятся, однако же составленные и напечатанные им еженедельные "Примечания" успели дать достаточное представление об его начитанности в области истории, о ловкости его изложения, об его прилежании и об умении пользоваться здешней Библиотекой. Можно поэтому надеяться, что если эта прекрасная возможность за ним сохраниться, если повседневной работы у него поубавится и если, вследствие этого, у него освободиться больше времени для частного изучения истории, то, изучая ее таким образом, он сумеет выдвинуться, в каковых целях ему можно было бы доверить кафедру истории»¹⁶⁶.

Даже к 1749 г. у Миллера был наименьший опыт работы в области русских древностей. Его начальные занятия русской историей были сведены лишь к составлению родословных таблиц¹⁶⁷. О степени его вхождения в нее и сложный мир летописей свидетельствует тот факт, что Миллер, опубликовав в 1732–1735 гг. в "Sammlung russischer Geschichte" немецкий перевод извлечений из летописи с 860 по 1175 г., приписал ее "игумену Феодосию", вслед за ним это повторил Байер¹⁶⁸. Лишь под воздействием Татищева Миллер в диссертации и позже говорил, что ПВЛ написал Нестор, "прежде сего ошибкою переводчика Феодосием назван"¹⁶⁹. Но дело было не только в переводчике: в конце 1740-х годов Миллер Сильвестра, чье имя в качестве составителя ПВЛ читается в ряде летописей, выдавал за игумена Никольского, а не Выдубицкого монастыря, в чем его опять же поправил Татищев¹⁷⁰. Еще в 1761 г. он демонстрировал не совсем основательные знания по русской истории. Так, в "Кратком известии о начале Новагорода и о происхождении российского народа", по характеристике С.Л. Пештича, "упрощенном описании новгородской истории", Г.Ф. Миллер увидел в бояр выборных лиц, а термин "тысяцкий" наивно объяснял тем, что тот должен был "стараться о

багосостоянии многих тысяч человек"¹⁷¹. Но, не зная истории Руси, не зная русского языка, он уже тогда смотрел на нее глазами, если повторить его слова, "норвежских и древних датских поэтов и историков"¹⁷². Сам же перевод 1732 г. выдержек из ПВЛ был так ошибочен, что Миллер в 1755 г. признал, что они "во многих местах неисправны", тем самым, как заметил Шлецер, "лишил" его значения¹⁷³.

Пребывание Миллера в Сибири (1733–1743) и последующая работа над "Сибирской историей" вызвали 16-летний перерыв в его интересе к ранней истории Руси (в споре с Крекшиным он вряд ли к ней возвращался, пользуясь наработками в генеалогических разысканиях). И к ней ученый обратился лишь весной 1749 г., когда ему было поручено подготовить речь к торжественному заседанию Академии. И ему менее чем за полгода надлежало раскрыть тему "О происхождении имени и народа российского", которой он доселе никогда не занимался. Задача была нереальной, но Миллер решил ее удобным и единственным для себя способом. Что это был за способ, сразу же определил Ломоносов, говоря в замечаниях на диссертацию про "доводы господина Миллера, у Бейера занятые". В 1761 г. он сказал более конкретно: "Миллер в помянутую заклятую диссертацию все выкрал из Бейера; и ту ложь, что за много лет напечатана в "Комментариях", хотел возобновить в ученом свете"¹⁷⁴. В.О. Ключевский почти через полтора века произнес по сути те же слова: Миллер своими изысканиями "сказал мало нового, он изложил только взгляды и доказательства Байера". Немецкий историк П. Гофман в 1961 г. также заметил, что диссертация Миллера "в основном лишь обобщала и систематизировала взгляды Байера"¹⁷⁵. Но все равно дело шло необычайно трудно, так что Миллер начал представлять свою диссертацию на суд президента Академии лишь с 14 августа и то лишь по частям¹⁷⁶.

В норманистской литературе не принято говорить, в чем же конкретно заключалась "безупречная" аргументация Миллера, утверждавшего ею "научную истину", и что ей противопоставлял Ломоносов. А аргументация эта весьма красноречива. Миллер согласился с Байером, что не было Аскольда и Дира, а был только один "Осколд, по чину своему прозванный Диар, которое слово на старинном готфском языке значит *судью* или *начальника* (курсив автора. – В.Ф.)", чего не знали летописцы¹⁷⁷. Это мнение Ломоносов оспорил, сославшись на ПВЛ и М. Стрыйковского¹⁷⁸ (Н.М. Карамзин говорит, что данную ошибку "доказал" А.Л. Шлецер¹⁷⁹, видимо, имея в виду его статью 1773 г.). Миллер, опираясь на мнение Байера, что литовцы русских называют "гудами", заключал, "из чего, как кажется, явствует, что они или знатнейшая их часть по мнению соседственных народов, произошли от готфов"¹⁸⁰. В системе доказательств последнего Миллер важное место отвел топонимике. Но его суждение, что имя г. Холмогор произошло "от Голмгардии, которым его

скандинавцы называли", разбивало простое объяснение Ломоносова: "Имя Холмогоры соответствует весьма положению места, для того что на островах около его лежат холмы, а на матерой земли горы, по которым и деревни близ онога называются"¹⁸¹. Миллер, надо сказать, и уже после дискуссии все продолжал проводить мысль, что Гольмгардом, как называют саги Новгород, кажется, вначале именовали Холмогоры, "столицу Биармии"¹⁸².

По тому же принципу Миллер попытался превратить название г. Изборска в скандинавское, утверждая, что "он от положения своего у реки *Иссы* (здесь и далее курсив автора. – В.Ф.) именован *Иссабург*, а потом его непрямо называть стали *Изборском*"¹⁸³. На что его оппонент коротко, но исчерпывающе заметил: "Весьма смешна перемена города Изборска на Иссабург"¹⁸⁴. Мысль Миллера попытался закрепить в науке А.Л. Шлецер, говоря, что Изборск, кажется, прежде назывался по-скандинавски Исабург "по тамошней р. Иссе"¹⁸⁵. Н.М. Карамзин, возражая Миллеру, отметил обстоятельство, делающее "изъяснение" Изборск как Исаборг бессмысленным: "Но Иса далеко от Изборска"¹⁸⁶. Норманист П.Г. Бутков, отметив, что Исса вливается в р. Великую выше Изборска "по прямой линии не ближе 94 верст", привел наличие подобных топонимов в других русских землях. И как заключал он, нельзя "отвергать славянство в имени" Изборска "только потому, что скандинавцы превращали наш *бор*, *борск* на свои *борг*, *бург* (курсив автора. – В.Ф.)"¹⁸⁷. Современные исследователи, видящие в варягах норманнов, говорят, что Изборск – "славянский топоним", подчеркивая при этом, что зафиксированное в памятниках написание "Изборскъ" (только через -з- и без -ъ- после него) "указывает на невозможность отождествления форманта "Из- с названием реки Иссы (Иссы)"¹⁸⁸. Данную тему закрывает вывод лингвиста С. Роспонда, констатировавшего совершенное отсутствие среди названий древнерусских городов IX–X вв. "скандинавских названий" вообще¹⁸⁹. Но миражный "Иссабург" Миллера ныне пытаются возродить археологи-норманисты, без труда преодолевая непреодолимое препятствие, указанное Карамзиным и Бутковым. Заложив скандинавский Isaborg в конце IX в. на р. Великой (по-фински Иса), С.В. Белецкий часть его жителей в 30-е годы XI в. переселяет за десятки километров на новое место – Труворово городище, ставшее Изборском. С топонимом "Исуборг", заключает ученый, параллельно использовался топоним Пъсков, который был возрожден, "но уже применительно к основанному на месте сожженного Исуборга древнерусскому городу"¹⁹⁰. Такая сверхсложная комбинация потребовалась по той причине, что, согласно Сказанию о призвании варягов, брат Рюрика Трувор сел в Изборске, но в его археологических материалах IX–X вв. абсолютно отсутствуют скандинавские вещи¹⁹¹.

Приняв тезис Байера, что имя "русь" перешло на восточных славян от финнов, именовавших так шведов, Миллер добавил, "подобным почти образом как галлы франками и британцы агличанами именованы"¹⁹². Происхождения "россов" от шведов Ломоносов охарактеризовал как "на догадках основанное", заметив, что "пример агличан и франков... не в подтверждение его вымысла, но в опровержение служит: ибо там побежденные от победителей имя себе получили. А здесь ни победители от побежденных, ни побежденные от победителей, но всех от чухонцев!"¹⁹³. Позиция Ломоносова получила поддержку среди антинорманистов и их противников. По мнению Г. Эверса, "беспримерным и неестественным мне кажется, чтоб завоевывающий народ переменял собственное имя на другое, употребляющееся у соседа, и сообщил сие принятое имя основанному им государству"¹⁹⁴. "Как-то странно допустить, – говорил К.Н. Бестужев-Рюмин, – чтобы скандинавы сами называли себя именем, данным им финнами"¹⁹⁵. М.П. Погодин признал, что "посредством финского названия для Швеции Руотси... объяснять имени Русь нельзя, нельзя и доказывать ими скандинавского ее происхождения ...Ruotsi... есть случайное созвучие с Русью"¹⁹⁶. Г.В. Вернадский отмечал, что историк не может быть удовлетворен "трансмутацией" ruotsi в Rus. И если имя "русь" произошло от искаженного финского ruotsi, то как объяснить, что это название (в форме "рось") было известно византийцам еще до призвания варягов¹⁹⁷. Лингвист А.В. Назаренко показал, что этноним "русь" появляется в южнонемецких диалектах не позже рубежа VIII–IX вв., "а, возможно, и много ранее". А этот факт, по его словам, усугубляет трудности в объяснении имени "Русь" от финского Ruotsi. И оригиналом заимствования древневерхненемецкого термина Ruzzi послужила, заключает ученый, славянская форма этнонима, "а не гипотетический скандинавоязычный прототип *rōps-"¹⁹⁸.

Принято учеными и заключение Ломоносова, что "имени русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слышано"¹⁹⁹. Сначала Миллер признал, что имя россов не было в середине IX в. "известно в Швеции"²⁰⁰, а затем в 1877 г. известный норманист В. Томсен согласился (а за ним это делают сейчас все его единомышленники), что среди скандинавов не было племени "русь" и так себя они не называли²⁰¹. Вместе с тем Ломоносов обратил внимание на существование в Европе, помимо Киевской Руси, других "Русий", например, "Белой и Чермной", которые, как он заметил, "имеют имя свое, конечно, не от чухонцев", доказал, что "российский народ был за многое время до Рюрика", чему так упорствовал Миллер, но затем уже сам утверждавший, что "*россы* (здесь и далее курсив автора. – В.Ф.) были и *прежде Рюрика*"²⁰². Уже в XIX в. историками было доказано существование Русий азовско-черноморской, южнобалтийских, паннонской, карпатской и др. Все большую роль

в науке играет идея Ломоносова о связи руси с роксоланами. Так, антиноманист Л.В. Падалко выводил имя "руси" от рокс-алан, т.е. белых (господствующих) алан²⁰³. Норманист Г.В. Вернадский полагал, что название русов изначально принадлежало одному из "аланских кланов" – светлым асам (рухс-асам)²⁰⁴. Д.Т. Березовец установил, что восточные авторы под "русами" понимали алан Подонья. Д.Л. Талис показал существование Причерноморской Руси в VIII – начале X в. в Восточном и Западном Крыму, а также в Северном и Восточном Приазовье, увязав ее с аланами. М.Ю. Брайчевский "русские" названия днепровских порогов, приведенные Константином Багрянородным, объяснил из осетинского языка, являющегося наследием аланского. Существование Салтовской и Причерноморской Русий, а также Аланской Руси в Прибалтике, созданной в IX в. русами-аланами после их переселения с Дона из пределов разгромленного хазарами и венграми Росского каганата, обосновал А.Г. Кузьмин²⁰⁵.

Ломоносов, опровергая мнение Миллера, видевшего в варягах лишь датчан, норвежцев и шведов, доказывал, что так "назывались народы, живущие по берегам Варяжского моря". Эту же мысль он проводил позже, говоря, что варяги "от разных племен и языков состояли и только одним соединялись обыкновенным тогда по морям разбоем". Миллер во время дискуссии упорно не соглашался с оппонентом: "Итак, неверно, что все племена у Варяжского моря носили название варягов ...Неверно, что варяги, кроме морских побережий, населяли также большую полосу земли к югу и востоку"²⁰⁶. Но, во-первых, согласно показанию ПВЛ, варяги сидели по Варяжскому морю "ко вѣстоку до предела Симова, по тому же морю сѣдять к западу до земли Агнянски"²⁰⁷. Летописец начинал "Симов предел" с Волжской Болгарии²⁰⁸, а земля "Агнянска" – это юго-восточная часть Ютландского полуострова²⁰⁹, где до своего переселения в Британию обитали англо-саксы (о чем напоминает название нынешней провинции Angeln земли Шлезвиг-Гольштейн ФРГ). Во-вторых, правоту Ломоносова в определении широкого значения термина "варяги" подтверждают источники. В начале XVII в. швед П. Петрей, проведший в России несколько лет, констатировал, что "русские называют варягами народы, соседние Балтийскому морю, например, шведов, финнов, ливонцев, куронов, пруссов, кашубов, поморян и вenedов", т.е. относят к варягам германцев, финнов, куршей, славян Южной Балтики, и какие-то еще другие, не названные им европейские народы. Швед Ф.-И. Страленберг, 13 лет пробыв в русском плену после Полтавы, в 1730 г. сообщил, что "варяги есть имя общественное, которым назывались... народы, обитавшие около Балтийского моря"²¹⁰. Позже Миллер также утверждал, что по всему Варяжскому морю не было народа, который бы собственно варягами назывался, что под варягами следует разуметь мореплавателей, во-

инов, которые "могли состоять из всех северных народов и из каждого состояния людей"²¹¹.

С.М. Соловьев, ставя в особую заслугу Ломоносову именно то, что он отрицал этническое содержание термина "варяги", рассуждал в том же русле, в основном понимая под варягами европейские дружины, "сбродную шайку искателей приключений"²¹². Ломоносов в 1749 г. также говорил, что новгородцы западные народы "варягами называли"²¹³, т.е. значительно расширил рамки приложения русским слова "варяги". Как установил А.Г. Кузьмин, собственно варягами были соседи англо-саксов на востоке – "варины", "вары", "вагры", населявшие Вагрию. Именем варягов затем называли на Руси всю совокупность славянских и славяноязычных народов, проживавших на южном побережье Балтики от польского Поморья до Вегрии включительно, а еще позднее – многих из западноевропейцев²¹⁴. С рубежа XII–XIII вв. термин "варяги" был вытеснен из письменной (светской) практики понятием "немцы", но сохранялся в устной и церковной традициях²¹⁵. Ломоносов был первым в науке, кто обратил внимание на тесную смысловую связь терминов "варяги" и "немцы" и даже пытался ее объяснить²¹⁶. И в этом случае его позиция подкрепляется источниками. Например, в Рогожском летописце (свод второго десятилетия XV в., список 40-х годов XV в.) в рассказе под 986 г. о приходе к Владимиру посольств вместо "немцев" к князю явились уже "варяги": "придоша к Владимиру бохмичи и варязи и жидове"²¹⁷. В ранних летописях в этом случае сказано иное: "придоша немци... от папежа" (Лаврентьевская), "от Рима немци" (Радзивилловская), "немци от Рима" (Ипатьевская)²¹⁸. Густинская летопись (1670), ведя речь о шведах, подчеркивает: "Их же бо оные тогда варягами нарицах. Си мы всех обще немцами нарицаем. Си есть шведов, ангелчиков, гишпанов, французов и влохов и прусов"²¹⁹.

Ломоносов в ходе дискуссии задал Миллеру вопрос, ставящий под сомнение все его выводы: почему он "нигде не указал отца Рюрика, его деда или какого-нибудь скандинава из его предков? Он поступил неразумно и вообще опустил то, что является самым важным в этом вопросе. Но, конечно, он не может найти в скандинавских памятниках никаких следов того, что он выдвигает". Позже, говоря о призвании Рюрика, ученый заметил, что если бы он был скандинавом, то "нормандские писатели, конечно бы, сего знатного случая не пропустили в историях для чести своего народа, у которых оный век, когда Рурик призван, с довольными обстоятельствами описан"²²⁰. Более точно выразился по этому поводу немец Г. Эверс. Охарактеризовав отсутствие у скандинавов преданий о Рюрике как "убедительное молчание", он заключил, что "всего менее может устоять при таком молчании гипотеза, которая основана на недоразумениях и ложных заключениях"²²¹. По мнению Ломоносова, Байер, "послед-

дуя своей фантазии", имена русских князей "перевертывал весьма смешным и неподозволительным образом, чтобы из них сделать имена скандинавские; так что из Владимира вышел у него Валдамар, Валтмар и Валмар, из Ольги Аллогия, из Всеволода Визавалдур и проч."²²² Правоту этих слов подтвердил норманист В.О. Ключевский, сказав о способе Байера "превращать" русские имена в скандинавские: "Впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым, но самый прием доказательства держится доселе"²²³.

Но сам Ломоносов заблуждался, полагая имя Рюрик скандинавским, объяснение чему видел в тесных связях (том числе и брачных) южнобалтийских славян со скандинавами²²⁴. Еще С.А. Геденон указывал, что имя Рюрик шведам "неизвестно"²²⁵. Об отсутствии этого имени у шведов затем спустя много лет говорил норманист Н.Т. Беляев²²⁶. А.Г. Кузьмин показал, что это имя имело широкое распространение в Европе уже "с первых веков нашей эры", отразив в себе племенное название руриков, имя которых происходит от р. Рур или Раура²²⁷. Недавно шведская исследовательница Л. Грот, напомнив, что имя Рюрик не встречается в шведских именословах, доказала отсутствие связи между шведским именем "Helge", означающее "святой" и появившееся в Швеции в ходе распространения христианства в XII в., и русскими именами IX–X вв. "Олег" и "Ольга"²²⁸. Еще в 30-е годы XX в. в немецкой и отечественной историографии указывалось, что "в договоре Олега с греками 907 г. упоминаются дружинники, имена которых звучат совершенно по-эстонски"²²⁹. А.Г. Кузьмин, обращая внимание на сложный, полиэтнический состав древнерусского именослова (славянский, кельтский, иллиро-венетский, подунайский, восточнобалтийский, иранский и другие компоненты), установил, что в нем "германизмы единичны и не бесспорны", а норманская интерпретация, которая сводится к отысканию приблизительных параллелей, а не к их объяснению, противоречит материалам, "характеризующим облик и верования социальных верхов Киева и указывающим на разноэтничность населения Поднепровья"²³⁰.

Миллер уверял, что Ломоносов не может подкрепить свои "выдумки" о южнобалтийском происхождении руси "свидетельствами историй", подчеркивая при этом, что «ни у кого из писателей в уме никогда не было, кроме автора киевского "Синописа", варягов признавать за славян"²³¹. Но, помимо Синописа (1674), о том же говорят, например, "августинская" легенда (вторая половина XV в.), "Хронограф" С. Кубасова (1626), Бело-Церковский универсал Б. Хмельницкого (1648)²³². О южнобалтийской Вагрии как родине варягов вели речь многие западноевропейцы – С. Герберштейн (первая половина XVI в.), Г.В. Лейбниц (1710)²³³. Датчанин А. Селлий, тремя годами ранее Миллера приехавший в Россию, утверждал то же самое²³⁴. В XVII в. немецкие историки Ф. Хемнитц и Б. Латом ус-

тановили, что Рюрик жил около 840 г. и был сыном ободритского (южнобалтийское славянское племя) князя Годлиба²³⁵. В 1708 г. был издан первый том "Генеалогических таблиц" И. Хюбнера. Династию русских князей он начинает с Рюрика, потомка вендо-ободритских королей²³⁶. И Миллер лукавил, упрекая оппонента в отсутствии "свидетельств истории", ибо был в курсе их существования. Так, Байер в статье "De Varagis" привел известия "августинской" легенды, Герберштейна, Латома, Хемнитца²³⁷. Ломоносов пользовался 4-м изданием Хюбнера (1725), имевшимся в Библиотеке Академии наук²³⁸, и Миллер, несколько лет проработав ее библиотекарем, знал, конечно, о наличии в ее фондах этого труда. В последующих работах он, что показательно, не проходил уже мимо версии о выходе варягов из Вагрии и "мекленбургских писателей", выведших Рюрика от ободритских князей²³⁹.

Критикуя Миллера, Ломоносов акцентировал внимание на том факте, что Перуна почитали "российские князья варяжского рода", и что его культ был распространен на славянском побережье Балтийского моря, пришел к выводу, что варяжская русь вышла именно из тех мест и говорила "языком славенским"²⁴⁰. С.А. Гедеонов отмечал невозможность того, чтобы норманские конунги поклонялись славянским Перуну и Волосу, ибо они "тем самым отрекались от своих родословных; Инглинги вели свой род от Одина". "Вообще, – добавлял историк, – промена одного язычества на другое не знает никакая история"²⁴¹. Скандинавских божеств нет в языческом пантеоне, созданном Владимиром. Причем тогда, когда, подчеркивает А.Г. Кузьмин, по мнению норманистов, скандинавы "в социальных верхах численно преобладали". Хотя языческий пантеон Владимира, говорит историк, "указывает и на широкий допуск: каждая этническая группа может молиться своим богам", но при этом ни одному германскому или скандинавскому богу в нем "места не нашлось"²⁴². Перуну, богу варяго-русской дружины, совершенно не известному германцам, поклонялись на всем славянском Поморье. С Южной Балтикой связан и характер изображения божеств, установленных Владимиром в 980 г.²⁴³

С.А. Гедеонов заметил, что "из признаков влияния одной народности на другую самые верные представляет язык"²⁴⁴. В этом аспекте и следует рассматривать заключение Ломоносова, что, если бы русь была скандинавской, то "должен бы российский язык иметь в себе великое множество слов скандинавских"²⁴⁵. Но норманист В.А. Мошин в русском языке насчитал всего лишь 6 слов германского происхождения²⁴⁶. Вместе с тем в шведском и в других скандинавских языках имеется 12 весьма значимых заимствований из древнерусского, например, "Iodhia" – лодья (грузовое судно), "torg" – торг, рынок, торговая площадь, "besman" ("bisman") – безмен, pitschaft – печать и др.²⁴⁷ И, исходя из того, говорил норманист С.Н. Сыромят-

ников, что слово "torg" стало достоянием всего скандинавского мира, то "мы должны признать, что люди, приходившие торговать в скандинавские страны и приносившие с собою арабские монеты, были славянами"²⁴⁸. О том, что торговые пути на Балтике, а затем в Восточной Европе прокладывали славяне, говорят, наряду с лингвистическими, нумизматические данные: самые древние клады восточных монет находятся на южнобалтийском Поморье (VIII в.), заселенном славянскими и славяноязычными народами. Позже такие клады появляются на Готланде (начало IX в.) и лишь только в середине этого столетия в самой Швеции²⁴⁹. Археолог А.Н. Кирпичников сегодня уточняет, что "до середины IX в. не устанавливается" сколько-нибудь значительного проникновения арабского серебра "на о. Готланд и в материковую Швецию (больше их обнаруживается в областях западных славян)"²⁵⁰, хотя начало дирхемной торговли ученый относит к 50–60-м годам VIII в. Из чего следует, что почти 100 лет эта торговля, по существу, не затрагивала скандинавов²⁵¹. В свете этих данных актуально звучат слова Ломоносова, произнесенные в "Древней Российской истории", что южнобалтийские славяне "издревле к купечеству прилежали"²⁵². Действительно, торговля являлась одним из самых приоритетных занятий южнобалтийских славян, на что указывает, подчеркивают специалисты, топография кладов²⁵³.

Ломоносов как в дискуссии с Миллером, так и позже, обращая внимание на название устья Немана, Руса, указал на бытование в прошлом Неманской Руси, откуда и выводил варяжских князей на Русь²⁵⁴. Эта мысль нашла поддержку среди широкого круга исследователей, в том числе и среди норманистов. Так, Миллер уже после дискуссии говорил о варяжской руси (роксоланах-готах) в Пруссии при устье Немана. Н.М. Карамзин под влиянием "августинской" легенды и "русского" топонимического материала в Пруссии допускал возможность призвания варягов из ее пределов, причем полагая, что само название Пруссия "произошло от реки Русы или Русны". Наличие Руси в устье Немана доказывал в 1840 г. И. Боричевский²⁵⁵. М.П. Погодин, вначале выводя варягов из Скандинавии, в 1860 г. уже полагал, что на Южную Балтику переселилось из Норвегии "племя скандинавское или готское", совершенно "покрывшее" первых поселенцев. А через несколько лет утверждал, что "призванное к нам норманское племя могло быть смешанным или сродственным с норманнами славянскими" и что в славянских землях Южной Балтики (имелась в виду прежде всего Вагрия) может заключаться "ключ к тайне происхождения варягов и руси. Здесь соединяются вместе и славяне, и норманны, и вагры, и датчане, и варяги, и риустри, и росенгау". Но в 1874 г., перед своей кончиной Погодин сказал, что варяги-русь в эпоху призвания "жили, вероятнее, в нижнем течении Немана", где их только и надо искать²⁵⁶.

Вышеприведенные памятники, отразившие южнобалтийскую традицию происхождения варягов, привели А.Г. Кузьмина к заключению, что "говорить о Ломоносове как о родоначальнике антинорманизма можно лишь условно: по существу, он восстанавливал то, что ранее уже было известно, лишь заостряя факты, либо обойденные, либо произвольно интерпретированные создателями норманно-германской концепции"²⁵⁷. Вместе с тем не имеет под собой никакого основания мнение, что у норманизма "была прочная историографическая традиция в средневековой отечественной литературе и летописании". В качестве доказательства этого посыла обычно обращаются к Сказанию о призвании варягов, придавая значение тому обстоятельству, что варяжская русь названа в одном ряду со скандинавами: послы идут "к варягом, к руси; сие бо тии звахуся варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, англыне, друзии гъте, тако и си"²⁵⁸. Но специалисты в области летописания указывают, что скандинавы названы варягами лишь в этом разъяснении Сказания, не являющимся его органической частью, и видят в нем пояснение летописца второго десятилетия XII в.²⁵⁹, во времена которого термин "варяги" уже прилагался ко многим западноевропейским народам. В связи с чем он специально и выделил русь из числа других варяжских, как бы сейчас сказали западноевропейских народов, при этом не смешивая ее со шведами, норвежцами, англами-датчанами и готами. И первым об этом сказал Ломоносов, что нашло поддержку в историографии²⁶⁰. Сама же ПВЛ подчеркивает только славянское происхождение руси. В Сказании о славянской грамоте говорится, что "словенский язык и русский одно есть"²⁶¹. А из ее рассказа об основании варягами в Северо-Западной Руси городов, носящих исключительно славянские названия – Новгород, Белоозеро, Изборск, вытекает, что языком ее общения был славянский язык. Летопись, подытоживал С.А. Гедеонов, "всегда останется... живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси"²⁶².

Прекрасное знание. Ломоносовым источников, русской и европейской истории, его превосходство над Миллером и в методологическом плане позволили ему доказать стремление оппонента "покрыть истину мраком"²⁶³. А что это за истина, демонстрируют саги, которыми так был увлечен Миллер. Исследовательница саг Т.Н. Джаксон, говоря, что к сведениям саг и у нас, и за рубежом относятся "без должного критического внимания", в связи с чем их нередко используют "при построении малообоснованных гипотез", сказала, что, "по-видимому, в сагах роль скандинавов значительно преувеличена"²⁶⁴. Но роль скандинавов в истории Руси преувеличивают норманисты, тогда как саги свидетельствуют, о чем говорилось еще в XIX в., что герои севера впервые стали появляться на Руси лишь при Владимире, в конце X в.²⁶⁵, причем действуя исключи-

тельно только в Прибалтике, и лишь только при Ярославе Мудром, в связи с его женитьбой на шведке Ингигерде, в среду варягов-наемников вливаются, как показывает А.Г. Кузьмин, шведы. После чего они начинают проникать в Византию, где приблизительно в 1030 г. вступают в корпус варангов²⁶⁶. Эти выводы полностью подтверждают принципиальную правоту Ломоносова, отрицавшего норманство варягов предшествующего времени.

Поэтому он и заключал, что "оной диссертации никоим образом в свет выпустить не надлежит", ибо "вся она основана на вымысле и на ложно приведенном во свидетельство от господина Миллера Несторовом тексте", и может составить "бесславию" Академии. Ломоносов обращал внимание и на политическую подоплеку норманского вопроса, говоря, что в диссертации находятся "опасные рассуждения", а именно: "происхождение первых великих князей российских от безымянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, который их именно от варягов-руси производит, происхождение имени российского весьма недревне... частые над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями... России перед другими государствами предосудительны, а российским слушателям досадны и весьма несносны быть должны". В этих словах и в словах, "что ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, то не будут ли из того выводить какого опасного следствия"²⁶⁷, обычно и видят единственный мотив выступления Ломоносова против норманской теории. Несомненно, патриотизм и эмоции в этом деле присутствовали, но они уже были явлениями, так сказать, второго порядка, ибо Ломоносов прежде всего выступил против фальсификации начальной истории Руси, в угоду чему совершалось явное насилие над источниками. И вряд ли ему можно вменить в вину то, что он на заре зарождения исторической науки в России встал на защиту исторической правды, желая ознакомить с ней соотечественников. Да и в трудах по истории России, вышедших за границей, говорил Шлецер, встречается "множество смешных глупостей" о ней²⁶⁸.

В условиях национального подъема России понятна забота Ломоносова о ее международном престиже, зависящем не только от ее настоящего, но и от ее прошлого. О своем престиже тогда беспокоились, наверное, все европейские страны, не оставляя без внимания ничего, что могло бы принести им бесчестье. В этом плане показательна та обеспокоенность Шумахера, которую он выразил 4 декабря 1749 г. в письме Теплову. Сообщая, что похвальная речь Ломоносова императрице на торжественном заседании Академии была принята с одобрением, он при этом подчеркнул: в ней имеются выражения, которые могут показаться обидными прусскому и шведскому правительству ("прусаки и шведы также, когда вы им покажите прилагательное при сем писание, потому что они устыдятся своих жалоб против г. Ломоносова")²⁶⁹. Опытный Шумахер, чтобы упредить

возможный международный скандал, завел разговор всего лишь из-за того, что Ломоносов несколько раз упомянул о победах русских над шведами в Северной войне и войне 1741–1743 гг. Пруссию же он прямо нигде не назвал, но в его словах о "завистнике благополучия нашего", которому Россия может ответить всей своей мощью, видят намек на прусского короля Фридриха II²⁷⁰. Зрела Семилетняя война, и европейские государства, зная себе цену в настоящем и свои устремления в будущем, всемерно вставали на защиту своего прошлого. И Россия не желала быть своей историей, как считал Вольтер, "подтверждением и дополнением к истории Швеции"²⁷¹. У нее была своя судьба, свое предназначение.

Ломоносов показал несостоятельность норманской теории также профессионально, как он профессионально показал в 1764 г. непригодность "Русской грамматики" Шлецера в том виде, в каком она была задумана. Шлецер стремился русские слова либо вывести из немецкого, либо дать им неблагозвучное объяснение: "дева" и "Dieb" (вор), нижнесаксонское "Tiffe" (сука), голландское "teef" (сука, непотребная женщина); "князь" и "Knecht" (холоп); боярин, барин и баран, дурак²⁷². В этих словопроизводствах, проистекающих из представления немцев, что русский язык есть Knechtsprache²⁷³, Ломоносов увидел, как и в случае с диссертацией Миллера, отсутствие науки. Над своей "Российской грамматикой", которая, по словам П.А. Лавровского, "на целый век предупреждает умственное развитие образованного класса"²⁷⁴, Ломоносов трудился не менее десяти лет. Шлецер, только что научившийся читать, но еще не умевший свободно говорить по-русски, на ту же работу потратил всего четыре месяца. Поэтому "кость" он переводит как "Bein" (нога), пишет "блита или плита", "лез" вместо "лес", "клыба" вместо "глыба", вводит в состав основного словарного фонда несуществующее слово "дарда" (в значении "копье")²⁷⁵. Нисколько не сомневаясь в своих способностях вообще, Шлецер и в этом случае остался верен себе, утверждая, что имел перед Ломоносовым "значительное преимущество", а тот на его грамматику взъелся лишь потому, что ее написал иностранец. А что им произносилось, для его последователей обретало силу закона. Так, С.К. Булич говорил о неоспоримом превосходстве Шлецера над Ломоносовым в отношении широты филологического и лингвистического образования, знания языков и проницательности взгляда²⁷⁶. Ф. Эмин в 1767 г. по поводу якобы связи Knecht с князем сказал, что здесь нет ни близкого сходства слов, "ниже в мысли разума", и равно тому, если немецкое König, "у вестфальцев произносимое *конюнг* (курсив автора. – В.Ф.)", сопоставить с русским "конюх". Но то, что заметили Ломоносов и его современники, не желали замечать более образованные их потомки. Так, В.Г. Белинский в 1845 г. в приведенных примерах увидел лишь то, как Шлецер "смешно ошибался в производстве некоторых русских слов"²⁷⁷.

Как историк России, Ломоносов ставил перед собой задачу: "Коль великим счастьем я себе почесть могу, ежели мою возможною способностию древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются"²⁷⁸. Благородная цель, служению которой хотел бы посвятить жизнь каждый историк. И можно только гадать, что было бы им сделано на поприще истории, если бы она одна была его уделом. Но и того, что он сделал, занимаясь еще химией, математикой, физикой, металлургией и многими другими отраслями науки, где прославил свое имя на века, вполне достаточно, чтобы признать Ломоносова историком и без предвзятости взглянуть и на него и на его наследие. От чего ни в коей мере не пострадают истинные и весьма значительные заслуги немецких ученых перед русской исторической наукой, но это уже тема отдельного разговора. Великий Эйлер в одном из писем за 1754 г. с восхищением говорил Ломоносову, что "я всегда изумлялся Вашему счастливому дарованию, выдающемуся в различных научных областях"²⁷⁹. Таким же дарованием, помноженным на свойственное ему трудолюбие и желание дойти до самой сути дела, обладал Ломоносов и в истории, не жертвуя при этом ни истиной и ни своей очень высокой научной репутацией.

¹ *Миллер Г.Ф.* О народах издревле в России обитавших. СПб., 1788. С. 127.

² *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная.* СПб., 1875. С. 48, 56, 193–196, 200–201, 207, 227, 229–230; *Шлецер А.Л.* Нестор. СПб., 1809. Ч. I. С. 325, 430.

³ *Крузе Ф.* Происходят ли руссы от вендов и именно от рогов, обитавших в Северной Германии // *Журнал Министерства народного просвещения.* СПб., 1843. Ч. XXXIX. Июль. С. 38. (Далее: ЖМНП.)

⁴ *Карамзин Н.М.* История государства Российского. СПб., 1818. Т. I. Примеч. 105, 106, 111; *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. СПб., 1837. Т. XX. С. 101.

⁵ См. об этом: *Белинский В.Г.* Славянский сборник Н.В. Савельева-Ростиславица. СПб, 1845 // *Он же.* Собрание сочинений: В 9 т. М., 1981. Т. 7. С. 373, 380, 382, 384; *Соловьев С.М.* Герард Фридрих Мюллер (Федор Иванович Миллер) // Соч. М., 2000. Кн. XXIII. С. 57; *Билярский П.С.* Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 767.

⁶ *Бестужев-Рюмин К.Н.* Русская история. СПб., 1872 Т. I. С. 211; *Он же.* Биографии и характеристики (летописцы России). М., 1997. С. 160; Лекции по историографии профессора Бестужева-Рюмина за 1881–1882 года. СПб., [б.г.]. С. 9.

⁷ *Пекарский П.П.* История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873. Т. II. С. 144, 145, 428, 432; *Ключевский В.О.* Лекции по русской историографии // Соч.: В 8 т. М., 1959. Т. VIII. С. 400, 403, 407–408, 410–411, 484. Примеч. 51; *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. СПб., 1913. С. 7–8, 87–88, 127; *Войцехович М.В.* Ломоносов как историк // Памяти М.В. Ломоносова: Сб. статей к 200-летию со дня рождения Ломоносова. СПб., 1911. С. 64–65, 71–74, 81.

⁸ *Лавровский Н.А.* О Ломоносове по новым материалам. Харьков, 1865. С. 128–129, 145–151, 169–172.

- ⁹ Берков П.Н. Ломоносовский юбилей 1865 г. (Страница из истории общественной борьбы шестидесятых годов) // Ломоносов: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1946. Т. II. С. 244.
- ¹⁰ Полевой Н.А. История русского народа. М., 1997. Т. 1. С. 29; Старчевский А.В. Очерк литературы русской истории до Карамзина. СПб., 1845. С. 142; Белинский В.Г. Указ. соч. С. 373, 378–381, 384; Соловьев С.М. Писатели русской истории // Соч. Кн. XVI. 1995. С. 221–222.
- ¹¹ Ключевский В.О. Указ. соч. С. 407, 409, 411, 415; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 19, 63, 72–76, 92, 98, 107–114, 127; Войцехович М.В. Указ. соч. С. 60–67, 75, 77–79, 83–87.
- ¹² Соловьев С.М. Писатели русской истории. С. 222; Ключевский В.О. Указ. соч. С. 408, 409–410; Войцехович М.В. Указ. соч. С. 82–83.
- ¹³ Пекарский П.П. Указ. соч. Т. II. С. 430–431, 824, 835; Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики... С. 170; Ключевский В.О. Указ. соч. С. 447, 451–452; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 65.
- ¹⁴ Венелин Ю.И. Скандинавомания и ее поклонники, или Столетние изыскания о варягах. М., 1842. С. 12; Максимович М.А. Откуда идет Русская земля. Киев, 1837. С. 139–140; Савельев-Ростиславич Н.В. Варяжская русь по Нестору и чужеземным писателям. СПб., 1845. С. 15, 22–24; Геденов С.А. Варяги и Русь: В 2 ч. / Автор предисловия, коммент., биограф. очерка В.В. Фомин. М., 2004. С. 65; Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Минск, 1997. С. 135–136, 144–149, 151–154, 156–158, 161–163, 273, 289.
- ¹⁵ Ламанский В.И. Михаил Васильевич Ломоносов: Биограф. очерк // Отечественные записки. СПб., 1864. Т. CXLVI. С. 250–253.
- ¹⁶ Лаверовский П.А. О трудах Ломоносова по грамматике языка русского и по русской истории // Памяти Ломоносова. Харьков, 1865. С. 21–22, 50–56.
- ¹⁷ Тихомиров И.А. О трудах М.В. Ломоносова по русской истории // ЖМНП. СПб., 1912. Нов. сер. Ч. XLI. Сент. С. 41–64.
- ¹⁸ Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера... С. 48; Шлецер А.Л. Нестор. Ч. I. С. рмв; Старчевский А.В. Указ. соч. С. 262–263.
- ¹⁹ Соловьев С.М. Герард Фридрих Мюллер. С. 57–58; Пекарский П.П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 50. Примеч. 1; Он же. История императорской Академии... Т. II. С. 423–424, 429; Билярский П.С. Указ. соч. С. 755; Сочинения М.В. Ломоносова. С объяснительными примечаниями академика М.И. Сухомлинова. СПб., 1902. Т. 5. С. 104–107.
- ²⁰ Цит. по: Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. М., Л., 1952. Т. 6. С. 547.
- ²¹ См. об этом: Андреев А.И. Ломоносов и Крашенинников // Ломоносов: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1940. Т. I. С. 291.
- ²² Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1978 год. М., 1978. С. 128.
- ²³ Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). М., 1923. Т. 7. С. 142.
- ²⁴ Шторм Г.П. Ломоносов. М., 1933. С. 87.
- ²⁵ Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 87–92, 95–97, 107, 114, 153–155.
- ²⁶ Менишуткин Б.Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. М.; Л., 1937. С. 104, 193; Пономарева Н. У истоков русской исторической науки (К 175-летию со дня смерти М.В. Ломоносова) // Ист. журн. 1940. № 4/5. С. 88–89, 92.

- 27 *Греков Б.Д.* Ломоносов-историк // Историк-марксист. М., 1940. № 11. С. 18, 20, 34.
- 28 *Бычков Л.* Гениальный сын великого русского народа М.В. Ломоносов (К 175-летию со дня смерти) // Ист. журн. 1940. № 4/5. С. 82.
- 29 *Тихомиров М.Н.* Русская историография XVIII века // Вопр. истории. 1948. № 2. С. 95–97. (Далее: ВИ); Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955. Т. I. С. 170, 190.
- 30 *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века: Курс лекций. М., 1957. С. 188–189.
- 31 *Мавродин В.В.* Борьба с норманизмом в русской исторической науке: Стенограмма публичной лекции, прочитанной в 1949 году в Ленинграде. Л., 1949. С. 7–9; *Белявский М.Т.* М.В. Ломоносов и русская история // ВИ. 1961. № 11. С. 96. Примеч. 16.
- 32 *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века. С. 188–191, 210–211; *Шапиро А.Л.* Историография с древнейших времен по XVIII век: Курс лекций. Л., 1982. С. 144, 222–224; *Рогожин Н.М.* Историография второй четверти и середины XVIII в. Деятельность Академии наук: Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, М.В. Ломоносов // Историография истории России до 1917 года. М., 2003. Т. 1. С. 141.
- 33 *Гурвич Д. М.В.* Ломоносов и русская историческая наука // ВИ. 1949. № 11. С. 108–109, 111, 117, 119; *Белявский М.Т.* Работы М.В. Ломоносова в области истории // Вестн. Моск. ун-та. М., 1953. Сер. общественных наук. Вып. 3. № 7. С. 116–118, 122; *Он же.* М.В. Ломоносов и русская история. С. 98–100, 106; *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века. С. 191; *Фруменков Г.Г.* М.В. Ломоносов – историк нашей Родины. [Архангельск], 1970. С. 4–7, 18, 54; *Пештич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке // Вестн. Ленингр. ун-та. Л., 1961. Сер. истории, языка и литературы. Вып. 4. № 20. С. 76; *Сахаров А.М.* Ломоносов-историк в оценке русской историографии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. IX. История. № 5. С. 3; *Моисеева Г.Н.* К вопросу об источниках трагедии М.В. Ломоносова "Тамира и Селим" // Литературное творчество М.В. Ломоносова: Исследования и материалы. М., Л., 1962. С. 253–257; *Он же.* Ломоносов в работе над древнейшими рукописями (По материалам ленинградских рукописных собраний) // Русская литература. 1962. № 1. С. 181–194; *Он же.* М.В. Ломоносов и польские историки // Русская литература XVIII в. и славянские литературы: Исследования и материалы. М., Л., 1963. С. 140–157; *Он же.* М.В. Ломоносов на Украине // Там же. С. 79–101; *Тихомиров М.Н.* Исторические труды М.В. Ломоносова // ВИ. 1962. № 5. С. 64–65, 67; Очерки истории исторической науки в СССР. С. 194–195, 199, 200–201, 204; и др.
- 34 *Тихомиров М.Н.* Русская историография XVIII века. С. 98; *Он же.* Исторические труды М.В. Ломоносова. С. 66–67, 73; *Гурвич Д.* Указ. соч. С. 118; Очерки истории исторической науки в СССР. С. 199.
- 35 *Гурвич Д.* Указ. соч. С. 110; *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 551; *Белявский М.Т.* Работы М.В. Ломоносова в области истории. С. 117; *Он же.* М.В. Ломоносов и русская история. С. 93–94, 97; *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века. С. 194; *Фруменков Г.Г.* Указ. соч. С. 8; *Моисеева Г.Н.* Ломоносов в работе над древнейшими рукописями... С. 193; *Тихомиров М.Н.* Исторические труды М.В. Ломоносова. С. 64, 68–70; Очерки истории исторической науки в СССР. С. 191, 194, 196.
- 36 Цит. по: *Тихомиров М.Н.* Русская историография XVIII века. С. 97; *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1955. Т. 9. С. 409, 823–824, 827–831.

- 37 *Гурвич Д.* Указ. соч. С. 107, 113, 115, 118; *Белявский М.Т.* Работы М.В. Ломоносова в области истории. С. 120–121; *Он же.* М.В. Ломоносов и русская история. С. 92, 94; *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 828–831; *Пешич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке. С. 64; *Сахаров А.М.* Ломоносов-историк... С. 5, 7–9, 11–12; *Тихомиров М.Н.* Исторические труды М.В. Ломоносова. С. 69.
- 38 *Гофман П.* Значение Ломоносова в изучении древней русской истории // Ломоносов: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1961. Т. V. С. 204, 207, 209–211; *Винтер Э. М.В.* Ломоносов и Шлецер // Там же. С. 265–271.
- 39 *Рыбаков Б.А.* Предпосылки образования Древнерусского государства // Очерки истории СССР: Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР. III–IX вв. М., 1958. С. 735; *Сахаров А.М.* Ломоносов-историк... С. 18.
- 40 См. об этом: *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 539, 553. Примеч. 22; *Фруменков Г.Г.* Указ. соч. С. 4.
- 41 *Белявский М.Т.* М.В. Ломоносов и русская история. С. 98; *Пешич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке. С. 73; *Тихомиров М.Н.* Исторические труды М.В. Ломоносова. С. 69.
- 42 *Гурвич Д.* Указ. соч. С. 107; *Белявский М.Т.* М.В. Ломоносов и русская история. С. 97.
- 43 *Пешич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке. С. 61–72; *Сахаров А.М.* Ломоносов-историк... С. 4–13.
- 44 *Пешич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке. С. 73.
- 45 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 553. Примеч. 22; *Фруменков Г.Г.* Указ. соч. С. 14.
- 46 *Мавродин В.В.* Указ. соч. С. 11.
- 47 *Новосельцев А.П.* Образование Древнерусского государства и первый его правитель // ВИ. 1991. № 2/3. С. 7.
- 48 *Гурвич Д.* Указ. соч. С. 110; *Белявский М.Т.* Работы М.В. Ломоносова в области истории. С. 116, 122; *Он же.* М.В. Ломоносов и русская история. С. 105–106; *Тихомиров М.Н.* Исторические труды М.В. Ломоносова. С. 70; *Астахов В.И.* Курс лекций по русской историографии. Харьков, 1965. С. 102; Очерки истории исторической науки в СССР. С. 197.
- 49 *Пешич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке. С. 73.
- 50 *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века. С. 187–188, 191, 210–211; *Он же.* А.Л. Шлецер и его место в развитии русской исторической науки (Из истории русско-немецких научных связей во второй половине XVIII – начале XIX в.) // Международные связи России в XVII–XVIII вв. (экономика, политика и культура). М., 1966. С. 196, 198–199, 216.
- 51 *Пешич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке. С. 60.
- 52 См. об этом: *Фомин В.В.* Норманизм русских летописцев: миф или реальность? // Межвузовские научно-методические чтения памяти К.Ф. Калайдовича. Елец, 2000. Вып. 3. С. 129–134; *Он же.* Норманская проблема в западно-европейской историографии XVII века // Сборник Русского исторического общества М., 2002. Т. 4 (152). С. 305. (Далее: Сб. РИО.)
- 53 *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. Л., 1965. Ч. II. С. 164, 168–176, 178–187, 191–192, 196, 199–200, 203–209, 213, 215, 217, 222, 224, 226–230, 236–241.
- 54 Историография истории СССР. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Под ред. В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева. 2-е изд. М., 1971. С. 75–76.

- 55 *Алпатов М.А.* Как возник варяжский вопрос? // Тезисы докладов Четвертой Всесоюзной конференции по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии. Петрозаводск, 1968. Ч. I. С. 119–120; *Он же.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XII–XVII вв. М., 1973. С. 12–14, 31, 46–47; *Он же.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII – первая четверть XVIII века. М., 1976. С. 6; *Он же.* Варяжский вопрос в русской дореволюционной историографии // ВИ. 1982. № 5. С. 32–34, 40–42; *Он же.* Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М., 1985. С. 9–12, 14, 17–19, 23, 36–39, 41–42, 53, 58, 61–63, 66–68, 70–71.
- 56 *Сахаров А.М.* Историография истории СССР. Досоветский период. М., 1978. С. 56–57, 68–69; *Шаниро А.Л.* Историография с древнейших времен по XVIII век. С. 144, 153–154, 158, 162, 219, 222–224; *Он же.* Историография с древнейших времен до 1917 года. Л., 1993. С. 195–196, 200–201.
- 57 *Шаскольский И.П.* Антиномизм и его судьбы // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1983. Вып. 7. С. 35–51.
- 58 *Джаксон Т.Н., Плимак Е.Г.* Некоторые спорные проблемы генезиса русского феодализма. (В связи с изучением и публикацией в СССР "Разоблачений дипломатической истории XVIII века" К. Маркса) // История СССР. 1988. № 6. С. 48. Примеч. 61; *Новосельцев А.П.* Указ. соч. С. 7.
- 59 *Белковец Л.П.* Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в. Г.Ф. Миллер и А.Ф. Бюшинг. Томск, 1988. С. 21–22.
- 60 *Каменский А.Б.* Академик Г.-Ф. Миллер и русская историческая наука XVIII века // История СССР. 1989. № 1. С. 144, 146–147, 159; *Он же.* Ломоносов и Миллер: два взгляда на историю // Ломоносов: Сборник статей и материалов. СПб., 1991. Т. IX. С. 40–42, 44–47.
- 61 *Некрасова М.Б.* Михаил Васильевич Ломоносов // Историки XVIII–XX веков. М., Вып. 1. 1995. С. 22, 26.
- 62 *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представление об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 57.
- 63 *Каменский А.Б.* Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783) // *Миллер Г.Ф.* Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996. С. 384.
- 64 *Хлево А.А.* Норманская проблема в отечественной исторической науке. СПб., 1997. С. 6, 9.
- 65 Там же. С. 35–36.
- 66 *Джаксон Т.Н.* Август Людвиг Шлецер // Историки XVIII–XX веков. С. 51.
- 67 Цит по: *Шанский Д.Н.* Запальчивая полемика: Герард Фридрих Миллер, Готлиб Зигфрид Байер и Михаил Васильевич Ломоносов // Историки России. XVIII – начало XX века. М., 1996. С. 32–36.
- 68 *Карпеев Э.П.* Г.З. Байер у истоков норманской проблемы // Готлиб Зигфрид Байер – академик Петербургской Академии наук. СПб., 1996. С. 50; *Он же.* Г.З. Байер и истоки норманской теории // Первые скандинавские чтения: Этногр. и культ.-ист. аспекты. СПб., 1997. С. 24; *Данилевский И.Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс лекций. М., 1998. С. 44.
- 69 *Ломоносов М.В.* Поли. собр. соч. Т. 6. С. 25, 42, 80; М.; Л., 1957. Т. 10. С. 338–339, 742; *Павлова Г.Е., Федоров А.С.* Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765). М., 1986. С. 105, 108–109, 121.

- 70 Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г. М., 2003. Кн. 1. С. 73; *Он же*. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. М., 2003. С. 34–38, 40, 358. Комментарий. 38; Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции, рожденные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г. Кузьмин. М., 1998. С. 238, 414. Примеч. 53, 54, 60, 64.
- 71 Акашев Ю.Д. Историко-этнические корни русского народа. М., 2000. С. 6; *Фомин В.В.* Кто же был первым норманистом: русский летописец, немец Байер или швед Петрей? // Мир истории. М., 2002. № 4/5. С. 59–60; *Рогожин Н.М.* Указ. соч. С. 131.
- 72 *Макарихин В.П.* Курс лекций по отечественной историографии. Досоветский период. Нижний Новгород, 2001. С. 34–35.
- 73 *Биллярский П.С.* Указ. соч. С. 763.
- 74 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 954–956.
- 75 Цит. по: *Биллярский П.С.* Указ. соч. С. 755; *Пекарский П.П.* Дополнительные известия... С. 48.
- 76 Цит. по: *Биллярский П.С.* Указ. соч. С. 763.
- 77 *Миллер Г.Ф.* О народах издревле в России обитавших. С. 122; *Пекарский П.П.* История императорской Академии... СПб., 1870. Т. I. С. 405.
- 78 *Миллер Г.Ф.* Краткое известие о начале Новгорода и о происхождении российского народа, о новгородских князьях и знатнейших онаго города случаях // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. СПб., 1761. Ч. 2. Июль. С. 3–13; *Müller G.F.* Kurzgefasste Nachricht von dem Ursprunge der Stadt Nowgorod und der Russen überhaupt, nebst einer Reihe der nowgorodischen Fürsten, und der Stadt vornehmsten Begebenheiten // Sammlung russischer Geschichte. SPb., 1761. Bd. 5, stud. 4. S. 381–392.
- 79 См. об этом: *Пештич С.Л.* Русская историография о М.В. Ломоносове как историке. С. 63. Примеч. 17.
- 80 Цит. по: Общественная и частная жизнь Августа Людвиг Шлецера... С. 196.
- 81 *Краснобаев Б.И.* Русская культура второй половины XVII – начала XIX в. М., 1983. С. 133.
- 82 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1957. Т. 10. С. 61, 280, 293, 484–485, 489; *Меншуткин Б.Н.* М.В. Ломоносов. Жизнеописание. СПб., 1911. С. 151–152; *Он же*. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. С. 226; *Бабкин Д.С.* Биографии М.В. Ломоносова, составленные его современниками // Ломоносов: Сб. статей и материалов. Т. II. С. 39–40; *Кладо Т.Н.* Иосиф Адам Браун и его сотрудничество с М.В. Ломоносовым // Ломоносов: Сб. статей и материалов. Л., 1983. Т. VIII. С. 91, 93, 95–96.
- 83 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 286, 503, 506–508; *Павлова Г.Е., Федоров А.С.* Указ. соч. С. 83, 85.
- 84 Цит. по: *Пекарский П.П.* Дополнительные известия... С. 22–24; *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 9–12, 541–543; *Фруменков Г.Г.* Указ. соч. С. 6–7; *Пештич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 171–173.
- 85 *Пештич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 172.
- 86 Цит. по: *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 543.
- 87 *Каменский А.Б.* Ломоносов и Миллер. С. 41.
- 88 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 115.
- 89 Там же. Т. 10. С. 554.
- 90 *Карпеев Э.П.* Ломоносов в русской культуре. Вместо предисловия // Ломоносов: Сб. статей и материалов. Т. IX. С. 3.
- 91 Цит. по: *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 538, 563, 597, 662, 672.

- ⁹² *Быкова Т.А.* Литературная судьба переводов "Древней российской истории" М.В. Ломоносова // Литературное творчество М.В. Ломоносова: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. С. 241–242; *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 237; *Городинская Р.Б.* Ломоносов в немецкой литературе XVIII в. // Ломоносов: Сб. статей и материалов. Т. IX. С. 129–131.
- ⁹³ *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 56, 187, 193–196, 198, 200, 220, 222, 229, 273.
- ⁹⁴ Там же. С. 70, 171.
- ⁹⁵ *Мошин В.А.* Варяго-русский вопрос // *Časopis pro slovanskou filologii.* Praha, 1931. Ročník X. Sešit 1. С. 127.
- ⁹⁶ Цит. по: *Греков Б.Д.* Указ. соч. С. 20.
- ⁹⁷ Цит. по: *Забелин И.Е.* История русской жизни с древнейших времен. М., 1876. Ч. 1. С. 84.
- ⁹⁸ Цит. по: *Пекарский П.П.* Дополнительные известия... С. 53; *Он же.* История императорской Академии... Т. I. С. 58.
- ⁹⁹ *Татищев В.Н.* История государства Российского. М.; Л., 1962. Т. I. С. 292–307; Сочинение о варягах автора Безра / Пер. Кирияка Кондратовича. СПб., 1767.
- ¹⁰⁰ *Штрубе Ф.Г.* Слово о начале и переменах российских законов (в торжественное празднество тезоименитства Елизаветы Петровны в публичном собрании Санкт-Петербургской Академии наук 6 сентября 1756 г.). СПб., [1756]. С. 3–4, 6, 11, 13, 15, 17, 26; *Он же.* Рассуждения о древних россиянах. М., 1791. С. 120–125.
- ¹⁰¹ *Мошин В.А.* Варяго-русский вопрос. С. 112–113.
- ¹⁰² *Нильсен Й.П.* Рюрик и его дом. Опыт идейно-историографического подхода к норманскому вопросу в русской и советской историографии. Архангельск, 1992. С. 7.
- ¹⁰³ *Фомин В.В.* Норманизм и его истоки // Дискуссионные проблемы отечественной истории. Арзамас, 1994. С. 18–30; *Он же.* Кто же был первым норманистом... С. 59–62; *Он же.* Норманская проблема... С. 305–324; *Он же.* Комментари // *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 552. Комментар. 63.
- ¹⁰⁴ *Нильсен Й.П.* Указ. соч. С. 14–15.
- ¹⁰⁵ *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 541–542, 579–580, 850.
- ¹⁰⁶ *Савельев-Ростиславич Н.В.* Указ. соч. С. 51.
- ¹⁰⁷ *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 40; Т. 10. С. 287–288.
- ¹⁰⁸ *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 56; *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 325. Примеч. **
- ¹⁰⁹ *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 1–2, 303; *Пекарский П.П.* История императорской Академии... Т. I. С. 181–187, 309–310; *Бестужев-Рюмин К.Н.* Биографии и характеристики... С. 150–152, 158.
- ¹¹⁰ Цит. по: *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 3, 9, 31.
- ¹¹¹ August Ludwig v. Schlözer und Russland / Eingeleitet und unter mitarbeit von L. Richter und L. Zeil herausgegeben von E. Winter. Berlin, 1961. S. 46; *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 176, 180.
- ¹¹² Цит. по: *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 288–289.
- ¹¹³ *Ламанский В.И.* Указ. соч. С. 269, 275–279..
- ¹¹⁴ Цит. по: *Пекарский П.П.* Дополнительные известия... С. 49.
- ¹¹⁵ *Моисеева Г.Н.* М.В. Ломоносов на Украине. С. 79–101; *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 168–169; *Павлова Г.Е., Федоров А.С.* Указ. соч. С. 51–52, 58–59.

- 116 Цит. по: *Ломоносов М.В.* Поли. собр. соч. Т. 10. С. 570–571; *Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова.* М.; Л., 1961. С. 46.
- 117 *Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова.* С. 51, 58; *Павлова Г.Е., Федоров А.С.* Указ. соч. С. 101, 359.
- 118 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 461–462.
- 119 Там же. С. 433.
- 120 *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. М., 1867. С. 90–91.
- 121 *Моисеева Г.Н.* Ломоносов в работе над древнейшими рукописями... С. 184, 187–189.
- 122 *Моисеева Г.Н.* М.В. Ломоносов на Украине. С. 90, 98–99.
- 123 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 19–20, 80.
- 124 Цит. по: *Сочинения М.В. Ломоносова.* С. 161–162.
- 125 Цит. по: *Пекарский П.П.* Дополнительные известия... С. 46.
- 126 См. об этом: *Пеитич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 229.
- 127 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 72, 74.
- 128 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. XIX, кв, лв–лг, мд–ме, мз, нз, 49, 52–55, 65, 149, 276–285, 420, 425–426.
- 129 *Карамзин Н.М.* Указ. соч. С. 45. Примеч. 78, 96, 106.
- 130 *Васильевский В.Г.* Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI–XII веков // *Он же.* Труды. СПб., 1908. Т. I. С. 223.
- 131 *Миллер Г.Ф.* О первом летописателе российском, преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оных // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755. Апр. С. 276; *Он же.* Опыт новейшей истории о России // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. СПб., 1761 Янв. С. 8; *Müller G.F.* Versuch einer neueren Geschichte von Russland // Sammlung russischer Geschichte. SPb., 1760. Bd. 5, stud. 1/2. S. 6.
- 132 Цит. по: *Пеитич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 218.
- 133 *Миллер Г.Ф.* О народах издревле в России обитавших. С. 98.
- 134 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 19–20.
- 135 *Миллер Г.Ф.* Разговор о двух браках, введенных чужестранными писателями в ряд великих князей всероссийских // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755. Февр. С. 83; *Он же.* Опыт новейшей истории о России. С. 7; *Müller G.F.* Versuch einer neueren Geschichte von Russland. S. 5.
- 136 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. рли.
- 137 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 20.
- 138 *Славяне и Русь.* С. 413. Примеч. 52.
- 139 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 69.
- 140 *Dalin O.* Geschichte des Reichs Schweden. Greifswald, 1756. Bd. 1. S. 409–418; *Далин О.* История шведского государства. СПб., 1805. Ч. 1, кн. 1. С. 137. Примеч.г; СПб., 1805. Ч. 1, кн. 2. С. 674–687. Примеч.о на с. 654.
- 141 *Миллер Г.Ф.* Краткое известие о начале Новагорода... С. 9; *Он же.* О народах издревле в России обитавших. С. 101.
- 142 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. р. Примеч. *; *Карамзин Н.М.* Указ. соч. Примеч. 96 и 106.
- 143 *Полевой Н.А.* Указ. соч. С. 453. Примеч. 36; *Коялович М.О.* Указ. соч. С. 148–149.
- 144 *Bayer G.S.* De Varagis // Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Petropoli, 1735. Т. IV. P. 294; *Татищев В.Н.* Указ. соч. С. 186, 189, 208, 214, 221, 299. Примеч. 8 на с. 202; примеч. 17 на с. 203; примеч. 8 и 9 на с. 226; примеч. 61 на с. 231; примеч. 24 на с. 309.

- 145 *Татищев В.Н.* Указ. соч. С. 90, 93, 201, 225. Примеч. 39 на с. 229; примеч. 73 на с. 232.
- 146 *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 49, 305; *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. рм; *Карамзин Н.М.* Указ. соч. Примеч. 513.
- 147 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. XIX, 149, 276.
- 148 *Сахаров А.М.* Историография истории СССР. С. 57.
- 149 *Татищев В.Н.* Указ. соч. С. 96–97, 107; *Болтин И.Н.* Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка. СПб., 1788. Т. I. С. 58. Примеч.^а
- 150 *Миллер Г.Ф.* О первом летописателе российском... С. 275.
- 151 *Приселков М.Д.* История русского летописания XI–XVI вв. СПб., 1996. С. 43.
- 152 *Кузьмин А.Г.* История России... С. 115.
- 153 *Эверс Г.* Предварительные критические исследования для российской истории. М., 1826. Кн. 1/2. С. 249–255; Софийский временник или русская летопись с 862 по 1534 год. М., 1820. Ч. I. С. X–XI.
- 154 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 388–390.
- 155 *Bayer G.S.* Op. cit. P. 281; *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. XXVIII, 258, 315; СПб., 1816. Ч. II. С. 86, 107, 109–110, 114.
- 156 *Карамзин Н.М.* Указ. соч. Примеч. 283.
- 157 *Эверс Г.* Указ. соч. С. 159–273.
- 158 *Погодин М.П.* О жилищах древнейших руссов. Сочинение г-на N. и краткий разбор оного. М., 1826. С. 13–61; *Розенкамф Г.* Объяснение некоторых мест в Нестеровой летописи в рассуждении вопроса о происхождении древних руссов // Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при императорском Московском университете. М., 1828. Ч. IV, кн. I. С. 140–141, 166.
- 159 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 418–419.
- 160 *Черепнин Л.В.* А.Л. Шлецер... С. 212.
- 161 *Ключевский В.О.* Указ. соч. С. 449, 451; Цит. по: *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 236.
- 162 Цит. по: *Коялович М.О.* Указ. соч. С. 160.
- 163 *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 30, 48; *Милоков П.Н.* Указ. соч. С. 67, 69, 72; *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 213–214; *Шапиро А.Л.* Историография с древнейших времен по XVIII век. С. 155; *Он же.* Историография с древнейших времен до 1917 года. С. 191.
- 164 *Шанский Д.Н.* Указ. соч. С. 29.
- 165 Цит. по: *Пекарский П.П.* История императорской Академии наук... Т. I. С. 317–318.
- 166 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 701.
- 167 *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 171.
- 168 *Muller G.F.* Nachricht von einem alten Manuscript der russischen Geschichte des Abtes Theodosii von Kiow // Sammlung russischer Geschichte. SPb., 1732. Bd. I. stud. I. S. 1; Auszug russischer Geschichte nach Anleitung des Chronici Theodosiani Kiouiesis // Ibid. Stud. I. S. 9–33; 1733. Stud. II. S. 93–113; Stud. III. S. 171–195; 1734. Stud. IV. S. 349–358; Stud. V. S. 359–406; 1735. Stud. VI. S. 455–494; *Bayer G.S.* Op. cit. P. 303 (305).
- 169 *Татищев В.Н.* Указ. соч. С. 309. Примеч. 30; Сочинения М.В. Ломоносова. С. 149; *Миллер Г.Ф.* Разговор о двух браках... С. 84; *Он же.* О первом летописателе российском... С. 281–282; *Müller G.F.* Versuch einer neueren Geschichte von Russland. S. 6–7.

- 170 См. об этом: *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 214.
- 171 Там же. С. 221–222.
- 172 *Müller G.F.* Nachricht von einem alten Manuscript... S. 4, anm.*
- 173 *Миллер Г.Ф.* Разговор о двух браках... С. 84; *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 48; *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. рма.
- 174 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 30, 32–33, 40; Т. 10. С. 233.
- 175 *Ключевский В.О.* Указ. соч. С. 402, 483. Примеч. 35; *Гофман П.* Указ. соч. С. 207.
- 176 *Биллярский П.С.* Указ. соч. С. 755.
- 177 *Baye G.S.* Op. cit. P. 288; *Татищев В.Н.* Указ. соч. С. 297, 308. Примеч. 13; *Сочинения М.В. Ломоносова.* С. 148.
- 178 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 23, 40, 78.
- 179 *Карамзин Н.М.* Указ. соч. Примеч. 282.
- 180 Цит. по: *Сочинения М.В. Ломоносова.* С. 158.
- 181 *Сочинения М.В. Ломоносова.* С. 162; *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 41.
- 182 *Миллер Г.Ф.* Краткое известие о начале Новогорода... С. 5–6.
- 183 Цит. по: *Сочинения М.В. Ломоносова.* С. 147.
- 184 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 22.
- 185 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 338.
- 186 *Карамзин Н.М.* Указ. соч. Примеч. 278.
- 187 *Бутков П.Г.* Оборона летописи русской, Нестеровой, от наветов скептиков. СПб., 1840. С. 61.
- 188 *Джаксон Т.Н., Рождественская Т.В.* К вопросу о происхождении топонима "Изборск" // *Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования.* 1986 год. М., 1988. С. 224–226.
- 189 *Роспнд С.* Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // *Восточно-славянская ономастика.* М., 1972. С. 21, 62.
- 190 *Белецкий С.В.* Изборск "Варяжской легенды" и Труворово городище (Проблема соотношения) // *Петербургский археологический вестник.* СПб., 1993. № 6: Скифы. Сарматы. Славяне. Русь. С. 112–114; *Он же.* Возникновение города Пскова (К проблеме участия варягов в судьбах Руси) // *Шведы и Русский Север: историко-культурные связи. (К 210-летию Александра Лаврентьевича Витберга): Материалы Международного научного симпозиума.* Киров, 1997. С. 142–146, 149.
- 191 *Седов В.В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. С. 56–57; *Он же.* Племена восточных славян, балты и эсты // *Славяне и скандинавы.* М., 1986. С. 176; *Он же.* Топоним Изборск // *Археология и история Пскова и Псковской земли.* 1989: Тез. докл. науч. практ. конф. Псков, 1990. С. 25; *Он же.* Изборск – протогород. М., 2002. С. 4, 91–92; *Он же.* Конфедерация северно-русских племен в середине IX в. // *Древнейшие государства Восточной Европы.* 1998 г. М., 2000. С. 246.
- 192 *Baye G.S.* Op. cit. P. 294, 304 (306); *Сочинения М.В. Ломоносова.* С. 147.
- 193 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 22, 36–37, 41–42.
- 194 *Эверс Г.* Указ. соч. С. 111.
- 195 *Бестужев-Рюмин К.Н.* Русская история. С. 93.
- 196 *Погодин М.П.* Г. Геденон и его система происхождения варягов и руси. СПб., 1864. С. 6.
- 197 *Вернадский Г.В.* Древняя Русь. Тверь; М., 1996. С. 286.
- 198 *Назаренко А.В.* Об имени "Русь" в немецких источниках IX–XI вв. // *Вопросы языкознания.* 1980. № 5. С. 54; *Он же.* Происхождение др.-русс. "Русь": со-

- стояние проблемы и возможности лингвистической ретроспективы // X Все-союзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и язы-ка скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. М., 1986. С. 127–128; *Он же*. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки куль-турных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001. С. 49.
- 199 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 33.
- 200 *Миллер Г.Ф.* О народах издревле в России обитавших. С. 95.
- 201 *Томсен В.* Начало Русского государства. М., 1891. С. 80, 82; *Вернадский Г.В.* Указ. соч. С. 284, 340; *Петрухин В.Я.* Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. Смоленск; М., 1995. С. 27, 52; *Он же*. "От тех варяг прозва-ся..." // Родина. 1997. № 10. С. 14; *Франклин С., Шепард Д.* Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. С. 51–52; и др.
- 202 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 28, 36, 39–40, 74; *Миллер Г.Ф.* О на-родах издревле в России обитавших. С. 93, 95–97.
- 203 *Падалко Л.В.* Происхождение и значение имени "Русь" // Труды XV Археологического съезда в Новгороде. 1911. М., 1914. С. 365–373.
- 204 *Вернадский Г.В.* Указ. соч. С. 286, 289.
- 205 *Брайчевский М.Ю.* "Русские" названия порогов у Константина Багрянород-ного // Земли Южной Руси в IX–XIV вв (история и археология). Киев, 1985. С. 19–30; *Кузьмин А.Г.* От моря до моря // Мир истории. М., 2002. № 4/5. С. 37, 40, 43–47; *Он же*. История России... С. 85, 96–97, 100–103, 105; *Он же*. Начало Руси. С. 160–161, 242–293; *Славяне и Русь*. С. 335–353, 396–403.
- 206 Цит. по: *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 36, 65–66, 203–204, 293, 295.
- 207 Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1897. С. 3–4. (Далее: ЛЛ.)
- 208 *Погодин М.П.* О происхождении Руси: Ист.-крит. рассуждение. М., 1825. С. 8; *Он же*. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1846. Т. 2. С. 7.
- 209 *Славянский сборник Н.В. Савельева-Ростиславича.* СПб., 1845. С. LX, LXXXIX. Примеч. 170; *Савельев-Ростиславич Н.В.* Указ. соч. С. 3, 5–6, 10, 12, 25, 34, 51–52; *Забелин И.Е.* История русской жизни с древнейших времен. М., 1876. Ч. 1. С. 135–136, 142–143, 189, 193.
- 210 *Петрей П.* Указ. соч. С. 90; Записки капитана Филиппа-Иоганна Страленбер-га об истории и географии Российской империи Петра Великого. Северная и восточная часть Европы и Азии. М.; Л., 1985. Ч. 1. С. 75. Примеч. 2 на с. 73.
- 211 *Миллер Г.Ф.* О народах издревле в России обитавших. С. 84, 89, 93.
- 212 *Соловьев С.М.* Писатели русской истории. С. 224; *Он же*. История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 1, т. 1/2. С. 87–88, 100, 198, 250–253, 276. Примеч. 142, 147, 148 к т. 1.
- 213 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 37.
- 214 *Кузьмин А.Г.* "Варяги" и "Русь" на Балтийском море // ВИ. 1970. № 10. С. 31–32, 34, 37; *Он же*. Об этнониме "варяги" // Дискуссионные проблемы отечественной истории. Арзамас, 1994. С. 7–9; *Он же*. История России... С. 88–90; *Он же*. Начало Руси. С. 187, 203–222, 236–242.
- 215 *Фомин В.В.* Наименование западноевропейцев в ранних русских источни-ках // Вехи минувшего / Уч. зап. ист. ф-та ЛГПУ. Липецк, 2000. Вып. 2. С. 214–227; *Он же*. Норманская проблема... С. 312–313; *Он же*. Комментарии. С. 515. Комментар. 24.
- 216 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 33–34.
- 217 ПСРЛ. М., 1965. Т. 15, вып. 1. Стб. 15.
- 218 ЛЛ. С. 83; ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. Стб. 72.

- 219 Библиотека Академии наук. Отд. рукописей. 24.4.35. Л. 16; 16.12.5. Л. 28; Российская государственная библиотека. Ф. 205. № 118. Л. 14–14 об.
- 220 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 77, 216.
- 221 Эверс Г. Указ. соч. С. 151.
- 222 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 30.
- 223 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 398.
- 224 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 31.
- 225 Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 173.
- 226 Беляев Н.Т. Рорик Ютландский и Рюрик Начальной летописи // *Seminarium Kondakovianum recueil d'études archéologie, histoire de l'art, études Byzantines*. Prague, 1929. Т. III. Р. 242.
- 227 Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов (к постановке проблемы) // ВИ. 1974. № 11. С. 75–76; *Он же*. Начало Руси. С. 329–330; Откуда есть пошла Русская земля. Века VI–X / Сост., предисл., введ. к документ., коммент. А.Г. Кузьмина. М., 1986. Кн. 2. С. 652–653; Славяне и Русь. С. 415. Примеч. 65.
- 228 Грот Л. Мифологические и реальные шведы на севере России: взгляд из шведской истории // Шведы и Русский Север. С. 153–158.
- 229 Зутис Я. Русско-эстонские отношения в IX–XIV вв. // Историк–марксист. 1940. № 3. С. 40.
- 230 Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов. С. 70–81; *Он же*. Падение Пеллуна. М., 1988. С. 139–140; *Он же*. От моря до моря. С. 46–47; *Он же*. Начало Руси. С. 36, 313–332; Откуда есть пошла Русская земля. С. 25–26, 639–654.
- 231 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С.55; *Пеитич С.Л.* Русская историография XVIII века. С. 226.
- 232 Фомин В.В. Варяжский вопрос: его состояние и пути разрешения на современном этапе // Сб. РИО. М., 2003. Т. 8(156). С. 262–264; *Он же*. Комментарии. С. 506. Комментар. 22.
- 233 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 60; *Герье В.И.* Лейбниц и его век. Отношения Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб., 1871. С. 102.
- 234 Зерцало историческое государей Российских // Древняя Российская Вивлиофика. СПб., 1891. С. 29.
- 235 Цит. по: *Bayer G.S.* Op. cit. P. 278.
- 236 *Hübner J.* Genealogische Tabellen, nebst denen darzu Gehörigen genealogischen Fragen. Leipzig, 1725. Bd. I. S. 281. Die 112 Tab.
- 237 *Bayer G.S.* Op. cit. P. 275–279, 296.
- 238 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 545.
- 239 *Миллер Г.Ф.* Краткое известие о начале Новгорода... С. 10; *Он же*. О народах издревле в России обитавших. С. 118–119, 121.
- 240 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 34, 206–207.
- 241 Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 92.
- 242 Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов. С. 81; *Он же*. История России... С. 103; *Он же*. Начало Руси. С. 213, 339, 347; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 584, 642; Славяне и Русь. С.370.
- 243 *Гильфердинг А.Ф.* История балтийских славян // *Он же*. Собрание сочинений. СПб., 1874. Т. 4. С. 172, 189–190; *Первольф И.* Германизация балтийских славян. СПб., 1876. С. 12, 64; *Кузьмин А.Г.* "Варяги" и "Русь"... С. 53; *Он же*. История России... С. 124; *Он же*. Начало Руси. С. 211, 213, 338, 347; Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. С. 689. Примеч. к с. 605.
- 244 Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 238.

- 245 *Ломоносов М.В.* Поли. собр. соч. Т. 6. С. 35.
- 246 *Мошин В.А.* Начало Руси. Норманны в Восточной Европе // *Byzantinoslavika*. Прага, 1931. Ročník III, svarek 1. С. 43.
- 247 *Мельникова Е.А.* Древнерусские лексические заимствования в шведском языке // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1982 год. М., 1984. С. 68–74.
- 248 *Сыромятников С.Н.* Древлянский князь и варяжский вопрос // *ЖМНП*. СПб., 1912. Нов. сер. Ч. XL. Июль. С. 133.
- 249 *Потин В.М.* Русско-скандинавские связи IX–XII вв. по нумизматическим данным // Тезисы докладов Четвертой Всесоюзной конференции по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии. Петрозаводск, 1968. Ч. I. С. 180; *Он же.* Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным (X–XII вв.) // Исторические связи Скандинавии и России. Л., 1970. С. 66–68; *Кропоткин В.В.* О топографии кладов куфических монет IX в. в Восточной Европе // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 113, 115.
- 250 *Кирпичников А.Н.* Сказание о призвании варягов. Легенды и действительность // *Викинги и славяне. Ученые, политики, дипломаты о русско-скандинавских отношениях*. СПб., 1998. С. 51.
- 251 Цит. по: *Фомин В.В.* Комментарии. С. 466. Комментар. 7.
- 252 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 184.
- 253 *Потин В.М.* Некоторые вопросы торговли Древней Руси по нумизматическим данным // *Вестник истории мировой культуры*. Л., 1961. № 4. С. 74; *Он же.* Древняя Русь и европейские государства в X–XIII вв.: Ист.-нумизм. очерк. Л., 1968. С. 63.
- 254 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 33–34, 36, 65–66, 206–209, 295.
- 255 *Миллер Г.Ф.* Краткое известие о начале Новгорода... С. 9; *Он же.* О народах издревле в России обитавших. С. 107–111; *Карамзин Н.М.* Указ. соч. С. 50. Примеч. 111; *Боричевский И.* Руссы на южном берегу Балтийского моря // *Маяк*. СПб., 1840. Т. 7. С. 174–182.
- 256 *Погодин М.П.* Г. Гедеонов и его система... С. 47; *Он же.* Новое мнение г. Иловайского // *Беседа*. М., 1872. Кн. IV. Отд. II. С. 114; *Он же.* Борьба не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями. М., 1874. С. 156, 297–298, 384–390.
- 257 Откуда есть пошла Русская земля. С. 17.
- 258 ЛЛ. С. 18–19.
- 259 *Шахматов А.А.* Сказание о призвании варягов. СПб., 1904. С. 2, 7, 42–43, 51, 74–75, 81–82; *Он же.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 3, 338–339, 396; *Рыбаков Б.А.* Оstromirova летопись // *ВИ*. 1956. № 10. С. 46; *Он же.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 218, 290, 294; *Кузьмин А.Г.* "Варяги" и "Русь"... С. 30; *Он же.* Падение Перуна. С. 156.
- 260 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 33, 80, 204; *Руссов С.* Письмо о Россиях, бывших некогда вне нынешней нашей России // *Отечественные записки*. М., 1827. Ч. 31. С. 120, 126; *Костомаров Н.И.* Начало Руси // *Современник*. СПб., 1860. Т. LXXIX. № 1. С. 8, 14; *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 319–320, 326; *Забелин И.Е.* Указ. соч. С. 134, 136; *Кузьмин А.Г.* История России... С. 96; *Он же.* Два вида русов в юго-восточной Прибалтике. С. 192; *Славяне и Русь*. С. 235.
- 261 ЛЛ. С. 28.
- 262 *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 58.
- 263 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 52.

- 264 *Джаксон Т.Н.* К методике анализа русских известий исландских королевских саг // Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. М., 1978. С. 128, 138, 140, 142; *Она же.* Скандинавский конунг на Руси (о методике анализа сведений королевских саг) // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 283, 285.
- 265 Публичный диспут 19 марта 1860 года о начале Руси между гг.Погодиным и Костомаровым. [Б.м.], [б.г.]. С. 29; *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 82. Примеч. 149 на с. 415; примеч. 235 на с. 440; *Иловайский Д.И.* Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю. М., 1876. С. 316–317.
- 266 *Кузьмин А.Г.* Падение Перуна. С. 49, 157, 166–167, 175; *Он же.* Кто в Прибалтике "коренной"? М., 1993. С. 5; *Он же.* История России... С. 90, 92, 161; *Он же.* Начальные этапы древнерусской историографии // Историография истории России до 1917 года. С. 39; *Он же.* Начало Руси. С. 215, 221, 225–226, 242, 332; Откуда есть пошла Русская земля. С. 584–586, 654.
- 267 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 40–41, 77, 80.
- 268 *Шлецер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. р.
- 269 Цит. по: *Пекарский П.П.* Дополнительные известия... С. 53.
- 270 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 239, 243–244, 246–248, 959. Примеч. 34.
- 271 *Гурвич Д.* Указ. соч. С. 113.
- 272 *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 448, 460–461, 464–465; *Шлецер А.Л.* Русская грамматика. I–II / Предисл. С.К. Булича. СПб., 1904. С. 35, 48, 52.
- 273 *Ламанский В.И.* Указ. соч. С. 293.
- 274 *Лавровский П.А.* Указ. соч. С. 24–25.
- 275 *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 450, 461, 466–467.
- 276 *Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера...* С. 154, 202; *Шлецер А.Л.* Русская грамматика. С. II, VI.
- 277 *Эмин Ф.* Российская история. СПб, 1767. Т. I. С. 36–37; *Белинский В.Г.* Указ. соч. С. 378.
- 278 *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 474–475.
- 279 Цит. по: *Ченакал В.Л.* Эйлер и Ломоносов (к истории их научных связей) // Эйлер Л.: Сборник статей в честь 250-летия со дня рождения, представленных Академией наук СССР. М., 1958. С. 442.

С.Н. Богатырев

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИЛИ ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ? ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ИВАНА ГРОЗНОГО В ИСТОРИОГРАФИИ*

В обширной литературе об Иване IV встречаются самые разные, иногда противоположные подходы к историческому материалу. Порой творческие методы историков различаются между собой так же резко, как черно-белые и цветные кадры в известном фильме Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный".

* Выражаю благодарность С.Н. Кистереву (Российский государственный архив древних актов) и Кр. Чулосу (Университет Хельсинки) за ценные советы по содержанию и оформлению данной работы.

С давних времен поведение первого русского царя пытались объяснить с помощью психологических наблюдений. Но в историографии такой подход неоднократно подвергался суровой и не всегда справедливой критике. Поэтому, не претендуя на исчерпывающий анализ всей многовековой историографии правления Ивана IV, остановимся на тех работах, где особое внимание уделялось личностным и психологическим оценкам его деятельности. Одна из задач настоящего обзора – показать преемственность научных идей в исследованиях, созданных в разных политических и культурных условиях, т.е. в дореволюционной России, в Советском Союзе, в русской эмиграции и в западной историографии.

Первые попытки личностной трактовки поведения царя делали еще его современники, писатели Московской Руси. Так, кн. А.М. Курбский объяснял поступки Грозного отсутствием правильного воспитания и чрезмерным угодничеством бояр в детские годы Ивана. Дьяк Иван Тимофеев считал, что ярость Ивана Грозного определялась его природой, "естеством"¹. Немало интересных психологических наблюдений содержится в иностранных сочинениях XVI в., посвященных царю Ивану (записки Штадена, Шлихтинга, Флетчера, Горсея, Одерборна и др.). Как справедливо отметил И.И. Полосин, для эпохи Ренессанса, когда создавались эти произведения, вообще характерен особый "интерес к психологической стороне исторического рассказа"².

Историки XVIII – начала XIX вв., изучая правление Ивана IV, также пытались использовать психологические наблюдения. В частности, с помощью психологических объяснений князь М.М. Щербатов попробовал связать в одно целое различные проявления противоречивой природы Грозного³. Создатель романтического направления в русской историографии Н.М. Карамзин, оценивая исторические события по нормам "нравственно-психологической эстетики", также уделял особое внимание характеру и поведению Ивана IV. По наблюдениям современных специалистов, особая ценность взглядов Карамзина в том, что они очень близки к источникам и к идеям современников Грозного⁴.

Среди обстоятельств, оказавших главное воздействие на характер царя, Карамзин, пользуясь свидетельством Курбского, называл плохое воспитание Ивана, потакание его дурным наклонностям со стороны бояр, а также привычку к "шумной праздности" и грубым забавам. Историограф особенно подчеркивал склонность царя попадать под влияние людей с сильным характером. Поэтому в карамзинской "Истории" уделяется много внимания благотворному воздействию на натуру Ивана IV его первой жены Анастасии и священника Сильвестра. После смерти Анастасии, согласно Карамзину, наступает новый период в правлении Ивана IV – эпоха страшных казней и опричнины. Подводя итоги правления Грозного, Карамзин

заметил, что "характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка"⁵.

Близкий к славянофилам историк М.П. Погодин видел в деяниях Грозного "несчастные явления души человеческой", ставшей орудием "вечных судеб" (эти идеи ученый высказывал в 1828 г.). Позднее, в 1860 г., Погодин объяснял поступки царя действиями "разъяренного гнева, взволнованной крови, необузданной страсти", "личным слепым произволом"⁶.

Оппонент Карамзина, писатель, журналист и историк Н.А. Полевой считал, что на взрывной характер Ивана Грозного повлияли наследственность и недостаточное воспитание в детстве. Для 30-х годов XIX в., когда писал Полевой, такой подход был свежим и оригинальным взглядом на личность Ивана IV. Интересны наблюдения Полевого над психологией общения Грозного. Историк отмечал, что царь, привыкая повиноваться, начинал страшно мстить повелителю, как только осознавал свою зависимость. Эти наблюдения Полевого подтверждаются позднейшими психоаналитическими исследованиями, где неоднократно указывалось, что для психопатических личностей характерны амбивалентность чувств и резкий переход от искренней любви к жестокой ненависти. Психологические оценки Грозного находим и в работах известного литературного критика В.Г. Белинского, написанных в 1830-е годы⁷.

Как известно, на протяжении XIX столетия взгляды Карамзина оказывали огромное воздействие на развитие интеллектуальной мысли в России. Поэтому исследователи, изучавшие личность Ивана Грозного, снова и снова возвращались к страницам "Истории государства Российского". Так, карамзинские психологические построения в той или иной мере восприняли Н.Г. Устрялов, К.С. Аксаков, И.Н. Жданов⁸ и особенно Н.И. Костомаров, который в 1871 г. в журнале "Вестник Европы" опубликовал специальную работу о личности Ивана Грозного. В 1870-е годы к психологическим характеристикам Грозного обратился и В.О. Ключевский.

С точки зрения психиатрии загадку характера Ивана Грозного впервые попытался решить Я. Чистович в своей книге по истории медицины в России. Рассмотрев свидетельства о Грозном, приводимые у Карамзина, автор пришел к следующему выводу: "Карамзин не догадался, что Иван IV не изверг, а больной". По Чистовичу, царь Иван "страдал неистовым помешательством, вызванным и поддержанным яростным сладострастием и распутством"⁹.

Идеи о личностном подходе к фигуре Ивана Грозного прочно утвердились в научной мысли 90-х годов XIX века. Русский социолог и литературный критик Н.К. Михайловский отмечал, что именно в то время стало иссякать апологетическое направление в изучении

личности Грозного. Сам Михайловский придерживался "субъективного метода" в социологии и в целом стоял на позициях народников. Говоря об Иване IV, он считал вполне вероятным, что у первого русского царя была "отягченная психопатологическая наследственность". Решительным сторонником карамзинского взгляда на личность Ивана IV был и другой историк конца XIX в., автор многочисленных учебников по истории Д.И. Иловайский¹⁰.

В 1897 г. в Русском биографическом словаре был опубликован обширный очерк об Иване Грозном, написанный С.М. Середониним. Историк отмечал некоторые характерные черты личности Иоанна – его подвижность, цепкий ум, пылкую фантазию. Как и другие исследователи, Середонин указывал, что в поведении Ивана сказалось отсутствие правильного воспитания, привычка смотреть на себя как на лицо, ответственное только перед Богом. Новым в очерке Середонина было то, что автор подчеркивал склонность царя ко внешним эффектам, стремление играть какую-либо роль в политике и жизни. По наблюдениям Середонина, на поведение Грозного негативно влияло и тогдашнее общество, которое не ставило перед его действиями никакой преграды¹¹.

Идеи Середонина о роли игры и карнавала в поведении Грозного позднее развивались в исследованиях семиотической школы. Проблемы отсутствия конституционных ограничений в Московском обществе XVI в. разрабатывались американскими историками. Таким образом, Середонин наметил важные направления для дальнейшего изучения деятельности Грозного.

Вслед за Чистовичем к проблеме душевного состояния Грозного обратился профессор П.И. Ковалевский, написавший целую серию "Психиатрических эскизов по истории". Первая часть его работы посвящена описанию причин и проявления различных отклонений в человеческой психике, которая формируется под воздействием двух главных факторов – наследственности и воспитания (условий жизни). Ковалевский подчеркивал, что наследственно передается не сама болезнь, а неустойчивая нервная система, которая при неблагоприятных жизненных условиях может быть подвергнута заболеванию¹².

Переходя к изучению проявлений психического состояния Грозного, Ковалевский отмечал, что Иоанн родился от пожилого отца и молодой матери, подчеркивая, что престарелый возраст родителей все же отражается на организме их детей. Проследив некоторые черты психики брата и детей Ивана Грозного, исследователь заключил, что "именно в семействе Иоанна в роде Рюриковичей вырождение совершается и в узком и в широком смысле слова"¹³. Для подобных суждений можно найти основания и в очерке "Последние из рода Калиты", хотя этот очерк написан ученым совсем другой эпохи. Его автор – советский академик М.Н. Тихомиров. Несмотря на то

что теоретические взгляды Тихомирова кардинально отличались от подходов историков прошлого столетия, фактический материал его исследования перекликается с идеями Ковалевского о причинах прекращения династии Рюриковичей¹⁴.

Подобно Карамзину, Ковалевский выделял отсутствие правильного воспитания как важное условие развития болезни Ивана IV, диагноз которой, согласно Ковалевскому, – однопредметное помешательство, т.е. паранойя. При этом автор подчеркивал, что человек, подверженный такому недугу, в обыденной жизни ничем не отличается от здоровых людей, но "в область здоровой жизни у него все время врывается бред преследования". Этот бред может усиливаться или ослабевать в зависимости от внешних обстоятельств. Важно отметить, что паранойя ни в коем случае не означает полную умственную отсталость. Указанное положение, подтверждаемое современной психиатрией, нередко игнорировалось оппонентами Ковалевского¹⁵.

Построения Ковалевского вызвали определенные возражения со стороны П.П. Викторова, автора книги "Учение о личности и построениях". Впрочем, полемика велась вокруг устаревших психиатрических терминов, уже не используемых в современной науке¹⁶. В то же время Викторов сделал целый ряд интересных наблюдений над психикой Грозного. Он отметил, что личности, подобные Ивану, страдающая нравственным угнетением, отстраняются от жизни, но нередко подобное отстранение принимает форму агрессивного наступления на окружающих.

Об отчуждении Грозного от обыденной жизни говорил и В.О. Ключевский в лекциях 1870-х годов. В терминах современного психоанализа такое состояние можно описать как "социальную агнозию" (выражение В. Райха), т.е. неспособность психопатической личности получить удовлетворение от обычной жизни. По мнению Викторова, у Грозного был "меланхолический бред уничижения", принимавший формы "отрицательного бреда величия" (подобные идеи ранее высказывал Н. Полевой).

В 1902 г. в журнале Русский архив появились две статьи известного медика Д.М. Глаголева о психическом состоянии царя, где также развивалась мысль о болезненной сущности многих проявлений характера Грозного. В первой (и менее удачной) из указанных работ Глаголев пытался анализировать изображение Грозного на одной из икон Данилова монастыря, стараясь обнаружить в облике государя черты, присущие душевнобольным. Вторая статья уточняет некоторые выводы Ковалевского. По мнению Глаголева, у Ивана Грозного была прирожденная паранойя, для которой характерны, с одной стороны, отсутствие систематизированного бреда, с другой – образование ложных идей, резонерство и стремление преследовать окружающих¹⁷.

Следует, однако, отметить, что указанные приемы исследования критиковались сторонниками историко-юридического направления, которое господствовало в русской историографии второй половины XIX в. Так, еще в 1840-е годы представители государственной школы, в первую очередь К.Д. Кавелин и С.М. Соловьев, стали трактовать деятельность Ивана Грозного, исходя из соотношения историко-философских понятий государства и прогресса исторического развития. Кавелин указывал, что "жестокости и казни Грозного – дело тогдашнего времени, нравов". Подобные мысли высказывал и К.Н. Бестужев-Рюмин, когда писал, что "лицо Ивана Васильевича Грозного – весьма сложное, и судить о нем можно только перенесясь с достаточной ясностью в то время, когда он жил". Апологет Грозного историк Е.А. Белов также считал, что в общем ходе истории личность исторических деятелей отступает на второй план перед совокупностью всех "элементов государственного и общественного быта". Установки на поиск глубинных объективных причин и закономерности исторического развития не исключали некоторых психологических объяснений (к ним, например, обращался С.М. Соловьев при изучении причиныны)¹⁹. В целом, однако, личностные трактовки деятельности Грозного занимали второстепенное положение в грандиозных теоретических построениях, которые охватывали длительные периоды истории и огромные людские массы.

Так формировался особый подход к изучению деятельности Грозного. Царь рассматривался не как реальная личность, а как исторический персонаж или "продукт своей эпохи", который действовал в соответствии с определенными законами общественного развития. Поэтому, чтобы понять поступки Грозного, надо было прежде всего открыть эти законы.

Конечно, с течением времени философская основа исторических работ модернизировалась. На смену гегельянским идеям государственной школы пришли взгляды неокантианского позитивизма, а затем и исторического материализма. Тем не менее общей основой большинства работ, посвященных Грозному, оставалось стремление "вписать" его поступки в контекст каких-либо законов исторического развития. Такой подход типичен для многих дореволюционных и советских историков. Поэтому личностная или психологическая трактовка постепенно исчезла со страниц исторических работ и художественных произведений, посвященных Грозному²⁰.

На рубеже XIX–XX вв. самым распространенным приемом исторического исследования становится, как известно, позитивистский подход, основанный на стремлении собрать и систематизировать как можно больше исторических фактов по какой-либо проблеме. Одним из самых ярких приверженцев такого подхода был прекрасный знаток древних рукописей академик Н.П. Лихачев. В 1903 г. он опубликовал работу, где в числе других вопросов рассматривалось и со-

стояние психики Грозного. Н.П. Лихачев решительно отказывался считать Грозного душевнобольным. На основе трудов известного психиатра С.С. Корсакова историк указал на разные подходы медиков к диагностике паранойи и подверг суровой критике построения Ковалевского и Глаголева. Н.П. Лихачев совершенно верно указывал, что психиатрия тогда была еще совсем молодой наукой и ее понятийный аппарат нуждался в дальнейшем развитии.

Говоря о казнях, совершенных Грозным, Н.П. Лихачев сослался на работы С.Ф. Платонова и уверенно заявил, что исследователи уже выяснили суть опричного террора. Лихачев подразумевал известную теорию С.Ф. Платонова, сформулированную в 1890-е годы в его книге "Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв." и воспроизведенную позднее во многих учебных пособиях. Платонов объяснял цели опричнины борьбой царя и дворянства против боярского сепаратизма. Дальнейшее развитие науки покажет, что в истории опричных казней по-прежнему больше нерешенных вопросов, чем ясных ответов. Поэтому идеи Платонова никак не объясняют поведение Грозного.

Наиболее убедительно звучат критические замечания Лихачева, высказанные в адрес первой статьи Глаголева. Действительно, изображения на иконах подчинялись особым жестким канонам, поэтому на основе этих изображений нельзя делать какие-либо выводы о психике человека. Для изучения психического состояния Грозного Лихачев попытался использовать тот вид источника, который он знал, пожалуй, лучше всех историков, – документы царской канцелярии. Однако именно здесь Лихачев попал в логическое противоречие. С одной стороны, эти материалы, по мнению историка, никак не свидетельствуют о болезни царя, хотя тут же Лихачев оговаривается, что в распоряжении исследователей имеются не автографы царя, а тексты, записанные под диктовку его секретарями. С другой стороны, даже сохранившиеся надиктованные тексты содержат много невразумительных мест, так как это "стенографические записи страстно-порывистой, импровизированной речи. Почему же речь царя была порывистой и маловразумительной? Лихачев не дает ответа на такой вопрос. Общий вывод Лихачева таков: "Царь Иван Грозный был человеком своего века, и обвиняя его в ненормальности, надо предварительно стать на точку зрения его современников и его самого"²².

Подобного взгляда на личность как на продукт своей эпохи придерживались и другие сторонники позитивизма. Такая позиция, отчасти, определялась самим методом исследования. Позитивистская методология ориентирована на существование общих законов истории и естествознания и исходит из признания глобальной закономерности общественного развития. Поэтому биографии и персоналии часто становились "неудобным" сюжетом для позитивистов, ведь да-

леко не всегда действия исторической личности можно соотнести с общеметодологическими законами и построениями.

Позитивистские установки (с поправками на марксистскую теорию общественно-экономических формаций) так же отвечали интересам коммунистической идеологии. Советские историки могли беспрепятственно изучать научные проблемы Средневековья преимущественно с фактологической точки зрения. В то же время право на концептуальные обобщения оставалось за высшими идеологическими органами. Поэтому советская историография во многом восприняла адаптированный вариант позитивистской концепции²³.

Среди взглядов на Ивана Грозного, распространенных в исторической науке, выделялась позиция известного историка, "любимого профессора Москвы" В.О. Ключевского. Ключевский считал человеческую психику одной из главных сил исторического развития. Уже в лекциях 1873–1874 гг. Ключевский наметил основные черты своей известной психологической характеристики Ивана Грозного²⁴. Центральная идея этой характеристики осталась неизменной и в окончательном варианте лекций (1906), который опубликован в Собраниях сочинений В.О. Ключевского. В.О. Ключевский верно указывал, что психические и моральные свойства Грозного не следует рассматривать только как своеобразные психологические курьезы: "Иван был *царь* (курсив Ключевского. – С.Б.). Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, а его политический образ мыслей оказал сильное, притом вредное, влияние на его политический образ действий, испортил его"²⁵.

Вслед за Н.М. Карамзиным В.О. Ключевский отмечал, что ум Ивана, бойкий и гибкий от природы, с детства получил "неестественное, болезненное развитие". Чувство сиротства вызвало робость, ставшую основной чертой его характера. Со временем появилась и "подозрительность, которая с годами превратилась в глубокое недоверие к людям". Среди психических черт, присущих Грозному, В.О. Ключевский также называл раннюю развитость, возбуждаемость, нравственную неуравновешенность и одержимость идеей власти²⁶.

В то же время по сравнению с окончательным вариантом курса лекции 1873–1874 гг. содержали больше психологических характеристик. На основе писем Грозного к Курбскому историк в 1870-е годы изображал нравственное состояние царя как позицию "не тронь меня", связанную с особым психологическим механизмом, когда люди попадают под власть эмоций, "чувствуют головой и мыслят сердцем". По мнению Ключевского, Грозного можно уподобить меланхолику, "не находящему себе места в жизни". Подробнее, чем в лекциях 1906 г., Ключевский разъяснял, как на психику Грозного влияло его царское положение. Царь выискивал в Священном писании места, подкреплявшие его политическую идеологию, и пытался эти-

ми цитатами оправдать свои порывы к "жестокой мстительности". "Как в изогнутом стекле слабая искра разгорается широким пламенем, так и в искривленной душе Ивана слабые впечатления разрастались в широкие чувства подозрительности и ненависти". Все указанные фрагменты не вошли в текст лекций 1906 г.

Причудливое сочетание самых разных подходов к проблеме личности Грозного продемонстрировал С.Ф. Платонов. Он считал, что отказ от психологических характеристик – это особая заслуга современной ему исторической науки. Платонов писал: "Всякий частичный успех в исследовании эпохи вел к тому, что личность Грозного как политика и правителя вырастала, и вопрос о его личных свойствах и недостатках терял свою важность для общей характеристики его времени... Сам Грозный мог жить добродетельно или порочно – все равно свойства московской политики оставались при нем одинаковыми... Очевидно, что эти черты (московской политики. – С.Б.) вносились в жизнь самим Грозным"²⁷.

Процитированный фрагмент полон внутренних противоречий: значение личности возрастает, а личные свойства этой личности почему-то теряют свою важность; царь сам вносил важные черты в московскую политику, но свойства этой политики почему-то не зависят от поведения этого царя. Кроме того, в конкретном исследовании о Грозном академик Платонов нередко отходил от собственных теоретических установок. Так, говоря о детстве царя, ученый полностью следовал за Карамзиным, когда писал о двойственной природе Ивана, о влиянии на него сиротства, о "нездоровых инстинктах, возбуждаемых средой". По мнению Платонова, царь был не душевнобольным, а маньяком, которого угнетал страх. Таким образом, Платонов, отвергая одну психологическую характеристику, фактически предлагал взамен другую характеристику подобного рода²⁸. Считая психологический подход к личности Ивана IV окончательно устаревшим, Платонов ссылался на курс Ключевского как на доказательство победы новых исторических методов, чуждых психологическим наблюдениям. В то же время именно Ключевский уделял самое серьезное внимание психологическим характеристикам Грозного.

Противоречивые взгляды Платонова во многом отразили сложный процесс идейной и психологической переориентации русской интеллигенции после революции 1917 г. Идеи Карамзина и Ключевского о личностном подходе к фигуре Ивана IV сохранили многие русские историки и общественные деятели, которые критически восприняли марксистскую идеологизацию исторической науки. Даже марксист Г.В. Плеханов, главный теоретик по вопросу о роли личности в истории, в конце концов признал возможность психологических характеристик Грозного. Эмигрировавшие из России историки (А.А. Кизеветтер, Л.М. Сухотин, Л.М. Савелов) также разделя-

ли подобные взгляды²⁹. Особенно интересна позиция С.Г. Пушкирева, который преподавал историю в университетах Чехословакии, Германии и США. В своем "Обзоре русской истории" он отмечал, что при изучении опричнины следует отказаться от "наивно-рационалистического убеждения в том, что в истории нет ничего иррационального, случайного и бессмысленного"³⁰.

Подобную критику исторического детерминизма, столь распространенного в дореволюционной и советской историографии, следует признать важным этапом в развитии исторических взглядов на деятельность Ивана Грозного. В дальнейшем идеи о роли случайности, момента непредсказуемости в истории разрабатывались в исследованиях психоисторической школы. На общефилософском и культурологическом уровне эту проблему всесторонне изучил Ю.М. Лотман в блестящем исследовании "Культура и взрыв"³¹.

Итак, в русской науке существовала вполне определенная традиция игнорировать личностные мотивы при изучении деятельности Грозного. Тем не менее В.О. Ключевский, будучи крупнейшим историком начала XX века, снова обратился к психологическим характеристикам Ивана IV. Тогда же, на рубеже XIX–XX вв., благодаря исследованиям Фрейда и его теории психоанализа психиатрия начала постепенно преодолевать те недостатки, на которые указывал Н.П. Лихачев. Однако в условиях сталинизма применение методов психоанализа в истории стало невозможным из-за господства единой марксистской теории во всех областях гуманитарного знания. Поэтому в исторических работах окончательно утвердилась трактовка Грозного как "продукта своей эпохи".

История изучения царствования Грозного в советской науке – отдельная обширная тема, которой посвящено несколько обстоятельных исследований³². Начиная с 1950-х годов основным направлением научного поиска стали публикации и углубленная критика исторических источников эпохи Грозного, в том числе и материалов, непосредственно связанных с личностью царя – его писем и полемических сочинений. Такая работа была исключительно важна, поскольку еще К.Д. Кавелин и С.Ф. Платонов считали, что главный недостаток психологических объяснений поведения Грозного – это отсутствие необходимых документальных свидетельств. Однако в историографическом обзоре С.В. Бахрушина (1947) специально подчеркивалось, что именно психологические трактовки поведения Грозного восходят непосредственно к документальным материалам XVI в. Такой вывод подтверждается и исследованием Л.М. Сухотиной, который убедительно показал несостоятельность гиперкритического подхода к документальным свидетельствам об Иване Грозном³³.

Исследования С.Б. Веселовского, Д.Н. Альшица, А.А. Зимина, Д.С. Лихачева, Я.С. Лурье, С.О. Шмидта, Р.Г. Скрынникова и других

советских историков позволили создать целостное представление об источниковой базе для изучения деятельности Ивана Грозного. Особая роль здесь принадлежит полемике вокруг переписки Грозного с Курбским. По мнению одного из ведущих специалистов в этой области Р.Г. Скрынникова, переписка прежде всего отражает личные мотивы ее участников. Такой вывод подтверждает возможность использовать этот памятник для реконструкции поведенческих установок царя. В связи с изучением исторических источников XVI в. личные аспекты деятельности Ивана Грозного затрагивались в работах Д.С. Лихачева, посвященных литературному стилю царских произведений³⁴.

Однако в целом советские исследователи рассматривали личность Ивана Грозного прежде всего как продукт классовых отношений эпохи феодализма. Подобная трактовка ярко проявлялась в работах М.Н. Покровского, Н.А. Рожкова, Р.Ю. Виппера, И.И. Смирнова, С.В. Бахрушина. Лаконичную формулировку подобного метода находим у Бахрушина, который писал о том, что главная цель изучения деятельности Грозного – "создать цельную научную концепцию эпохи, в которую действовал этот царь"³⁵. Даже несмотря на такую осторожную позицию, взгляды Бахрушина подверглись идеологическим нареканиям за преувеличение роли личности в истории. Автор другой историографической работы о первом русском царе, И.У. Будовниц, также уделял основное внимание изучению социальной и экономической истории. Исследования Чистовича, Ковалевского и Глаголева рассматриваются у Будовница в отрыве от общего историографического контекста, все критические замечания в адрес указанных авторов Будовниц заимствовал у Н.П. Лихачева.

Даже в период культа личности Сталина, когда историки должны были уделять повышенное внимание личности Грозного, речь могла идти только о создании образа выдающегося правителя, а не о его личных свойствах³⁷.

Уникальное исключение из массы деперсонифицированных работ о Грозном – труды С.Б. Веселовского. Развивая подход, заложенный еще Карамзиным и Ключевским, он уделял основное внимание личностным взаимоотношениям и менталитету правящих слоев московского общества. Широко используя в своих работах источниковедческие и генеалогические методы исследования, Веселовский в то же время подчеркивал, что нет никаких оснований наотрез отказываться от психологических характеристик Грозного. Конечно, такие характеристики должны основываться на прочной источниковой базе. Образцы подобных характеристик продемонстрировал сам С.Б. Веселовский, когда он мастерски воссоздал психологическую атмосферу при дворе во время болезни Грозного в 1553 г., обстановку страха в период опричного террора, психическое состояние царя в последние годы его жизни. Критикуя трактовку об-

раза Грозного в произведениях А.Н. Толстого, ученый отмечал, что многие сцены этих произведений фальшивы не только с исторической, но и с психологической точки зрения. При изучении некоторых источников об Иване Грозном академик Веселовский использовал важное понятие "психологическая правда" (слово "правда" у автора дается в кавычках)³⁸.

Интересную попытку совместить методы психоанализа и "государственные" взгляды на личность Ивана IV предпринял в советское время кинорежиссер С.М. Эйзенштейн. По его мнению, критики Грозного забывали о том, что "к разным этапам истории надо подходить по-разному". Главная цель Эйзенштейна при создании фильма о Грозном – "постараться уловить в человеке (т.е. в Иване IV. – С.Б.) черты трагической величественности его исторической роли". Таким образом, фильм Эйзенштейна (как и многие исторические и литературные произведения эпохи сталинизма, носившие название "Иван Грозный") был посвящен не только личности царя, сколько его идеологизированному образу. Но в отличие от профессиональных историков Эйзенштейн старался использовать для создания образа Грозного и методы психоанализа.

В книге Р.Г. Скрынникова, впервые опубликованной в 1975 г. под названием Иван Грозный, личностные качества главного героя также занимают второстепенное положение по сравнению с изложением политических и экономических событий того времени. Автор, допустив возможность нервной болезни царя, особо подчеркнул, что "влияние недуга на характер Грозного не следует преувеличивать... Царь Иван Васильевич не был исключением в длинной веренице средневековых правителей-тиранов? "Итак, в конце концов снова появляется "продукт эпохи". Автор новейшей биографии Ивана Грозного В.Б. Кобрин уделил основное внимание политологическим оценкам его деятельности⁴⁰.

Гораздо определеннее по интересующей нас проблеме высказался в своей поздней работе один из крупнейших специалистов по истории XVI в. А.А. Зимин. Историк подчеркивал, что в последние годы жизни у Ивана Грозного можно обнаружить "постепенный, но неуклонный процесс распада личности"⁴¹.

Интересно отметить, что многие авторы, писавшие о Грозном, все-таки ощущали настоятельную потребность персонифицировать своего героя. Поскольку психоанализ явно не поощрялся официальными идеологами, его место занял скульптурный портрет Грозного, реконструированный антропологом М.М. Герасимовым. Достоверный характер этого портрета неоднократно подчеркивался во многих исторических исследованиях и как бы противопоставлялся "субъективным" результатам психологических построений.

Высокомерное пренебрежение психоаналитическими методами прочно утвердилось среди специалистов, изучавших правление Ива-

на IV. В частности, такой подход проявился у политолога А. Янова, который выпустил в эмиграции оригинальное, хотя и чрезмерно упрощенное исследование об Иване Грозном. Янов особо отмечал, что историки Щербатов и Карамзин, говоря о царе, "не соблазнились лежащими на поверхности медицинскими спекуляциями". Однако Янов не учитывал, что при Щербатове и Карамзине психиатрия еще не существовала как наука, и поэтому она никак не могла соблазнить этих историков. В то же время работы русских психиатров, посвященные Грозному, во многом основывались как раз на трудах Н.М. Карамзина.

Отношение Янова к психологическим методам совпадает со взглядами авторов семиотических исследований. Как известно, Бахтин и развивавшие его взгляды специалисты-семиотики всегда крайне негативно относились к психоаналитическим построениям. Так, А.М. Панченко и Б.А. Успенский прямо заявили, что анализ индивидуальной психики Грозного означает, по их мнению, отказ от научной интерпретации исторических событий⁴².

Без сомнения, проблема поведения Грозного относится к тем вопросам, которые "лежат на грани физиологии и семиотики, постоянно меняя центр тяжести то в одну, то в другую сторону"⁴³. Наличие карнавального элемента в причине отмечалось еще в исследованиях М.М. Бахтина. Академик Д.С. Лихачев также писал о проявлениях карнавала и скоморошества в литературных произведениях Ивана IV⁴⁴. Применимы ли эти наблюдения не только к литературному стилю Грозного, но и к его поведению в целом? Думаю, что нет. Вряд ли правомерно искать объяснение поведения Грозного в том, что он сознательно следовал каким-либо литературным сюжетам⁴⁵.

Дело в том, что сама суть, смысл карнавального действия совершенно не совпадают с мотивацией поступков Грозного. Внешние атрибуты карнавального поведения действительно проявлялись во многих поступках царя, но их трагические последствия совершенно не сопоставимы с карнавалом. Грозный мог воспринимать только внешние формы карнавального действия, которые казались ему веселыми и необычными, но он вкладывал в них мрачное, а подчас и кровавое содержание. Когда один из придворных, князь М.П. Репнин, отказался надеть на себя шутовскую маску, предложенную ему царем, Грозный велел предать его жестокой казни⁴⁶.

Возможно, что в случае с Грозным применимо понятие "пороговое явление", которое исследователи связывают с карнавалом и одновременно соотносят с такими невеселыми реалиями, как сицилийская мафия и Ку-Клук-Клан. Однако это уже не карнавал в том классическом понимании, как рассматривал его М.М. Бахтин. По словам Д.С. Лихачева, "антимир, став действительностью, перестал быть смешным. Кромешный мир, стремясь к воплощению в действительности, тем самым уничтожил сам себя"⁴⁷.

Следует также отметить, что Иван Грозный полностью разделял церковные взгляды на искусство скоморохов как на мерзкое и богопротивное занятие, а самих скоморохов царь называл "псами". Своих политических противников Иван также сравнивал с шутами и музыкальными инструментами скоморохов⁴⁸.

Поэтому мотивы поведения Грозного в первую очередь следует искать в сложных психических комплексах, которые сформировались еще в детские годы и влияли на поведение царя в зрелом возрасте. Настоящей трагедией для Ивана стала его неспособность самоидентификации с идеальным образом правителя-самодержца, "царя и великого князя всея Руси". Исследователи отмечают, что средневековые правители несли колоссальную моральную ответственность, поскольку они воплощали в себе абсолютную, ничем не ограниченную власть. Даже для людей со здоровой психикой нелегко было выносить столь тяжелое бремя. О "едва переносимом бремени" власти писал и сам Иван Грозный⁴⁹. Неудачи во внешней политике, глубокий конфликт со своими придворными, осложненный, по всей видимости, психическим заболеванием, привели к психическому расщеплению личности. Царь был подвержен мании преследования и ощущал своеобразный "рефлекс бегства", т.е. пытался любыми средствами формально самоустраниться от выполнения политических и общественных функций.

Таким образом, изучение семиотических аспектов поведения Грозного не должно означать отказа от психологических характеристик. Кроме того, некоторые приемы, используемые в семиотических исследованиях (в частности, прямолинейное сопоставление Ивана Грозного и Петра Великого), давно уже подвергались справедливой критике со стороны специалистов⁵⁰.

Вернемся к мемуарам Сергея Эйзенштейна. Не будучи профессиональным историком, гениальный режиссер, тем не менее, тонко почувствовал разницу в подходах к изучению исторической личности, когда писал: «Обычный метод (и западный прежде всего) сводится к тому, чтобы исторический персонаж представить в "домашнем виде", с внутрибытовой стороны, на уровне обыденных поступков и поведения»⁵¹. Правда, это был метод не только западных, но и многих русских исследователей. Впрочем, когда в 1984 г. ведущие американские специалисты по истории Московской Руси обратились к изучению психики Грозного, исследования Я. Чистовича, П. Ковалевского, Д. Глаголева и Н. Лихачева были так прочно забыты, что никто из американских ученых даже не упомянул их в своих работах.

Углубленному изучению личности Ивана Грозного предшествовала интенсивная разработка новых подходов к изучению средневековой истории. С конца 1960-х годов в западной историографии формируется особое антропологическое направление исследований, связанное с изучением личностных взаимоотношений внутри правя-

щей группы средневекового общества. Развивая идеи С.Б. Веселовского и А.А. Зимина, историки, работающие в этом направлении (А.Н. Гробовский, Р. Крамми, Н. Коллманн и др.), считают, что подобная группа в XVI в. еще не составляла какого-либо юридического института. Следовательно, ее деятельность определялась не формализованным законом, а традициями, личными интересами, дружбой (или неприязнью) и родственными связями. Вполне понятно, что при таком подходе возник устойчивый интерес к изучению исторических личностей, в том числе и личности Грозного. Таким образом, современные представления об общественном строе Московской Руси подразумевают не отказ от личностных характеристик фигуры Грозного, как это предполагал С.Ф. Платонов, а наоборот, особое внимание к межличностным связям царя и его окружения.

Многие специалисты считают, что один из самых эффективных в историческом контексте – это использование методов психоанализа. В конце 1950-х годов в историографии сложилось специальное направление исследований, называемое "психоисторией". Психоистория основана на соединении исторических и психоаналитических методов исследования. Теоретической основой для комбинации психологии и истории является разграничение объектов исследования этих наук. По словам ведущего теоретика психоистории У. Маккинли-Раниана, психология, как и другие социальные науки, изучает стабильные связи между объектами, строит модели их упорядоченного развития. В то же время история охватывает не только устойчивые системы или объекты, но также и хаотичные явления, частности, случайности, которые плохо поддаются систематизации (здесь уместно вспомнить идеи С.Г. Пушкирева об опричнине). Поскольку окружающий нас мир – сложная комбинация порядка и беспорядка, то изучение этого мира возможно только путем соединения социальных (в том числе психологических) и исторических методов познания⁵².

В 1984 г. в Университете Чикаго состоялась конференция, посвященная 400-летию со дня смерти Ивана Грозного. Несколько участников конференции специально остановились на проблеме его психики. Так, главный тезис работы известного американского историка Р. Хэлли состоит в том, что поведение Грозного объясняется современной теорией паранойи и ее симптомами (мания преследования, эротомания). Первый опыт психологической характеристики Грозного Хэлли сделал еще в 1974 г. в статье, сопровождавшей английский перевод исследования С. Ф. Платонова. Другой американский историк, специалист по истории боярства Р.О. Крамми отметил правомерность такого подхода (правда, он же указал, что в ранней работе Хэлли не было никаких ссылок на специальную психоаналитическую литературу).

Рассмотрев детство Ивана, его поведение в более зрелом возрасте, а также систему его комплексов и страхов, Хэлли пришел к

выводу, что первые проявления паранойи возникли у Грозного в 1564–1565 гг., т.е. к моменту самого известного и загадочного деяния Грозного – утверждения опричнины. Важное достоинство работы Хэлли – соединение психоаналитических и политологических методов анализа (подобную комбинацию исследовательских приемов можно обнаружить и у Ключевского). Даже внешнеполитические условия существования Московского государства в какой-то мере способствовали развитию нездоровых психических настроений у правителя. Постоянная угроза нападения татар или поляков превращала Московию в осажденную крепость и тем самым стимулировала развитие навязчивых идей о скрытых происках врагов московского государя.

Таким образом, в условиях русской политической системы XVI столетия окружение Ивана Грозного не имело каких-либо надежных механизмов для контроля за его поведением. Каждый его непродуманный, импульсивный поступок мог непосредственно влиять на политическую ситуацию в государстве, а также на материальное и моральное состояние его подданных. Говоря о связи поступков Грозного и поведенческих стандартов его эпохи, Хэлли отметил, что паранойя всегда отражает условия времени, и в этом смысле Грозный, конечно, был параноиком своего времени.

Р.О. Крамми также объяснял многие поступки Ивана Грозного (в частности, разорение Новгорода в 1570 г.) с помощью методов психоанализа. Он отмечал, что заболевание паранойей не исключает возможности и других психических отклонений у Грозного. Поэтому, с точки зрения Крамми, вполне вероятно, что в годы царствования Ивана IV реальным правителем Московии был кто-либо из его ближайших советников (например, Басмановы или Малюта Скуратов).

Важно отметить, что заключения Хэлли и Крамми не замыкаются исключительно на переписке царя с Курбским, а напротив, основаны на всей совокупности доступных источников. Поэтому, даже если считать переписку позднейшей фальсификацией (хотя для этого, по-моему, нет достаточных оснований), выводы Хэлли и Крамми все равно останутся в силе.

В российской историографии в последнее время происходит своеобразный ренессанс психоанализа. В некоторой степени этот процесс заметен и в исследованиях, посвященных Грозному. Так, в работе А.Л. Хорошкевич, опубликованной в 1991 г., "сложный комплекс неполноценности" Ивана IV назван среди главных мотивов, объясняющих его поведение и политику. В другой статье Хорошкевич отмечает, что долгое время "историки сознательно или бессознательно исключали из исследования личность правителя, его собственные цели и амбиции". Среди важнейших причин, влиявших на психическое состояние Ивана Грозного, историк указывает следую-

щие факты: Иван IV родился от второго брака после неканонического развода Василия III с Соломонией Сабуровой: Грозный как и его отец никогда не венчался на великое княжение; наконец, на Ивана очень сильно повлиял отказ европейских монархов признать его царский титул. В отличие от своих предшественников Хорошкевич широко использовала в своей работе сохранившиеся дипломатические материалы (посольские книги)⁵³.

Конечно, обращение к психоанализу не может автоматически гарантировать успеха исследования. Не следует доводить этот метод до абсурда, как это делает Б. Парамонов, который "разгадал" загадку Грозного с помощью одного единственного слова – гомосексуализм⁵⁴.

Подводя итоги проведенного обзора, можно отметить, что трактовка личности Грозного как "продукта своей эпохи" прежде всего характерна для тех исследований, где изложение исторических событий жестко подчиняется историософским или идеологическим схемам и конструкциям. Казалось бы, люди искусства могли бы позволить себе более разнообразные трактовки образа грозного царя. Однако "эпохальный взгляд на личность Грозного типичен не только для профессиональных историков, но и для современных литераторов, пишущих об Иване IV.

В рамках такого эпохального подхода встречаются самые разные оценочные суждения. Одни авторы оправдывают деятельность Грозного высшими национальными интересами, другие, напротив, безоговорочно осуждают его политику, но опять же с точки зрения перспектив исторического развития. В целом же, многие новые идеи об Иване IV – это зеркальное отражение старых взглядов на его деятельность, причем сама система оценок остается практически неизменной со времен государственной школы.

Несомненно, что рассматриваемая проблема – один из аспектов вечного вопроса о роли личности в истории. Но можно ли найти на этот глобальный вопрос универсальный ответ, подходящий для "всех времен и народов"? Необходимо учитывать, что люди XVI в. жили в патриархальном обществе, которое еще не разделилось на четкие социальные группы (таким было не только русское, но и многие европейские общества в период средневековья). В подобных условиях неформализованные человеческие отношения играли самую главную роль, и поэтому изучение патриархальных обществ должно основываться на всестороннем исследовании психологической мотивации поступков исторических личностей. Можно согласиться с К.Н. Бестужевым-Рюминым в том, что XVI в. был по всей Европе веком "энергических лиц". Трудно понять то далекое время, не вникнув в настроения, надежды, страхи, предрассудки конкретного человека. Всестороннее представление об исторической личности, тем более о таком сложном и противоречивом человеке, каким

был царь Иван Грозный, можно получить только на основе сочетания самых разных приемов исторического исследования. Это подтверждает и многовековая традиция изучения деятельности Грозного с помощью личностных приемов исторического анализа.

Дальнейшее изучение личности Грозного возможно по нескольким направлениям. С одной стороны, всегда есть вероятность обнаружить новые материалы. Недавно опубликованы записи о расходах лекарственных средств при царском дворе в последние годы жизни Грозного⁵⁵. Не смогут ли наконец исследователи получить более определенное представление о здоровье и недугах царя?

Однако речь должна идти не только об уточнении "диагноза" болезни Грозного. Проблема гораздо шире и состоит она в том, что ученым следует уделять особое внимание личностным поведенческим установкам исторических деятелей. Необходимо ставить новые вопросы перед хорошо известными источниками, давно введенными в научный оборот. В таком случае психоисторические трактовки перестанут служить только пикантным дополнением для глобальных социально-экономических и политологических схем и приобретут значение самостоятельного метода исторического исследования. Как и любой метод, психоанализ, разумеется, имеет свои недостатки, главный из которых – отсутствие в психоистории всесторонне разработанной источниковедческой теории. Создание специальных исследований, посвященных этой проблеме, – важная и интересная задача, где могли бы объединить свои усилия историки, психологи и медики.

¹ Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI в. М., 1986 (Далее ПЛДР); *Временник Ивана Тимофеева*. М.; Л., 1951. С. 11.

² *Полосин И.И.* Социально-политическая история России XVI–начала XVII вв. М., 1963. С. 208.

³ *Шербаков М.М.* История российская с древнейших времен. СПб., 1903. Т. 5, ч. 3. С. 931–933.

⁴ *Сухотин Л.М.* Историография опричнины: Юбилейный сборник Русского Археологического общества в Королевстве Югославии. Белград, 1936. С. 266; *Веселовский С.Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1953. С. 12.

⁵ *Карамзин Н.М.* История государства Российского. М., 1989. Кн. 3, т. 9. С. 259.

⁶ *Погодин М.П.* Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 270; Царь Иван Васильевич Грозный // *Архив исторических и практических сведений, относящихся до России*. СПб., 1860. Кн. 5. С. 7, 13.

⁷ *Полевой Н.А.* История русского народа. М., 1833. Т. 6. С. 346. О взглядах Полевого см. также: *Михайловский Н.К.* Иван Грозный в русской литературе // *Он же*. Критические опыты. СПб., 1895. Т. 3. С. 24, 25; *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 108/109.

⁸ *Устрялов Н.Г.* Русская история. 3-е изд. СПб., 1845. Т. 1. С. 228–245; *Аксаков К.С.* Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 168–169; *Жданов И.Н.* Соч. СПб.,

1904. С. 150–169. Подробнее о воздействии карамзинских идей см.: Шмидт С.О. История государства Российского в культуре дореволюционной России // Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1988. Кн. 4. С. 28–43.
- ⁹ Чистович Я. История медицинских школ в России. СПб., 1883. Прил. С. IV–IX.
- ¹⁰ Михайловский Н.К. Иван Грозный... Т. 3. С. 8, 107; Иловайский Д.И. История России. М., 1890. Т. 3. С. 166, 248–249.
- ¹¹ Середонин С.М. Иоанн IV Васильевич Грозный // Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. "Ибак-Ключарев". С. 229–270.
- ¹² Ковалевский П.И. Иоанн Грозный и его душевное состояние // Психиатрические эскизы по истории. СПб., 1901. Т. 3. С. 10–23.
- ¹³ Там же. С. 87.
- ¹⁴ Тихомиров М.Н. Последние из рода Калиты // Российское государство XV–XVII вв. М., 1973. С. 81–83.
- ¹⁵ Ковалевский П.И. Указ. соч. С. 58–75, 273–292.
- ¹⁶ Викторов П.П. Учение о личности и настроениях. 2-е изд. М., 1903. Т. 1. С. 94–98, 207–208. Первое издание появилось в 1887 г.
- ¹⁷ Глаголев Д.М. Подлинный портрет Ивана Грозного // Русский архив. 1902. № 2. С. 337; Он же. Душевная болезнь Ивана Грозного // Там же. № 7. С. 500–515.
- ¹⁸ Подробнее о взглядах К.Д. Кавелина и С.М. Соловьева см.: Зимин А.А. Опрычина Ивана Грозного. М., 1964. С. 15–16; Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 16–24.
- ¹⁹ Кавелин К.Д. Собр. соч. СПб., 1897. Т. 1. С. 639; Бестужев-Рюмин К.Н. Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Ивана Грозного // Заря. 1871. Март. С. 84; Белов Е.А. Об историческом значении русского боярства до конца XVII в. // Журнал Министерства народного просвещения. 1886. Февр. С. 234; Соловьев С.М. Соч., 1989. Т. 3. С. 506, 535.
- ²⁰ По-разному понимался образ Грозного в произведениях искусства, создававшихся в 1880-е годы. Так, монументальная скульптура М.М. Антокольского представляет царя умудренным государственным деятелем. Напротив, И.Е. Репин в картине "Иван Грозный и сын его Иван" обратился к трагедии семейной жизни царя. См.: Богданов А.П. Тень Грозного // Знамя. 1992. № 12. С. 221. Ср.: Лурье Я.С. Иван Грозный и древнерусская литература в творчестве М. Булгакова // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1992. Т. 45. С. 315–321. (Далее: ТОДРЛ.)
- ²¹ Лихачев Н.П. Дело о приезде в Москву Антонио Поссевино. СПб., 1903. С. 71.
- ²² Там же. С. 66, 82, 94, 96. Примечательно, что Лихачев, однако, не снимал самого вопроса об изучении психики Грозного.
- ²³ Гуревич А.Я. О кризисе современной науки // Вопр. истории. 1991. № 2. С. 24.
- ²⁴ См. об этом.: Кизеветтер А.А. Первый курс В.О. Ключевского, 1873–1874 гг. // Записки Русского научного института в Белграде. 1931. Т. 3. С. 292. Далее лекции 1873–1874 гг. цитируются по этому изданию.
- ²⁵ Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 2. С. 181. Позицию Ключевского разделял и академик С.Б. Веселовский. См.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. С. 108.
- ²⁶ Ключевский В.О. Соч. Т. 2. С. 176–187. Ученик Ключевского Кизеветтер считал, что взгляды его учителя на личность Ивана Грозного в равной мере отличаются как от позиции Карамзина и Костомарова, так и от подхода историков государственной школы. См.: Кизеветтер А.А. Первый курс...

- С. 297–299). Думаю, Ключевский при изучении эпохи Грозного все-таки раз-
вивал карамзинское направление в историографии.
- 27 *Платонов С.Ф.* Иван Грозный в русской историографии // Русское прошлое. 1923. № 1. С. 11.
 - 28 *Платонов С.Ф.* Иван Грозный. Берлин, 1924. С. 25–26, 36–40, 130.
 - 29 *Плеханов Г.В.* История русской общественной мысли. М., 1918. С. 86–182;
Кизеветтер А.А. Опричнина Ивана Грозного в русской историографии // Сборник Русского института в Праге. 1931. Т. 14. С. 28–29. О взглядах Сухотина см.: *Станиславский А.Л.* Тоталитаризм XX века и проблема опричнины в трудах Л.М. Сухотина // Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII вв.: Тезисы Первых чтений памяти А.А. Зимина. М., 1990. С. 259–263.
 - 30 *Пушкарев С.Г.* Обзор русской истории. Нью-Йорк, 1953. С. 186.
 - 31 *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1992.
 - 32 *Хорошкевич А.Л.* Опричнина и характер Русского государства в советской историографии 20-х – середины 50-х гг. // История СССР. 1951. № 6. С. 85–100.
 - 33 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. 1. С. 641; *Платонов С.Ф.* Иван Грозный в русской историографии. С. 3–6; *Бахрушин С.В.* Научные труды. М., 1954. Т. 2. С. 257; *Сухотин Л.М.* Против отвода иностранцев и Курбского // Юбилейный сборник. Белград, 1936. С. 277–289.
 - 34 *Скрынников Р.Г.* Царство террора. СПб., 1992. С. 47–49, 194–195; *Лихачев Д.С.* Иван Грозный – писатель // Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 452–467; Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 183–213.
 - 35 *Бахрушин С.В.* Научные труды. Т. 2. С. 355.
 - 36 *Будовниц И.У.* Иван Грозный в русской исторической литературе // Ист. зап. М., 1947. Т. 21. С. 318–320. Серьезные замечания в адрес обзора И.У. Будовница высказал Л.М. Сухотин. См.: *Сухотин Л.М.* Мои работы по истории опричнины // Новый журнал. Нью-Йорк, 1948. С. 300.
 - 37 Интересно, при Сталине лагерная администрация запретила одному из заключенных, будущему известному писателю Варламу Шаламову, читать на праздничном концерте стихотворение А.К. Толстого "Василий Шибанов" (Октябрь. 1991. № 7. С. 173). Сталинские идеологи не хотели пропагандировать произведение, где царь изображался жестоким тираном, которому бросили вызов князь Курбский и его слуга. В исполнении заключенного такое стихотворение тем более не могло укрепить величественный образ Грозного, создаваемый официальной пропагандой.
 - 38 *Веселовский С.Б.* Исследования по истории опричнины. С. 97, 334; О драматической повести "Иван Грозный" А.Н. Толстого // Археографический ежегодник за 1988 год. М., 1989. С. 305–313.
 - 39 *Эйзенштейн С.М.* Избранные произведения. М., 1964. Т. 1. М., 1964. С. 190, 192, 199; *Иванов В.В.* Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. С. 99. По мнению Иванова, Эйзенштейн в подходе к Грозному следует взглядам Ключевского. Это не совсем верно, поскольку для концепции Карамзина и Ключевского особенно важны моральные оценки личности Грозного. В то же время Эйзенштейн разделял взгляды Ницше о необходимости заменить старую мораль на учение о сверхчеловеке (С. 244).
 - 40 *Скрынников Р.Г.* Иван Грозный. М., 1980. С. 178–179; *Кобрин В.Б.* Иван Грозный. М., 1989.
 - 41 *Зимин А.А.* В канун грозных потрясений. М., 1986. С. 103.

- 42 *Бахтин М.М., Волошинов В.Н.* Фрейдизм: Критич. очерк. Нью-Йорк, 1983; *Панченко А.М., Успенский Б.А.* Иван Грозный и Петр Великий: Концепции первого монарха // ТОДРЛ. 1983. Т. 37. С. 54.
- 43 *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. С. 173.
- 44 *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 294; *Лихачев Д.С., Панченко А.М., Помырко Н.В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 35. В другой работе Д.С. Лихачев также отмечал, что литературная игра Грозного в посланиях – это "отражение игры в жизни" (*Лихачев Д.С.* Стиль произведений... С. 188).
- 45 *Зимин А.А.* В канун грозных испытаний. С. 35.
- 46 ПЛДР: Вторая половина XVI века. С. 328; *Зимин А.А.* Опричнина. С. 108.
- 47 *Лихачев Д.С.* Бунт кромешного мира // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1974. С. 117–118.
- 48 *Рогов А.И.* Музыка "в Очерках русской культуры XVI в." М., 1977. С. 401; Послания Ивана Грозного. С. 202, 204; *Лихачев Д.С.* Стиль произведений... С. 197.
- 49 Переписка... С. 16. "Политическое одиночество" Грозного отмечал Я.С. Лурье. См.: Послания Ивана Грозного... С. 495.
- 50 *Веселовский С.Б.* Исследования по истории опричнины. С. 37.
- 51 *Эйзенштейн С.Я.* Избранные произведения. Т. 1. С. 199.
- 52 См. об этом: *Шестопал Е.Б.* Психоаналитическое движение в исторической науке // История СССР. 1991. № 5. С. 190–192; *Богатырев С.Н.* Психоистория и вспомогательные исторические дисциплины // Вспомогательные исторические дисциплины: Высшая школа, исследовательская, общественные организации. М., 1994. С. 40–41.
- 53 *Хорошкевич А.Л.* Опричнина и характер. С. 85; Царский титул Ивана IV и боярский "мятеж" 1553 г. // Отечествен. история. 1994. № 3. С. 23–42.
- 54 *Парамонов Б.* Загадка Ивана Грозного: Гомосексуализм // Звезда. 1993. № 6. С. 201–205.
- 55 *Жаринов Г.В.* Записи о расходе лекарственных средств, 1581–1582 гг. // Архив русской истории. М., 1994. С. 104–125.

А.Г. Гуськов

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПЕТРА I В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Великое посольство 1697–1698 гг., в составе которого участвовал Петр I, с давних пор привлекает внимание ученых. Надо сказать, что ни одна внешнеполитическая миссия, отправленная из России с IX по XVII в., не носила столь грандиозного масштаба, не получила такого общественного резонанса и не пользовалась столь пристальным вниманием историков.

История изучения Великого посольства Петра I имеет богатую традицию как у нас в стране, так и за рубежом. Однако количество специальных исследований, касающихся исключительно миссии 1697–1698 гг., а особенно ее источниковедческой основы, оставляет

желать лучшего. Основная масса историков рассматривала Великое посольство в контексте обобщающих работ, посвященных либо истории царствования первого русского императора, либо всей истории России.

Одна из первых попыток описания путешествия Петра Великого за рубеж была сделана в труде П.П. Шафирова "Разсуждения о причинах войны..." (1722 г.). О субъективности подхода канцлера петровской эпохи говорить не приходится, она была аргументированно доказана еще Е.Ф. Шмурло, который отметил конъюнктурность точки зрения автора¹. Однако представляет интерес источниковая база, на которой П.П. Шафиров писал свою работу. По словам Н.Г. Устрялова, он принял за основание записку боярина Ф.А. Головина, поданную в октябре 1699 г. шведским послам в Москве, "дополнив изложенные в ней неудовольствия многими обстоятельствами, как очевидец"². Но к свидетельствам автора надо относиться крайне осторожно, учитывая политическую обстановку того времени (1717 г.) и задачу сочинения – обвинить шведов в кровопролитии. Поэтому его сведения о злоумыслии Дальберга (рижского губернатора) против молодого Петра I мало использовались историками при описании Великого посольства.

Менее пристрастным было изложение событий в труде И.И. Голикова³, купца по профессии, в силу обстоятельств давшего обет собрать все сведения о Петре Великом. Великому посольству он посвятил более 250 страниц первого тома своих "Деяний". Так как автор не задавался целью проводить какое-либо исследование, то фактически его работа представляет собой собрание различных материалов, взятых из отечественных и иностранных работ, и первоисточников: грамот, "Посольского журнала", писем Петра I. Критический подход у И.И. Голикова встречается лишь в тех местах, где он приводит отрицательные характеристики Петра Великого. В большинстве случаев автор перепечатывал информацию из какого-либо источника, указывая саму работу без ссылок на страницу и выходные данные. В целом, "Деяния..." И.И. Голикова заслуживают внимания как первая попытка обобщить сведения разных авторов, в том числе и иностранных, о Великом посольстве.

Написать историю жизни Петра I в XIX в. стало задачей, получившей приоритет в государственном масштабе. Были выделены средства и назначен официальный историограф эпохи реформ с правом работы в архивах. Первоначально им стал А.С. Пушкин. Однако его работа не пошла дальше небольших набросков.

Начало систематического изучения истории Петра I, а с ней и Великого посольства 1697–1698 гг., было положено в 50–60-х годах XIX в. Труд Н.Г. Устрялова, в котором можно наблюдать и панегирический подход к жизни императора, и подлинно исторический анализ событий, стал переходным рубежом этого процесса⁴. Поездке

императора за границу автор посвятил половину третьего тома своего исследования. Им был значительно расширен круг источников и впервые опубликована большая часть архивных материалов. Используя архивы Москвы, Санкт-Петербурга и Вены, Н.Г. Устрялов включил в приложения к тексту большинство известных к тому времени бумаг Петра I, часть дел МГАМИД и Государственного архива (ныне Российский государственный архив древних актов – РГАДА), донесения некоторых иностранных послов из России. Многие из документов были впервые введены им в научный оборот, причем часть из них уже утрачена к настоящему времени. Почти все материалы и исследования (Н.Г. Устрялов их использовал в подлинниках), были источниковедчески проанализированы и приведены во "Введении" к первому тому. Историк критиковал многие зарубежные и отечественные труды, указывая на их безграмотность, употребление непроверенных данных, компилятивный характер. Недостатки незаконченного труда Н.Г. Устрялова крылись в излишнем преувеличении значения деятельности Петра I и связанной с этим пристрастностью в оценке ряда источников.

В вышедшем в 1864 г. XIV томе "Истории России с древнейших времен" С.М. Соловьева события 1697–1698 гг. освещались излишне схематично⁵. Касаясь лишь важнейших фактов поездки, автор уделил внимание обоснованию преемственности деяний Петра Великого с предыдущим ходом русской истории. Основным источником для С.М. Соловьева при анализе путешествия в Европу стала переписка царя с различными корреспондентами, извлеченная из "Кабинета Петра I"⁶. Достоинство изложения поездки С.М. Соловьевым заключалось в более взвешенных оценках спорных событий и отходе от преклонения перед авторитетом и личностью Петра I. Он обосновывает взаимосвязь рассматриваемых событий с предшествующим временем, полагая стремление русских людей к перемене мест и поездку самого Петра на Запад общеисторическим движением "нецивилизованных, но исторических, благородных народов к цивилизации".

Первая работа, посвященная исключительно пребыванию Петра I за границей, появилась лишь в 1872 г.⁷ Труд А. Языкова, с исторической точки зрения, не представляет собой ничего нового, так как содержит извлечения из трех работ иностранных авторов, использованных еще Н.Г. Устряловым и С.М. Соловьевым, и из самой "Истории царствования Петра Великого" Н.Г. Устрялова. Сочинение служило популяризаторским целям и поэтому малоинтересно в научном отношении.

Расцвет отечественной исторической науки во второй половине XIX в. способствовал росту публикаций как источников, так и монографий. Благодаря достаточно либеральной цензуре, в работе большинства исследователей появились демократические тенден-

ции. Ослабла установка официальной пропаганды на идеализацию личности Петра I. Изучение эпохи реформ поднимается на более высокий научный уровень. Развивается критический подход к деятельности самого императора, многие его действия получают негативную окраску. В качестве примера можно привести мнение историка Н.И. Костомарова. В очерке "Петр Великий"⁸, при описании рижского инцидента, он принял сторону губернатора Э. Дальберга и отрицательно оценил попытки Петра I проводить разведку крепости.

В.О. Ключевский в "Курсе русской истории" приводит краткое описание путешествия Великого посольства, глубоко не затрагивая ни его причин, ни последствий⁹. Это обусловлено, прежде всего, его концепцией реформ Петра I, которые он считал начавшимися совершенно случайно и продолжавшимися по необходимости.

Немногим больше внимания уделил поездке Петра I ученик В.О. Ключевского С.Ф. Платонов¹⁰. Используя наиболее известные труды, он, впервые среди отечественных историков, подробно описал последствия поездки и показал не только влияние Европы на Россию, но привел характеристику и обратного процесса, т.е. воздействия России на Европу. С.Ф. Платонов также впервые предпринял попытку сравнения различных мнений русских и зарубежных авторов о путешествии.

Значительное место в "петровской историографии" вообще, и Великого посольства в частности, занимает труд профессора Дерптского университета А.Г. Брикнера "История Петра Великого"¹¹. Известный историк попытался отвергнуть досужие вымыслы о причинах и последствиях поездки, беспристрастно объяснить рижский инцидент. А.Г. Брикнер проанализировал изданные несколькими годами раньше "Статейные списки" посольства и сочинение М. Поссельта "Ф. Лефорт"¹². В работе использовано множество материалов из русских и зарубежных архивов, сопоставлены мнения различных исследователей. Можно сказать, что это была первая попытка научного исследования проблемы.

Приуроченная к 200-летию Великого посольства, в 1897 г. в Москве вышла монография М.А. Веневитинова "Русские в Голландии"¹³. Она стала первым специализированным исследованием, где рассматривалось только Великое посольство с подробным анализом источников. Труд основан на "Речи по поводу первого путешествия Петра Великого" Ж. Меермана¹⁴ и "Посольских книгах" миссии. Автор подробно разобрал труд Меермана, доказав его оригинальность по сравнению с работами Я. Схельтема, выявил материалы, которые использовал голландский ученый. М.А. Веневитинов отметил у С.М. Соловьева не критичное отношение к иностранным работам и выделил ошибки Н.Г. Устрялова, касавшиеся авторства некоторых сведений о "рижском инциденте". Особенное внимание уделено ис-

следованию дипломатического церемониала посольства и его финансовой стороне. Остается лишь сожалеть, что автор все-таки брал за основу работу Меермана, и вокруг нее строил свое исследование, а не провел всестороннего анализа событий с сопоставлением всех фактов.

Наряду с крупными исследованиями, к теме Великого посольства обращались авторы ряда статей.

В 1877 г. была опубликована статья Н.А. Фирсова, касавшаяся английских источников поездки Петра I в Лондон в 1698 г.¹⁵ В ней приводился новый фактический материал со ссылкой на личную проверку сведений. Однако использование данных фактов в научном исследовании затруднительно, так как автор в основном цитировал или "частные письма", или "английские газеты", или просто "англичан". Конкретная информация упомянута лишь дважды – газета "Почтарь" и счет за завтрак и обед Петра I из Бодлейновской библиотеки. На неполноту анализа автора позднее обращал внимание А.И. Андреев¹⁶. Ценность работы состоит, главным образом, в обозначении перспектив будущих исследований.

С.Н. Шубинский также занимался изучением английской поездки Петра I¹⁷. Сведения, переданные ему профессором Оксфордского университета Морфилем, позволили открыть новые страницы пребывания царя в Дефтфорде. Помимо газетной информации, которая уже использовалась предыдущим автором, автор впервые цитирует современное поездке письмо епископа Дж. Бернета и приводит в приложении документы, связанные с убытками, нанесенными дому Дж. Эвелина, где останавливался Петр I.

Большой вклад в изучение миссии 1697–1698 гг. внес В.А. Кордт, проведший значительное время в зарубежных архивах. Поездки в Голландию в 1893, 1895 и 1911 гг. позволили ему описать, а затем и издать важные источники, связанные с пребыванием Великого посольства в Европе¹⁸. Так, в 1904 г. он впервые издал на русском языке "Записки..." Я.К. Номена, а в 1914 г. в одном из своих "Отчетов о занятиях..." в Голландии привел донесения Лермитажа – голландского резидента в Лондоне. Однако какого-либо исследования на базе архивных изысканий В.А. Кордт так и не опубликовал.

Таким образом, ценность работ трех последних авторов заключается в упоминании или публикации ряда неизвестных ранее зарубежных источников Великого посольства. Основным же их недостатком остается отсутствие научного анализа новых сведений.

Последнее значительное исследование о деятельности Петра I в ходе Великого посольства в дореволюционной историографии было опубликовано Е.Ф. Шмурло¹⁹. Известный историограф Петровской эпохи попытался на примере начальных этапов поездки за рубеж сделать несколько критических замечаний относительно разработанности данной темы. Касаясь лишь относительно небольшого от-

резка пути Великого посольства от Москвы и до выезда из Риги, историк привел примеры фактических ошибок П.П. Шафинова, Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьева, А.Г. Брикнера, критикуя даже "Письма и бумаги имп. Петра Великого", классическую публикацию источников данного периода. Свой анализ он делал на основе лишь изданных материалов и работ историков. Даже такое сопоставление, без привлечения архивных бумаг, позволило Е.Ф. Шмурло более объективно показать спорные моменты поездки, особенно инцидента в Риге. Критические заметки известного историка стали определенным этапом в историографии Великого посольства, позволившим перейти от простого описания событий с использованием новых источников к критическому осмыслению накопленных сведений с их источниковедческим и историографическим анализом.

"Петровская историография" не ограничивалась упомянутыми авторами, однако остальные исследователи лишь эпизодически упоминали в своих трудах Великое посольство²⁰, другие же не касались его вовсе²¹. Поэтому можно сказать, что данная проблема не была достаточно развита в русской исторической науке.

В советское время начался новый этап в развитии "петровской историографии". Возросло, по сравнению с предыдущим временем, количество работ как общего характера, так и узко специфического. Основная масса исследований приходится на 1940–1950-е и 1970–1990-е годы, что обусловлено ростом интереса к этому периоду, связанному с политической конъюнктурой. Труды, опубликованные в советское время, можно условно разделить на две группы по аналогии с прошлым временем: специальные работы и обобщающие по всей жизни Петра I или еще большего периода.

К первой группе относится исследование академика М.М. Богословского и ряд статей, речь о которых пойдет ниже. М.М. Богословский скончался в 1929 г., однако его труд "Петр I. Материалы для биографии", оставшийся незавершенным, увидел свет лишь в 1940-е годы²². Пребыванию царя за рубежом был отведен конец первого и весь второй том исследования. Он так подробно, день за днем, описал ход поездки, что до сих пор ни один историк не смог превзойти его. Академик фактически обобщил, за редким исключением, все известные к тому времени отечественные бумаги и основную массу зарубежных, включив в свои "Материалы" неизвестные ранее дела МГАМИД (Московского государственного архива Министерства иностранных дел) и "Расходную тетрадь" Великого посольства, не вошедшую в "Памятники дипломатических сношений"²³. Труд М.М. Богословского имеет форму скорее сборника материалов, чем исследования. Автор обычно ссылаясь на какой-либо документ и сообщал его суть, а в большинстве случаев почти целиком его цитировал или приводил подробные выдержки, особенно из неопубликованных бумаг. В своей работе М.М. Богословский лишь

немного изменил прежние оценки, подтверждая их огромным числом фактов. Только в отдельных случаях он отходил от общепринятой теории²⁴. В дальнейшем большинство советских историков использовали его "Материалы для биографии" в своих работах.

Статьи, написанные А.И. Андреевым и Н.А. Баклановой, были опубликованы в сборнике "Петр Великий"²⁵. Первый автор, а он был редактором сборника, осветил ход пребывания Петра I в Англии в 1698 г.²⁶ Оригинальность данного исследования заключалась не только в избрании для изучения небольшого отрезка путешествия, но и в подробной характеристике источников и историографии. Автор впервые разобрал все доступные ему материалы по способу создания и степени достоверности, отдавая предпочтение официальным документам ("Походный журнал", донесения посланников в Англии) и мемуарной литературе (труд Дж. Перри). Он уделил много места сопоставлению материалов, имевших одного автора (письма и "Воспоминания" Дж. Бернета) или одну основу (две редакции "Походного журнала" и "История Великой России" Г. Гюйссена). Сравнение источников с историографией проблемы позволило А.И. Андрееву сделать вывод о недостаточном сопоставлении историками русских и зарубежных публикаций, о пропуске некоторыми из них ряда важных документов.

Статья Н.А. Баклановой ценна тем, что она до сих пор остается единственным историкомведческим исследованием материалов Великого посольства²⁷. Работа представляет собой документированное изложение содержания приходно-расходных книг в области, характеризующей бытовую сторону миссии. Автор, подробно разбирая опубликованные и неопубликованные материалы, степень их использования исторической наукой, делает вывод о неполноте внимания, которое уделялось этому источнику до сих пор. Проанализировав содержание посольских книг № 47 и 48 (приходно-расходные тетради)²⁸, Н.А. Бакланова обоснованно доказала их тесную взаимосвязь и необходимость публикации книги № 47, являющейся продолжением книги № 48, вышедшей в приложении к IX тому "Памятников дипломатических сношений". В целом, работа содержит много новых сведений о процессе влияния Запада на русских людей, о взаимодействии культур обеих сторон.

К числу важнейших обобщающих работ относится начавшая издаваться в конце 1950-х годов многотомная "История дипломатии". Страницы первого тома, посвященные Великому посольству, интересны разбором дипломатической стороны поездки²⁹. В книге дается освещение всей политики европейских государств в тот период, объясняются причины переориентации курса политики Петра Великого с южного на северо-западный.

В те же годы появляется несколько работ о Петре I, где затрагивается тема Великого посольства, историков Б.Б. Кафенгауза и

В.В. Мавродина³⁰. Данные авторы довольно схематично подошли к описанию путешествия за рубеж, не внося ничего нового в разработку проблемы. Эти работы носят обобщающий характер, хотя в них есть несколько оригинальных характеристик. Например, В.В. Мавродин выдвигает дипломатические задачи посольства на первое место, напрямую связывая общеевропейские события в международной сфере с интересами России³¹. Хотя он несколько преувеличивает дипломатическое искусство молодого Петра I, положительным моментом работы стало выявление отрицательных сторон поездки, выразившейся в бездумном привлечении иностранцев и последовавшем далее засилии немцев.

На особенностях влияния на Петра I культурной и духовной сфер и формирования у него художественных взглядов во время первого заграничного путешествия останавливался один из авторов сборника "Культура и искусство Петровского времени"³². Помимо чисто культурологических аспектов вопроса, В.Ф. Левинсон-Лессинг разобрал литературу проблемы. По его мнению, привлечение новых сведений, а особенно более полное использование косвенных указаний, принесет много нового. Автор, кратко охарактеризовав источники, расставил их по степени важности для своей темы, полагая основными "Статейные списки" посольства и "Юрнал 206 года" в краткой редакции. Более же пространному "Журналу" Г. Гюйсена он дал новую оценку, отвергая его полную достоверность. В своей работе В.Ф. Левинсон-Лессинг использовал все основные книги, которые были изданы в связи с первой поездкой Петра за границу. К этому добавилось несколько неопубликованных писем к царю из Кабинета Петра I. Работа известного культуроведа была одним из немногих исследований, в котором давался анализ научной основы трудов о Великом посольстве. Многие последующие авторы использовали старые источники без их критического разбора.

В 1980–1990-е годы, ввиду гораздо более свободного международного обмена, в историографии Великого посольства становится заметнее тенденция обращения исключительно к дипломатической стороне поездки. Основная масса исследователей, за некоторым исключением, сосредоточивает свое внимание именно на нюансах внешней политики. Наиболее ярким стал труд Н.Н. Молчанова "Дипломатия Петра Первого", выдержавший несколько изданий³³. Об истории дипломатии писали много и часто. Можно вспомнить "Историю дипломатии", работы М.А. Веневитинова, Б.Б. Кафенгауза. Однако лишь Н.Н. Молчанов сумел показать в своем исследовании широчайший спектр международных отношений того времени. Он аргументированно доказал значение посольства для международного престижа России: "Великое посольство сыграло великую роль в великом решении"³⁴. Автором была освещена дипломатическая обстановка в Европе накануне Северной и Тринадцатилетней войн,

показаны их причины и расстановка сил. Высоко оценена личная роль Петра I на дипломатическом поприще. Однако для профессиональных исследователей книга представляет меньший интерес, так как в ней совершенно нет указаний на источники. В целом, работа носит публицистический характер и иногда излишне превозносит деяния Петра I, принижая значение предшественников и современников первого русского императора.

Более оригинальной, по сравнению с предыдущими, стала монография В.Е. Возгрина, обобщившая сведения о дипломатической истории подготовки и первой половины Северной войны 1700–1721 гг.³⁵ Автор, широко привлекая неизвестные ранее материалы отечественных и зарубежных архивов, попытался доказать, что Петр I задумал начать войну за выход в Балтику еще перед поездкой. Поэтому все путешествие проходило, по его мнению, под влиянием дипломатической подготовки войны со Швецией. Для доказательств он использовал информацию из неопубликованной "Истории Великой России" Г. Гюйссена, фондов "Русланд" и "Недерланден" датского Государственного архива, фонда 96 "Сношения России со Швецией" РГАДА, ряда зарубежных монографий, малоизвестных отечественным историкам. Однако исследование вызывает некоторые критические замечания, упомянутые позже Н.И. Павленко³⁶, явной тенденциозностью отбора фактов. Поставив перед собой заранее определенную задачу, ученый привлек только те материалы, которые бы ее подтверждали, совершенно игнорируя все остальное. Ссылаясь на несохранившуюся тайную инструкцию, он пристрастно рассматривает реальные действия "членов русской миссии в период ее пребывания за рубежом", тем самым не замечая очевидную деятельность Великого посластва по укреплению антитурецкого союза. Таким образом, несмотря на новый материал, выводы данной монографии, хотя бы в разделе о Великом посольстве, требуют переоценки или дополнительной аргументации.

В появившейся четырьмя годами позже монографии В.С. Бобылева, поездка в Европу рассматривается в первую очередь по линии дипломатических целей³⁷. Работа обращает на себя внимание тем, что сведения о тайной беседе Вильгельма III и Петра I относительно переориентации российской внешней политики используются в ней как общепринятый факт. Автор, вслед за В.Е. Возгриным, полагает, что английский король дал Петру I прямой совет "закончить войну с Турцией и обратить свои взоры на Прибалтику"³⁸. Однако данный факт еще не получил подтверждения по другим источникам, и поэтому его использование возможно с некоторыми оговорками.

Постепенное накопление данных о дипломатической стороне поездки требовало органического включения их в историю всей внешнеполитической службы России. Этой задаче была посвящена статья Г.А. Санина, вошедшая в сборник "Российская дипломатия в

портретах"³⁹. Основываясь на исследованиях советских историков, автор показал не просто деятельность русской миссии на фоне событий европейской политики конца XVII в., а попытался дать динамику изменений ориентации российской посольской службы, роста ее мастерства и умения прогнозировать ситуацию на примере самого Петра I.

Совершенно неожиданную сторону поездки Петра I за рубеж осветил в 1995 г. искусствовед С.О. Андросов⁴⁰. Используя документы, опубликованные Е.Ф. Шмурло⁴¹, взятые последним из архивов Венеции и Рима, автор сопоставил их с другими источниками и сделал интересный вывод. Он полагает, что во время пребывания Великого посольства в Вене летом 1698 г. царь смог тайно выехать в Италию и посетить "город каналов", получив многочисленные впечатления. Однако приводимые аргументы весьма спорны, а используемые источники отрывочны, что позволяет выступить с критикой данной версии. Лишь дополнительные изыскания в архивах Италии и России, а, возможно, и Ватикана, позволят снять покров тайны с данного факта.

Своеобразным итогом разработки большинства проблем, связанных с Великим посольством, стало отражение поездки в работе "Петр Великий" Н.И. Павленко⁴². В третьем, значительно дополненном издании 1994 г., автор обобщил и критически осмыслил материалы исследований и монографий последних лет, наиболее полно отразив современную концепцию российской исторической мысли рассматриваемой проблемы. Основной базой его книги стали опубликованные источники. Стараясь основываться лишь на документах, ученый при описании Великого посольства создал объективную картину деятельности миссии за рубежом. Недостатки монографии заключались в отсутствии характеристики цитируемых публикаций и исследований. Вместе с тем стремление избегать категоричных оценок и доступность изложения позволили автору написать серьезный труд, доступный как специалистам, так и массовому читателю.

В последние годы в связи с празднованием 300-летия Великого посольства стали появляться новые исследования, нередко базирующиеся на архивных источниках. Обращает на себя внимание статья С.Р. Долговой, опубликованная в одном из номеров "Вестника архивиста"⁴³. Автор в рассказе о миссии 1697–1698 гг. упоминает множество неопубликованных материалов, хранящихся в РГАДА. Изложение основных моментов поездки сопровождается цитированием документов, отложившихся в канцелярии Посольского приказа. К сожалению, воспользоваться новой информацией могут только опытные историки, знакомые со всем комплексом бумаг Великого посольства. Отсутствие какие-либо точных сведений об использованных архивных делах и фондах затрудняет для большинства исследователей их широкое применение.

Вопросам, связанным с проездом Петра I через Пруссию, посвятил свою монографию калининградский исследователь Г.В. Кретицин⁴⁴. Он подробно осветил все этапы визита "знатных персон" в Бранденбургское курфюршество, а в специальных приложениях даже опубликовал некоторые документы. Были впервые изданы фотоконии "Приветствия" послам в Тильзите за 12 мая 1697 г. на немецком и русском языках, с переводом на современную орфографию. Украшенная красочными иллюстрациями, книга обладает подробным справочным аппаратом.

Известный исследователь А.А. Преображенский, рассматривавший Великое посольство через призму взаимовлияния старых и новых тенденций в отечественной дипломатии, привлек широкий круг источников⁴⁵. В основе методики автора лежал подробный текстуральный анализ опубликованных документов: статейных списков, грамот, приходно-расходных книг, наказов, писем, зарубежных "вестовых" газет, "Походных" журналов и т.д. Отталкиваясь от признания устойчивой традиции общения России с зарубежными странами, историк высказал мнение о постепенном вхождении нашей страны в европейскую политику. Усвоение нового, что вытекает из источниковедческого разбора, происходило постепенно по мере созревания предпосылок. Оригинальность выводов А.А. Преображенского заключалась в четком обосновании значения Великого посольства не только "в усвоении принятых в Европе порядков общения, но и в изменении посольской документации, обретшей новые черты": улучшение оперативности связей, развитие кредитно-вексельной системы, внедрение текущей переписки, большей открытости деятельности правительства⁴⁶.

Посещение Петром I Оксфорда освещается в заметках И.Ю. Котина⁴⁷. На основании исторических реконструкций автор пытается найти в посещении Оксфордского университета истоки многих реформ Петра I. Не привлекая новых источников, он рассказывает о посещении царем тех или иных мест в Оксфорде. Исходя из гипотетических построений, Котин делает выводы о тесной взаимосвязи поездки с задумкой "создать академические учреждения" в России, с разрешением свободного отправления англиканских обрядов, с церковной реформой, с заведением "аптекарского огорода".

Статья Н.Д. Блудилиной, касающаяся интереса европейской публики к России, посвящена исследованию резонанса, вызванного Великим посольством в западном обществе⁴⁸. Характеристика миссии 1697–1698 гг. отличается излишней остротой и резкостью. Русские представляются чрезвычайно наивными и дикими. Более содержательна вторая часть работы, повествующая, на основе европейских газетных публикаций, о внимании европейцев к москвитам: "Это удивительное событие – присутствие варварской Московии в Европе – волновало самые разные круги европейского обще-

ства"⁴⁹. Кроме того, автор излишне переоценивает значение прессы в жизни Европы того времени, "модернизируя" события. Работа основана на известных публикациях с единственным указанием на газетную статью того времени – "Leipziger Post- und Ordinar-Zeitung" от 28 июня 1697 г.

Введением в научный оборот новых источников выделяется доклад А.С. Лаврова, сделанный на Ораниенбаумских чтениях⁵⁰. Автор на основе архивных источников, содержащих переписку французских дипломатов с королевским двором Людовика XIV, анализирует одну из сторон истории Великого посольства, почти не затронутую исследователями. Речь идет о внимании французского внешнеполитического ведомства к поездке Петра I по Европе в 1697–1698 гг. Если раньше в научный оборот были введены эпистолярные голландских, флорентийских, ганноверских, римских, венецианских дипломатов, то письма французских агентов оставались достоянием архивов. А.С. Лавров как раз и восполняет данный пробел. Работая в Архиве Министерства внешних сношений Франции, он выявил все послания, упоминавшие о Великом посольстве. Почти во всех случаях точно установлен автор и подоплека описываемых событий. А.С. Лавров делает обоснованные замечания о пристрастности большинства французских дипломатов, объясняя ее отсутствием точной информации и давлением версальского двора, необъективно относившегося к русской миссии. Сопоставление различных источников позволили выявить новые сведения о встрече Петра I с германскими курфюрстинами, о "планах войны со Швецией", высказанных на встречах с Вильгельмом III, о причинах непосещения русским царем Франции. Интересны выводы автора, предлагающего "уйти" от противопоставления антитурецкой и антишведской задач Великого посольства, рассматривая их как варианты возможной дипломатической игры в тех или иных обстоятельствах⁵¹.

Значительно меньшей научной ценностью обладает небольшая статья Н.Ю. Павловой, посвященная контактам Петра I и английского епископа Дж. Бернета⁵². Заметка основана на опубликованных источниках и литературе, содержит набор общеизвестных фактов о пребывании царя в Англии. Достоинством работы можно назвать сведение вместе всех высказываний Дж. Бернета о "царственном плотнике" и их публикация в приложении.

Своеобразным итогом изучения истории Великого посольства стала книга Д.Ю. и И.Д. Гузевичей⁵³. Она обобщает большинство введенных в научный оборот сведений о Великом посольстве с позиции "переноса" в Россию массива знаний, "захваченного" во время пребывания русских людей за границей в конце XVII в. Авторы ставили перед собой цель создать возможность для всеобъемлющего изучения взаимосвязей путешествия с различными явлениями российской жизни. Среди недостатков работы можно отметить своеоб-

разный "технизм" терминологии, построений и умозаключений авторов, постоянно пытающихся "осовременить" события. Многие объяснения причин поступков людей конца XVII в. характеризуются понятиями и логикой мышления современной индустриальной цивилизации.

Зарубежная литература вопроса чрезвычайно богата. О Великом посольстве Петра I писали фактически во всех странах, через которые оно проезжало, причем их число увеличивалось историками из других государств. Следует остановиться на монографиях и статьях, наиболее ярко характеризующих общие тенденции иностранной историографии данного вопроса.

Первые работы, заслуживающие внимания, были созданы современниками Петра I. Они являются скорее источниками по данному периоду, чем исследованиями, так как отражают воспоминания очевидцев. Одна из книг была написана Дж. Перри, английским инженером, приглашенным в ходе Великого посольства на русскую службу. В полном русском переводе она появилась лишь в 1871 г., спустя 155 лет после публикации⁵⁴. В ней сообщалось много новых сведений о пребывании царя в Англии, так как автор был свидетелем событий. Остальные эпизоды поездки Петра I и Великого посольства, которые он изредка упоминает, могут использоваться лишь при сопоставлении с другими материалами.

В 1701 г. в Лондоне увидела свет книга барона А. Бломберга, описывающая состояние Ливонии в конце XVII в.⁵⁵ В ней приводились свидетельства людей, наблюдавших проезд Петра I с русской миссией через прибалтийские земли.

Работа Я.К. Номена была известна в России уже в 20-х годах XIX в., благодаря многочисленным извлечениям Я. Схельтема. Оригинал же "Записок..." стал доступен отечественным историкам лишь с публикацией В.А. Кордта⁵⁶. Некоторые сведения автора, которые теперь известны лишь в его изложении, вызывают сомнения в их правдивости. Поэтому надо крайне осторожно подходить к фактам, сообщаемым Я.К. Номеном, выясняя их происхождение. Из предисловия к русскому переводу можно достаточно точно выявить первоисточники голландского автора. Много материалов, приводимых им по слухам, имеют явно легендарный характер. Другую часть "Записок...", написанную со слов односельчан, родственников, просто знакомых Я.К. Номена, можно использовать с некоторой долей условности. И, наконец, личные наблюдения автора вызывают почти полное доверие⁵⁷.

Исследования голландского ученого Я. Схельтема – первый научный зарубежный труд, посвященный исключительно путешествию Петра I. Начиная с середины XIX в. (а он впервые увидел свет в 1814 г.⁵⁸), его привлекали как дополнительный источник все серьезные отечественные историки. На русском языке из него пе-

чатались лишь отрывки под названием "Петр Великий, Император России, в Голландии и в Заандаме в 1697 и 1717 гг."⁵⁹ Однако только последняя публикация, изданная в начале XX в., носила фундаментальный характер. Она составила перевод основной части книги голландского историка, осуществленный А.С. Лацинским. В целом, Я. Схельтема достаточно точно описал пребывание Петра I в Европе. Однако он не подверг использованные источники какой-либо критике, хотя многое носит явно легендарный характер, и почти нигде не указал точно авторство тех или иных фактов. Работа голландского историка почти целиком является переложением использованных бумаг, на что указывал М.А. Веневитинов⁶⁰.

Почти одновременно с отечественной полемикой славянофилов и западников наблюдался всплеск интереса к Петру I на Западе. В 1830-е годы в Лондоне и Нью-Йорке издается исследование Дж. Барроу о жизни Петра I⁶¹. В нем достаточно полно были изучены, а частично и опубликованы материалы английской прессы, современной пребыванию царя в Великобритании.

Другой тип источников (дипломатическая переписка) активно использовался в работе историка Ц. Задлера (C. Sadler)⁶². Автор уделил внимание посланиям австрийских представителей в Англии: резидента Хофмана и чрезвычайного посланника графа Ауэрсперга. Он почти целиком привел их депеши за январь–апрель 1698 г.

Попытку обобщить сведения о Петре I предпринял в 1884 г. историк Е. Шулер (E. Schuyler)⁶³. На основе не только западных, но и большинства российских исследований, он создал крупнейший в XIX в. зарубежный труд, посвященный эпохе выхода России на международную арену. Автор попытался отойти от одностороннего подхода к истории Великого посольства, отказавшись от апологетических оценок. Основываясь на публикациях Дж. Ламберти⁶⁴ и Дж. Эрмана⁶⁵, труде Ц. Задлера, мемуарах Дж. Бернета, Дж. Эвелина, архивных документах из Австрии⁶⁶, он сопоставил различные виды источников: официальные документы, переписку, воспоминания. Е. Шулер постарался подтвердить все факты материалами русского происхождения, цитируя письма и бумаги самого Петра I, "русские официальные документы"⁶⁷. По объему и количеству использованных трудов и публикаций монография Е. Шулера в течение нескольких десятилетий за рубежом не знала себе равных. А сведения из нее до сих пор привлекаются различными исследователями в качестве первоисточника.

Среди неупомянутых трудов XIX в. стоит сказать еще о двух, совершенно разноплановых по объему и характеру. Один из них затрагивает Великое посольство в контексте истории целой европейской страны, другой рассказывает об одном из эпизодов поездки 1697–1698 гг.

Автором первой работы был английский историк Т.Б. Маколей. Его труд по истории Великобритании получил широкую известность в XIX в. В нем, описывая годы правления Вильгельма III, он ведет речь и о Великом посольстве. По его мнению, поездка Петра I имела огромное значение, став "эпохой в истории не только его страны, но и нашей и всего человечества"⁶⁸. При описании жизни Петра I в Лондоне Т.Б. Маколей основывался исключительно на зарубежных источниках, что вносит в его рассказ налет некоторой пренебрежительности, усугубляемой пристрастием к анекдотическим случаям. Из официальных документов им были взяты лишь донесения европейских посланников в Лондоне Ван Ситерса и Лермитажа, основную же массу сведений он почерпнул из газет и мемуаров Дж. Эвелина и епископа Дж. Бернета⁶⁹. Все материалы английский историк использовал без какого-либо анализа, принимая на веру все утверждения.

С точки зрения введения в оборот новых источников, более важной оказалась работа А. Бергенгруна (A. Bergengrün), где описывался проезд Петра I и Великого посольства через Лифляндию⁷⁰. Работа была построена на богатом фактическом материале с кратким описанием во введении цитируемых публикаций и монографий. Помимо известных трудов российских историков и сборника Дж. Ламберти, автор привлек ряд малоизвестных работ немецких авторов и неопубликованные материалы из библиотеки Ливонии и Рижского городского архива. Часть документов он поместил в приложения: записи о пребывании Великого посольства в Риге, "Отчет" городских властей о составе миссии и ходе ее проживания, переписка губернатора Э. Дальберга с должностными лицами в Стокгольме⁷¹. Полнота охвата проблемы и наличие приложенных первоисточников способствовали более углубленному подходу к изучению так называемой рижской проблемы. Многие отечественные и зарубежные историки Великого посольства в дальнейшем будут широко использовать данное исследование.

В первой половине XX в. наблюдается некоторый спад числа публикаций о Великом посольстве Петра I. Работы, включавшие биографию первого русского императора, вносили мало нового, хотя в некоторых и появлялись оригинальные характеристики первого заграничного путешествия Петра I⁷². Среди специальных работ также не появилось ничего примечательного. Диссертация голландского историка Б. Раптшинского (B. Raptshinsky) касалась лишь части пребывания Петра Великого в Голландии⁷³. Причем автор брал за основу известные источники, не привлекая новых. Немецкий ученый В. Хинц (W. Hinz) создал труд, интересный с точки зрения эволюции деятельности Петра в период между поездками 1697–1698 и 1716–1717 гг.⁷⁴ Второе путешествие показано здесь через призму

первого. Однако автор также ограничился лишь опубликованными материалами.

В послевоенное время ситуация в корне меняется. В 1950–1960-е годы в Европе и Америке появляется огромное количество как общих, так и узкопроблемных исследований. В первую группу входят около десятка работ, из которых серьезными научными достоинствами обладают лишь две. Первая принадлежит перу английского историка Я. Грея (J. Grey)⁷⁵. Обратившись к теме поездки Петра I в Европу еще в 1956 г.⁷⁶, через четыре года он выпускает полное жизнеописание императора. Как и все биографы Петра I, автор рассматривал пребывание Великого посольства на Западе лишь через призму деятельности самого царя. Описание событий носит научно-популярный характер, так как основано на наиболее известных трудах и публикациях. Неизвестные ранее материалы использовались лишь в рассказе об английском отрезке путешествия. Историк процитировал несколько писем современников из Бодлейновской библиотеки и "Вахтенный журнал Хамбера" (The Log of the Humber) из Национального морского музея в Гринвиче⁷⁷. Из недостатков работы можно отметить два неправильных указания на статью А.И. Андреева и отсутствие источниковедческих характеристик.

Другое исследование, по оценкам историков, является "самой серьезной работой о Петре Великом, вышедшей на Западе"⁷⁸. Ее автор – немецкий ученый Р. Виттрам (R. Wittram) – использовал громаднейший фактический материал, почерпнутый из разноязычной литературы⁷⁹. Описывая Великое посольство, он брал сведения из всех известных к тому времени русских (опубликованных) и европейских (в том числе и архивы) источников и исследований. Им были обобщены все изданные материалы, где упоминалось Великое посольство или приводился какой-либо документ, связанный с ним. Виттрам ввел в научный оборот часть неизвестных ранее бумаг из Государственного архива Швеции, Венского государственного архива, ряда частных архивов Германии, Италии, Англии. Пространные примечания помогают понять отдельные вопросы источниковедческого и историографического свойства. Вместе с тем у немецкого историка нет глубокого анализа источников и какой-либо их классификации.

В последние десятилетия число общих работ о России конца XVII – первой четверти XVIII в. не уменьшилось. Однако изменилось их качественное своеобразие. Введение в оборот новых материалов пошло на спад, так как зарубежная база в основном оказалась исчерпанной. Количество же исследований, авторы которых отталкивались от известных фактов и пытались дать оригинальные трактовки и выводы, наоборот выросло. Среди таких книг можно отметить биографии Петра Великого, написанные М. Андерсоном⁸⁰, Алексом де Джоджем⁸¹, Р.К. Масси⁸². Из них хочется выде-

лить последнюю работу, изданную на русском языке в 1996 г. Она является типичной для цивилизационного подхода к истории. Написанная ярким публицистическим языком, монография обладает определенными научными достоинствами в виде ссылок на известную литературу и публикации. Автор попытался рассказать о Великом посольстве не с точки зрения одной из сторон, а совместить основные русские и зарубежные источники проблемы, давая объективную картину⁸³. Он сумел освободиться от пристрастного отношения к России и, не деля ход истории на "русский" и "европейский" пути, постарался осознать и передать читателям единство мира того времени, в котором найдется место для любой страны.

Интерес авторов к отдельным проблемам поездки 1697–1698 гг. в послевоенные годы распределялся достаточно неравномерно. Большинство историков обращалось, в основном, к английскому отрезку путешествия. Основная же деятельность Великого посольства исследовалась довольно лапидарно. Один из авторов, Л. Лоевенсон (L. Loewenson), на основе малоизвестных английских материалов изучил пребывание Петра I в Лондоне, описал его встречи с Вильгельмом III и известным химиком М. Стрингером⁸⁴. В своих статьях Л. Лоевенсон вводит в научный оборот ряд новых источников, среди которых поэма М. Стрингера, дневники Н. Летрелла. Он анализирует их и выясняет дополнительные детали визита русского царя в Великобританию.

Публикации неизвестных источников были посвящены статьи Е. Двойченко-Маркова и А.М. Крино. Первый, разбирая встречи Петра I с квакерами, привел отрывки из бесед будущего императора с деятелями этого движения по английским первоисточникам и целиком процитировал письмо У. Пенна⁸⁵. Второй продолжил поиски дипломатических документов, связанных с английской поездкой. В Государственном архиве Флоренции он обнаружил несколько донесений флорентийского агента в Лондоне Т. Платта к А. Бассети, секретарю правительства Медичи. Разбору и печатанию данных писем и была посвящена его работа⁸⁶.

Авторы еще двух статей обращаются к Великому посольству как отдельному историческому явлению. Л.Р. Левиттер рассматривает его в контексте взаимоотношений России и Польши по балтийскому вопросу⁸⁷. А Р. Виттрам дает подробную хронику всех событий⁸⁸. Последняя статья посвящена одному из самых спорных вопросов поездки 1697–1698 гг. – рижскому инциденту⁸⁹. Последние три работы базировались на старых источниках и интересны лишь в историографическом плане.

Прошедший 300-летний юбилей Великого посольства повлиял на всплеск научного внимания к миссии Петра I за рубежом. Австрийский исследователь И. Шварц, основываясь на всех доступных источниках, в своей статье подробно характеризует дипломатичес-

кое содержание контактов между Петром I и венским двором⁹⁰. Используя материалы Венского архива, автор пытается опровергнуть устоявшееся в исторической науке мнение, что Россия "была брошена" Австрией в переговорах о мире с турками. Сопоставляя достоверительные российские грамоты, дипломатическую переписку и другие документы, он по-новому характеризует некоторые источники, переосмысливая их содержание и датировку.

Работа, принадлежащая перу фламандского ученого Э. Вагеманса, лишь эпизодически касалась путешествия конца XVII в.⁹¹ Однако ряд глав («Образ "царя-плотника" в литературе» и "Фламандская легенда о пребывании Петра I во Фландрии в 1697 г.") приводят интересную информацию по отдельным проблемам, подкрепляемую многочисленными цитатами и иллюстрациями. К достоинствам исследования можно отнести современный научный подход к рассматриваемым вопросам.

* * *

Итак, можно увидеть некоторую закономерность во введении в научный оборот определенных видов источников. Первыми, обратившими на себя внимание историков, были публикации и бумаги мемуарного, эпистолярного жанра и сведения очевидцев. В XVIII в. они оказались наиболее доступны. Исключение составляет служебная записка боярина Ф.А. Головина, которую применял П.П. Шафиров. Однако это объясняется тем, что "Разсуждение..." создавалось по личному указанию Петра I самим вице-канцлером государственного аппарата, имевшим доступ к любым документам того времени. В течение XVIII в. публикуются воспоминания Дж. Бернета, сборник Г. Ламберти, различные собрания анекдотов о Петре I.

К концу XVIII в. база для исследований несколько расширилась. Однако первое время работы носят вид сборников материалов. И.И. Голиков использовал и грамоты, и официальный отчет посольства, но все совершенно бессистемно. Н.Г. Устрялов пошел значительно дальше. Он расширил количество цитируемых писем, опубликовал ряд новых документов. Основываясь на "статейных списках" посольства, историк дополнил их бумагами из архивных столбцов, т.е. вышел фактически на уровень наиболее достоверных материалов. Им также была осуществлена первая попытка источниковедческого анализа. Все это способствовало трансформации самого исследования Н.Г. Устрялова в важный источник. По сходному пути шел и Я. Схельтема, но он почти не указывал первоисточников.

Во второй половине XIX в. происходит значительное расширение круга материалов: публикуются посольские книги миссии, обобщаются и издаются бумаги Петра I, выходят на русском языке мемуары Дж. Перри, а в начале XX в. – Я.К. Номена. Становятся более доступными, хотя и без перевода, письма Ф.Я. Лефорта, донесения

голландских и австрийских посланников в Великобритании, записки Дж. Эвелина, документы по рижскому инциденту. Работы Дж. Барроу, Е. Шулера вводят в научный оборот материалы периодической печати, некоторые архивные документы. Статьи Н.А. Фирсова, С.Н. Шубинского открывают ряд новых источников о пребывании царя в Европе.

Первую попытку обобщения опубликованных материалов предпринял М.А. Веневитинов, отошедший от практики рассмотрения Великого посольства лишь через призму деятельности Петра I. Он привел наиболее подробный анализ используемых работ и публикаций, хотя много интересного в этом плане можно найти и у А.Г. Брикнера. В итоге к рубежу веков, когда большая часть первоисточников была включена в поле зрения историков, назрела необходимость, во-первых, в критическом их осмыслении, во-вторых, в попытке обобщения.

В первые десятилетия XX в. происходит спад интереса к Великому посольству. Новый подъем, начавшийся в 1940-х годах, сразу же порождает крупнейшее описание миссии 1697–1698 гг. Работа М.М. Богословского стала наиболее полной попыткой сведения вместе всех источников Великого посольства на базе не только публикаций, но и огромных архивных сведений. Статьи 1940–1960-х годов отечественных и зарубежных авторов в какой-то мере выполняют задачу научного анализа корпуса источников, причем некоторые даже его расширяют. Углубленному разбору документов были посвящены работы Н.А. Баклановой, А.С. Лаврова, А.М. Крино. Новые неожиданные оценки привносят монография В.Е. Возгрина и статья С.О. Андросова, но их выводы вызывают больше вопросов, чем ответов.

Обобщая вышесказанное, можно прийти к мысли о неравноценном интересе исследователей к разным видам источников. Наибольшей популярностью пользовались материалы мемуарного и эпистолярного жанра. Они первыми начинают использоваться историками и оказываются, в связи с этим, наиболее изученными. Не меньший интерес вызывали официальные акты и грамоты, как имевшие важное значение не только для данного исторического периода, но и для последующих времен. Из делопроизводственных документов основное внимание обращалось на посольские книги и Походные журналы Петра I как на сборники достоверных фактов о поездке. Сама же структура источников, сопоставление их по видам, систематизация были мало востребованы в качестве предмета изучения.

Особое внимание следует обратить на документы, связанные с деятельностью Посольского приказа в последние годы его существования, на начало перехода к новым видам документов и формам работы. Их тщательное изучение позволяет доказать отсутствие упадка в деятельности российского дипломатического

ведомства в конце XVII в., умение поддерживать престиж государства. Веками отработанные методы ведения переговоров, система сохранения традиций еще не выработали своего практического ресурса и могли с успехом использоваться в практике международных сношений.

- 1 Шмурло Е.Ф. Критические заметки по истории Петра Великого // Журнал Министерства народного просвещения. 1900. № 5. С. 76.
- 2 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. III. С. 390.
- 3 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрейшего преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. 2-е изд. М., 1837–1843. Т. 1–15.
- 4 Устрялов Н.Г. Указ. соч. СПб., 1858–1863. Т. I–IV, VI.
- 5 См. об этом: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1991. Кн. VII. С. 522–524, 530–539, 583, 632–633.
- 6 В настоящее время "Кабинет Петра I" находится в Российском государственном архиве древних актов в Фонде № 9 "Кабинет Петра I и его продолжение". (Далее: РГАДА.)
- 7 Языков А. Пребывание Петра Великого в Сардаме и Амстердаме в 1697 и 1698 гг. Берлин, 1872.
- 8 Костомаров Н.И. Петр Великий // Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1992. Кн. III.
- 9 Ключевский В.О. Курс русской истории // Соч. М., 1989. Т. 3. С. 20–25.
- 10 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории // Соч.: В 2 т. СПб., 1993. Т. I. С. 489–494.
- 11 Брикнер А.Г. История Петра Великого. М., 1991.
- 12 Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1867 – 1868. Т. VIII, IX. (Далее: Памятники...); Posselt M. Der General und Admiral Lefort æ sein Leben und seine Zeit; Ein Beitrag zur geschichte Peter's des grossen. Frankfurt a/M, 1866.
- 13 Венивитинов М.А. Русские в Голландии. Великое посольство 1697–1698 гг. М., 1897.
- 14 Meerman J. de. Discours sur le premier voyage de Pierre le Grand, principalement en Hollande. P., 1812.
- 15 Фирсов Н.А. Английские сведения о пребывании Петра Великого в Лондоне // Древняя и новая Россия. 1877. № 9. С. 75–77.
- 16 Андреев А.И. Петр Великий в Англии в 1698 г. // Петр Великий: Сб. статей / Под ред. А.И. Андреева. М.; Л., 1947. С. 64.
- 17 Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. 5-е изд. СПб., 1908. С. 12–30.
- 18 См.: Кордт В.А. Отчет о занятиях в Голландских архивах летом 1893 г. СПб., 1895; Он же. Отчет о занятиях в Государственном архиве в Гааге летом 1911 г. СПб., 1914.
- 19 Шмурло Е.Ф. Указ. соч.
- 20 См. например: Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (Основы социальной динамики). Пг.; М., 1919–1926. Т. 5. С. 101.
- 21 См. труды П.Н. Милюкова, Н.В. Готье, Н.П. Покровского об эпохе Петра I.
- 22 Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии. М., 1940–1948. Т. I–V.
- 23 См.: РГАДА. Ф. 32, 35, 50, 74, 79; Ф. 32. Оп. 1. Д. 47.

- 24 Например: *Богословский М.М.* Указ. соч. Т. II. С. 14–15.
- 25 Петр Великий: Сб. статей.
- 26 *Андреев А.И.* Петр I в Англии в 1698 г. // *Петр Великий.* С. 69–103.
- 27 См.: *Бакланова Н.А.* Великое посольство за границей в 1697–1698 гг. (Его жизнь и быт по приходно-расходным книгам посольства) // *Петр Великий.* С. 3–62.
- 28 РГАДА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 47, 48.
- 29 История дипломатии / Под ред. В.А. Зорина, В.С. Семенова и др. М., 1959. Т. I. С. 335–337.
- 30 *Кафенгауз Б.Б.* Внешняя политика России при Петре I. М., 1942; *Он же.* Петр I и его время. 1672–1725. М., 1948; *Мавродин В.В.* Петр I. М., 1945; *Он же.* Петр Первый. Л., 1948.
- 31 *Мавродин В.В.* Петр Первый. С. 100.
- 32 *Левинсон-Лессинг В.Ф.* Первое путешествие Петра I за границу // *Культура и искусство петровского времени: Публикации и исследования.* Л., 1977. С. 5–36.
- 33 *Молчанов Н.Н.* Дипломатия Петра Первого. М., 1986; *Молчанов Н.Н.* Дипломатия Петра Великого. М., 1990.
- 34 Там же. С. 119.
- 35 *Возгрин В.Е.* Россия и европейские страны в годы Северной войны: История дипломатических отношений в 1697–1710 гг. Л., 1986.
- 36 См.: *Павленко Н.И.* Петр Великий. М., 1994. С. 65.
- 37 *Бобылев В.С.* Внешняя политика России эпохи Петра I. М., 1990. С. 22–27.
- 38 Там же. С. 25.
- 39 *Санин Г.А.* Петр I – дипломат. Великое посольство и Ништадский мир // *Российская дипломатия в портретах.* М., 1992. С. 14–47.
- 40 *Андросов С.О.* Петр I в Венеции // *Вопр. истории.* 1995. № 3. С. 129–135.
- 41 См.: *Шмурло Е.Ф.* Сборник документов, относящихся к истории царствования императора Петра Великого. Юрьев, 1903. Т. I: 1695–1700.
- 42 *Павленко Н.И.* Указ. соч.
- 43 *Долгова С.Р.* Великое посольство России в Европу. 1696–1698 гг. (по документам Российского государственного архива древних актов) // *Вестник архивиста.* 1997. № 3 (39). С. 35–46.
- 44 *Кретианин Г.В.* Прусские маршруты Петра Первого. Калининград, 1996.
- 45 *Преображенский А.А.* Великое посольство 1697–1698 гг.: старое и новое в русской дипломатии // *Вопр. истории.* 1999. № 2. С. 114–122.
- 46 Там же. С. 121.
- 47 *Котин И.Ю.* Петр Великий в Оксфорде // *Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.* СПб., 1998. Вып. III. С. 49–54.
- 48 *Блудилина Н.Д.* Великое посольство Петра I и отношение к Москве в Европе на рубеже XVII–XVIII вв. // *Москва в русской и мировой литературе: Сб. ст. / РАН. Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького; Отв. ред. Н.Д. Блудилина.* М., 2000. С. 34–41.
- 49 Там же. С. 35.
- 50 *Лавров А.С.* Великое посольство в донесениях французских дипломатов // *Ораниенбаумские чтения: Сб. науч. ст. и публ. / Гос. музей-заповедник "Ораниенбаум"; Ред.-сост. С.В. Ефимов.* СПб., 2001. С. 113–141.
- 51 *Лавров А.С.* Указ. соч. С. 136–137.
- 52 *Павлова Н.Ю.* "Царь или погибнет, или станет великим человеком" (Петр I в мемуарах английского епископа Джилберта Бернета) // *Ораниенбаумские чтения: Сб. науч. ст. и публ.* СПб., 2001. С. 106–112.

- 53 Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. СПб., 2003.
- 54 Перри Дж. Состояние России при нынешнем царе / Пер. с англ. О.М. Дондуковой-Корсаковой. М., 1871.
- 55 *Blomberg V.* An Account of Livonia. L., 1701.
- 56 *Номен Я.К.* Записки о пребывании Петра Великого в Нидерландах в 1697/98 и 1716/17 гг. Киев, 1904.
- 57 Там же. С. 8–10.
- 58 *Schellema J.* Peter de Groote, Keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1697 en 1717. Amsterdam, 1814. 2 v.
- 59 См.: Дух Журналов. 1816. № 11–13; Сын Отечества. 1822. № 47, 48; Русская старина. 1916. № 1–5.
- 60 *Веневишинов М.А.* Указ. соч. С. 14–16.
- 61 *Barrow J.* Memoir of the life of Peter the Great. L., 1832; N.Y., 1834.
- 62 *Sadler C.* Peter des Grosse als Mensch und Regent. St. Pet., 1872.
- 63 *Schuyler E.* Peter the Great. Emperor of Russia: 2 vols. L., 1884.
- 64 *Lamberty G.* Memoires pour servir à l'histoire du XVIII siècle. 1781. V. I, 2-me edition.
- 65 *Erman J.* Memoires pour servir à l'histoire de Sophie Charlotte. B., 1801.
- 66 Archiv für sächsische Geschichte (1873), XI. P. 137 ff.
- 67 *Schuyler E.* Op. cit. V. I. S. 352, 359, 375, 382.
- 68 *Маколей Т.Б.* Полн. собр. соч. СПб., 1865. Т. XIII. С. 61.
- 69 Там же. С. 68.
- 70 *Bergengrün A.* Die grosse moskowitzische Ambassade von 1697 in Livland. Riga, 1892.
- 71 Ibid. S. 73–95.
- 72 См., например: *Graham S.* Peter the Great. L., 1929; *Kersten K.* Peter d Grosse. Amsterdam, 1935.
- 73 *Raptschinsky B.* Peter de Groote in Holland in 1697–1698. Phil. Diss. Amsterdam, 1925.
- 74 *Hinz W.* Peter des Grossen Anteil an der wissenschaftlichen und künstlerischen Kultur seiner zeit. Breslavl, 1933.
- 75 *Grey I.* Peter the Great. Emperor of all Russia. Philadelphia; N.Y., 1960.
- 76 *Grey I.* Peter the Great in England // History Today. 1956. № 6. S. 225–234.
- 77 *Grey I.* Peter the Great. Emperor of all Russia. S. 118, 119, 121, 459.
- 78 Цит. по: *Павленко Н.И.* Указ. соч. С. 65.
- 79 *Wittram R.* Peter I, Czar und Kaiser: zur Geschichte Peters des Großen in seiner Zeit. Göttingen, 1964.
- 80 *Anderson M.S.* Peter the Great. L., 1978.
- 81 *Jonge A. de.* Fire and Water: A life of Peter the Great. L., 1979.
- 82 *Массу Р.К.* Петр Великий: В 3 т. Смоленск, 1996.
- 83 Там же. Т. 3. Библиография.
- 84 *Loewenson L.* The first interviews between Peter I and William III in 1697: Some neglected English materials // Slavonic and East European review. 1958. Vol. 36. № 87. P. 308–316; *Loewenson L.* People Peter the Great met in England. Moses Stringer: chymist and physician // Slavonic and East European review. 1958. Vol. 37. № 89. P. 459–468; *Loewenson L.* Some details of Peter the Great's in England in 1698: Neglected English materials // Slavonic and East European review. 1962. Vol. 40. № 95. P. 431–443.
- 85 *Dvoichenko-Markov E.* William Penn and Peter the Great // Proceedings of the American philosophical society. Philadelphia. 1953. Vol. 97. № 1. P. 12–25.
- 86 *Crino A.M.* La visita di Pietri il Grande in Inghilterra dalle lettere di Thomas Platt ad Appolonio Bassetti // Nuova rivista storica. Milano, 1953. Sett. – dic. P. 439–449.

- 87 См.: *Lewitter L. R. Russia, Poland and the Baltic, 1697–1721.* // *Historical Journal.* 1968. № 11.
- 88 *Wittram R. Peters des Großen erste Reise in den Westen* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* Wiesbaden, 1955. В. 3, h. 4. S. 373–403.
- 89 *Isberg A. Erik Dahlbergh och tsar Peters västeuropeiska resa* // *Svio-Estonica.* Lund. 1962. Vol. 16, h. 7. S. 52–72.
- 90 *Шварц И.* Великое посольство и венский двор (К вопросу о пребывании Великого посольства в Вене) // *Центральная Европа в новое и новейшее время (Сборник к 70-летию Т.М. Исламова).* М., 1998. С. 55–68.
- 91 *Waegemans E. Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden.* Antwerpen, 1998; *Вагеманс Э.* Петр Великий на землях Бельгии. Антверпен, 1998.

Т.А. Володина

УЧЕБНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИОГРАФИИ: СЕРЕДИНА XVIII – СЕРЕДИНА XIX в.

Долгое время учебники истории находились на периферии исследовательского внимания ученых, обращавшихся к историографической тематике. В классических работах XIX в., положивших начало становлению историографии, об учебниках почти ничего не говорилось¹. Но уже здесь наметились различия в оценке их значимости для понимания развития исторической науки. С.М. Соловьев и П.Н. Милоков, например, рассматривали учебную литературу как отражение основных достижений исторической науки и утвердившихся в ней концепций². В.С. Иконников же считал учебники воплощением всего самого отсталого и догматического, ибо они всегда испытывают давление посторонних, не имеющих отношения к науке факторов³.

После 1917 г. проблема изучения учебной литературы прошлых лет практически исчезает с исследовательского горизонта. Интерес к ней возрос лишь в 1970–1980-е годы. Роль импульса здесь сыграла дискуссия конца 1960-х годов о методологических проблемах историографии. Некоторые участники полемики (Е.В. Гутнова, А.М. Сахаров, Е.В. Чистякова, С.О. Шмидт) подчеркивали тогда необходимость и важность вовлечения в круг историографического изучения учебной и массовой литературы по истории⁴. Такая позиция служила развитием тезиса о необходимости расширения исследовательской проблематики историографических исследований, с тем, чтобы они, наряду с изучением развития исторической науки, уделяли внимание и тому, как общество воспринимало плоды этого развития. Однако и в последующие годы среди историков преобладало представление о том, что учебная литература относится к пе-

риферийным сюжетам историографии. В этом не было ничего удивительного. Закономерным образом интерес к проблемам концептуального содержания учебно-исторической литературы растет тогда, когда "на поле" этой литературы становится возможен плюрализм, когда общественные силы и историки начинают спорить о том, какая версия истории правильнее, лучше, объективнее. Если же вопрос о "правильной" истории разрешен и утверждён, то он в значительной степени теряет исследовательскую привлекательность.

Можно выделить несколько факторов, которые способствовали в последние годы привлечению внимания к процессу распространения исторических знаний в обществе в целом и к учебникам в частности. Факторы эти явились следствием как реальных политических процессов в обществе, так и внутренних методологических изменений в самой исторической науке. На наш взгляд, к внешним факторам следует отнести:

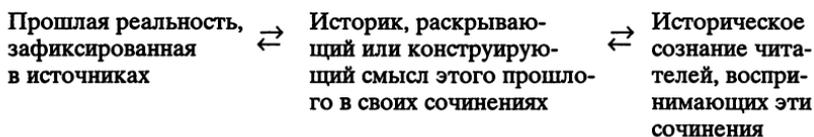
1. Кризис исторического образования на рубеже 1980–1990-х годов, сопровождавшийся многочисленными переизданиями до-революционных учебников.
2. Появление в образовательном пространстве новых субъектов: регионов и этносов, общественных организаций и политических партий, различных конфессий и направлений академической науки, которые активно воздействуют на процесс передачи исторических знаний, предлагая различные, соперничающие друг с другом интерпретации истории.
3. Болезненные процессы распада СССР и рождения на его территории новых национальных государств, в которых перед академическими историками и системой образования встала задача выработки видения "своего" и "чужого" прошлого.
4. Рост интереса в научных и политических кругах к феномену идентичности и к той роли, которую играют в формировании идентичности история и образование⁵.

К собственно же научным факторам можно отнести те сдвиги в характере историографических исследований, которые проявились в последние годы в тематике конкретных работ, в изменении взгляда на предмет историографии и в методологической рефлексии. Эпистемологические новации последней трети XX в. подмывали фундамент, на котором зиждились все генерализующие теории и объяснительные модели XIX столетия. Они подтачивали унаследованную от гегельянства, позитивизма или марксизма уверенность в том, что специфической особенностью ремесла историков являются постижение и реконструкция исторической реальности. Там, где объективисты усматривали реальность, поборники новой эпистемологии видели лишь бесконечную игру интерпретаций. Эти новации, как бы мы к ним ни относились, заставляют задуматься о принципиальном характере и глубине перемен, имеющих место сегодня в мы-

шении исследователей и исторической науке. В результате воздействия постмодернизма в профессиональной среде российских историков начал происходить пересмотр традиционного взгляда на науку как на орудие достижения объективного знания⁶. Даже те, кого можно назвать "неопозитивистами", утрачивают невинность веры в историческую познаваемость прошлого и объективность наших знаний.

Многие отечественные ученые с недоверием относятся к подобной релятивизации исторического знания, однако и они испытывают давление новых методологических вызовов. В историографических работах это проявляется, в частности, в смещении исследовательского фокуса. Если в предыдущие десятилетия центральным понятием историографии являлась "концепция", то теперь ее место пытаются занять "интерпретация", "нарратив", "историописание". Некоторые историографы приветствуют такую замену, ибо, по их мнению, «понятие "концепция", связанное со стремлением объективизировать историческое познание, отодвигает личность историка на второй план и сужает предмет историографии до истории исторической науки»⁷. Достаточно четко наметился уже культурно-антропологический подход в историографических исследованиях; он находит свое выражение во внимании к "историографическому быту", в изучении коммуникативных связей внутри и вне академической среды, а также в интересе к неявно выраженным правилам, которыми регулируется жизнедеятельность ученого сообщества⁸. В этот же ряд встраивается и интерес ученых к проблемам формирования и развития исторического сознания, хотя результаты, как правило, ограничиваются материалами постановочного характера⁹.

На наш взгляд, это свидетельствует о постепенном смещении внимания историографов на изучение тех коммуникативных связей между историей и современностью, которые возникают в результате деятельности историков. В схематическом виде взаимоотношения в системе "прошлое – настоящее" с точки зрения историографа можно представить в следующем виде¹⁰.



Во второй половине XX в. наши историографические исследования в основном концентрировались на изучении центральной и левой части этой схемы. Привычное понимание историографии как истории исторической науки в первую очередь предполагало анализ концепций и теоретико-методологических взглядов историков, изменения проблематики и привлечения новых источников. Измене-

ния, которые наблюдаются в работах историографов в последние годы, свидетельствуют о том, что исследовательский фокус начинает все активнее захватывать и правую часть. При этом подходе труды историков утрачивают свою "автономность", в сферу изучения включаются и их восприятие, сам процесс коммуникации между историческим знанием и современностью. Ярким примером подобного подхода, реализованного в совершенно нетрадиционной форме, является электронный ресурс о памятнике Тысячелетию России, представленный на сайте Петрозаводского университета¹¹. Здесь собраны материалы о различных проектах, представленных на конкурс 1858 г., мемуары его участников, размышления историков об идее памятника, отклики прессы, многочисленные свидетельства, раскрывающие восприятие памятника современниками и потомками. Интерес к изучению учебников истории в историографическом ключе также укладывается в русло этой новой тенденции.

В самом широком смысле образование можно определить как систему, в ходе функционирования которой общество передает ценности, навыки и знания от одного человека или группы лиц другим. Рассматривая процесс передачи исторических знаний новому поколению, в рамках структурно-функционального подхода можно гипотетически определить идеальные типы "ролей", которые присущи различным элементам системы. Приоритетное назначение исторической науки – выполнять функцию поставщика рационального знания о прошлом. Во всяком случае, именно так мыслили науку историки XVIII–XIX вв. Государство в сфере исторического образования свою главную задачу видит в легитимации существующего режима и воспитании лояльности граждан. А запросы общества в сфере интерпретации истории призваны актуализировать эмоциональное ощущение связи прошлого с настоящим и будущим. Прошлое здесь выступает как некая система ценностей, имеющих положительную и отрицательную значимость в реализации общественных устремлений. Можно сказать, что "установками" науки, государства и общества являются соответственно объяснение прошлого, оправдание настоящего и актуализация прошлого, исходя из настоящего.

Такой подход предполагает не просто изучение текста самих учебников, но и вписывание их в широкий общеисторический контекст. Для понимания сопряженности учебной концепции истории с общим уровнем и характером развития исторической науки требуется привлечение соответствующего круга источников: переписки, мемуаров, рецензий, общеисторических и монографических работ, публицистических выступлений историков, вовлеченных в процесс создания или обсуждения учебной литературы. Выявить устремления государства позволяют документы, проясняющие механизм и логику выработки правительственного мнения относительно учебников истории. Сюда относятся личные распоряжения министров, всевозмож-

ные инструкции, циркуляры и распоряжения, выходявшие из недр государственных ведомств, а также протоколы заседаний комитетов и комиссий, делавших выбор в пользу того или иного учебника. С течением времени менялись названия этих ведомств: Комиссия об учреждении народных училищ (1782–1802), Главное правление училищ (1786–1863), Ученый комитет Министерства народного просвещения (1817–1831, 1856–1917), Комитет рассмотрения учебных пособий (1826–1835) или Комитет рассмотрения учебных руководств (1850–1856). Однако неизменным оставалось пристальное внимание государства к содержанию школьных учебников по истории.

Наибольшие затруднения источниковедческого плана порождает изучение ожиданий и запросов общества в отношении истории, их совпадения или несовпадения с теми версиями, которые предлагались наукой и государством. Здесь трудности практического порядка (приходится просеивать большое количество информации, разбросанной по страницам периодики, мемуаров, переписки, беллетристики) соседствуют с методологическими. Как свести воедино существующее в реальности многоголосие мнений о прошлом, чтобы вычлнить основные параметры исторического сознания общества? Как "измерить" эффективность учебников в его формировании, если не ясно, в какой степени усваивались учебные истины. Для подобного анализа не существует четко очерченного круга источников, источниковую базу приходится конструировать самому исследователю, исходя из требований главного вопроса: как изменялось историческое сознание общества по мере развития страны, науки и системы образования?

Становление учебной литературы по отечественной истории в России относится к середине – второй половине XVIII в. Аналогичные процессы примерно в это же время происходили и в других странах Европы. Вторая половина XVIII в. была ознаменована первыми попытками введения курсов *отечественной* истории в учебных заведениях Франции, Англии, Польши. До этого времени изучение прошлого в учебных заведениях ограничивалось Священной историей и историей античности. История рассматривалась в первую очередь как наука государственного управления, и отпрыски благородных семей постигали ее секреты, читая в подлиннике античных классиков. В любой европейской стране образованный человек уверенно чувствовал себя среди героев Плутарха и Фукидида, а вот с событиями прошлого своей страны был знаком гораздо хуже. Положение начало изменяться благодаря влиянию мощных факторов, важнейшими из которых были следующие.

- Секуляризация культуры и образования.
- Зарождение национализма и последующее оформление национальных государств.
- Социально-экономическая трансформация общества, которая требовала модернизации образования. Результатом этого, в

свою очередь, явилось зарождение системы общего стандартизированного образования и рост числа учащихся.

- Оформление исторической науки. В отличие от средневековых хронистов и антикваров раннего нового времени, историки теперь поставляли на интеллектуальный рынок сочинения, основанные на рационалистическом объяснении прошлого.

Таким образом, все ингредиенты были налицо, хотя в разных странах их соотношение, сила и воздействие на историческое образование различались.

В России дело осложнялось крутой культурной ломкой петровского времени. Школы первой четверти XVIII в. вообще не знали истории как учебного предмета. Чаще всего это объясняют спешкой царя-преобразователя: учили "сколько до инженерства и шкиперства принадлежит". Однако дело было не только в утилитарном подходе. Люди петровского времени не могли осмыслить себя в *органической связи* с предшествующей российской историей. Пафос преобразований зиждился на разрыве с традицией, на отталкивании от прошлого, и при обращении к этому прошлому очень трудно было соединить порвавшуюся "связь времен", представить всю историю России от древности до современности.

Лишь при преемниках Петра русское общество стало обживаться в новых координатах культуры, воспринимая их как нечто привычное и устойчивое. Тогда и предприняты были первые попытки познакомить юношество с историей своего отечества. Среди учебников второй половины XVIII в. выделяются как лидеры, так и аутсайдеры. К первым можно отнести руководства, написанные известными деятелями, которые либо получили широкое распространение в силу государственного одобрения, либо были высоко оценены современниками благодаря новаторским идеям. К ним относятся "Краткий российский летописец" М.В. Ломоносова (1760), учебники А.Л. Шлецера, сочинения И.М. Стриттера и М.Н. Муравьева, а также "Краткая российская история", утвержденная екатерининской училищной комиссией в качестве официального учебника¹². К аутсайдерам можно причислить учебники, которые не могли похвастаться известными именами на титульных листах и многочисленными переизданиями¹³.

Главной темой учебников была политическая история, которая находила воплощение в деяниях правителей, полководцев, политиков и царедворцев. Такая ориентация соответствовала уровню исторической науки и объяснялась влиянием двух факторов. Во-первых, общим мировоззрением эпохи был рационализм, и в соответствии с его установками разумные действия людей казались той силой, которая приводит в движение развитие стран и народов. Во-вторых, на это время приходится расцвет абсолютных монархий, что порождало в сознании людей (и историков в том числе) представление о всемогуществе государя и его окружения.

Можно выделить два типа интерпретации российской истории: имперско-националистический и рационально-критический. Для первого, который условно можно назвать "ломоносовским", определяющим являлось стремление доказать, что Россия ни в чем Европе не уступает. К этому типу относятся: учебник Ломоносова "Краткая российская история", руководства Т.С. Мальгина, П.М. Захарьина, М. Берлинского, учебные тексты, написанные И.С. Барковым и Х.А. Чеботаревым. Для второго подхода, который вырос из традиций германской школы экзегетики и который можно именовать "шлецеровским", главной задачей было избавление от "баснословия" и опора на факты, установленные в результате научной критики источников. Этот подход проявился в учебниках Шлецера, в "Истории российского государства" Стриттера, в анонимной "Детской российской истории", изданной в Смоленске.

М.В. Ломоносов – во многом знаковая, ключевая фигура для понимания тех процессов, которые происходили в историческом сознании общества в середине XVIII в.¹⁴ В его "Кратком российском летописце" очень ярко проявилась та национально-патриотическая идея, которая являлась главным стержнем творчества Ломоносова. В учебнике ее компоненты выражены ясно и четко: доказательством величия народа служит его древность, величина занимаемой им в древности территории и исконность расселения на ней, а также военное и государственное могущество (невозможное без самодержавия). Причем, всеми этими достижениями русские обязаны исключительно самим себе. Норманны в учебнике ни разу не упоминаются. Варяги же, по мнению Ломоносова, принадлежали к славянскому племени и прославились военными победами еще при Митридате Евпаторе (II–I вв. до н.э.), затем переселились на южное побережье Балтики. Именно отсюда был призван Рюрик с дружиной, так что основателя династии следует считать исконным славянином. Что же касается вообще славян, то "древность самого народа даже до баснословных еллинских времен простирается и от троянской войны известна"¹⁵. Впрочем, утверждение о славянских корнях Рюрика не решало полностью проблему. Ведь если начало государственной власти связывать с призванием Рюрика в IX в., то собственно государственная история России до неприличия укорачивалась. И Ломоносов находит "владельцев и здателей городов" задолго до Рюрика: Кия с братьями – на юге, а Славена и Русса – на севере.

Центральной фигурой российской истории у Ломоносова становился Петр. Пафос петровских преобразований был глубоко созвучен историческому мироощущению самого Ломоносова: всему миру Россия доказала свою способность к военному и государственному величию, совершив в напряжении всех сил гигантский рывок. В конечном счете, переход из холмогорских рыбаков в академики, кото-

рый, тоже напрягая все силы, совершил Ломоносов, оказывался возможен только в контексте новой, послепетровской России. Для Ломоносова вообще не существовало вопроса о разрыве органического развития России в результате петровских реформ. Напротив, он всюду подчеркивает преемственность и связь. Знаки царского сана и венчание самодержцем всероссийским – при Владимире Мономахе, "печатание книжное" и Ливонская война – при Иване Грозном, регулярные полки и лишение Никона патриаршества – при Алексее Михайловиче, – все это в "Кратком российском летописце" выстраивается в одну непрерывную линию российской истории, логическим завершением которой и является Петр Великий.

Вольтер, которому по приказанию Шувалова был отправлен французский перевод "Краткого российского летописца", отозвался об этом сочинении очень язвительно: "Эта странная записка начинается рассказом о том, что древность славян простирается до троянской войны, и что король их Полимен ездил с Антенором на край Адриатического моря и т.д. Подобным образом у нас писали историю лет тысячу тому назад; подобным образом через Гектора выводили наше происхождение от Франкуса"¹⁶. Вольтер был прав и не прав одновременно. Он упускал из виду, что русские люди, несмотря на внешний лоск европейской образованности, по своему историческому мироощущению были *другими*, их восприятие своей страны и мира еще несло следы недавней крутой ломки.

Можно утверждать, что средний представитель того образованного слоя русского общества, который появился в России в результате петровских преобразований, воспринимал ломоносовскую интерпретацию русской истории с полным одобрением и в значительной степени как отражение своего собственного устроения. Ломоносов был отнюдь не одинок в своем упорном стремлении доказать всему миру если не первенство, то равенство России. Интерпретация истории при этом определяется страстным желанием показать, что Россия есть великая европейская держава; причем акцентируется именно *величие и европейскость*. Сходные мотивы присутствуют в исторических работах В.К.Тредиаковского, в литературных сочинениях М.М.Хераскова и А.П.Сумарокова. Да и просто образованный дворянин средней руки видел прошлое схожим образом, доказательством, в частности, могут служить записки воспитателя великого князя Павла Петровича С.А.Порошина¹⁷. Его взгляд на прошлое России также подчинен теме государственного могущества, также требует панегирических тонов, недаром Порошин многократно читал вслух великому князю "Краткий российский летописец"¹⁸. Учителю великого князя близко понимание истории как торжественной песни о подвигах героев и царей. Размышляя о Петре, он приходит к выводу: "Если бы не было никогда на российском престоле такого несравненного мужа, каков был Его Высочества вели-

кий прадед, то б полезно было и вымыслить такого... Пороки могут или совсем быть умолчаны, или открыты, но мимоходом"¹⁹.

Своеобразными репликами исторического мировоззрения Ломоносова были учебники, написанные людьми малоизвестными и отнюдь не выдающимися. Провинциальные учителя (М. Берлинский, П.М. Захарьин) или член Российской академии (Т.С. Мальгин) демонстрировали имперско-патриотическое видение российского прошлого. Они нелицеприятно относятся к историческим сочинениям иностранных авторов, усматривая в них сознательные попытки унижения России. Всякий скептицизм в отношении древности русского народа или его достижений для них неприемлем. Утверждение иностранцев о грубой чеканке древнерусских монет Мальгин, например, воспринимал как "неуважение и презрение", и клялся, что своими глазами видел прекрасную монету времен княгини Ольги и знаменитые "кожаные деньги"²⁰. Захарьин вторит ему, обвиняя иностранцев в "гнилом умствование" этимологических штудий, и грозит в ответ произвести немецкое "kopung" от славянского "коных"²¹.

В этих руководствах явственно проступает убеждение в том, что главным доказательством "правильности" исторического пути России является ее государственное и военное могущество, находящее выражение в "распространении пределов". Уже в глубокой древности русские составляли "сильный и могущественный воинственный народ, который ратными своими деяниями покорял под свою власть племена и царства на Востоке, Юге, Западе и Севере, и наводил трепет на все соседние державы, не редко потрясая гордую власть Рима и Греции и собирая с них дани"²². Главный результат этой многовековой истории для авторов учебников был очевиден: "Ныне Россия таким пространством земель обладает, каким и в самой древности ни одна монархия не владела. Ныне под мужественною пятою победоносных войск Российских сокрушились чада тьмы ордынской, и кичливый Стамбул поник раболопно долу... пал на вечные времена хищный Крым... преклонил голову свою кичливый Кавказ..."²³

Своеобразным антиподом ломоносовского учебника явились популярные руководства по истории, принадлежавшие Августу Людвигу Шлецеру. В 1769 г., уже уехав из России, он издал на французском языке краткий обзор русской истории, уместившийся на 15 страницах и вскоре переведенный на русский язык²⁴. В том же году на немецком языке им был напечатан более пространственный учебник, охватывавший русскую историю до основания Москвы²⁵. Учебники Шлецера, переводы которых неоднократно выходили в России, во главу угла ставили традиции германской школы экзегетики – опору на факты, установленные на основе научной критики источников и здравого смысла. Именно с этих книг и началось распространение знаменитой периодизации, в ко-

торой выделялась Россия "возрастающая, разделенная, утесненная, победоносная и процветающая".

Руководства эти явились результатом преподавательской деятельности историка в 1862–1865 гг., когда он обучал сыновей графа К.Г. Разумовского и Г.Н. Теллова, а также дочь И. Тауберта²⁶. Существовавшие в России учебники Шлецер считал совершенно непригодными, а "Краткий российский летописец" пренебрежительно называл "каким-то скелетом, составленным из имен и годов"²⁷. По воспоминаниям Шлецера и тексту немецкого учебника мы можем "смоделировать" основные принципы его преподавания. Он убеждал своих учеников, что верить следует только знанию, испытанному научной критикой, а потому славяне при осаде Трои и грамота, полученная ими от Александра Македонского, проходят у него по разряду исторических нелепостей. В отличие от Ломоносова Шлецер не рассматривал историю как средство служения государственному величию России, он отстаивал право науки на рационализм и открытость, и право это ставил выше "патриотических" пристрастий.

Преобладание "науки" над "патриотизмом" можно найти не только в учебниках Шлецера. Схожие идеи содержались, в частности, в анонимной "Детской российской истории", выпущенной в Смоленске. Близость к ним обнаружил и И.М. Стриттер, которому в 1783 г. Училищной комиссией было официально поручено написать историю России для учащегося юношества. Правда, Стриттер оказался в более затруднительном положении, ибо он работал по прямому государственному заказу и под бдительным контролем Екатерины II. Как ни старался Стриттер соответствовать пожеланиям заказчика, его "История" была забракована. Требованиям императрицы смогла соответствовать лишь "Краткая российская история", которая была написана фактически под ее диктовку и стала официально утвержденным учебником²⁸.

В государственном варианте не было избыточного ломоносовского пафоса, русская история не удревнялась до "еллинских времен", хотя дух панегирика в ней сохранялся. Но здесь умалчивались "неудобные" вопросы: о происхождении Руси, о норманнах, об ослаблении государственности в удельный период, о роли и значении средневекового Новгорода и т.д. История представляла приглаженной и причесанной: кровь и насилия в ней всегда были результатом действий врагов России – внутренних и внешних. Одобренная Екатериной история имела отчетливый имперский характер, сосредотачивая внимание на государственной мощи, войнах, победах и завоеваниях. Рационализм в истории здесь явно соединялся с принципами назидательного классицизма, согласно которым "хорошие" герои говорили и действовали всегда в соответствии с идеальным образом, а "злодеи" сознательно стремились навредить России.

Итак, условно во второй половине XVIII в. можно выделить три линии в учебно-исторической литературе: Ломоносова, Шлецера и Екатерины II. Представления императрицы об учебнике истории были достаточно близки к "ломоносовской" традиции, однако в большей степени акцентировали процветание империи, нежели превосходство России над Западом. Государственная власть стремилась представить юному поколению историю, лишенную крайностей как научно-эзегетического индифферентизма, так и гипертрофированного национального воодушевления.

Патриотическую версию русской истории отличали некоторые особенности, которые позволяют говорить о ней как о начальной фазе формирования национального сознания. В историографии верным индикатором этого процесса является стремление к удревнению своей истории. Однако педалируя тему величия России, авторы учебников не доходили до постановки проблемы ее самобытности. Они стремились доказать, что Россия – не хуже (или даже лучше) Европы, но им и в голову не приходило утверждать, что Россия принципиально отлична от Запада. Этот тип интерпретации истории в большей мере соответствовал настроениям общества, хотя в целом оно было довольно индифферентно по отношению к истории, воспринимая ее скорее как необходимую черту внешней цивилизованности. Стремление "прочитать" историю России в национально-патриотическом ключе в первую очередь зарождалось в сознании тех, кого можно назвать "демократической интеллигенцией" XVIII в. – литераторов, переводчиков, учителей.

Авторы, цензоры и читатели учебников подсознательно относились к истории как к средству компенсирования социально-культурного "комплекса неполноценности", и такое отношение было естественным в стране, которая лишь недавно пережила крутую модернизационную ломку и завоевала статус европейской державы. При этом "шлецеровская" традиция отнюдь не пропала втуне, она продолжала жить как весомый компонент научно-культурного фона, который постепенно усваивался новыми поколениями историков. Следует также отметить, что принципиальная важность понятия "государство" уже прочно обосновалась в сознании как авторов, так и читателей учебников. Позднее эта черта станет определяющей особенностью русской классической историографии. При этом в XVIII в. в учебниках национально-патриотического типа "государство" находилось в тесном переплетении с "государем". Думается, дело здесь было не только в семантике. Немецкие историки XVIII в., выросшие в условиях небольших немецких княжеств, правители которых никак не тянули на роль "демиургов", не готовы были к созданию и усвоению концепций, в которых "государство" бы превращалось во всеобъемлющую силу, а "государь" – в кормчего, направляющего ход этой громады.

Начало XIX в. открыло новый этап в развитии учебной исторической литературы. Среди наиболее заметных учебных руководств начала XIX в. можно назвать сочинения С.Н. Глинки, П.М. Строева и Г. Эверса²⁹. Важным фактором в развитии исторического сознания русского общества в этот период было ощущение грозящей опасности. Реакцией на это стал обостренный интерес к прошлому и попытка найти в истории обоснование тому, что Россия может и должна справиться с этой опасностью. За относительно короткий период времени, предшествовавший появлению "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина (1800–1817), было напечатано более 25 сочинений по русской истории, имевших обобщающий характер, т.е. изображавших более или менее длительный период (в идеале – от Рюрика до Александра I) и адресованных не узкому кругу профессионалов, а широкой аудитории³⁰. Такой всплеск интереса публики к истории сам по себе является примечательным. Кроме того, обращает на себя внимание "география" изданий: пять книг отпечатаны в Петербурге, три – в Смоленске, Казани и Дерпте, остальные – в Москве. Интересно, что большинство из них печатались в частных типографиях. А ведь в XVIII в., когда исторические сочинения воспринимались как дело казенное и государственное, такого рода книги выходили главным образом в типографии Академии наук или Главного правления училищ. Книги по русской истории, адресованные широкой аудитории, находят читателя и, что не менее важно, покупателя. Все это свидетельствовало о каких-то сдвигах в общественном умонастроении, приобретающих национальную окраску. Образованная элита вдруг почувствовала потребность усилить и подчеркнуть свою "русскость". Это намерение шло вразрез со сложившимся во второй половине XVIII в. положением вещей, когда влиянием французской культуры в среде российского дворянства постоянно росло и крепло.

Ученые, занимающиеся изучением становления национального сознания, отмечают, что среди факторов, "запускающих" этот процесс, большую роль играет угроза существованию данной культурно-исторической общности или даже миф о подобной угрозе³¹. Ненависть и образ врага приводят к пробуждению самопожертвования и любви, появлению целого спектра мощных эмоций; и все, кто переживает эти ощущения, начинают улавливать свою принадлежность к некоей общности, которая уже не сводится к религиозному, этническому или династическому принципу. Более того, эта рождающаяся новая общность зачастую вступает в противоречие с прежними формами идентичности. Проявление этого процесса можно видеть в деятельности А.С. Шишкова и Г.Р. Державина, в памфлетах Ф.В. Ростопчина, в реакции русского общества на дарование конституции Царству Польскому.

Не могли эти процессы миновать и исторические учебники. Самым ярким примером популярной истории подобного рода стало сочинение С.Н. Глинки – литератора и драматурга, издателя журнала "Русский вестник"³². Написанная увлекательно и легко, его "Русская история в пользу семейного воспитания" на короткий срок снискала большую популярность. Глинка доказывал, что для становления гражданина прежде всего необходимо знакомство с отечественной историей, а не с жизнью греков и римлян. Каждая страна, по его мнению, имеет свои, отличные от других, нравы, обычаи, правительства, поэтому русский найдет то, что сделает его *счастливым*, именно в своих отечественных летописях³³.

Русский, узнавая свою историю, должен ощущать, как в нем растет чувство благоговения и гордости от осознания своей принадлежности к этому народу; размышления об историческом пути России должны приводить к тому, чтобы в горле у него появлялся комок, а на глаза наворачивались слезы. Эти чувства Глинка и называет национальным духом, которого недостает русскому обществу.

С точки зрения Глинки, весь опыт изучения развития России учит пониманию коренных начал национального духа, а они заключаются в особом, "семейном" типе взаимоотношений. Если Бог выступает в роли Отца для всех людей, то Царь – для своих подданных, Генерал – для солдат, Помещик – для крестьян. Как и в семье, здесь не может быть отношений равенства, но зато царит гармония, основанная на взаимном служении. Монарх в России имеет нравственный авторитет, который вытекает не из внешней, "бюрократической" законности, а из признания тождества общего и частного блага. Глинка убежден, что сама российская история с непреложностью раскрывает причины возвышений или упадка в развитии страны. Россия, по мнению Глинки, сохранялась и усиливалась Верой, Единодушием и Общей пользой. На противоположном полюсе стоят Своеволие, Разномыслие и Личная выгода, которые приводили к потрясениям, хаосу и насилию. Для него безусловной истиной является благодетельность самодержавия, не дающего Своеволию и Личным выгодам подтачивать здание государства. Но Глинка не выводит самодержцев за скобки, у него и государь может служить источником потрясений, если своеволие и личные страсти выходят в его действиях на первый план.

Легко понять причины популярности сочинения Глинки; оно отвечало на потребность общества, рожденную эпохой наполеоновских войн, – увидеть в своей истории основание для гордости и счастья, почувствовать красоту этой истории и силу национального духа. Этот импульс был востребован обществом, которое еще в течение некоторого времени по инерции переживало воспоминания о недавних опасностях и эйфорию победоносного шествия по Европе. Если учебники XVIII в. "перекликались" с эстетикой классицизма, то

Глинка явно привнес в историописание сентиментализм, предлагая читателю не столько понять российскую историю рассудком, сколько полюбить сердцем.

Существовала, однако, и другая линия в учебной литературе. После победных салютов у юного поколения рождалась потребность критически переосмыслить свое настоящее и прошлое. Для тех, кто был затронут этими критическими веяниями, восторженные фанфары Глинки должны были казаться фанфаронством. Недаром именно в это время появился памфлет Алексея Федоровича Воейкова "Дом сумасшедших", где русофильство Глинки саркастически высмеивалось³⁴.

Скептическое направление нашло свое отражение в учебнике, который был написан 18-летним юношей П.М. Строевым³⁵. Недаром в Московском университете он слушал лекции М.Т. Каченовского. Строев не стремился "удревнить" русскую историю, славяне у него появлялись на территории восточноевропейской равнины лишь в ходе великого переселения народов, "застав в средней и северной части оной разных латышских и финских народов, кои могут быть почитаемы ее старожилками"³⁶. Все сведения о Славене, Русе и Кие Строев объявлял "сказками позднейших польских деесписателей"³⁷. Далека он и от живописания "славных дел": в VII–IX вв. славяне были грубы и необразованны, как все народы на заре своей истории. Под пером Строева куда-то исчезают патриархальная чистота и честность славян, их мужество и храбрость, которые были столь привычны в учебниках XVIII столетия.

Еще интереснее разрешается в учебнике варяжский вопрос. Норманны, по мнению Строева, пришли с мечом и поработили славян. После этого Рюрик, "следуя обыкновению своего отечества и общей тогда феодальной системе правления, раздал принадлежавшие ему города в ленное владение старшим из своей дружины"³⁸. В этом был полный разрыв с традицией XVIII в., ведь добровольное призвание князей являлось краеугольным камнем прежних представлений о начале российской государственности. Молодой же Строев не верит Нестору: IX в., с его точки зрения, гораздо более были присущи завоевание и насилие, нежели мир и покорность. Из факта завоевания логически вытекало признание феодальной системы в Древней Руси. Ведь именно "завоеванием" во Франции объясняли зарождение феодализма. Утверждение Строева о феодализме шло вразрез с предшествующей традицией, когда в российских исторических сочинениях любили подчеркивать "самодержавство" Рюрика. В координатах исторической науки XVIII – начала XIX вв., когда феодализм понимался именно как полновластие феодальной аристократии в своих владениях, как синоним вольности рыцарей по отношению к королевской власти, признание существования феодальной системы правления автоматически подрывало те-

зис о "самодержавстве". Применительно к IX–XIV вв. нигде не находим у Строева терминов "самодержец, монарх, государь". Такой подход подводил читателя к мысли о сходстве русского и европейского пути развития: при Рюрике – феодальная система, при Ярославе Мудром – законы, сходные с германскими, при Данииле Галицком – связь с Европой и Ватиканом.

Возникает вопрос, откуда мог взять все это Строев? Вопрос о феодализме был острым и спорным, но лишь для европейской, в первую очередь французской исторической мысли. Именно здесь разворачивалась борьба исторических концепций, стержнем которых была оценка политической системы, основанной на привилегиях сеньюров. Проблема культурного и политического наследия феодализма была остро актуальна именно во Франции, где "старый порядок" подвергался широкой и целенаправленной критике. Из европейских сочинений это понятие и было привнесено в русскую науку в 80-х годах XVIII столетия. В России проблему феодализма поднимал в это время только И.Н. Болтин, правда, он связывал феодализм прежде всего с удельным периодом³⁹. Гораздо ближе к Строеву и по времени и по духу стоит "Нестор" Шлецера. Изданный в Геттингене в начале XIX в., многотомный "Нестор" с 1809 г. начинает печататься и в России в переводе Д.Н.Языкова. Именно здесь Шлецер пришел к выводу, что в России уже при Рюрике складывается система феодального правления, и что в этом отношении Россия не имеет принципиальных отличий от Западной Европы⁴⁰.

В учебнике Строева, безусловно, отразилось влияние Шлецера и Каченовского – в строгости и рационалистической критике, в стремлении оценивать события русской истории без патриотического жара. Как известно, Каченовский довольно язвительно оценивал тезис Карамзина о том, что любовь к отечеству является одним из главных достоинств исторических сочинений. Беспристрастие он ставил гораздо выше: "Я хочу знать о происшествии, об исторических лицах описываемой страны, а совсем не о том, где родился историк и до какой степени любит он свое отечество. Чувства души его для меня постороннее дело, когда читаю его творение, когда ищу в нем истины. Требую от историка, чтобы он показывал мне людей такими точно, какими они действительно были; а полюблю ли их или нет, одобрю ли их мысли, их поступки или напротив – это уже до меня, не до него касается ... любовь к отечеству в историке есть дело постороннее"⁴¹. Очевидно, что студентам Каченовский излагал эти идеи задолго до выхода в свет труда Карамзина.

Самое удивительное, что строевский учебник оказался востребованным. Вышло два издания, часть тиража была закуплена Министерством просвещения⁴². Современники отмечали, что книга "заслужила внимание знатоков и педагогов, и в самом деле была достойна внимания"⁴³. В 1824 г. учитель Виленской гимназии Петр Ос-

тровский ходатайствовал о разрешении ввести изданный им учебник Строева в польских училищах⁴⁴. Понятно, что с точки зрения "приручения" поляков сдержанная индифферентность Строева была предпочтительнее пылкого русофильства Глинки.

Практически одновременно с сочинениями П.М. Строева и С.Н. Глинки в России была напечатана еще одна работа, которая замысливалась автором именно как учебное руководство⁴⁵. Вышла она на окраине Империи, в тихом университетском городке Дерпте, на немецком языке, и с нею как будто на новом витке вернулся в русскую историческую науку дух немецкой учености и геттингенской школы. Автором книги "История руссов. Опыт руководства" был Густав Эверс, и вышла она с многозначительным подзаголовком – "первая часть". Книга содержала 500 с лишним страниц и охватывала период с древности до 1689 г., т.е. до начала самостоятельного правления Петра. Предполагалось, что вторая часть учебника будет посвящена периоду от царствования Петра до XIX в.

В Предисловии Эверс подчеркивал, что рискнул написать эту книгу в интересах преподавания, но надеется также и на внимание знатоков, которые найдут в книге то, чего нет в привычных учебных руководствах. Он сразу же достаточно четко обозначил то, что отличало его взгляды от позиций предшественников и современников. Предметом исторического изучения, по его мнению, должно стать в первую очередь развитие внутреннего строя государства: "Узнав слабости Государей и ход придворных интриг, узнав, кто предводительствовал армиею и на чьей стороне была победа, мы так и не увидим масштаба общественного благосостояния"⁴⁶ (здесь и далее перевод мой. – *Т.В.*).

Итак, на первое место Эверс ставил не "деяния" правителей, а внутреннее развитие государства и общества. Каждый из четырех больших разделов в "Истории руссов" заканчивался пространными главами, посвященными государственному устройству, занятиям населения, социальным отношениям, нравам, обычаям и религии. Эти главы не были искусственным довеском, общий объем данных сюжетов составлял около половины книги.

Результатом подобного подхода явилась, в частности, специфическая периодизация. Первый период русской истории Эверс датировал 552–1015 гг. Традиционно у дворянских историков XVIII столетия "настоящая" история начиналась с призвания Рюрика и установления государственной власти. Эверс же в качестве точки отсчета берет 552 г., к которому относились первые известные ему свидетельства о жизни славянских племен. Здесь уже в зародыше содержались те идеи, которые позже будут развиты Эверсом в "Древнейшем праве руссов". Дорюрикова Русь рассматривается им как общество, в котором постепенно происходит переход от родовых общин во главе со старейшинами к более крупным объединениям,

в которых прежние старейшины постепенно начинают приобретать черты территориальных правителей. "Маловероятно, – пишет он, – что выборные предводители могли пользоваться неограниченной властью, но каждый стремился уже превратить свой почетный пост в силу, которая у потомков уже не будет знать никаких ограничений"⁴⁷. Несомненная заслуга Эверса заключалась в том, что он впервые отошел от взгляда на образование государства как на единовременный акт, связанный с действием некой внешней силы.

Новшеством для исторической науки того времени было пристальное внимание Эверса к социальным отношениям. Для каждого периода русской истории он стремился выявить и систематизировать сведения о социальной структуре общества, дать характеристику положения основных социальных групп. Именно поэтому на страницах его учебника впервые поднимается проблема закрепощения крестьянства. Росток будущего крепостничества он видит в переписи, которую провели монголы для обложения населения данью. Процесс закрепощения, по его мнению, начал после этого постепенно развиваться, и уже сами русские землевладельцы стали прикреплять крестьян к земле. Одновременно с этим шел и процесс перехода собственных наследственных крестьянских земель под власть господина. По мнению Эверса, только «жившие на землях великого князя, да на землях церкви, где платился оброк, пользовались еще некоторой свободой. Свободными оставались и дикари, жившие на севере охотой и рыболовством. Над большинством же тяготела барщина, которая должна была удовлетворять стяжательство господ, и крестьяне теперь, когда половину урожая они отдавали землевладельцу, и поэтому назывались "половниками" могли лишь вспоминать о былой своей свободе»⁴⁸. Эверс скрупулезно анализирует изменения в положении крестьянства, разбирая соответствующие статьи Судебника Ивана Грозного, указов 1581 и 1597 гг. (о запovedных и урочных летах), указы Смутного времени и, наконец, Соборное уложение.

У Эверса не находим никакого стремления к литературно-драматической манере описания событий и к дидактическому морализаторству. Нравственные "апофегмы" Карамзина – это не для Эверса. Психологические черты того или иного исторического лица его не слишком интересуют, так как, по его мнению, за действиями конкретного человека кроется могущественная сила общего хода исторического развития. "Русская Правда" появилась не потому, что Ярослав был Мудрым, а потому, что по мере развития общества, стала ощущаться настоятельная потребность в составлении законов и именно таких законов. Историк не должен порицать или награждать правителей на страницах своих сочинений. События прошлого происходили в условиях, отличных от современности, и, с точки зрения Эверса, неразумно и неисторично пытаться использовать их в назидательных целях.

Учебник Эверса отличался подчеркнутой сдержанностью оценок. В такой позиции, во-первых, отразилось влияние классической немецкой философии, с ее пониманием истории как объективного и закономерного процесса. Еще более важным представляется влияние интеллектуального течения, которое зародилось тогда в Германии и нашло наиболее яркое воплощение в творчестве Леопольда фон Ранке. Именно в германской науке вырабатывалось представление об *историзме*, и Ранке открывал свою первую книгу тезисом: "История возложила на себя задачу судить о прошлом, давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие цели данная работа не претендует. Ее задача – лишь показать, как все происходило на самом деле"⁴⁹. Новое понимание истории восставало против всякой модернизации, против оценки явлений прошлого исходя из реалий дня сегодняшнего. Третий фактор можно связать с политической осторожностью Эверса и его маргинальным положением "русского немца". По рассказам Шлецера и по личным впечатлениям, он знал, как легко в России оказаться впутанным в "дело" и как нелегко из него выпутаться, даже если ты мирно занимаешься историческими трудами. Он был осторожен в оценке современных событий в стране, точно также старался быть осторожным в оценке событий прошлого. Эверс часто любил повторять: "У вас, у русских, есть приназидательная историческая поговорка: бумажки клочок далеко за собой волочет"⁵⁰. Он уже достаточно обрусел, чтобы воспринять эту народную мудрость, но недостаточно обрусел, чтобы пренебречь ею.

Министерство просвещения имело серьезные виды на Эверса как на автора официально утвержденного и принятого в школах учебника, во всяком случае для прибалтийских губерний⁵¹. Дело было за малым – за второй частью "Истории", в которой события были бы доведены до современности. Но ее-то как раз и не было. Тщетно ждал продолжения "Истории руссов" Карамзин, тщетными были и ожидания Министерства⁵². В конце концов, Эверс известил министра просвещения, что из-за служебных обязанностей "вынужден отказать пока от окончания своего руководства по русской истории"⁵³.

Однако дело, на наш взгляд, заключалось не в "служебных обязанностях". В те годы в сознании историка уже стала складываться знаменитая "родовая теория", которая и помешала продолжению работы над учебником. Дело в том, что эта концепция "работала" лишь применительно к Древней Руси. Борьбой родовых и государственных начал можно было объяснять историю Киевской и удельной Руси, отголоски этого противоборства еще можно было увидеть в событиях XVI в.; но затем наступал тупик. Стержень, который для Древней Руси был "волшебной палочкой", здесь являл свою полную непригодность. В новейшей истории России действовали какие-то

другие закономерности, которые невозможно было понять и объяснить при помощи "родовой теории". Это внутреннее методологическое противоречие Эверс, безусловно, должен был ощущать.

Линия государства в отношении учебников истории при Александре I не отличалась четкостью. Создается впечатление, что государственная власть сама подчас пребывала в растерянности, не понимая, чего должно требовать от учебника. Министерство просвещения то предпринимало попытки внедрить переводные учебники, то объявляло конкурсы на учебники по истории, то стремилось унифицировать их использование⁵⁴. Но все эти попытки заканчивались неудачей.

Перелом обозначился в 1830-е годы. Европейские потрясения начала XIX в. отразились не только в политике, они оказали огромное влияние на область гуманитарного знания. На смену рационалистическому способу осмысления человека и общества приходит романтизм, а имперско-династическому пониманию государства бросает вызов национализм. Тем, кто пережил бурное время якобинцев и Наполеона, казалось, что обещания просветителей обернулись лишь кровью, хаосом, войнами и разрушением. Романтизм и явился реакцией на разочарование в прежних идеях. Он выстраивал свою систему координат, в корне отличную от мировоззрения XVIII столетия. Разум, по мнению романтиков, не способен руководить действиями людей, ибо в природе человеческой слишком много иррационального. Преобразовать общество писаными законами и конституциями невозможно, ибо глубинные основы общества сильнее "умствования". Темные и могучие силы, которые развиваются веками или тысячелетиями, становятся нравами, обычаями, предрассудками и господствуют над людьми помимо их воли и сознания. Совокупность этих феноменов и составляет народный дух, и каждый народ воплощает в своей культуре и истории индивидуальные, только ему присущие особенности. Каждая эпоха в историческом развитии тоже отличается особым колоритом, а каждое историческое событие обладает особым характером. При этом все развитие носит органический характер; нельзя отбросить "лохмотья прошлого", которые вошли в плоть и кровь народа. Не правители "управляют" обществом, издавая законы, а сами правительственные законы порождаются внутренним органическим развитием общества. Именно романтизм породил такое завоевание гуманитарного знания, как принцип историзма.

Прямым порождением французской революции являлось и появление оформленной доктрины национализма, происходило движение монархических режимов в сторону национализации. Если раньше король воспринимался как суверен, получивший власть от Бога, то в XIX столетии происходило переосмысление принципов легитимности государственной власти, и сувереном виделась нация.

Именно эту сторону процесса афористически выразил Эрнест Ренан, когда в своей знаменитой сорбоннской лекции провозгласил: "Нация – это ежедневный плебисцит"⁵⁵. Однако наряду с политическим развитием национализма, не менее важную роль в его оформлении играла интеллектуально-эмоциональная компонента. Национализму требовались новые конструкты, которые бы выражали определенные ценности и символы: общую историческую традицию, дух народа, память предков. В создании этих конструктов огромную роль играло историческое знание. Проще говоря, пока по деревням люди поют песни и рассказывают сказки, они составляют лишь этнос, сырье для будущей возможной нации; но когда в этих деревнях появляются университетские выпускники, записывающие песни и сказки, анализирующие и публикующие их, а затем создающие на этой основе исследования о "народном духе", можно с непреклонностью сделать вывод – "тоска по нации" уже существует.

Ситуация в России не являлась исключением, хотя и имела своеобразные черты. Именно в то время начинают оформляться концепции, которые при различном политическом наполнении обладали и неким сходством. Их общим качеством было напряженное осмысление вопроса "Что есть Россия?" По свидетельству П.В. Анненкова это было главной отличительной чертой идейных поисков "замечательного десятилетия": "Все люди, мало-мальски пробужденные к мысли, принялись около этого времени искать, с жаром и алчностью голодных умов, основ для сознательного разумного существования на Руси. Само собою разумеется, что с первых же шагов они приведены были к необходимости, прежде всего, добраться до внутреннего смысла русской истории"⁵⁶. Национальный импульс находил свое воплощение в различных формах. В этом ряду стоят отвлеченные философские поиски молодых московских "любомудров" и размышления над русской историей зрелого Пушкина, идейные построения западников и славянофилов и даже принципы "официальной народности".

В 1830-е годы наиболее яркими фигурами, которые выступили соперниками "на поле" исторической литературы для юношества, были Н.Г. Устрялов, М.П. Погодин и Н.А. Полевой⁵⁷. Роль судьбы досталась С.С. Уварову. В отличие от александровского времени государственная власть в 1830–1840-е годы хорошо представляла чего именно она желает от учебников истории. Ярким свидетельством этого являются перипетии министерского конкурса 1835–1836 гг.⁵⁸ Лучше всех сумел воплотить уваровскую триаду в учебные тексты Устрялов, и его руководства на долгие годы стали основным источником исторических сведений для тех, кто сидел на школьной скамье.

В своих исторических сочинениях Устрялов отстаивал принципы "прагматической истории". Термин "прагматическая история" использовался тогда для обозначения особого типа исторических со-

чинений, которым равно чужды философские отвлеченности и пафос красноречия. В глазах Устрялова главной задачей историка было "объяснение влияния одного события на другое, с указанием причины и следствия", однако делать это нужно на строгой основе фактов, а не привнесенных извне "философских систем"⁵⁹. Устрялов считал, что именно прагматический подход дает шанс избежать хитроумных ловушек на пути исторического познания. Наибольшую трудность, по его мнению, представляет то, что историк "не имеет счастливого дара ... отделяться от современных понятий и представлять события в их истинном свете и значении"⁶⁰. В результате, утверждал Устрялов, порожденные нашим сознанием и нашим временем идеи мы искусственно "притягиваем" к прошлому, и все дело заканчивается "затейливыми выводами".

Устрялов предпринял и критику некоторых принципиальных положений Карамзина; прежде всего это касалось периодизации. Карамзин, с его точки зрения, механически прилагал европейскую схему к фактам российской истории. Европейские историки в то время выделяли: древнюю историю, под которой подразумевалась преимущественно античность; средневековье, сущность которого определялась феодализмом; и новую историю, охватывавшую последние три столетия. От средневековья новую историю отличало как раз образование единых централизованных государств, т.е. полный разрыв с феодализмом. Отвергая периодизацию Карамзина, Устрялов фактически ставил важнейший вопрос русской историографии и общественной мысли – о соотношении исторического пути Европы и России. Его позиция была четкой: прошлое России и Европы имело принципиальные различия. Вообще ход исторического развития представлялся Устрялову в виде непрерывной цепи, все звенья которой крепко связаны между собой. Однако на эту цепь действуют различные "пружины" и изменяют направление хода истории⁶¹. Российская история отличалась от европейской именно потому, что на нее воздействовали другие "пружины".

Все эти идеи находили отражение не только в научных работах Устрялова, но и в его учебниках. Его отказ от черно-белой логики и навязчивого дидактизма может рассматриваться как одно из проявлений утверждавшегося принципа историзма. Он не стремился, например, "оправдать" действия России в прошлом с точки зрения представлений о нравственности XIX в. Для Устрялова жестокость и насилие являлись проявлением "духа времени" и неумолимой логики борьбы между народами, правителями, племенами. Например, описывая стояние на Угре, он сообщает, что Иван III в это время послал своего воеводу в "беззащитные низовья Волги", и тот "с полным успехом совершил свое поручение: разгромил улусы, где остались одни старцы, жены и дети, разрушил Сарай, взял множество пленников и с богатой добычей возвратился в отечество"⁶².

Вся русская история делилась у него лишь на две части: древнюю – допетровскую, и новую – начавшуюся с петровских реформ. Устрялов таким образом попросту "ликвидировал" средневековье. Это с неизбежностью ставило перед ним вопрос о феодализме, на который историк давал четкий и недвусмысленный ответ: феодализм – это "европейское зло, коего Русь не испытала"⁶³. Едино- и самодержавие как политический принцип в большей или меньшей степени проявлялось на всем протяжении русской истории. Под феодализмом Устрялов понимал, прежде всего, политическое всевластие земельной аристократии, а также самостоятельность городских общин и политическую власть Ватикана. В отличие от Карамзина, он проводил четкое различие между феодализмом и удельной системой. Во взаимоотношениях удельных и великих князей не было и следа вассалитета, как не было его и в поместной системе. В первом случае, по мнению Устрялова, все Рюриковичи выступали суверенными государями, во втором – речь шла лишь о более или менее богатых подданных⁶⁴.

Перед историком неизбежно вставал вопрос: почему в России не было феодализма? Очень соблазнителен был ответ, который взял на вооружение Погодин: нет завоевания – нет феодализма⁶⁵. Однако для Устрялова сам факт призвания не имел принципиального значения, ибо главным инструментом норманского господства в первые века существования Руси он считал меч. Именно насилием первые князья "удержали власть над славянскими народами, старавшимися от нее избавиться"⁶⁶. Губительного разъединения победителей и побежденных не произошло в силу быстрого распространения христианства – "православная вера, при самом введении, слилась с русскою жизнью и стала необходимым для нее условием, подобно власти самодержавной"⁶⁷.

Так "самодержавие" и "православие" становятся краеугольными камнями русской истории. Столь же органично вплетает в нее Устрялов и "народность". По его мнению, уже в первые века русской государственности, несмотря на кровавые столкновения князей, "крепкие узы соединяли все части русской земли в одно целое. Эти узы были язык, вера, господство одного дома, стремление князей к единому державию, гражданское и церковное устройство"⁶⁸. В результате образовалось некое "русское ядро", причем не только в территориальном, но и в духовном плане. В последующие века оно стало неким культурно-политическим магнитным полем, рано или поздно притягивавшим обратно отторгнутые куски. "Русскость", однажды оформившись, становится неизгладимым и неистребимым качеством, каким бы враждебным внешним влияниям она ни подвергалась.

На основе этих теоретических посылок Устрялов выстраивал концепцию, доказывавшую неразрывность исторических судеб Западной и Восточной Руси, что в 1830-е годы было особенно акту-

ально. В то время польское восстание поставило правительственную идеологию и общественное мнение перед необходимостью осмыслить трудные вопросы: совпадает ли понятие "Российская империя" с понятием "Россия". Погодин, получив известия о восстании, записал в своем дневнике: "Польша начинается за Смоленском. Страшно"⁶⁹. Этот страх и послужил одной из причин рождения устряловской концепции; она доказывала исконную русскость "Западного края" в противовес повстанцам, которые видели в нем исключительно "Wschodnie kresy polskie" (польские Восточные окраины).

Однако Устрялов избежал соблазна "славянской взаимности", как на языке 1830–1840-х годов называли различные идеи оформления некоего славяно-русского единства. Для Устрялова Россия – это Россия, и ее интересы – это ее интересы, но они отнюдь не совпадают с интересами всех славян. Пристальное внимание историка к литовско-украинским сюжетам в истории объясняется именно тем, что для него это *русская* история. Польша же входит в Российскую империю, но собственно Россией она не является.

"Народность" в учебнике непременно должна была принимать "официальный" характер, ведь заказчиком выступало само государство. Именно поэтому принцип "русского ядра" у Устрялова сочетался со стремлением к сохранению и расширению империи, находя себе оправдание в двух пунктах: 1) это выгодно для России; 2) это является осуществлением "цивилизаторской миссии". Однако подобный подход был чреват скрытой идейной ловушкой. Если суть России составляет некое ядро, которое представлялось духовным носителем "русскости" и олицетворением народности еще в глубокой древности, то что и как может удержать вокруг России окраины, которые входят в Империю, но не входят в русскую нацию? Устрялову ответ был ясен – сила, которая обеспечивает спокойствие. Соперником Устрялова за официальный статус "автора учебников" выступил М.П. Погодин, но ему на этом поприще повезло гораздо меньше. В 1833 г., вскоре после официальной встречи с Уваровым, он "принялся за сочинение гимназической истории"⁷⁰. Примечательно, что Уваров ознакомился с рукописью "Начертания" в 1835 г. ещё до типографского напечатания учебника⁷¹. Московский профессор почти уверен, что его учебник будет признан официальным, и записывает в дневнике: "Думал об успехе моей Истории и тогда... Я показал бы им, что можно делать для просвещения"⁷². Однако Погодина ожидал болезненный удар: специальный комитет Министерства просвещения пришел к заключению, что "Русская история г. профессора Погодина не соответствует правилам, изложенным в программе Министерства народного просвещения о составлении руководства к преподаванию Русской истории в средних учебных заведениях... Начертание Русской исто-

рии в настоящем своем виде не может быть употребляемо как учебное руководство в гимназиях"⁷³.

В учебнике Погодина, безусловно, не было радикальных идей, но некоторые его стороны диссонировали с официальными требованиями. Возьмем, например, самодержавие. Его "исконность" выглядела неубедительно. Киевская Русь рисуется в учебнике как некое смешение "зародыша" государственности с сильными племенными традициями. И проявлением этих традиций подчас бывает решение "разорвать князя надвое, привязав его к верхушкам деревьев"⁷⁴. А уж удельный период в плане "самодержавства" выглядит и вовсе непрезентабельно: князья заняты "грабежами, убийствами, опустошениями, клятвопреступлениями... Вооруженные толпы в поисках добычи переходят с одного места на другое"⁷⁵.

Со вторым членом триады – православием – тоже было не все благополучно. Религия не выступала у Погодина самостоятельным и полноценным фактором русской истории. В учебнике она всегда рассматривалась в подчиненном отношении – применительно к развитию государственности, книжности, летописанию или возвышению Москвы. Еще труднее было с народностью. Желание доказать существование некоей общности, которая не равна государству, у Погодина было. Говоря о характерных чертах русского "народного духа", он был склонен к броским и эмоциональным декларациям о единодушии, целостности, патриархальности, терпении и покорности⁷⁶. Однако жанру учебника подобные "воспарения духа" были противопоказаны; сдержанный стиль требовал строгого изложения фактов. И вот здесь давала знать о себе одна характерная черта творческой манеры и темперамента Погодина. Все современники, так или иначе, говорили об этой стороне его натуры: настроенные более лояльно называли ее "отсутствием такта". В учебнике эта "бестактность" проявлялась достаточно часто. Например, принимается Погодин рассказывать о Святославе, "нашем норманнском витязе", рисуя мужественный облик князя, его воинственность и успешные походы посредством привычных летописных характеристик. И вдруг посреди этого "высокого штиля" фраза: "Греческий император Никифор Фока нанял его (Святослава. – Т.В.) за несколько пудов золота воевать болгар... Святослав ограбил и опустошил Болгарию"⁷⁷. Князь Киевской Руси сразу низводился до фигуры головореза-наемника.

Кроме того, в учебнике Погодина была еще одна черта, которая настораживала власть. В рассмотрении военных и внешнеполитических сюжетов, касающихся Литвы или Польши, Погодин выступал как "апостол славянской взаимности". Для него территориальные приобретения России на Западе законны и благодетельны не потому, что присоединялись *русские* земли (как это было у Устрялова), а потому – что *славянские*. Романтическое шеллингянство сформировало в сознании Погодина мысль об общеславянском союзе, в ко-

тором мессианская роль будет принадлежать России. Но если "влииться в русское море" можно ополяченной Литве, то в принципе это возможно и для поляков, чехов, болгар и сербов, – вот что было важно для Погодина. Однако, с точки зрения государственной власти, этот славянский акцент в понимании русской народности был мало подходящим. Он был чреват такими изменениями во внутренней и внешней политике, которые сулили только лишнюю головную боль.

Примерно в одно время с учебниками Погодина и Устрялова вышло в свет и руководство Н.А. Полевого. Среди тех, кто занимался историей в 1830-е годы, он больше всех будоражил сознание современников. Под пером Полевого рушились репутации, статьи его становились причиной не только журнальной полемики, но и разрыва личных отношений. Свою "Русскую историю для первоначального чтения" Полевой предназначал для юношества и любовно называл ее "маленькой Историей", в отличие от "большой" – "Истории русского народа"⁷⁸. Можно сразу отметить, что "маленькая История" была фактически упрощенным изложением "большой". А в своих исторических сочинениях Полевой дерзко требовал привнести в историю "высшие взгляды", ибо без философии история перестает быть наукой, а делается "цифирною выкладкою или пустою сказкою"⁷⁹. "Пустая сказка" – это камешек в огороде Карамзина, под "цифирью" же Полевой понимал узкотекстологические штудии в духе XVIII столетия. Он желал другого. В ранних "Телеграфных" статьях Полевого бросается в глаза одна деталь: он выстреливает длинными вереницами имен, как будто желая продемонстрировать свою ученую эрудицию (Шеллинг, Гердер, Вальтер Скотт, Тьерри, Гизо, Нибур и др.). На самом деле таким образом он стремился обозначить круг авторитетов, у которых следовало учиться – "дабы могли мы, наконец, понять, что есть история, как должно ее писать и что удовлетворяет наш век"⁸⁰.

Особенно поразили Полевого работы Нибура, и в первую очередь "Римская история" (это трехтомное сочинение было переиздано в 1830–1831 гг.); недаром "Историю русского народа" Полевой посвятит именно этому немецкому ученому. Для компетентного читателя это был "знак"; и Н.И. Надеждин даже назовет его "зловещим", ибо Нибур "разрушил пять веков римской истории"⁸¹.

На самом деле Георг Бартольд Нибур никаким разрушителем не был, он совершил коренной переворот в изучении древнейшей римской истории. До него этот период, который хуже всего освещен источниками, под пером историков чаще всего превращался в бесхитростный пересказ легендарной римской традиции; и каждый образованный человек знал про Ромула и Рема, про похищение сабинянок, про подвиг Муция Сцеволы и т.п. Среди европейских историков бы-

ли свои скептики, которые объявляли все известия о древнейшей римской истории недостоверными. Нибур же преодолел прямолинейность такого скептицизма и применил к римской древности свой историко-критический метод, который вкратце можно выразить в нескольких пунктах.

1. Нет такого источника, в котором бы так или иначе не отразилась подлинная историческая действительность. Поздние источники, передающие легендарную традицию, в определенной степени основываются на подлинных свидетельствах отдаленного прошлого и несут о нем некоторую информацию. Задача историка – выявить эту *реальную* информацию.

2. Реконструируя прошлое на основе этой информации, историк может и должен прибегать к сравнительному методу для раскрытия внутреннего смысла картины прошлого, ибо во всемирно-историческом развитии разные народы проходят через сходные этапы.

3. В случае недостаточности материалов большую роль в реконструкции прошлого играет и интуиция ученого.

Полевому эти принципы казались откровением, особенно ценным потому, что Нибур не останавливался на одном теоретизировании, но умел блестяще приложить новую методологию к конкретике исторического исследования.

Требование "философической истории" Полевой пытался воплотить в своих исторических работах, и популярное руководство по русской истории не было исключением. Выделяя период, он, например, старается избегать точных хронологических указателей. Начало первого периода он связывает с "поселением варягов среди славян"⁸², но не приводит точных дат. Во-первых, даты "IX–X вв." вообще кажутся ему недостоверными, да и само призвание варягов, в глазах Полевого, было "сказкой". Но самое главное, он уже интуитивно ощущал, что любой конкретный год, служащий границей между периодами, является условностью и натяжкой. Полевому и полсотни лет кажутся слишком зыбким разграничителем; как уловить, где кончается старое и начинается новое, если новое постепенно вырастает из старого?

В популярном руководстве Полевого ярко проявлялось понимание истории как естественного процесса. У него не правители своей державной волей определяют путь развития, скорее сами они действуют, подчиняясь скрытым пружинам исторической закономерности. Полевой стремился раскрыть перед своими читателями этот внутренний смысл в действиях людей. Ярче всего это чувствуется у него при характеристике Грозного. Он отрицательно оценивает опыт предшественников: "Карамзин рисовал Иоанна каким-то кровожадным чудовищем... Недавно один русский писатель старался доказать, что Иоанн был притом человек ничтожный, трусливый и малоумный"⁸³. Полевой же рисует Грозного могучим орудием в руках некой

силы, которая определяет ход событий и посредством этих событий решает различные задачи. С точки зрения Полевого, правление Грозного являлось необходимым звеном в цепи исторического развития от Ивана III к Михаилу Романову; ибо проблемы, с которыми столкнулся Грозный, были порождены при его деде, а Смута явилась их естественным продолжением и разрешением. Полевой считал, что главной особенностью России в XVI в. было "какое-то колебание: государство самобытное и могущественное, но только возникшее; в Европе, но азиатское". При удобном случае, по мнению Полевого, "самодержавие могло превратиться в олигархию"; но азиатский характер государства придавал этим олигархическим устремлениям специфический характер: "Вельможество стремится (не ограничить власть самодержавия, об этом и мысли не было), но овладеть волей своих повелителей и под тенью их величия повелевать и властвовать, как будто вознаграждая себя за уничтожение уделов"⁸⁴. Полевой указывает, что именно такой образ правления был характерен для деспотических держав Востока; Иван же, не понимая ясно этой опасности, "не хотел быть подвластным никому, и начал терзать все, что только возвышалось перед ним"⁸⁵. Крутые меры царя чуть было не привели государство к разрушению; но Смута была вызвана не преступлениями Бориса Годунова (кстати, Полевой вообще подвергает сомнению виновность Бориса в угличском деле) и не появлением самозванца. В этом конфликте должен был, по мнению Полевого, разрешиться вопрос о типе государственной власти.

Еще одним новшеством, которое ясно проявилось в "Русской истории для первоначального чтения", было признание непреложности различия – между прошлым и настоящим, между различными эпохами прошлого. Люди, жившие в IX в., отличались от тех, кто жил в XVI столетии, а те и другие равно были не похожи на людей первой половины XIX в. В отношении достоверности древнейших источников Полевой, конечно, испытал влияние отечественных скептиков и Нибура. В разряд "недостоверных сказок" в его учебнике попадает призывание Рюрика, Гостомысл, летописное известие о Кие, месть Ольги древлянам, Олег и его корабли на колесах, рассказ о сватовстве византийского императора к княгине Ольге и многое, многое другое. Однако скептицизм Полевого носил умеренный характер и никогда не посягал, скажем, на "Русскую Правду" или летопись Нестора. Кроме того, вслед за Нибуром, он провозглашал ценность "сказок", ибо в них отразились "дух, образ мыслей и степень развития народа"⁸⁶.

Поражает в учебнике Полевого и другое: он сумел внести идею о единстве всемирно-исторического процесса в популярный текст, где по условиям жанра не было места пространственным философско-историческим рассуждениям. Суть этой стороны исторического мировоззрения Полевого можно свести к нескольким пунктам.

1. История человечества едина, ибо в основе развития разных народов лежат одинаковые явления. Однако это единство проявляется только через многообразие "частных историй", которые определяются индивидуальными условиями.
2. Не может быть "историй" более и менее важных: Греция, Россия или Монголия вплетают свои нити в ткань всемирно-исторического процесса и равно важны для понимания развития человечества. "С идеей человечества, – писал Полевой, – исчез для нас односторонний эгоизм народов"⁸⁷.
3. История России не есть нечто исключительное; во многих ее чертах мы видим тождество с европейской историей. Всякое преувеличение достоинств своей истории, по мнению Полевого, рождает совсем не патриотизм; оно ведет лишь к искажению истины, самодовольству и научной слепоте. У него всегда вызывали лишь сарказм попытки доказать, "что и Адам был природный славянин"⁸⁸.

Конечно, "Русская история для первоначального чтения" никак не могла в 1830–1840-е годы получить статус не то что официально учебника, но даже просто рекомендованной для училищ книги. Однако по некоторым обрывочным замечаниям в периодике и мемуарах можно сделать вывод: она находила читателей. Свидетельством этой "скрытой" популярности является, например, рецензия в "Московских ведомостях", посвященная учебной исторической литературе⁸⁹. Шел 1859-й год, все вокруг кипело. Автор статьи с высоты своего либерализма лихо расправился со всей учебной литературой предшествующего времени, признав ее не только устаревшей, но и вредной. Всем "сестрам досталось по сергам": Устрялову и Погодину, Шульгину и Ишимовой. И только "Русская история для первоначального чтения" удостоилась теплых слов: "Книга Полевого теперь уже очень устарела, но все-таки учителю приходилось давать ее в руки своим ученикам, указывая, конечно, на все ее неточности, ибо трудно найти книгу для детей по русской истории, написанную более живо и занимательно. В противоположность Устрялову, книга Полевого возбуждает интерес к предмету"⁹⁰. Согласимся, такая оценка популярной исторической книги спустя 20 лет после ее выхода в свет дорогого стоит. Полевой, действительно, в учебной исторической литературе своего времени дальше всех уходил в сторону философической истории: он не описывал факты, а побуждал размышлять над ними.

Можно сделать вывод, что в целом авторы учебников 1830-х годов постепенно порывали с карамзинской традицией. Под влиянием новшеств французской и германской историографии они стремились к усвоению принципов историзма, прагматического подхода к истории и философского ее прочтения. Этому способствовал и общий импульс интеллектуальных устремлений 1830–1840-х годов, ок-

рашенный потребностью в выработке национального сознания. В отличие от начала XIX в., эта потребность теперь рождалась не как реакция на внешнюю угрозу, а как результат внутреннего развития русского общества. В конструировании ответов важная роль отводилась истории.

Уваровская триада, которая наиболее полно отразилась в учебниках Устрялова, была попыткой государственной власти сформулировать национальную идею в консервативно-имперском ключе. В определенном смысле эта попытка была плодотворной, и, в условиях заметного дрейфа общества вправо при Николае I, консервативная интерпретация истории в течение некоторого времени довольно успешно справлялась с формированием лояльного патриотического сознания юношества. Однако в 1840-е годы все сильнее начала обнаруживаться психологическая реакция отторжения, проявлением которой было априорное неверие юношества в официальную версию истории. Стало ясно, что она не способна сыграть роль идейного фундамента в формировании национального сознания, ибо не в состоянии концептуально осмыслить и "снять" противоречия, порожденные существованием крепостничества, самодержавия и империи.

¹ Соловьев С.М. Николай Михайлович Карамзин и его "История государства Российского", Герард-Фридрих Миллер, писатели русской истории XVIII века, Август Людвиг Шлецер, Шлецер и антиисторическое направление // Соч. М., 1995. Кн. XVI; Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. СПб., 1882; Иконников В.С. Опыт русской историографии. Киев, 1891. Т. 1, кн. 1; Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1901; Миллюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1897.

² См.: Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 73–76; Соловьев С.М. Август Людвиг Шлецер // Соч. Кн. XVI. С. 309–310.

³ Иконников В.С. Указ. соч. Т. 1, кн. 1. С. 254–255.

⁴ См.: Сахаров А.М. О некоторых вопросах историографических исследований // Вестн. Московского университета. 1973. № 6. С. 32; Чистякова Е.В. "Сянопис" 1654 г. // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1973. С. 259; Шмидт С.О. Некоторые вопросы источниковедения историографии // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 265; Гутнова Е.В. О типах историографических фактов и концепции историографа // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки. Калинин, 1980. С. 98.

⁵ См., например: Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. М., 1999; Шнирельман В. Ценность прошлого, этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов / Под ред. А. Малашенко, М.Б. Олкотт. М., 2000; Историки читают учебники истории: Традиционные и новые концепции учебной литературы / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., 2002.

- ⁶ См.: *Зверева Г.И.* Реальность и исторический нарратив: Проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей: Человек в истории. М., 1996. С. 11–24; *Репина Л.П.* Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной истории // Там же. С. 25–38; *Бойцов М.А.* Вперед, к Геродоту! // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1999. Вып. 2. С. 17–41.
- ⁷ *Антощенко А.В.* "Евразия" или "Святая Русь"? (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). Петрозаводск, 2003. С. 78.
- ⁸ См., например: *Можначева М.П.* Журналистика и историческая наука. М., 1998–1999. Кн. 1–2; *Образы историографии* / Под ред. А.П. Логунова. М., 2001; *Корзун В.П.* Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. Екатеринбург; Омск, 2000; *Беленький И.Л.* Образ историка в русской культуре XIX–XX веков // Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Доклады и сообщения научной конференции. М., 2000. С. 14–26.; Мир историка, идеалы, традиции, творчество. Омск, 1999.
- ⁹ *Егоров В.К.* Историческое мышление, историческое познание и историческое сознание // Егоров В.К. История в нашей жизни. М., 1990. С. 58–115; *Мильдон В.И.* "Земля" и "небо" исторического сознания // Вопр. философии. 1992. № 5. С. 87–100; *Ионов И.* Кризис исторического сознания в России и пути его преодоления // Общественные науки и современность. 1994. № 6. С. 89–103; *Левада Ю.А.* Историческое сознание и научный метод // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1996. С. 17–31; *Могильницкий Б.Г.* Историческое познание и историческое сознание: К постановке вопроса // Историческая наука и историческое сознание. Томск, 2000. С. 34–68; Историческое сознание: Теорет.-методол. аспект: Материалы "круглого стола" // Армагеддон: Актуальные проблемы истории, философии, культурологии. М., 2001. Кн. 11. Окт.-дек. С. 110–161.
- ¹⁰ См.: *Salmi H.* On the Nature and Structure of Historical Narration // *Storia della Storiografia*. 1993. N 23. P. 126; Цит. по: *Антощенко А.В.* Указ. соч. С. 79.
- ¹¹ <http://elibrary.karelia.ru/m1000/monument>.
- ¹² См.: *Ломоносов М.В.* Краткий российский летописец // Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1955. Т. 6. С. 292–357; *Schlözer A.L.* Tableau de l'histoire de Russie. Göttingen, 1769; Изображение российской истории, сочиненной г. Шлецером / Пер. с фр. Н. Назимов. СПб., б.г.; *Schlözer A.L.* Geschichte von Russland. Erster Theil bis auf die Erbanung von Moskau. Göttingen; Gotha, 1769; *Schlözer A.L.* Tableau de l'histoire de Russie. Göttingen, 1769; Краткая российская история, изданная в пользу народных училищ Российской империи. СПб., 1799; *Струтинер И.* История Российского государства. СПб., 1800. Т. 1–3; *Муравьев М.Н.* Опыты истории, словесности и нравовучения. М., 1796.
- ¹³ *Курас Г.* Сокращенная универсальная история. СПб., 1762 (раздел русской истории написан И.С. Барковым); *Фрейер И.* Краткая всеобщая история с продолжением оной до самых нынешних времен и просовокуплением к ней Российской истории для употребления учащегося юношества с немецкого на русский переведена и умножена при имп. Московском университете. М., 1769 (раздел русской истории написан Х.А. Чеботаревым); *Мальгин Т.С.* Зерцало российских государей. СПб., 1794; *Детская российская история.* Смоленск, 1797; *Берлинский М.* Краткая российская история, для употребления юношества, начинающему обучаться истории, продолженная до исхода XVIII столетия. М., 1800; *Захарьин П.М.* Новый Синописис. Николаев, 1798.
- ¹⁴ Подробнее об этом см.: *Володина Т.А.* У истоков "национальной идеи" в русской историографии // Вопр. истории. 2000. № 11/12. С. 3–19.
- ¹⁵ *Ломоносов М.В.* Указ. соч. Т. 6. С. 294.

- ¹⁶ Цит. по: *Прийма Ф.Я.* Ломоносов и "История российской империи при Петре Великом" Вольтера // XVIII век: М.; Л., 1958. Сб. 3. С. 181.
- ¹⁷ См.: *Порошин С.А.* Записки, служащие к истории его императорского высочества благоверного государя цесаревича великого князя Павла Петровича. СПб., 1881.
- ¹⁸ Там же. Стб. 132.
- ¹⁹ Там же. Стб. 98.
- ²⁰ См.: Сочинения и переводы, издаваемые Российской Академией. СПб., 1810. Ч. IV. С. 145–146; *Лепехин М.П.* Об одном неосуществленном замысле Тимофея Мальгина // Институт русской литературы: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 г. Л., 1984. С. 59.
- ²¹ См.: *Захарьин П.М.* Указ. соч. С. 4.
- ²² Там же. Вступление (нумерация страниц в этом разделе книги отсутствует).
- ²³ Там же.
- ²⁴ *Schlözer A.L.* Tableau de l'histoire de Russie. Göttingen, 1769; Изображение российской истории, сочиненной г. Шлецером / Пер. с фр. Н. Назимов. СПб., б.г.
- ²⁵ *Schlözer A.L.* Geschichte von Russland. Erster Theil bis auf die Erbanung von Moskau. Göttingen; Gotha, 1769; *Schlözer A.L.* Tableau de l'histoire de Russie. Göttingen, 1769.
- ²⁶ См.: *Шлецер А.Л.* Общественная и частная жизнь Августа Людвиг Шлецера, им самим описанная. СПб., 1875. С. 109–134.
- ²⁷ Цит. по: *Толстой Д.А.* Городские училища в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1886. С. 86.
- ²⁸ Подробнее об этом см.: *Володина Т.А.* К 200-летию создания первого учебника русской истории для народных училищ // Вестн. МГУ. 2000. Сер. История. № 1. С. 40–54; *Она же.* Иван Михайлович Стриттер // Историки России: Биографии / Под ред. А.А. Чернобаева. М., 2001. С. 67–75.
- ²⁹ *Глинка С.Н.* Русская история в пользу семейного воспитания // Русский вестник. 1816. Ч. 6. Кн. 4–11; 1817. № 1, 4–8; до 1823 г. последовало еще три издания; *Ewers Ph.G.* Geschichte der Russen. Versuch eines Handbuchs. Dorpat, 1816; *Строев П.М.* Краткая российская история для начинающих. М., 1819.
- ³⁰ См.: *Межов В.И.* Русская историческая библиография. СПб., 1892. Т. 1. С. 159–168.
- ³¹ См., например: Национализм и формирование наций: Теории – модели – концепции / Под ред. А.И. Миллера. М., 1994; *The Formation of National States in Western Europe.* (Ed. Tilly.) Princeton, 1975; *Hobsbawm E.* Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. N.Y., 1990; *Colley L.* Britons. Forging the Nation. 1707–1837. Yale Univ. Press, 1992.
- ³² Подробнее об этом см.: *Володина Т.А.* "Русская история" С.Н. Глинки и общественные настроения в России начала XIX в. // Вопр. истории. 2002. № 4. С. 147–161.
- ³³ См.: Русский вестник. 1808. № 1. С. 44.
- ³⁴ *Воейков А.Ф.* Дом сумасшедших. М., 1911. С. 17.
- ³⁵ Подробнее об этом см.: *Володина Т.А.* Студент Московского университета П.М. Строев и его учебник по истории России // Вестн. МГУ. 2002. Сер. История. № 1. С. 98–113.
- ³⁶ *Строев П.М.* Указ. соч. С. 3.
- ³⁷ Там же. С. 5.
- ³⁸ Там же. С. 10.
- ³⁹ См.: *Болтин И.* Примечания на "Историю древняя и нынешняя России" г. Леклерка. СПб., 1788. Т. 2. С. 298–300.

- 40 См.: *Шлецер А.Л.* Нестор. СПб., 1809. Т. 1. С. 357; Т. 2. С. 7.
- 41 *Каченовский М.Т.* От Киевского жителя к его другу // Сборник материалов по истории исторической науки в СССР (Конец XVIII – первая треть XIX в.). М., 1990. С. 147.
- 42 См.: РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 267. Л. 1–2.
- 43 *Срезневский И.И.* Труды П.М. Строева // Записки имп. Академии наук. Т. 6. Кн. 1. С. 113.
- 44 РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 301. Л. 2.
- 45 *Ewers Ph.G.* Geschichte der Russen. Versuch eines Handbuchs. Dorpat, 1816.
- 46 *Ewers I.G.* Geschichte der Russen. Vorrede.
- 47 Ibid. P. 26.
- 48 Ibid. P. 220.
- 49 Цит. по: *Тош Дж.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 16–17.
- 50 Цит по: *Рябинин Д.* Профессор Эверс по запискам Н.В. Баталина // Русский архив. 1878. № 4. С. 409.
- 51 Там же. С. 529–530. См. также: РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Ед. хр. 50.
- 52 См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета. Юрьев, 1903. Т. 2. С. 530.
- 53 Там же. С. 531.
- 54 См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 118. Д. 35; Ф. 734. Оп. 1. Д. 18, 90, 55, 112; Ф. 737. Оп. 1. Д. 79.
- 55 *Ренан Э.* Что такое нация? // Собр. соч.: В 12 т. Киев, 1902. Т. 6. С. 89.
- 56 *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1983. С. 204–205.
- 57 В 1830-е годы были напечатаны: *Погодин М.П.* Начертание русской истории для училищ. М., 1835; 2-е изд. М., 1837; *Он же.* Краткое начертание русской истории. М., 1838; *Полевой Н.А.* Русская история для первоначального чтения. М., 1835–1841. Ч. 1–4; *Устрялов Н.Г.* Русская история. СПб., 1837–1840. Ч. 1–4; *Он же.* Начертание русской истории для средних учебных заведений. СПб., 1839.
- 58 См. об этом подробнее: *Володина Т.А.* Уваровская триада и учебники по русской истории // Вопр. истории. 2004. № 2. С. 117–128.
- 59 *Устрялов Н.Г.* Русская история. СПб., 1837. Т. 1. С. 8.
- 60 *Устрялов Н.Г.* О Литовском княжестве. СПб., 1838. С. 7.
- 61 См.: *Устрялов Н.Г.* Русская история. Т.1. С. 4–8.
- 62 *Устрялов Н.Г.* Начертание русской истории. СПб., 1856. С. 103–104.
- 63 Там же. С. 90.
- 64 См.: Там же. С. 32–33, 46–49, 109–110.
- 65 См.: *Погодин М.П.* Взгляд на русскую историю // Историко-критические отрывки. М., 1846. Т. 1. С. 1–18.
- 66 *Устрялов Н.Г.* Начертание русской истории. С. 22.
- 67 Там же. С. 28.
- 68 Там же. С. 44.
- 69 Цит по: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1889. Кн. 3. С. 271.
- 70 *Погодин М.П.* Начертание русской истории для гимназий. 2-е изд. М., 1837. С. VI.
- 71 См.: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1891. Кн. 4. С. 279.
- 72 Цит. по: Там же. С. 38.
- 73 Там же. С. 40.
- 74 См.: *Погодин М.П.* Начертание... С. 9, 28–29.
- 75 См.: Там же. С. 35–36.

- ⁷⁶ См. например: *Погодин М.П.* Письмо к наследнику престола // Соч. М., 1874. Т. 4. С. 2–12.
- ⁷⁷ Там же. С. 11.
- ⁷⁸ См. например: *Полевой К.* Записки. СПб., 1880. С. 507.
- ⁷⁹ Московский телеграф. 1832. Ч. 47. № 20. С. 83.
- ⁸⁰ Там же. 1829. Ч. 27. № 12. С. 481.
- ⁸¹ *Надеждин Н.* Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. 1837. Т. 20. С. 112.
- ⁸² *Полевой Н.А.* Русская история для первоначального чтения. Т. 1. С. 372.
- ⁸³ Там же. Т. 3. С. 125.
- ⁸⁴ Там же. С. 128.
- ⁸⁵ Там же. С. 129.
- ⁸⁶ Там же. С. 200.
- ⁸⁷ Там же. С. XI.
- ⁸⁸ Московский телеграф. 1833. Ч. 49. № 3. С. 442.
- ⁸⁹ Московские ведомости. 1859. № 62.
- ⁹⁰ Там же.

А.Ю. Андреев

А.Л. ШЛЕЦЕР И РУССКО-НЕМЕЦКИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СВЯЗИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX в.

Выдающегося немецкого ученого, ординарного профессора, а позже иностранного почетного члена Санкт-Петербургской Академии наук Августа Людвиг Шлецера нельзя отнести к забытым именам в отечественной историографии. Его вклад в изучение истории России определяется, в первую очередь, подготовленными Шлецером в Петербурге в 1760-х годах публикациями важнейших исторических источников – Никоновской летописи, Русской правды по Академическому списку, Судебника Ивана Грозного, а также первым критическим изданием Повести временных лет ("Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке"), которое он осуществил в Геттингене в 1802–1809 гг.¹ В этом последнем труде Шлецер впервые в исторической науке обратился к подробному и широкому критическому анализу русских летописей, включающему изучение их различных списков с целью восстановления "истинного", "неиспорченного" текста, работу над истолкованием отдельных слов и выражений в их историческом контексте, оценку достоверности описанных событий с привлечением "здравого смысла" и сведений из других исторических источников. "Нестор" Шлецера фактически явился первым фундаментальным источниковедческим исследованием в русской исторической науке, оказавшим огромное влияние как на последующее поколение русских историков (Н.М. Карамзина,

М.Т. Каченовского, М.П. Погодина), так и на развитие источниковедения в России XIX в. в целом². И хотя в ходе этого процесса практически все конкретные выводы Шлецера были оспорены, все же его методология неизменно заслуживала высокую оценку русских ученых, продолжавших критическое изучение летописей, среди которых, прежде всего, был А.А. Шахматов. В советской исторической науке, не без колебаний, также закрепилось признание вклада Шлецера как источниковеда и историка периода складывания феодального государства в Киевской Руси³.

С точки зрения современных исследований русско-немецких научных и культурных взаимосвязей можно выделить, по крайней мере, *три момента*, которые позволяют рассматривать Шлецера в качестве одного из важнейших посредников в процессе культурного обмена, происходившего между Европой и Россией во второй половине XVIII – начале XIX в. *Во-первых*, Шлецер, как во время своего пребывания в России, так и вернувшись в Германию, продолжительное время выступал исследователем и публикатором источников по истории России, стимулируя ее изучение не только в отечественной, но и в европейской науке⁴. *Во-вторых*, Шлецер активно занимался распространением в Европе сведений о современной ему России, писал о русской науке, просвещении, и как публицист способствовал созданию у европейского (в особенности, немецкого) читателя определенной картины России в благоприятном свете, в противовес господствовавшему мнению о всеобщем "варварстве" и невежестве русских⁵. *В-третьих*, Шлецер являлся инициатором научных контактов между немецкими университетами и Россией, и во многом благодаря ему в последней трети XVIII в. были налажены связи между нашей страной и лучшим в Европе того времени Геттингенским университетом, кульминация этих связей достигла наивысшей точки в начале XIX в. и, помимо собственно вклада в российскую науку и университетское образование, оставила свой самостоятельный след даже в русской поэзии, дав рождение представлению о "геттингенской душе"⁶. К этому можно добавить еще и ту роль, которую Шлецер сыграл как один из основоположников изучения и преподавания в университетах науки о государственном хозяйстве – статистики (от нем.: Staat – государство), которая в первые десятилетия XIX в. не без его влияния начала свое развитие и в университетах России.

Если первая из названных функций Шлецера-историка, как указывалось выше, нашла свое достаточно полное освещение в отечественной историографии, то вторая – Шлецер как публицист, участник русско-немецкого научного и культурного обмена – служила предметом исчерпывающих исследований в немецкой историографии (в особенности, в бывшей ГДР)⁷. В них было показано, что Шлецер выступал протагонистом просвещенной монархии и считал, что среди всех стран Европы этот идеал ближе всего воплотился

именно в России с восшествием на престол Екатерины II. Выделяя среди главных качеств "вновь (т.е. второй раз после петровских преобразований. – А.А.) обновленной России" ее успешно идущую европеизацию, открытость, оживление культурных, экономических и политических контактов с западными странами, ученый одновременно предсказывал России грядущую роль мировой державы, от которой будут зависеть судьбы Европы. "Русский патриотизм" Шлецера был не только одним из центральных факторов его научного творчества, но и объяснял долговечность контактов Шлецера с Петербургской Академией наук, а затем с Московским университетом, и даже служил причиной отдельных конфликтов, возникавших в его отношениях с коллегами в Геттингене⁸.

Третий сюжет – роль Шлецера как университетского профессора в налаживании образовательных контактов России с Западной Европой – в изучении его наследия, по сравнению с первыми двумя, занимал куда меньшее место, и именно ему посвящена настоящая статья. Однако, чтобы уяснить некоторые вехи в становлении этих контактов, необходимо сначала обратиться к основным фактам биографии ученого.

Август Людвиг Шлецер родился 5 августа 1735 г. в городке Кирхберг, принадлежавшем княжеству Гогенлоэ и располагавшемуся в одном из живописных уголков гористой Швабии (совр. земля Баден-Вюртенберг, ФРГ). Отец и дед Шлецера были пасторами, и он должен был унаследовать семейную традицию, а для этого поступил на богословский факультет Виттенбергского университета, однако затем перешел в Геттингенский университет. Это событие стало ключевым в судьбе будущего ученого, его "переходом через Рубикон", от которого в результате и потянулись нити, связавшие его с Россией, и обратно, России с Геттингеном.

В 1754 г. Шлецер принял решение порвать с предназначенной ему карьерой пастора, с тем, чтобы посвятить себя античной филологии и восточным языкам. В Геттингене, под влиянием крупнейшего немецкого филолога И.Д. Михаэлиса, рождается восточный или "библейский" проект Шлецера – план ученого путешествия по местам ветхозаветных событий. Здесь важно подчеркнуть проявившуюся уже у юного Шлецера изначальную установку на критический анализ и проверку библейских текстов с помощью личных впечатлений и найденных на месте источников – в этом сошлись его исходная теологическая подготовка и приобретенные в Геттингене навыки филологической критики. Серьезными приготовлениями к будущему путешествию Шлецер занимался несколько лет, в ходе которых счел нужным отправиться из Геттингена на учебу в Упсальский университет (Швеция), осваивал необходимые, как ему казалось, для путешественника знания из области ботаники, антропологии, медицины, навигации и т.п., написал здесь свою первую книгу по истории

финикийской торговли. С 1759 г. он вновь продолжил занятия в Геттингене, но все больше понимал, что его план нереализуем, прежде всего из-за финансовых трудностей. Однако судьба неумолимо звала его на Восток, а первой страной в этом направлении лежала Россия, на историю которой Шлецер впервые обратил внимание еще в Швеции, познакомившись там с теорией, согласно которой скандинавские мореплаватели основали на востоке Европы "государство русов". Поэтому полученное им в 1761 г. через посредничество своих геттингенских учителей Михаэлиса и Бюшинга, приглашение в Петербург на должность помощника придворного историографа Г.Ф. Миллера, Шлецер принял без особых колебаний. Он ехал в Россию с тем, чтобы разбирать древние манускрипты из архива Миллера, думая, тем самым, стать чуточку ближе к Земле Обетованной, и, кто знает, при удаче найти средства, чтобы продолжить путешествие на Восток, где он надеялся открыть целый новый мир библейских преданий. Но, в результате, Шлецер, как и Колумб, ошибся – этим новым миром для него стала древняя русская история⁹.

Отношения Шлецера с ученым миром Петербурга 1760-х годов не раз являлись предметом подробного описания, поэтому укажем в них только основные события¹⁰. В апреле 1762 г. Шлецер был назначен адъюнктом Петербургской Академии наук по историческому классу, при профессоре Миллере. Начало его академической карьеры в области русской истории, однако, довольно быстро привело к острым столкновениям Шлецера с М.В. Ломоносовым, к трудам которого, несмотря на неприкрытую вражду последнего, Шлецер питал впоследствии неизменное уважение. Одновременно, через посредничество советника И.К. Тауберта, Шлецера привлекли к обучению детей президента Академии наук графа К.Г. Разумовского: в специально нанятом для этого доме на 10-й линии Васильевского острова образовался своего рода образовательный институт (в шутку называемый "Академией 10-й линии"), где вместе с сыновьями графа учились еще несколько отпрысков высшего петербургского дворянства, в том числе сын секретаря Екатерины II Г.Н. Теплова. Влиятельные покровители помогли Шлецеру в конце 1764 г., в один из критических моментов его пребывания в Петербурге, добиться должности ординарного профессора истории в Академии наук с предписанием заняться изучением древней русской истории. Условия нового контракта, подписанного императрицей Екатериной II в январе 1765 г. сроком на пять лет, предполагали, в том числе, трехмесячный отпуск в Германии летом того же года "для поправления здоровья и свидания с семьей". Поэтому в июне историк покинул Петербург, чтобы вновь направиться в Геттинген, но не один, а сопровождая четырех предназначенных для учебы там русских студентов, с поездки которых фактически и начинается период постоянных контактов России с Геттингенским университетом.

Интересно отметить, что уже раньше Шлецер содействовал появлению нескольких новых русских студентов в немецких университетах. Весной того же 1765 г. трое его учеников, сыновья К.Г. Разумовского Алексей, Петр и Андрей, были отправлены в Страсбургский университет, а сын Г.Н. Теплова Алексей – чуть позже, в Кильский университет (он учился потом также в Лейпциге и Виттенберге). Лекции, которые Шлецер преподавал им в "Академии 10-й линии", служили таким образом лишь начальной ступенью перед их обучением за границей. Эти поездки являлись лишь частным примером, отражавшим общее желание российского дворянства обучать своих отпрысков в немецких университетах, которое четко обозначилось с середины XVIII в. и достигло одного из пиков во второй половине 1760-х годов¹¹.

Титулованных студентов привлекали те изменения, которые немецкие университеты приобрели под влиянием эпохи Просвещения, соединив науку со светскими манерами и расширив круг предметов в сторону потребностей дворянина. Среди них особо выделялся Геттингенский университет. Первыми представителями российского дворянства в 1751–1755 гг. здесь были сыновья барона Г.А. Демидова, но затем наступил длительный перерыв. Широкое возобновление поездок русских студентов в Германию стало возможным только после окончания Семилетней войны. Помимо интереса со стороны дворянства такие университеты с высоким научным уровнем преподавания, как Геттингенский, привлекали внимание в России в качестве возможных центров подготовки будущих русских ученых. Поэтому отпуск Шлецера за границу, позволивший ему взять с собой четверых студентов из Академии наук, был лишь удобным поводом, отражавшим назревшие в России потребности к установлению прочных университетских контактов с Европой.

Идея необходимости регулярных командировок обучающихся при Академии студентов в немецкие университеты была выдвинута и обоснована в 1764 г. Ломоносовым, который сам некогда побывал в одной из таких первых и тогда еще редких поездок в конце 1730-х годов. Ломоносов предлагал ввести в готовившийся устав и штат Академического университета постоянную расходную статью, которая бы позволила "всегда содержать природных российских студентов за морем не меньше десяти человек, которое число в каждые пять лет из Академического университета производить можно будет удобно"¹². Это не смогло законодательно закрепиться в XVIII в., хотя на практике реализовывалось при подготовке ученых при Академии наук и в Московском университете, но окончательно оформилось с принятием в 1804 г. первого Устава российских университетов (Московского, Харьковского и Казанского), в котором такие командировки получили официальный статус необходимой части образования будущих русских профессоров. Тем самым резерв русской на-

уки соединялся с европейской, и без ущерба для самостоятельности российского образовательного пространства в нем осуществлялся свободный и плодотворный обмен идеями с Европой, что и показала история контактов с Геттингенским университетом.

К этому нужно добавить наличие встречных тенденций к сближению с Россией со стороны отдельных немецких университетов. Так, деятельность Шлецера в Петербурге совпала по времени с появлением у куратора Геттингенского университета, барона Г.А. фон Мюнхгаузена, желания сделать свой университет крупным центром изучения русской истории и литературы в европейском ученом мире (для этой цели он планировал даже открыть здесь русскую типографию). В 1762 г. именно в Геттингене, впервые в немецких университетах, профессором И.Ф. Мурраем был прочитан отдельный курс лекций, посвященных русской истории. Поэтому работа по сбору источников по русской истории, которую Шлецер в это время должен был вести, в том числе и за пределами России, в немецких архивах, представляла интерес не только для Петербургской Академии наук, но и для Геттингенского университета.

Перед отъездом Шлецеру было дано задание выявить документы по истории Московской Руси в архиве Любека. В помощь к нему и для дальнейшего обучения в Геттингенском университете Академия по инициативе Ломоносова отобрала двоих студентов, Василия Венедиктова и Василия Светова, которых Шлецер считал наиболее способными для занятий русской историей. В последний момент к этим двум юношам присоединили еще двоих, предназначавшихся ранее к отправке в другие немецкие университеты для подготовки по математическим наукам, Петра Иноходцева и Ивана Юдина. Программы занятий для студентов были составлены академиком, в том числе для Венедиктова и Светова – самим Шлецером¹³. Он же должен был не только отвезти всех четверых в Геттинген, но и распорядиться там "порядком их жития": "к кому именно из тамошних профессоров на лекции ходить", где жить на квартирах, следить, чтобы "жительством расположить их разное, дабы больше привыкали к обхождению с иностранными и одни б только между собой всегдашних компании не водили". Последнее требование, впрочем, тот выполнить не смог: Геттинген был переполнен студентами, и для своих русских учеников Шлецеру удалось нанять лишь одну квартиру на всех. Шлецер же помог им найти подходящий трактир для обеда, "одеться по здешней моде и приобрести необходимый студенческий инвентарь, а также познакомил их со здешними горожанами и представил профессорам"¹⁴. 6 сентября (н.ст.) 1765 г. четверо юных россиян были официально занесены в матрикулы Геттингенского университета и получили все права студентов. При этом с них была взята лишь половинная плата за обучение, поскольку Шлецер дал письменное свидетельство, что они уже были студентами в Петербурге.

Намеченная Шлецером программа учебы была обширной и давала возможность русским студентам заниматься у всех ведущих геттингенских профессоров того времени. Венедиктову и Светову Шлецер рекомендовал курсы лекций профессоров И.К. Гаттерера, И.С. Пюттера, И.Ф. Муррая, И. Бекмана, Г.К. Гамбергера. Основными предметами их занятий должны были стать, помимо истории, политическая экономия и статистика, современное европейское право. Студенты-математики должны были слушать ведущего в этой области немецкого специалиста А.Г. Кестнера, а также лекции по экспериментальной физике у С.Х. Гольмана, геометрии – у Мейстера, истории – у И.Ф. Муррая¹⁵.

Обучение в Геттингене для русских студентов не сводилось только к лекциям. По приглашению Шлецера, который следовал инструкции Академии наук, в их доме поселился репетитор (молодой доктор Х. Вестфельд, экономист и минералог), который давал им уроки немецкого языка, читал немецких поэтов, и, кроме того, постоянно общался с ними по-немецки. С ним же студенты приступили к совершенствованию в латинском языке и обучению греческому, что естественным образом привело их в дом знаменитого филолога Х.Г. Гейне, семинары которого (прообраз современной формы семинарских занятий) по древним языкам были известны широко за пределами Геттингена и посещались не только теми, кто решил специализироваться по истории античности, но и другими любителями наук. Вообще, общение студентов с геттингенскими профессорами являлось более близким, чем во многих других университетах: так, А.Г. Кестнер пригласил занимающихся у него Иноходцева и Юдина посещать его для частных бесед по всем интересующим его научным вопросам, которые требуют более подробного объяснения, а в последующем аттестате выразил восхищение, что студенты, кроме посещения лекций стремились "добровольно расширить круг научных работ"¹⁶. Свой вклад в установление этих дружественных отношений с русскими студентами Шлецер объяснял так: "Я сумел внушить идею, что они – не просто люди из страны, откуда до сих пор в Геттинген не приезжал ни один экипаж, но что они – ученики Академии, и если их учеба получит успех, то при необыкновенной заботе нашей великой монархини о том, чтобы взрастить новые поколения среди своего народа, без сомнения за ними последуют и другие"¹⁷.

В конце февраля 1766 г. Шлецер, отлучавшийся на некоторое время по поручениям Академии наук из Геттингена, вернулся и, не найдя тех успехов, которых бы желал, решил сам вплотную заняться образованием своим питомцев: жил с ними в одном доме, руководил учебой и "все дни не спускал с них глаза"¹⁸. Результаты трудов он смог оценить уже в мае, когда сообщал в Петербург, что "оба историка, которые приехали сюда с запасом школьных знаний, не

больших, чем у немецкого мальчика десяти лет, тем не менее, чрезвычайно продвинулись: они уже могут с пониманием слушать все лекции, и даже Венедиктов, который еще в августе не знал ни одного немецкого слова, теперь может полностью объясняться"¹⁹. В это же время Шлецер непосредственно подключил студентов к своим историческим трудам: Василий Светов помогал ему в работе над введением к "Опыту изучения русских летописей". Сохранившиеся письма Светова родителям говорили о его большой загруженности занятиями, проявлениях усталости и тоски по родине²⁰. Однако уже в июле 1766 г. Шлецеру пришлось выехать обратно в Петербург, а студенты перешли на попечение к профессору истории и философии И.Ф. Муррау.

О бытовых условиях жизни русских студентов в Геттингене подробно рассказывают полугодовые финансовые отчеты, представляемые ими в Академию наук (по предложению Шлецера, с начала 1766 г. все денежные расходы были вверены самим студентам, которые, однако, должны были тщательно фиксировать их в специальной ведомости). По словам студентов, положенным им окладом в 250 рублей в год "не без нужды себя содержать можно". В Геттингене питание было "нарочито недешевым", особенно же дорого стоили хорошие книги и лекции, из которых по математике они вынуждены были заниматься *privatissime* "за неимением здесь охотников"²¹. Представивший в Петербурге эти отчеты Шлецер, объяснив, что, Геттинген, по его мнению самый дорогой из университетов Германии, добился увеличения с 1767 г. жалования студентам до 300 рублей в год.

Из геттингенских ученых, помимо Шлецера и Муррау, наибольшее влияние на студентов-математиков оказал А.Г. Кестнер. Еще в Петербурге Иноходцов прочитал перевод статьи "Похвала астрономии", и теперь в Геттингене под влиянием профессора он именно астрономию избрал своей окончательной специальностью. Вернувшись в Петербург в июне 1767 г., Иноходцов, сдав экзамен и представив научную работу "Геодезическое сочинение об уровне мест", был избран адъюнктом Академии (впоследствии он достиг звания ординарного академика). Много надежд подавал и Юдин, но спустя год по возвращении из Германии, он скончался.

Студенты же историки продолжали свою учебу в университете, и вновь под руководством Шлецера, который в сентябре 1767 г. добился в Петербурге очередного отпуска и отправился в Геттинген, не предполагая больше вернуться в Россию. Студентов он обучал теперь практическим приемам работы с историческими источниками, по собственным методам "критики источника". Светов пробыл в университете до конца лета 1768 г., а Венедиктов по рекомендации Шлецера остался в Геттингене еще на год, до сентября 1769 г. (в последних семестрах он дополнительно слушал лекции по церковной

истории, естественному праву, статистике и философии). Однако надежды на создание самостоятельной научной школы русских историков, которые Шлецер возлагал на них, Венедиктов и Светов не оправдали. Первый из них умер от туберкулеза спустя два года после возвращения в Россию, не успев оставить заметных трудов, а второй служил при Академии переводчиком и учителем русского языка в гимназии, перевел несколько важных в учебном и научном отношении трудов немецких ученых, но самостоятельных исторических работ не имел²².

В августе 1766 г. в Геттинген прибыла новая группа из пяти русских студентов. Они были посланы св. Синодом по предписанию Екатерины II обучаться богословию, причем распоряжение императрицы было частью ее проекта реформирования богословского образования в России и, в частности, открытия богословского факультета в Московском университете (предназначенные для этой же цели другие группы студентов были направлены в Лейденский и Оксфордский университеты)²³. Выбор Геттингена для студентов-богословов осуществился, очевидно, не без влияния уже идущего успешного опыта учебы здесь четырех академических студентов (и, таким образом, в нем присутствовала и косвенная заслуга Шлецера). Получая широкое образование, студенты слушали не только лекции профессоров богословия, но и Михаэлиса, Гейне, Бекмана, Кестнера и др. В ноябре 1766 г. к русским студентам в Геттингене добавился переехавший сюда из Страсбургского университета А.Я. Поленов (в будущем – русский законовед и историк права, после возвращения из Геттингена в Россию вместе с Шлецером он начал издание Судебника Ивана Грозного, а в 1768 г. продолжил начатую немецким ученым публикацию Никоновской летописи)²⁴. Таким образом, в 1766–1767 гг. вокруг Шлецера в Геттингене сформировалась большая группа из десяти русских студентов, учившихся у него или, по крайней мере, находившихся с ним в тесном общении²⁵.

Серьезных успехов в Геттингене добился студент-богослов Дмитрий Семенов (Руднев), который активно занимался здесь историей, филологией, древними языками и под влиянием филологической школы Гейне подготовил (к сожалению, несохранившуюся) диссертацию "О следах славянского языка в писателях греческих и латинских". В последние годы учебы он особенно сблизился с профессором всеобщей истории и дипломатики И.К. Гаттерером, в доме которого квартировал и которого сам обучал русскому языку (что лишний раз свидетельствовало о характерном для геттингенских ученых повышенном внимании к России). Вернувшись в Россию весной 1773 г., Руднев был зачислен преподавателем в Московскую славяно-греко-латинскую академию, пострижен там в монахи под именем Дамаскина, а в 1778–1782 гг., уже в сане архимандрита, возглавлял Академию как ректор, главные усилия которого были направ-

лены на улучшения преподавания и "освобождения академической науки от уз схоластики". Его просветительская деятельность была широко известна в Москве, где Дамаскин был избран членом Вольного российского собрания при Московском университете, а еще раньше Ученое общество при Геттингенском университете избрало его (едва ли не первого из россиян) своим членом-корреспондентом. Свою духовную карьеру ученик Шлецера завершил на епископской кафедре в Нижнем Новгороде, оставил после себя много научных трудов и переводов (среди них – издание Собрания сочинений М.В. Ломоносова). В конце жизни он был избран почетным членом Петербургской Академии наук²⁶.

Летом 1769 г., в связи с истечением срока его академического контракта, Шлецер направил в Петербург, где не был уже два года, официальное прошение об отставке с русской службы и одновременно получил в Геттингенском университете место ординарного профессора истории. О своих настроениях перед отставкой, вызванной нежеланием Шлецера возвращаться в Россию, тот так писал секретарю академической Конференции Я. Штелину: "Я смеюсь над тем, что мое возвращение лишь тем было бы вызвано, чтобы то, что я подготавливаю к изданию в Германии, появилось бы в свет из Петербурга – прямо как будто бы сущность русской службы состояла лишь во вдыхании русского воздуха. А ведь, тем более, я именно поэтому и подготавливаю страшно много к изданию, что в Геттингене я в своей области, как рыба в воде"²⁷.

Последующие научные интересы Шлецера как профессора Геттингенского университета расширились, охватив область всеобщей истории и статистики. Его занятия по русской истории в 1770–1780-е годы не угасали полностью, однако отошли на второй план, хотя именно в те годы сформировался его огромный авторитет в Европе как специалиста по России. Для Геттингена это было тем более важно, что университетская библиотека, начиная с 1770-х годов, пополнялась огромным количеством книг из России, которые регулярно высылал геттингенский выпускник на русской службе, один из руководителей Медицинской коллегии барон Георг фон Аш. Если ранее, в 1760-е годы, в пополнении университетской библиотеки русской литературой участвовал сам Шлецер, передавая туда труды Петербургской Академии наук, то после развертывания деятельности Аша (длившейся до 1800-х годов) Геттинген окончательно сформировался как центр славистики, обладающий лучшим за пределами славянских стран научным собранием книг и рукописей по изучению России – "музеем истории российской науки XVIII века"²⁸.

Русские студенты в Геттингене в те годы по-прежнему оставались предметом частых хлопот Шлецера, хотя в отличие от государственных командировок 1760-х годов, в 1770–1790-е годы большинство приехавших из российских губерний студентов в Геттинген бы-

ли выходцами из семей русских немцев, и собственно русские студенты, как правило, имели знатное происхождение и учились за собственный счет. Так, среди русских студентов-дворян в Геттингене этого периода встречаются имена Василия Адодурова, сына куратора Московского университета, трех братьев Татищевых (возможно, родственников историка), барона Григория Александровича Демидова (сына старшего из упоминавшихся выше братьев Демидовых, впоследствии гофмейстера и мецената), двух графов – Василия Мусина-Пушкина и Петра Разумовского (старшего сына бывшего ученика Шлецера, графа А.К. Разумовского).

Можно легко представить, что большинство этих студентов участвовали в занятиях русской историей с профессором Шлецером, хотя конкретных свидетельств об этом сохранилось не так много: Шлецер упоминал в письмах в Петербург русских студентов в связи с какими-то обстоятельствами, при которых требовалась его помощь. Так, студент из Петербурга Христиан Берг (учился в 1770–1776 гг. на медицинском факультете) попал в затруднительное, но весьма распространенное в немецких университетских городах положение, когда одна из городских семей требовала от него через университетский суд уплаты долгов и признания отцовства двух незаконнорожденных детей. Шлецер защищал интересы Берга по просьбе его родителей перед лицом проректора университета²⁹. Барон Г.А. Демидов, приехав в мае 1788 г. в Геттинген, около года, не имея наставника, пытался беспорядочно слушать лекции. Шлецер составил для Демидова учебный план на летний семестр 1789 г. и сам занимался с ним русской историей³⁰. С 1782 г. в Геттингене находились двоюродные братья Милорадовичи: Михаил Александрович, будущий известный генерал, герой 1812 г., и Григорий Петрович, черниговский генеральный судья и таврический гражданский губернатор. Они учились на юридическом факультете, тогда как их наставник, впоследствии известный врач И.Л. Данилевский – на медицинском (в 1786 г. он защитил в Геттингене диссертацию на степень доктора медицины). На приехавших россиянах, естественно, обратил внимание А.Л. Шлецер, который в свою очередь благоприятно отзывался об успехах братьев в своих письмах в Россию. Одного из Милорадовичей он характеризовал как "истинного выдающегося гения (*genie superieur*), от которого все здешние знатоки людей ожидают, что он рано или поздно будет играть выдающуюся роль в своем отечестве". За три с лишним года, проведенные в Геттингене, Милорадовичи, помимо лекций Шлецера, слушали профессоров Ахенваля, Пюттера, Гаттерера и других, и покинули Германию (где, кроме Геттингена, занимались также в Кенигсбергском и Лейпцигском университетах), получив превосходную подготовку у лучших представителей немецкой науки³¹.

В 1785 г. Петербургская Академия наук вновь направила в Геттингенский университет четырех студентов для обучения физико-математическим и естественным наукам: Яков Захаров должен был пройти подготовку по химии, Алексей Кононов – по естественной истории, Григорий Павлов – по астрономии, Василий Севергин – по минералогии. Наблюдение за их поведением и прилежанием в Геттингене взял на себя доктор права Ф.К. Вилих. Инструкция, составленная академиками, среди которых уже были выпускники немецких университетов прежних лет И.И. Лепехин, Н.П. Соколов, П.И. Иноходцев, поощряла широту и разносторонность в занятиях студентов, предоставляла им разумную свободу в расходовании средств, но при этом ежегодное содержание, назначенное студентам, составляло как и раньше 300 рублей, что явно не учитывало происходившей в это время в России инфляции и падения курса рубля относительно европейских валют. В результате уже на первых порах студенты столкнулись в Геттингене с "дороговизной". Тем не менее с осени 1785 г. они успешно приступили к занятиям, где их руководителями были уже получившие европейскую известность профессора А.Г. Кестнер – по математике, Г. Лихтенберг – по физике, И.Ф. Гмелин – по химии, И. Бекман – по технологии (академические студенты одними из первых в России получали представления по этому новому в европейской науке предмету), И. Блуменбах – по естественной истории и др. Сохранились также и похвальные отзывы Шлецера: студенты посещали его лекции по русской истории и статистике, и Шлецер особенно отмечал большие способности в этих науках, проявленные Захаровым³².

Главным препятствием для продолжения успешного хода учебы в этой командировке было неурегулированное финансовое положение. Помимо высоких цен студентам пришлось переносить и хронические задержки выплаты денежного содержания. Денег не хватало не только для оплаты лекций и покупки книг, но порой и на жизнь: в отчете осенью 1787 г. студенты сообщали, что Захаров уже два месяца лежал в тяжелой лихорадке, не мог вызвать врача. Павлову из-за долгов грозила тюрьма.

Несмотря на такие условия, видимо, сам дух университета, питаемый бескорыстными стремлениями к научным занятиям, способствовал особым успехам студентов во время этой командировки. Так, больших достижений добился Захаров, ученик Гмелина и Бекмана, представивший в Петербург одно из первых в русской науке сочинений по технологической химии. Своими учениками, Кононовым и Севергиным, были довольны профессора Кестнер, Лихтенберг и Блуменбах, сообщавшие в Петербург высокие оценки их знаний. Трое студентов, А.К. Кононов, В.М. Севергин и Я.Д. Захаров, после возвращения в Россию были избраны академиками³³.

С конца XVIII в. наступает новая фаза в контактах А.Л. Шлецера с Россией, в начале которой большую роль сыграли семейные связи. В 1796 г. по рекомендации бывшего геттингенского воспитанника, а затем лектора немецкой словесности и профессора всеобщей истории и статистики Московского университета И.А. Гейма, племянник которого, профессор И.Т. Буле, был товарищем А.Л. Шлецера по факультету и занимал в Геттингене кафедру философии, в Москву, на место домашнего учителя, отправился старший сын Шлецера Христиан Август. В 1801 г., видимо, благодаря тому же Гейму, Шлецер-младший был приглашен преподавать всеобщую историю и политику в Московский университет. К отцу в Геттинген поступали регулярные подробные отчеты сына о жизни в Москве³⁴. Общаясь в культурной среде дворянской Москвы, Х.А. Шлецер сообщал, что Геттинген здесь "в большой моде". И, действительно, благодаря усилиям директора Московского университета И.П. Тургенева и посредничеству И.А. Гейма, в начале 1802 г., впервые после долгого перерыва, Московским университетом была организована новая поездка русских студентов в Геттинген, которая сочетала в себе командировку на государственном обеспечении (так должны были учиться несколько студентов-медиков, которым было в этот раз назначено достойное жалование в 750 рублей в год) и примкнувших к ней студентов из богатых семей, путешествовавших за собственный счет (в их числе был и сын директора Московского университета Александр Тургенев).

Таким образом, осенью 1802 г. в Геттингенском университете вновь училась достаточно большая группа русских студентов. Пятеро из них: Иван Воинов, Иван Двигубский, Алексей Гусятников, Андрей Кайсаров и Александр Тургенев были питомцами Московского университета (шестой – студент-медик из Москвы Михаил Успенский – в дороге заболел и прибыл в Геттинген лишь на следующий год). К этим москвичам добавились еще трое уроженцев Малороссии – Дмитрий Яншин, Мартын Пилецкий и Павел Сулима, а также юный чиновник Василий (Вильгельм) Фрейганг из Петербурга. Студенты жили вместе и образовали довольно тесный кружок. Некоторых из них, таких как Александра Тургенева и Андрея Кайсарова, связывала особенно близкая дружба, сложившаяся еще в Москве, где они вместе грезили о Германии образами своих любимых немецких писателей, надеясь найти там воплощение запечатленной в немецкой поэзии "прекрасной души" (*schöne Seele*)³⁵.

В Геттингене молодые люди встретили очень благоприятное отношение к России среди большинства профессоров, и не в последнюю очередь благодаря политической обстановке в Германии начала наполеоновских войн, когда многие немецкие политики обращали свой взор к могучему "северному соседу". Спустя несколько месяцев после приезда русских студентов стало известно об образова-

тельных реформах в России, открытии новых университетов. Некоторые из геттингенских ученых получили приглашения занять там кафедры и показали себя готовыми на деле связать свою судьбу с Россией (набором профессоров от имени российского Министерства народного просвещения занимался профессор К. Мейнерс). Но самым пламенным геттингенским "поклонником" России был, конечно, А.Л. Шлецер. Александр Тургенев, побывав на его первых лекциях, писал родителям в Москву: "Шлецер мне отменно полюбился за свой образ преподавания и за то, что он любит Россию и говорит о ней с такою похвалой и с таким жаром, как бы самый ревностный сын моего отечества"³⁶.

Шлецер горячо приветствовал восшествие на престол Александра I и начало нового этапа реформ в России, что как будто подтолкнуло его к завершению одного из главных дел жизни – в 1802 г. вышли в свет первые тома "Нестора", издание которого Шлецер посвятил новому российскому императору. На своих лекциях он совершенно искренне превозносил Александра I, видя в нем продолжателя той просвещенной политики, которая воссоединяла Россию с другими европейскими странами. Тургенев вспоминал об одной из его лекций: «Шлецер, говоря о ходе просвещения в Европе, упомянул и о России. Давно ли, говорил он, она начала озаряться лучами его? Давно ли Петр I сорвал завесу, закрывающую Север от южной Европы? и давно ли Елизавета, недостойная дочь его, предрассудками своими, бездейственностью угрожала снова изгнанием скромных Муз из областей своих? И теперь, напротив – какая деятельность в Государе рассадить Науки, какое рвение в дворянах соответствовать его благодетельным намерениям! "Смотрите"! – вскричал Шлецер, указывая на усаженную Русскими лавку: "вот тому доказательство!"»³⁷

Эти высказывания Шлецера тем более льстили самолюбию наших студентов, поскольку отношение профессора к германским государствам было весьма критическим. Касаясь современных политических предметов, он часто мог остро обличать какого-нибудь немецкого властителя – корыстолюбца, предающего интересы своего княжества ради собственного обогащения. Россия увлекала Шлецера именно как великая европейская держава. Сравнивая ее с наполеоновской Францией, он говорил: "Между тем, как необузданная Франция предписывает законы почти всей Европе, пусть осмелится она хоть малейшую нанести обиду всемогущей, но не употребляющей во зло своего могущества России, и нарушительница всеобщего покоя претерпит должное наказание... Они одни только держат равновесие в Европе. Та и другая сильны; но могущество одной благословляют, а другой проклинают"³⁸. (Опасения ученого вполне оправдались, когда летом 1803 г. французы без боя заняли ганноверские владения и Геттинген, к счастью, не нарушив жизнь университета.)

Общение русских студентов со Шлецером не ограничивалось только часами лекций: так, профессор, заметив интерес Александра Тургенева к истории, сразу же пригласил навещать его по вечерам и спрашивать истолкования любых трудных мест его курса. Студенты наблюдали, как особенно расцветал Шлецер в домашнем общении: о *его* России профессор мог говорить часами. Несколько лет, проведенных в Петербурге, ему хватило, чтобы каждого нового русского встречать словами: "Вы наполовину мой земляк!" Завязав добрые отношения с Тургеневым, Шлецер прислал ему неизвестно откуда взявшуюся русскую икру, а свидетельство о прослушанных лекциях, составлявшееся обычно по-латыни в строгой форме, написал потом для него по-русски³⁹. Количество раз, когда Тургенев был у Шлецера (в гостях, на ужине, званном вечере и пр., судя по дневнику) не поддается счету. Чуть реже, но также регулярно посещал Шлецера и другой русский студент, специализировавшийся по древним языкам в семинаре у Х. Гейне, Алексей Гусятников⁴⁰. Конец семестрового курса лекций Шлецера осенью 1803 г. его русские слушатели отметили бурной овацией и криками: "Да здравствует!"

Случались во взаимоотношения Шлецера с русскими студентами и курьезные истории, об одной из них рассказывает в письме Гусятников. Мартын Пилецкий (в будущем – инспектор Царскосельского лицея, печально известный своим столкновением с юным Пушкиным), уроженец г. Чугуева в Слободской Украине, служил до своего приезда в Геттинген в чине унтер-офицера в казачьих полках. Когда, представляясь Шлецеру, Пилецкий упомянул об этом, тот "отпрыгнул на десять шагов назад и поднял руки вверх". Причиной, естественно, преувеличенной в описании комичной реакции было "предубеждение, господствующее в Германии против казацкого народа" (можно вспомнить, какое "увлечение" казаками вскоре затем прокатилось по Германии, да и вообще, по всей Европе в период заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.). Шлецер же завершил сцену словами, обращенными к Пилецкому: "Вы – желанный гость, и тем более, поскольку в состоянии это предубеждение опровергнуть делом", и обещал ему всяческую помощь. Вскоре после этого знакомства привести к ним "казака" и предложить ему свои услуги просили у русских студентов и другие геттингенские профессора⁴¹.

Вообще же, раскрывая свои лучшие душевные качества в общении с русскими студентами, почти достигший 70-летия Шлецер вел себя с ними как отец, опекал, поддерживал в трудные минуты. Например, именно он передал Александру Тургеневу письмо, в котором сообщалось о смерти в Москве его старшего брата Андрея. Гусятников писал, что во время его болезни зимой 1804/05 г. Шлецер навещал его несколько раз, а когда тому пришлось время покинуть Геттинген, "прощался со мной по моем выезде с такой нежностью, как только с сыном своим простаться может"⁴².

Близкие, доверительные отношения русских студентов со Шлецером благоприятствовали успехам их научных занятий под его руководством. А.С. Кайсаров, в 1810 г. ставший профессором русского языка и литературы в Дерптском университете, а в период Отечественной войны вступивший в ополчение и безвременно погибший в 1813 г. в боях на территории Саксонии, занялся в Геттингене под прямым влиянием Шлецера изучением древней русской истории, а также фольклора славян. В 1804 г. им здесь было опубликовано на немецком языке сочинение "Опыт изучения славянской мифологии"⁴³. Работа посвящена Шлецеру, "dem unsterblichen Wiederhersteller des unsterblichen Nestor" (букв. – "бессмертному восстановителю бессмертного Нестора") и представляет собой словарь славянских божеств с указанием источников и мест употребления соответствующих названий. Следуя методике Шлецера, Кайсаров широко использует различные источники, относящиеся как к восточным, так и к западным славянам (включая славянские реликты на территории немецких земель). Он подвергает резкой критике сомнительные этимологии и сближения, впрочем не избегая и некоторых натяжек, особенно в попытках выстроить пантеон славянских богов по аналогии с древнеримским⁴⁴.

В 1806 г. Кайсаров защитил в Геттингене докторскую диссертацию "Об освобождении крепостных в России"⁴⁵. Это был один из сравнительно редких случаев, когда русские студенты защищали в немецких университетах диссертации на философском факультете. В выборе Кайсаровым такой насущной для России начала XIX в. темы и ее критическом решении заметно не столько влияние Шлецера или другого конкретного учителя, сколько самого в высшей степени либерального духа Геттингенского университета, несшего убежденность в том, что даже самые острые общественные вопросы могут и должны решаться в свете науки⁴⁶. Впрочем, видны в диссертации и столь же характерные для Геттингена, и Шлецера в особенности, надежды на Александра I как будущего "освободителя рабов" в России.

Интересно, что освобождению российских крепостных посвятил свою короткую диссертацию еще один русский студент той поры В. Фрейганг, который, впрочем, в дальнейшем в России отошел от научных занятий. Зато весьма серьезный выбор, благодаря Шлецеру, стоял перед Александром Тургеневым. Под влиянием своего наставника Тургенев глубоко увлекся русской историей: он собирался заняться сбором источников по ней, причем особенно его заинтересовало восшествие на престол династии Романовых и поиск "условия", поднесенного боярами царю Михаилу Федоровичу. "Является ли нынешняя неограниченная власть в России похищением?" – задавал в дневнике себе вопрос Тургенев, видимо, обсуждая подобные темы со Шлецером⁴⁷. Тот активно поддерживал увлечение Тургене-

ва, советовал ему продолжить ученую карьеру в России, а в феврале 1804 г. написал письмо президенту Академии наук Н.Н. Новосильцеву, рекомендуя зачислить Тургенева в исторический класс (рассматривалась даже идея, что тот уже в Геттингене мог бы получать жалование адъюнкта Академии). "Немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессора",⁴⁸ – так охарактеризовал эту ситуацию историк В.М. Истрин. Действительно, странность этого положения для России была очевидна, прежде всего, потому, что на профессорских и академических кафедрах в XVIII – начале XIX в. практически отсутствовали дворяне. И, конечно, выбор такой карьеры для сына был немедленно отклонен его отцом И.П. Тургеневым, быть может, не вопреки, и а именно благодаря тому, что тот имел опыт управления Московским университетом и знал особенности жизни ученой корпорации. Несмотря на это, Александр Тургенев еще долго не забывал своей тяги к истории и, уже вернувшись в Россию, в течение некоторого времени служил в роли своего рода "научного посредника" между Шлецером и Карамзиным⁴⁹.

Еще одно "напутствие" от Шлецера принять профессорскую кафедру в России получил А.М. Гусятников. После письменного отзыва о нем Шлецера (по-видимому, представленного через Гейма в Московский университет), с согласия попечителя М.Н. Муравьева, А.М. Гусятникова даже заочно и без собственного ведома возвели в Москве в доктора философии, чтобы облегчить ему восхождение по ступеням ученой карьеры – случай едва ли не уникальный для российского высшего образования! Однако молодой человек не захотел воспользоваться плодами усилий своих наставников и отказался от профессуры, написав в ответ на эту новость Гейму: "Вы знаете, что я занимался не как ученый, ех ргорего, а как охотник и любитель уединенной жизни. Мне Шлецер неоднократно и словесно, и письменно представлял пуститься в ученой саггеге, но я всегда отклонял. Скромная и тихая жизнь образованного человека была всегда любезным предметом моему сердцу; напротив же того, узнав большую часть каверз и интриг ученых по Германии, я отнюдь не считаю их положение завидливым, с какими бы оно выгодами и славою сопряжено не было"⁵⁰.

Характеристику отношений Шлецера с его русскими учениками в начале XIX в. закончим упоминанием события, которое поистине было достойным ответом русских студентов на гостеприимство ученого. Весной 1805 г. четверо молодых людей, среди которых были Гусятников и Кайсаров, отправились в поездку по южной Германии и, проезжая через Нюрнберг в Мюнхен, нарочно сделали большой крюк, поскольку "почли за священный долг" заехать в Кирхберг, совершив паломничество "на родину почтенного Шлецера". Здесь они оставили надпись по-французски на одной из колонн старинного дома пастора, где родился Шлецер, прославляющую историка, снис-

кавшего известность "историческими анналами, в особенности же — для Россиян"⁵¹.

"Русский кружок", вновь образовавшийся вокруг Шлецера в Геттингене в начале XIX в., показывал в это время лишь одну из сторон возросших контактов геттингенского историка с Россией. Другую, внешнюю сторону этих контактов, составляла его переписка с российскими государственными деятелями, содержание которой касалось как личной судьбы Шлецера, так и русской науки в целом. Среди корреспондентов геттингенского профессора были министры граф Н.П. Румянцев и О.П. Козодавлев, президент Академии наук Н.Н. Новосильцев, ученые, занимавшие крупные посты при дворе Александра I, А.Н. Оленин, Х. Лодер, Н.М. Карамзин и др. Умение Шлецера находить влиятельных покровителей, проявившееся еще в период его пребывания в Петербурге, вновь дало прекрасные результаты, главным из которых было дарование ученому от имени императора, в качестве высочайшей милости, российского дворянства.

В начале 1803 г. Шлецер был очень озабочен тем, чтобы посланный им экземпляр "Нестора" с посвящением Александру I достиг царских покоев. После первой неудачи с посылкой книги он использовал для достижения цели помощь графа Н.П. Румянцева, знакомства, приобретенные в Москве его сыном Х.А. Шлецером, и даже семейные связи А.И. Тургенева. В мае Шлецер, наконец, дождался именного рескрипта Александра I, к которому был приложен бриллиантовый перстень и медальон для жены Шлецера (сопроводившей подаренный экземпляр книги своей вышивкой). Вскоре за этим последовало награждение ученого орденом св. Владимира IV степени (этой услугой Шлецер также обязан, в первую очередь, Н.П. Румянцеву). А в январе 1804 г. О.П. Козодавлев прислал Шлецеру проект его дворянского герба, за которым в июне последовала и сама грамота на дворянство⁵². Герб Шлецера на четырехчастном щите в одной из своих частей содержал изображение монаха Нестора и раскрытой книги; его дворянский девиз под щитом гласил: "Лета вечная помянух" (Пс. 76.6).

Одновременно активность Шлецера в этот период привела и к рождению первого в России университетского научного общества — Общества истории и древностей российских (ОИДР). В одном из своих обращений в Россию он предлагал "увековечить царствование императора Александра I выпуском полного свода всех сохранившихся древних летописей", чему сам немецкий историк готов был оказывать посильную помощь. Идея была одобрена, и министр народного просвещения граф П.В. Завадовский получил высочайшее указание создать для этой цели научное общество, организация которого была доверена Московскому университету, где предложение Шлецера встретило своего горячего сторонника в лице попечи-

теля М.Н. Муравьева. ОИДР открылось в марте 1804 г. и стало, хоть и косвенным, но одним из самых весомых плодов деятельности Шлецера в области русской истории⁵³. В члены ОИДР вошли Н.М. Карамзин и А.И. Тургенев, его задачей было развитие предложенных Шлецером критических методов изучения русских летописей. Однако до расцвета ученых трудов этого общества профессор дожить не успел – он скончался в Геттингене 9 ноября 1809 г., но в течение последнего года жизни он еще смог увидеть новую большую группу русских студентов в Геттингене, из которой вышли затем преподаватели Царскосельского лицея и Петербургского университета, друга Пушкина, передавшие ему понятие о "геттингенской душе"⁵⁴.

Итак, почти полувековой отрезок контактов Геттингенского университета с Россией, с середины 1760-х до конца 1800-х годов, прошел под знаком участия в них Августа Людвиг Шлецера. Некогда обвиненный Ломоносовым в "презрении" ко всему русскому, Шлецер между тем доказал свой искренний русский патриотизм не только словами, звучавшими в его лекциях и публицистике, но и делом, взяв на себя заботу о нескольких поколениях русских юношей, приехавших в лучший немецкий университет постигать глубины европейской науки. Учениками Шлецера разных лет были будущие российские академики, профессора университетов, общественные и государственные деятели. Все они попадали в Геттингене в ту уникальную ученую атмосферу, погружаясь в которую даже студенты из высшего дворянства проникались искренней тягой к науке и старались сохранить приобретенные идеалы через всю жизнь, воплотить их в служении Отечеству.

При этом можно вспомнить, что служить России продолжали и несколько поколений семьи Шлецеров. Два его сына выбрали здесь: один – ученую, а другой – дипломатическую карьеру; в Петербурге длительное время служили и два внука Шлецера, которые среди нескольких имен, даваемых при рождении, оба носили особое "фамильное" имя Нестор. Имя же их деда, "первооткрывателя Нестора" и друга России, должно остаться в истории русско-немецких научных и культурных взаимосвязей в качестве одного из самых ярких символов успехов и взаимной пользы университетских контактов между странами.

¹ Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1767. Т. 1; Правда Русская, изданная... А.Л. Шлецером. СПб., 1767; *Nestor. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache verglichen, übersetzt und erklärt von August Ludwig Schlözer. Göttingen, 1802–1809. Bd. 1–5* (русский перевод – СПб., 1809. Т. 1; 1816. Т. 2; 1819. Т. 3).

² См.: *Лятошинский Н.Л.* А.Л. Шлецер и его историческая критика. СПб, 1884.

³ *Валк С.Н.* Исторический источник в русской историографии XVIII в. // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1934. № 7/8. С. 40; *Черен-*

- нин Л.В. Шлецер и его место в развитии русской исторической науки // Международные связи России в XVII–XVIII вв. М., 1966. С. 188–199. Последняя работа явилась опровержением распространившихся в конце 1940–1950-х годов в советской историографии нападок на Шлецера, стремившихся заклеить "вред, нанесенный им русской науке".
- ⁴ Помимо вышеназванных произведений, в Германии Шлецером был издан "Опыт изучения русских летописей" (*Probe russischer Annalen*, Göttingen, 1768) – критический этюд, в котором было указано на первостепенное значение "хроники Нестора" для изучения ранней русской истории и впервые обсуждалось наличие различных вариантов, разночтений и интерполяций этой хроники. Кроме того, Шлецер постоянно публиковал более или менее подробные сведения по истории России в своих учебных пособиях по всеобщей истории, имевших широкое хождение в немецких землях. См.: *Schlözer A.L. Allgemeine Nordische Geschichte*, Halle, 1771; *Tableu de l'histoire de Russie* (мн. изд.) и др.
- ⁵ Здесь, прежде всего, следует назвать прославивший имя Шлецера в Европе труд "Neuverändertes Russland oder Leben Catharinae der Zweyten Kayserinn von Russland aus authentische Nachrichten beschrieben" (Riga; Mitau; Leipzig, 1767–1772. Bd. 1–2), в котором были собраны указы и постановления первых лет царствования Екатерины II. Мелкими по объему, но затрагивавшими важные проблемы русской истории, как древней, так и современной, были многочисленные рецензии Шлецера на новые книги по русской тематике, помещавшиеся им в журналах "Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen" (позже – "Göttingische Gelehrte Anzeigen") и "Allgemeine Deutsche Bibliothek".
- ⁶ См.: *Андреев А.Ю.* "Геттингенская душа" Московского университета (Из истории научных взаимосвязей Москвы и Геттингена в начале XIX столетия) // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 2. С. 73.
- ⁷ *Lomonosov, Schlözer, Pallas: Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert*, hrsg. von E. Winter (Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, 12). Berlin, 1962; *Grothusen K.D.* Zur Bedeutung Schlözers in Rahmen der slawisch-westeuropäischen Kulturbeziehungen // *Russland – Deutschland – Amerika*, Festschrift für F. Epstein zum 80. Geburtstag, hrsg. von A. Fischer, Frankfurt/M., 1978. S. 37–45; *Mühlpfordt G. A.L. Schlözer, 1735–1809 // Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit*, hrsg. von E. Winter und G. Jarosch (Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, 26). Berlin, 1983. S. 133–156; *Pohrt H. A.L. von Schlözers Beitrag zur deutschen Slavistik und Russlandskunde // Gesellschaft und Kultur Russlands in der 2. Hälfte der 18. Jahrhunderts*, hrsg. von E. Donnert (Beiträge zur Geschichte der UdSSR, 6). Halle, 1983. S. 150–176; *Wolle S. A.L. von Schlözers Rossica-Rezensionen in den "Göttingischen Gelehrten Anzeigen" von 1801 bis 1809 // Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas*. 1984. Bd. 28. S. 127–148.
- ⁸ Подробный анализ мировоззрения Шлецера и его восприятия современниками в Германии представлен в новейшей научной биографии ученого: *Peters M.* Altes Reich und Europa. Der Historiker, Statistiker und Publizist August Ludwig (v.) Schlözer (1735–1809), (Forschung zur Geschichte der Neuzeit. Marburger Beiträge), Münster; Hamburg; L., 2003. Bd. 6.
- ⁹ Этапы ранней биографии Шлецера традиционно излагаются согласно подготовленной им автобиографии, изданной его сыном: *Schlözer Ch.* August Ludwig von Schlözers öffentliches und Privatleben, Leipzig, 1828. Bd. 1–2 (русский сокращенный перевод см.: *Общественная и частная жизнь Августа Людвиг Шлецера, им самим написанная // Сборник ОРЯС. СПб., 1875. Т. 13).*

- ¹⁰ Наиболее подробная подборка документов и писем, освещающих деятельность Шлецера в Академии наук вместе с комментариями к ним приведены в издании: August Ludwig von Schlözer und Russland, hrsg. von E. Winter (Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, 9). Berlin, 1961. См. также более раннее издание писем из геттингенского архива Шлецера: *Frensdorff F.* Von und über Schlözer // Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse NF 11. 1909. № 4. S. 3–114. См. также новые их публикации: *Ziegengeist G.* Ungedruckte Briefe von und an Schlözer aus den Jahren 1761–1809 // *Zeitschrift für Slavistik*. 1985. Bd. 30. S. 480–525.
- ¹¹ См. подробнее: *Андреев А.Ю.* "Учености ради изгнанники": Опыт изучения русского студенчества в немецких университетах XVIII – первой половины XIX века // *Россия – Германия: Сб. статей. М., 2004. Вып. 3.*
- ¹² *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1955. Т. 9. С. 595.
- ¹³ August Ludwig von Schlözer und Russland. S. 79–84.
- ¹⁴ *Ibid.* S. 116.
- ¹⁵ *Осипов В.И.* Русские студенты Петербургской Академии в немецких университетах в XVIII веке // *Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник РАН.* 1996. М., 1998. С. 17.
- ¹⁶ Цит. по: *Кулябко Е.С.* Замечательные питомцы Академического университета. Л., 1977. С. 80, 199.
- ¹⁷ August Ludwig von Schlözer und Russland. S. 116.
- ¹⁸ *Ibid.* S. 159.
- ¹⁹ *Ibid.* S. 170.
- ²⁰ *Сухомлинов М.И.* История Российской Академии. СПб., 1878. Вып. 4. С. 519–520.
- ²¹ *Осипов В.И.* Указ. соч. С. 19.
- ²² *Кулябко Е.С.* Указ. соч. С. 177–180.
- ²³ *Александренко В.Н.* Проект Богословского факультета при Екатерине II // *Вестник Европы.* 1873. Т. 6. № 11. С. 301.
- ²⁴ См. подробнее: *Berelowitsch W.* A. Ja. Polenow a l'universite de Strasbourg (1762–1766): l'identite naissante d'un intellectuel // *Cahiers du Monde Russe.* 2002. V. 43. № 2/3. P. 295–320.
- ²⁵ Позднее Шлецер писал об образовании в Геттингене в 1766 г. первого "русского землячества", при котором сам Шлецер завел "русский клуб", посещавшийся и другими геттингенскими профессорами. Однако затем отношения Шлецера с посланцами св. Синода ухудшились: он обвинял их в том, что Синод присылал им из России слишком много денег (500 рублей в год), не заставляя давать отчета в тратах, и те расходовали вдвое больше необходимого. "Не было ни одного бала, маскарада, где не участвовали бы русские, ни одного праздника, где бы они не показались во взятых напрокат парадных костюмах". Этот образ жизни, "смешной в глазах города", вовлек и остальных русских студентов в чрезмерные расходы и долги. См.: August Ludwig von Schlözer und Russland. S. 226.
- ²⁶ См.: *Горожанский Я. Д.С.* Руднев. Киев, 1901.
- ²⁷ A.L. Schlözer und Russland. S. 232.
- ²⁸ См.: *Buchholz A.* Die Göttinger Russlandsammlungen Georgs von Asch. Gießen, 1961; *Slavica Göttingensia. Aeltere Slavica in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen*, hrsg. von R. Lauer. Wiesbaden, 1995. Bd. 1. S. XXII–XXIV.
- ²⁹ *Frensdorff F.* Op. cit. S. 81.
- ³⁰ August Ludwig von Schlözer und Russland. S. 307.

- 31 См.: Милорадович Г. Биографические очерки замечательных Милорадовичей. Чернигов, 1857; Мамышев В. Генерал М.А. Милорадович. СПб., 1904.
- 32 Шлецер даже выступил перед Академией наук с ходатайством изменить инструкцию для Захарова с тем, чтобы сделать основным предметом его занятий "историко-политико-экономические науки", где он "выказывает истинный талант" (August Ludwig von Schlözer und Russland. S. 307).
- 33 Осипов В.И. Указ. соч. С. 23–25.
- 34 Письма Х.А. Шлецера хранятся в городском архиве Любека (Ф. 55. Семейный архив фон Шлецеров. Ед. хр. 2). Ряд писем рубежа XVIII–XIX в., написанных А.Л. Шлецером к И.А. Гейму (впоследствии – ректору Московского университета), сохранился в фонде Т.А. Каменецкого в РГБ (ОР РГБ. Ф. 406. К. 1. Ед. хр. 3).
- 35 Истрин В.М. Русские студенты в Геттингене в 1802–1804 гг. // ЖМНП. 1910. № 7. С. 80–144.
- 36 Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. С. 29. Вып. 2: Письма и дневник А.И. Тургенева Геттингенского периода (1802–1804) и письма его к А.С. Кайсарову и братьям в Геттинген (1805–1811).
- 37 Там же. С. 234–235.
- 38 Там же. С. 237–238.
- 39 Там же. С. 184–185, 207.
- 40 См. письма А.М. Гусятникова к И.А. Гейму из Геттингена от 24 июня/6 июля и от 3/15 октября 1802 г. (на нем. яз.): ОР РГБ. Ф. 406. К. 1. Ед. хр. 3. Л. 165–167, 168–170.
- 41 Там же. Л. 169.
- 42 См. Письмо А.М. Гусятникова к И.А. Гейму из Лейпцига от 17 июня 1805 г.: ОР РГБ. Ф. 406. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 162.
- 43 Versuch einer slavischen Mythologie in alphabetischer Ordnung, Göttingen, 1804 (рус. изд. "Мифология славянская и российская". СПб., 1807).
- 44 Lauer R. A.S. Kajsarov in Göttingen. Zu den russischen Beziehungen der Universität Göttingen am Anfang des 19. Jahrhundert // Göttinger Jahrbuch. 1971. S. 145.
- 45 Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam servis, Göttingen, 1806 (рус. пер. см.: Русские просветители... М., 1966. Т. 1).
- 46 Подробный разбор диссертации Кайсарова см.: Лотман Ю.М. А.С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958 (Ученые записки Тартусского гос. ун-та. Вып.63).
- 47 Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. С. 226.
- 48 Истрин В.М. Указ. соч. С. 128.
- 49 Lehmann-Carli G. A.L. Schlözer als Russland-Historiker, sein Göttinger Studiosus A.I. Turgenew und der russische "Reichshistoriograph" N.M. Karamzin // Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt, hrsg. von Erich Donnert. Köln; Weimar; Wien, 1999. Bd. 2. S. 539–554.
- 50 ОР РГБ. Ф. 406. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 162.
- 51 Надпись обнаружил и привел в биографии А.Л. Шлецера его сын: Schlözer Ch. Op. cit. Bd. 2. S. 205.
- 52 Peters M. Op. cit. S. 425–428. Дворянская грамота Шлецера хранится в Отделе рукописей Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (экспонаты Schlözer-Stiftung).
- 53 Попов Н.А. История Императорского московского Общества истории и древностей российских. М., 1884. Ч. 1 (1804–1812). С. 11.
- 54 Подробнее см.: Андреев А.Ю. "Геттингенская душа"... С. 99–100.

М.Г. Вандалковская

**ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ
МЫСЛЬ ЭМИГРАЦИИ:
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ**

(20–30-е годы XX в.)

Либерально-консервативная мысль эмиграции – сложное и исторически значимое явление. В условиях эмигрантской жизни, демократии и парламентаризма, под влиянием грандиозных перемен в Российской истории и интенсивного развития западноевропейской государственности и правовых институтов, российский либеральный консерватизм эволюционировал и приобретал иной, свойственный времени облик и новые особенности.

В отличие от других направлений эмигрантской общественной мысли это направление имело не только свою политическую, но и нравственную окраску. Его выразителями были такие мыслители, как П.Б. Струве – всемирно известный историк, философ, экономист, правовед, издатель и общественный деятель; В.А. Маклаков – юрист, публицист, общественный деятель, посол России во Франции в 20-е годы, председатель русского эмигрантского комитета при Лиге Наций; Н.С. Тимашев – социолог, правовед и историк общественной мысли, противник монистических и априорных схем в социологии, единомышленник П. Сорокина и Л. Петражицкого. К ним тесно примыкал С.Л. Франк – философ-гуманист, близкий друг Струве, создатель либерально-консервативной политической философии, в которой идеи об абсолютных ценностях сочетались с реальными требованиями человеческого общества.

Либеральный консерватизм эмиграции практически не изучался¹. Между тем актуальность его изучения несомненна. Многие идеи, выраженные этими талантливыми учеными, актуальны и в наше время. Сущность либерального консерватизма состоит в сочетании начал исторической преемственности и обновления: сохранение традиционных ценностей, их преемственность в процессе государственного, культурного и духовного развития, неотъемлемость прав личности, свобода во всех областях ее деятельности. Свобода при этом понималась как личная ответственность и способность к самоограничению, основанная на признании "не только своих, но и чужих прав". Осуществление свободы личности зависит не только от законодательства, но и от духовно-нравственных и религиозных устоев личности. Назначение личности – творить и создавать культуру, так как политические реформы неэффективны, если они не сопровождаются культурными преобразованиями. В то же время только культурное общество может способствовать

созданию защиты независимой личности. Гарантом ее выступает государство.

"Установка" либерального консерватизма, – писал Струве, – "нам всегда дорога.... она неразрывно связана с практически-политическим содержанием и государственного западничества и государственного славянофильства"². Синтез российских традиционных ценностей и западноевропейские завоевания в области политической и гражданской культуры – стержневая особенность эмигрантского либерального консерватизма.

Своими предшественниками либералы-консерваторы признавали М.М. Сперанского, Б.Н. Чичерина, Н.А. Милютину, П.А. Столыпина, воплотившими в своей деятельности черты консерватизма и либерализма. Так, во взглядах Чичерина Маклаков и Струве признавали две основополагающих особенности, чрезвычайно необходимых для прогресса и возрождения России: защиту экономических и гражданских свобод. "Сутью гражданской свободы, – разъяснял Струве мысли Чичерина, – являются права граждан в их культурном и общественном бытии, сутью политической свободы – участие граждан в организации власти"³. Столыпин, по словам Струве, верно понял "смысл и правду" правового государственного преобразования России. «И разве трагические борения Столыпина, который прозревал неизбежные формы новой России и готов был железной рукой пролагать им путь, – размышлял Струве, – не являются какими-то современными психологическими "миниатюрами" трагедии Сперанского?! И Витте, и Столыпин в формах ежедневно-банальных как-то испили горькую чашу Сперанского»⁴.

Истоки либерально-консервативных воззрений Струве видел и в творчестве Пушкина. В статьях, написанных к 100-летней годовщине со дня гибели поэта в 1837 г., Струве писал: «Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна мерой и в меру собственного самоограничения и самообуздания. Ему чужда была нездоровая расслабленная чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее время "максимализм", который родится в угаре и иссякает в похмелье»⁵.

Питательной средой для либерально-консервативной теории явился и опыт западноевропейского либерализма. В эмиграции Струве и Маклаков имели возможность ближе и глубже познакомиться с западноевропейской демократией, парламентаризмом и практикой взаимодействия власти и оппозиции.

Развитие либеральных ценностей – гражданских свобод и правового устройства, идей национальной солидарности, неприятие классовых и партийных принципов проведения государственной политики, импонировали русским либерально-консервативным деятелям. Струве, уделявший этой теме особое внимание, очень ценил британский и французский парламентаризм, отмечал "политическое даро-

вание" и "нравственное величие" лидера лейбористской партии и премьер-министра Великобритании Д.Р. Макдональда, который во имя государственных целей пренебрег партийными интересами; с величайшим уважением относился к Р. Пуанкаре, президенту Франции и премьер-министру в 20-е годы, стремившемуся укрепить государственное величие Франции в Европе, национальное единство в своей стране и проявлял непримиримость по отношению к советской власти. Проводимые лидерами этих двух стран идеи национального единства, национальной солидарности Струве рассматривал как высокую "зрелость подлинной демократии".

Размышляя о государственной власти, "хранительнице традиций", Струве писал о том, что "все режимы и все власти падают от неспособности к разумным и необходимым компромиссам, и никакие широкие политические движения не удаются, пока в них на той или иной основе не возобладает и не восторжествует дух соглашения... В основе духа соглашения, практики согласия лежит уважение к праву"⁶. Это высказывание в равной мере он относил как к власти, так и к общественным течениям, в том числе оппозиционным.

В прошлом России Струве видел "пагубные и тлетворные стихии" – крепостное право, тиранический произвол, но полагал, что либеральные консерваторы умели отличать "самовластие" и "тиранство" от самодержавия. Понятие самодержавия он считал "много-смысленным", означающим и "суверенную", "державную" и неограниченную власть. Сам он был сторонником самодержавия как национальной власти, свободной от деспотизма.

Большим завоеванием самодержавной власти, помимо экономических и политических достижений, либеральные консерваторы считали защиту культурных ценностей. Гениями русской культуры и сторонниками государственной власти они справедливо признавали Пушкина и Достоевского. Симптоматично замечание Струве, сопровождающее эту мысль: в юности вольнолюбивый и радикальный Пушкин в зрелом возрасте стал охранителем и "царистом"; Достоевский – социалист в молодости – стал "страстным" и "упорным" приверженцем русской государственности. "Было бы глупо и пошло, – заключал Струве, – отмахиваться от этих реальных и многозначительных перемен в устроении величайших русских гениев как от каких-то не то причуд, не то ренегатства"⁷. Это высказывание, помимо защиты государственности и ее сторонников, содержит, к сожалению, в наше время не всеми признаваемую мысль; изменение ситуации влечет за собой и трансформацию восприятия.

Либерализм либеральные консерваторы рассматривали как "самую государственную, отнюдь не революционную доктрину, как политическую программу, устанавливающую начала законодательства и управления"⁸. По мысли Маклакова, "либерализм должен угрозой революции побуждать власть идти на уступки, воплощать в себе

те идеи, которые могли остановить революцию"⁹. "Русскую общественность, – писал Струве, – нужно приучить к мысли, что либерализм, чтобы быть почвенным, должен быть консервативен, а консерватизм – для того, чтобы быть жизненным, должен быть либерален"¹⁰. И только консервативный либерализм может обеспечить проведение социальных реформ.

Этому "идеальному" либерализму, в той или иной мере осуществленному в западноевропейских странах, Струве и Маклаков противопоставляли российский либерализм, который они подвергали резкой критике и возлагали на него значительную долю вины за крушение Российской империи.

Характерной чертой российского либерализма они считали "почвенную установку" на разрушение монархии. Русский либерал, – писал Маклаков, – "представлял из себя как бы сообщающийся сосуд; в меру его принципиального недоверия к власти шло его столь же принципиальное доверие к народной мудрости и к спасательности всех народных учреждений", он "пасовал" перед революцией "во имя высоких идей и моральной высоты революционеров... Русский либерализм не захотел рискнуть соединиться со старым порядком против революции, т.е. пойти на самую привычную и естественную комбинацию"¹¹.

Либеральное и радикальное движение в России Струве также рассматривал в едином потоке, за которым "стояла дремавшая, не укрощенная" историческим опытом народная стихия "революционного максимализма", впоследствии вылившаяся в большевизм. В раздумьях о разрушенном прошлом и будущем России либеральные консерваторы обращались к различным формам государственного устройства как европейской, так и российской истории. Они осмысливали монархическое, республиканское правление, демократию, парламентаризм, народное представительство.

Сам Струве не был сторонником абсолютной монархии. С его точки зрения, абсолютным монархом в России мог быть только "откровенно и агрессивно мужицкий царь". И здесь же он добавлял, что в социально-экономической области он является сторонником трезвого учета фактов и верит прежде всего в исцеляющую "силу экономического развития на основе свободы и собственности"¹². Политическая платформа Струве, по его словам, принципиально исключает абсолютизм, неограниченное правление. Это не означало, что он отрицал эту форму правления. В отдельные эпохи народной жизни абсолютизм не только возможен, но и необходим. К таким эпохам, по Струве, может относиться послебольшевистское время. Однако он категорически отказывался возводить абсолютизм в принцип и вводить его в свою национальную платформу.

В российской истории он признавал различные формы самодержавной монархической власти. Для Струве и Маклакова исключе-

ние из "Основных государственных законов" в 1906 г. термина "неограниченный" применительно к монарху отделило старую абсолютистскую Россию от новой России конституционного типа. Однако дальнейший ход развития, несостоятельность верховной власти, Первая мировая война, революции прервали этот путь.

Демократию Струве рассматривал как форму государственного устройства, основанную на признании народовластия, т.е. большинства народа, существующего в строго правовых рамках. Правовая обеспеченность законодательством и в то же время ограниченность им составляет одно из основных условий существования демократии. Одним из существенных признаков демократии Струве признавал ее способность быть консервативной, что означало уметь узаконить сохранение частной собственности, без которой не может быть свободного развития. "Демократия в смысле системы учреждений может прочно держаться и нормально функционировать там, где консервативен народ. Консерватизм народа означает отечество и собственность"¹³.

Социальное значение демократического устройства Струве видел прежде всего в завоеваниях в области права, либерализации страны, формировании предпосылок гражданского общества и его политической культуры. Вместе с тем Струве не идеализировал правовых западных демократий¹⁴. Впрочем, это было характерно для многих эмигрантских мыслителей, которые, тем не менее, признавали прогрессивность для России демократического государственного устройства.

Для Маклакова, занимающего во Франции должность посла и непосредственно соприкасающегося с функционированием западной демократии, характерен был более критический акцент в ее оценке. Маклаков, не идеализируя демократический образ правления, полагал, что эпоха демократии – временный этап. "Ореол демократии" (самоуправление, всеобщее равенство, волеизъявление народа, отождествляемого с волей большинства) – "весь этот демократический идеал... оказывается... искусственным созданием, которое годилось только, покуда его теоретически противопоставляли существующему строю"¹⁵. Этот идеал он считал "заподозренным" и "поколебленным", а признаваемое демократией панацеей от социального неравенства господство большинства над меньшинством более деспотичным и нелепым, чем господство меньшинства над большинством при старом режиме.

В процессе становления демократии Маклаков выделяя три стадии: "сначала демократия подчиняется не рассуждая, потом пробует управлять сама, а затем, поумнев, возвращается к подчинению. Это делает ее демократией, но потому что она разумная". В России осуществился опыт второго периода: русская демократия "оказалась недостаточно умна, чтобы вверить бразды управления тем, кто того

заслуживал"¹⁶ и не подготовлена к тому, чтобы управлять самой. Из этого Маклаков делал вывод: долг всякого правительства подготовить демократию к этой деятельности, привлекая людей к управлению "там, где это управление будет им по плечу".

Н.С. Тимашев также рассматривал демократию как образ правления, основанный на сочетании принципов свободы, равенства и народоправства и отражающий господствующие в обществе настроения. В многочисленных трудах, посвященных демократии, отмечались и подчеркивались ее преимущества и потребности в новых исторических условиях. К их числу относились не только сам факт предоставления разных свобод, но и осуществление идеи "равных возможностей": равенство перед законом, общедоступность социального роста, равного участия в политической жизни. Достижением демократии Тимашев признавал ее пластичность, умение добиться компромиссов и согласованности мнений, мирного сотрудничества, в противовес классовому подходу и диктату коммунистической партии в советской России.

К "каталогу" свобод совести, печати, союзов, собраний, личности (неприкосновенность от произвольного ареста), пристрастного суда при демократии необходимо добавлялась и свобода хозяйственная. При этом Тимашев подчеркивал, что существует разная степень свободы и ее можно противопоставлять не только государственно-му вмешательству, но и засилию капитала и частных монополий.

Тимашев был уверен, что после падения советского режима в России утвердится демократия. Однако это не означает ее немедленного наступления. На пути к ней "мыслимы переходные этапы... быть может, не образующие своей совокупностью прямой линии, идущей от деспотии к демократии". Закономерность установления демократии в России Тимашев объяснял существующей, с его точки зрения, демократической традиции в прошлом России в экономической, социальной и культурной областях. Капиталистическая форма хозяйства, развитие знаний, расширение социальной сферы сочетались с восхождением демократии. Тимашев отмечал также, что в этом всеобщем процессе менее всего трансформировалась власть, хотя и она не избежала этой общей тенденции (реформы 60-х годов XIX в.). Вместе с тем Тимашев далек был от идеализации демократии, которую считал определенным закономерным этапом в поступательном развитии государственности¹⁷.

Большой интерес к демократии и демократическим свободам проявлял С.Л. Франк. Его социальная философия нашла отражение в понимании природы демократии. Франк писал о разных видах демократии. Большевистскую революцию он рассматривал как демократическое движение масс, "руководимое смутным, политически не оформленным, по существу скорее психологически-бытовым идеалом самочинности и самостоятельности"¹⁸. К западноевропей-

ской демократии "просвещенной Европы" он относился с недоверием и иронией. "Спасение идеи демократии" он находил в создании демократической культуры на основе национальных традиций. "Подлинный идеал демократий" (в полном виде недостижимый) может возникнуть только на национальных, духовных основах. "Политическую деятельность как отдельной личности, так и всего народа он (демократический идеал. – М.В.) мыслит не как самочинное дерзание, руководимое преходящими нуждами мига и поколения, а как смиренное служение, определяемое верой в непреходящий смысл национальной культуры и долгом каждого поколения оберечь наследие предков, обогатить и передать потомкам"¹⁹. Идея служения – священная обязанность человека, идущая от его религиозной природы. История для Франка – Богочеловеческий процесс. Внешняя, социальная жизнь зависит от духовной жизни. И, хотя все люди в нравственном отношении равны перед Богом, но у них разные способности, и поэтому при демократии применим принцип иерархии: каждому человеку предназначена своя роль и свое служение²⁰.

Обращение к демократии и демократическим формам государственного управления, естественно, ставило проблему парламентаризма. П.Б. Струве считал, что парламентская демократия "может гладко действовать лишь в странах старой политической культуры и непрерывной конституционной традиции, в странах, "имеющих в народных массах и в зажиточных слоях огромный запас консерватизма"²¹, подразумевая под ним сильное государственно-охранительное начало. Главным условием существования парламентаризма является не наличие властного народного представительства и полная зависимость правительства от парламента (что характерно для ряда европейских стран), а принцип государственного равновесия. Струве считал, что даже в Англии, стране традиционной парламентской культуры, не всегда действует гражданское равновесие. Этот принцип реализуется лишь при сильной власти главы государства.

Национальная программа Струве "рядом и перед народным представительством" ставит правительственную власть как равноправный с народным представительством и даже преобладающий фактор государства. Народное представительство Струве призывал не смешивать с парламентом. Участие народных представителей в законодательстве и управлении он считал не парламентаризмом, а только отрицанием абсолютизма.

В том же духе рассуждал и Маклаков. "Мир состоит из антиномий, – писал он, – т.е. тех противоречий, которые нельзя уничтожить, но должно примирить". Свобода, равенство, личность и государство, власть и подчинение противоречат друг другу. "Надо размежевывать их компетенцию, их примирять, а не подчинять одно другому"²². Европейская демократия, по мнению Маклакова, своим

парламентаризмом подчинила власть и этим ослабила государство и сделала личность беззащитной против государства. Исключение в известной мере составляют, полагал Маклаков, Англия и Америка, в отличие от Франции. Если английский премьер и президент США – избранники народа, а не парламента, и властны парламенту не подчиняться, то во Франции, "где примат представительства доведен до предела, – получилась карикатура на государство и на представительный строй"²³.

Внимание ученых привлекала, естественно, и республиканская форма правления. Струве относился к ней отрицательно, особенно применительно к России, полагая, что русской республики как живого исторического явления не существовало и выражал недоверие к ее возможностям.

"Республикомания" представлялась Струве порождением интеллигентского мировосприятия, которое не может быть понято народными массами. Он сокрушался, что "левые" (Милюков, Вишняк, Минор, Руднев) "находятся в полном плену у идеи республики". "Республика для них – мера всех политических вещей, и они, ради избежания монархии, готовы сколько угодно претерпеть советчину"²⁴. "Опасно до смехотворности, поэтому не только навязывать, но даже рекламировать это не бывшее существо... Если бы я был русским республиканцем, – продолжал он, – я во всяком случае, воздержался бы от этого", – отвечал Струве Милюкову, опубликовавшему в "Последних новостях" передовицу "в честь республиканско-демократической идеи"²⁵.

Это не означало, что Струве отрицал республиканскую форму правления. Для стран Запада она казалась приемлемой. "Пример Франции, – писал он, – вопреки всем утверждениям тонких, но беспочвенных французских роялистов, – показывает, что и республика имеет и осуществляет национальное призвание". В историю национальных подвигов Франции вошли не только короли и их слуги, но и Наполеон I, и Гамбетта. Из современных политических деятелей – Клемансо и Пуанкаре²⁶. Разумеется, все эти рассуждения о демократии и демократических правлениях связаны были с размышлениями о возможности демократии в России.

Н.С. Тимашев считал, что период Временного правительства не был по сути демократическим. Это был пример "общества, лишеного центральной политической власти, тогда как демократия есть одна из форм властной организации общества"²⁷. Неудача демократического опыта в России была вызвана неблагоприятными условиями и не означала невозможности реализации в ней демократической альтернативы.

Весьма поучительной являлась статья Струве "Двенадцать лет русской истории", посвященной открытию Государственной думы. "Этот юбилей несостоявшейся русской конституции", размышлял

Струве, дает повод к воспоминаниям, сопоставлениям и выводам. "История никого и ничему конкретно и практически не научает, но все-таки именно пережитая история дает уроки полезные и спасительные"²⁸.

Почему русская конституция не состоялась, не "вышла", а из опыта с нею получилось крушение государства и неслыханное падение "культуры"? Этот вопрос чрезвычайно волнует и тревожит Струве: В ответ на него Струве приводит разные точки зрения, существующие в обществе. Первая из них, идущая от либералов-радикалов, гласит, что старый режим бесчестно и безумно боролся с конституционными стремлениями, не допуская их развития, конституция, вырванная у народа, – запоздала; вторая – народное представительство – великая ложь и зло для России (Победоносцев) или Россия не созрела для конституции, в ней не было политического сознания, буржуазии, права собственности и т.д.

Струве справедливо полагал, что свершившаяся "губительная" русская революция смела все устремления к демократическим переменам и что в российских условиях, с учетом опыта после 1917–1918 гг. ни одна из политических партий, особенно Милюкова, не предотвратила бы революции.

Поэтому даже в I Государственной думе "русским патриотам конституционного образа мыслей дорог не ее радикально-революционный или полуреволюционный лик... а консервативное государственное существо умеренного и умеряющего народного представительства". Идею и факт русского народного представительства после разрушительной русской революции нужны были для России в их "охранительном и консервативном облики, и только в нем они могли быть для нее спасительны и подлинно прогрессивны"²⁹.

Уроки, которые Струве извлек из 20-летия несостоявшейся русской конституции, состояли, по его мнению, лишь в одном: народное представительство собирало и спланировало охранительные силы нации, дававшие народу землю в устроенную собственность, создавало "без великих потрясений" и с огромным накоплением творческих и культурных сил, крестьянский фундамент новой и в то же время старой "Великой России".

Без народного представительства, над которым будет витать "стольпинский дух охранения и творчества", Струве не видел возрожденной России.

Закономерным являлся и интерес к фашизму как к новой форме государственного устройства. Одни видели в нем избавление от демократизма и парламентаризма, испытывающих кризисные явления, другие – от коммунистической власти, третьи приветствовали националистическую настроенность и сильную власть.

Струве глубоко и всесторонне рассматривал фашизм, разумеется, меняя свое отношение по мере его развития. Возникновение фа-

шизма он признавал "значительным", "всемирно-историческим" явлением международной жизни. Этот новый феномен общественно-государственного устройства, в частности в Германии, Струве связывал с социальной реакцией против коммунизма и с национальной – против "побежденности в I Мировой войне".

Он отмечал наличие разных форм фашизма, зависимых от экономической структуры и политического развития страны. Так, если для Италии характерен единоподержавный и "диктаториальный" тип фашизма, то для Германии – другой, имеющий конституционный облик, сопровождаемый состязанием общественных сил³⁰. В связи с этим в Германии Струве видел большие возможности для национальных преобразований. Однако в дальнейшем практика строительства фашизма, отличная во многом от декларативных обещаний, раскрывала перед Струве "страшные опасности" германского фашизма. Он разделял национально-охранительные черты фашизма, видел в нем противовес коммунизму и большевизму, связывал с ним поворот во всей мировой политике: устранение реальной опасности советизации Западной Европы и Германии, начало мирового "оздоровления от коммунистической заразы".

Одновременно с этим он усматривал опасности и слабые стороны национал-социализма в Германии: зажим политической свободы, неуважение к духу свободы, отмечал эволюцию фашизма "в пользу вертикальных национальных разделений", а не "горизонтальной солидарности всего культурного мира"³¹.

Наличие сильных и слабых сторон в фашизме Струве объяснял тем, что он "возник в недрах того направления, которое он в значительной мере отрицает, в недрах социализма, принципиально неотличимого от коммунизма"³².

Отношение к социализму как к общей идеологической почве социализма и фашизма Струве связывал с эволюцией понятия "социализм". Если в период своего возникновения социализм был построен на разъединении понятий идеала свободы от идеала собственности, то в современном западном мире, по Струве, эти понятия стали неразделимы. Однако в общественном сознании глубоко укоренилось представление о социализме как строе, отрицающем собственность. Эта особенность, сосуществующая с установлением диктаторской власти, особенно перешедшей в деспотизм и тиранию, социалистический советский опыт могут породить социальную революционность и стремление духовно примкнуть к социализму-коммунизму и "делать социалистическое дело" разложения и разрушения.

Национал-социализм и коммунизм, по словам Струве, являются "теми демонами или бесами", которые способны породить революцию, рождаемую "острой нуждой" и национальной уязвимостью.

Он отмечал идейную близость фашизма с социал-демократией, считая ее "в известном смысле" национально-охранительной силой, но обремененной идеологическими предрассудками и живучими классовыми эмоциями³³.

Струве считал, что судьбы фашизма во многом зависят от того, сумеет ли фашизм "дозу социализма, подобно Бисмарку, удержать в пределах социальной реформы", а синдикализм свести к пределам профессионального самоуправления, не разрушающего ни единства государственной власти, ни хозяйственной свободы лица.

К негативным свойствам фашизма он относил отрицание политической свободы, порожденной тиранией и деспотизмом – неперменной принадлежности этой формы государственного устройства. Причем Струве подчеркивал эту особенность не только в теории, но и в практике. Наличие здоровых национальных инстинктов, как считал Струве, часто затемнены опасностями и слабыми сторонами фашизма.

В статье "Гитлеровщина как подготовка коммунизма" Струве писал, что Гитлер опасен не сам по себе, а тем, что его движение, "возбуждая своей демагогией в народных массах несбыточные национальные надежды и неукротимые социальные страсти, психологически и идейно приближает эти массы к коммунизму"³⁴. В подтверждение этой мысли в ряде статей Струве приводит данные об огромном проникновении в национал-социалистические организации коммунистов, устрашающем процесс большевизации в мировом масштабе, способном породить социальные потрясения.

В 1930-е годы Струве признавался, что он недооценивал опасности национал-социализма, его тиранию, самовластие, отсутствие политической свободы и деспотическое влияние на внутреннюю жизнь и внешнюю политику.

Тема советской России – ключевая тема эмигрантской общественно-политической мысли. Эмигранты анализировали произошедшие с Россией перемены, сущность нового политического режима, политику власти, настроения внутри страны, внешнеполитическую реакцию на советскую власть, делали прогнозы будущего. Оценки советского строя и политики советской власти, данные представителями разных эмигрантских течений, во многом совпадали. Но понимание способов и методов борьбы с большевизмом, осознание в этом роли эмиграции были различными. Струве уделял этим вопросам огромное внимание, его газеты наполнены материалами о советской России.

Большевизм, по словам Струве, осуществил ортодоксально-марксистскую идею сочетания коренного социального преобразования общества с методами и приемами насильственной политической революции и разрушил русскую культуру и право. В том, что советская власть "похоронила" и "засыпала" целые пласты русских культурных достижений предшествующего времени XVIII и XIX вв.³⁵, Струве усматривал ее глубокий реакционный смысл.

"Органический порок" и слабость советской власти виделся Струве в том, что она провозглашала себя "коммунистической", "революционной", "пролетарской", но заимствовала эти названия, основываясь не на развитии российских внутренних экономических отношений, а из идеи мировой социальной революции и "неотвратимом обобщении коммунизма и пролетарской революции"³⁶. В отсталой России действительное осуществление коммунистической власти Струве считал нереальным.

Советская коммунистическая власть может держаться только на том низком экономическом и техническом уровне, на который она насильственно низвела Россию³⁷. Экономический прогресс, если он возможен в современной России, может только упразднить коммунистическую власть в порядке политической революции. В России в социальном отношении, писал Струве, произошли огромные сдвиги, которые можно характеризовать как геологический переворот или катаклизм³⁸. Он фиксировал сложные изменения, происходящие в процессе утверждения новой власти. Коммунизм как социальное движение, отрицая непрерывность правового бытия общества, вполне логично отрицает и личную свободу во имя классового насилия или социальной революции³⁹.

Советскую Россию он сравнивал с "тягловым государством XVIII в.", государством унитарного типа, лишенного каких-либо правовых оснований, что неизбежно вело к отрицанию личной свободы, осуждал его отношение к рабочему классу, крестьянству, интеллигенции. Советская власть, опирающаяся на фабричных рабочих, превращенных в нечто среднее между государственными приживальцами и государственными тяглецами или "вилланами", не может как надстройка соответствовать мелкокрестьянскому "основанию" или "фундаменту" советской России.

Политику советской власти по отношению к крестьянству Струве признавал пагубной для России: крестьянство грабили, разоряли, превращали в государственных рабов или крепостных коммунистической партии. Постоянно актуальный и животрепещущий аграрный вопрос в России стал не только обострившимся, но и зашедшим в безнадежный тупик.

Возрождение сельского хозяйства в России Струве связывал с установлением частной собственности, а не с разорением ее, чем успешно занималась советская власть. Разорение коммунистического (социалистического) народного хозяйства, его истощение Струве связывал с идущим сверху регулированием, что препятствовало установлению нормальных отношений между крестьянством и промышленностью, которая стала каким-то тягловым кормлением городского, так называемого пролетариата, и не может восстановить основной капитал, изношенный и разрушенный революцией⁴⁰.

В советской системе он видел сочетание "безмерного, необузданно-наглого максимализма с самым циничным и хамским, бесстыже предающимся и продающимся оппортунизмом"⁴¹. При этом инстинкт самосохранения определяет самую разнообразную тактику власти от бряцания оружием до обмана и подлаживания. Чтобы сохраниться, советская власть должна идти на экономические уступки: отменить монополию внешней торговли и передать крупную промышленность в частные руки. Но здесь же он признавал, что, по существу, это будет бесповоротным концом "советчины"⁴².

Новую экономическую политику Струве характеризовал как "обманное тактическое отступление" и считал, что это "обходное движение" большевиков оказалось исторически невыполнимым.

Многих мыслящих эмигрантов, в том числе и Струве, интересовал вопрос: почему и как может держаться несостоятельная и постоянно теряющая престиж советская власть? Решению этого вопроса Струве придавал "первостепенный теоретический, социологический интерес" и огромное практическое значение. В статье "Почему и как? Что же дальше?" Струве изложил свое мнение по этому вопросу, приобщив к нему высказывания людей, побывавших в России, и специалистов из самой России. Оно сводилось к тому, что советская власть держится "бессовестным выколачиванием прибавочного сельскохозяйственного продукта из крестьянина, который кормит рабочих, всю национальную промышленность и всю непроемчивую государственность", что советская экономика не обязательно должна прогрессировать и стремиться к соответствию экономического фундамента и политического строя – устаревшая марксистская формула. Диагноз, следуемый из этого, по Струве, означал несостоятельность советской власти и необходимость "систематического, обдуманного и решительного политического действия"⁴³.

Антисоветские выступления, активная непримиримость и должны привести в конечном счете к крушению советской власти, которое будет сложным и долговременным. Проявления "неразумности и трусливости" советской власти Струве видел не только в терроре, но и в том, что, она "может только умножать, углублять и увековечивать свои внутренние "фронты". Неизлечимыми, однако, Струве признавал процессы, происходящие в коммунистической партии.

Несмотря на идеологическую цельность, определяемую господством коммунистической партии, ее единство является мнимым, как и цельность государства. Происходит разложение "идейного образа" и идеологической целостности. Ни правящее ядро (Сталин и его сторонники), ни "большинство", ни "оппозиция" (Каменев, Зиновьев, Троцкий), писал Струве, в происходящей борьбе не имеют значения. «Такое имеют те силы или та "третья сила", не коммунистическая, а "беспартийная", которая стоит, вернее таится и за большинством и за оппозицией»⁴⁴.

Струве уделил много внимания этой проблеме и осторожно подходил к ее оценке, протестуя против тех, кто преувеличивал это явление, и тех, кто "партийные раздоры" воспринимал как "хитроумное защитное единство" самих большевиков. Он отмечал связь "разложения коммунистической партии" с экономическими процессами в стране и с психологией населения. Коммунистическая партия перестает ощущать себя всемогущей; она внутренне надломлена, и население начинает не верить в ее могущество и как-то медленно, но неуклонно набирается смелости, подбодряется и душевно собирается⁴⁵.

"Психологический сдвиг", проявленный в связи с противоречиями в партии, Струве признавал "потенциально" значимым; на основе раскола коммунистической партии происходит потеря ее единства и веры в себя, а также веры населения в силу и единство партии. Вместе с тем он предостерегал от самообольщения и считал, что для революционной борьбы против советской власти зреют "самые первые" предпосылки, а путь борьбы труден и долог.

В советской России либеральные консерваторы отмечали и кризисные явления. Признаком разложения советского строя Струве видел террор, достигший крайних размеров во всех сферах жизни общества; пагубным признавал "коммунистическое окитаивание России", изоляцию страны от остального мира. Но, если в Китае эта изоляция продиктована укладом быта, то в советской России эту изоляцию "творит власть, разрушающая и коверкающая быт"⁴⁶. Это "зрелище непрерывной борьбы" власти с бытом и с его "носителем-населением" Струве квалифицировал как факт установления экономического, политического, духовного и государственного рабства населения.

Он пристально вглядывался в настроение населения страны, чему придавал огромное значение в стремлении объединить его под левым флагом "во имя обманутых социальных надежд и поруганных социальных верований". Статьи Струве фиксировали любое проявление недовольства советской властью.

Относительно готовности народа к сопротивлению большевистской власти большой пессимизм проявлял Маклаков. Его "смушала" национальная психология, порожденная традиционной государственной службой населения и связанной с этим привычкой бездействовать и надеяться на власть. Это, по мысли Маклакова, определяло беспомощность и терпимость национального характера. В народопоклонстве, идеализации народа, идущих от народнической идеологии, Маклаков видел "роковое" заблуждение. "Я это считаю, – писал он, – большой ошибкой и сейчас думаю, что наш народ не созрел... для понимания государственных интересов и вообще для управления большим государством"⁴⁷. Большевизм дал "вредное и развращающее воспитание народу": открыл для всех равные возможности, но только в смысле преступления и грабежа.

Стремление народа к тому, чтобы в стране был хозяин, он признавал закономерным. "Но если на требование хозяина мы, на которых лежит ответственность за то, что случилось, понесем ему народопоклонство и просьбу самому сказать, что нужно делать, и уверения, что он сам себе хозяин, то это будет камень, который мы ему подадим вместо хлеба". Народопоклонство, свойственное русской радикальной интеллигенции, многие мыслители, в том числе и эмигрантские, справедливо признавали "большим и вредным заблуждением". Оно вело, о чем много размышлял С.М. Франк, к "нигилистическому морализму", подчинению нравственных ценностей материальным потребностям, утилитарному взгляду на культуру⁴⁸.

В советском строе либеральные консерваторы видели огромную социальную и культурную опасность. Струве эту мысль обосновывал тем, что социальная революция "ни в каком обществе не осуществляется в формах права", советский опыт показал ее насильственный характер, разрушающий непрерывность правового бытия общества.

Струве был глубоко озабочен не только положением самой России, но и ее международным резонансом. "Мир болен" и серьезно отравлен коммунизмом⁴⁹. Он опасался, что идеи и эмоции коммунистического разрушения и насилия просачиваются в другие страны, настраивая и мировоззрения.

Струве призывал либеральные и демократические круги разных стран нетерпимо относиться "к той силе, которая в принципе и идее, проповедью ненависти и насильничества, на практике действием насилия и разрушения, отрицает Свободу и Право, Порядок и Права". Поощрение коммунизма (а это он усматривал и в лояльном отношении к советской власти) вредно не только самой России, но и в значительной мере тем иностранным государствам, которые заключают с ней мирные договоры. Невмешательство либо равнодушие к явлению коммунизма представлялось ему "ослеплением", "душевной слабостью" или неспособностью разглядеть реальные опасности, борьба с которыми требует решимости и напряжения сил⁵⁰.

Судьба России глубоко волновала русских эмигрантов. Они осмысливали свою роль в процессе возрождения России, строили планы ее будущего устройства. Разные политические устремления определяли различное содержание и характер прогнозов строительства новой России. Либерально-консервативное направление общественной мысли, согласно своим воззрениям, – сочетание российских традиций и нового европейского и российского опыта, – создало, условно говоря, свою программу политического поведения эмиграции и ориентиров ее будущего. В этом была их несомненная заслуга: мысли, высказанные в связи с этим поучительны для современной постбольшевистской России.

Струве воспринимал русских, оказавшихся после революции 1917 г. в зарубежье, не как эмиграцию, а как "подлинную национальную Россию", хранительницу российской культуры и великих национальных традиций. "Мы здесь блюдем национальную культуру, – писал он, – там растаптываемую и уродуемую. Мы здесь отстаиваем, там пока скрывавшееся национальное лицо России"⁵¹.

Жизнь русского зарубежья он считал неотъемлемой от России, крушение России признавал общей бедой и общей виной всех русских; долг каждого русского видел в воссоединении зарубежья и Внутренней России, перед которыми стоит одна общая и главная задача – освобождение от тиранической власти советского режима.

Струве призывал соотечественников не оставаться в состоянии "косного или пассивного созерцания", а быть действенным, объединить разные поколения эмигрантов, отцов и детей, представителей разных политических сил, стремиться развивать и укреплять политический реализм и терпимость. «Мы сознательно и убежденно настаиваем на том, что Зарубежье должно духовно и политически не вариться в собственном соку, не жить мелкими счетами и перекорами "эмиграции", а всеми своими помыслами и действиями быть обращенными туда, к подъяремной, Внутренней России»⁵². И только при объединении всех зарубежных сил и сил собственно России эмиграция может стать "одним из строительных камней должествующей возродиться воссоединенной России"⁵³.

Противобольшевистское объединение, по Струве, возможно при "разумном и достойном" самоограничении всех политических и партийных направлений. Практические задачи национального бытия тем и отличаются, что они в служение себе вовлекают людей различных мировоззрений. "Великому петровскому преобразованию служили и сам Петр, и князь Дмитрий Михайлович Голицын, человек совершенно другого, чем Петр, мирозерцания. В дело освобождения крестьян впряглись одинаково и горячие западники, и пламенные славянофилы. Судебную реформу осуществляли и консерваторы, и либералы той эпохи"⁵⁴.

Основанные Струве газеты "Возрождение", "Россия и славянство", "Россия" и другие, далее Зарубежный съезд (1926), на котором председательствовал Струве, направляли все силы на объединение эмиграции. Однако эти усилия не увенчались успехом: слишком различны были устремления эмигрантов. Кроме того, по словам Маклакова, "эмиграция страдала отсутствием политического творчества в том смысле, чтобы уметь мыслить будущую русскую жизнь иначе, чем реставрацию какой-то стадии прежней России: одни хотели воскресить Россию царскую, другие – конституционно-демократическую, третьи – Россию Учредительного собрания, но все хотели бы начать русскую жизнь с какой-то определенной точки"⁵⁵. И тем не менее идеи о том, что России нужно возрождение, "возрождение все-

объемлющее, проникнутое идеями нации и отечества, свободы и солидарности, и в то же время свободное от духа и духов корысти и мести, а также о том, чтобы прежние владельцы отказались от прав собственности"⁵⁶ были популярны в эмигрантской среде.

Однако Струве и Маклаков предостерегали от иллюзий о том, что эмиграция сумеет изменить российскую действительность. Это дело самой России. Им была свойственна позиция непредрежденства. Эмиграция должна лишь помогать и способствовать возрождению новой России. "Наша эмигрантская роль, – писал Маклаков, – могла бы заключаться только в одном: облегчить эти трудные роды, сыграть роль акушера"⁵⁷. "Претензия" управлять событиями в России из-за границы представлялась ему "ложной" в своей основе. "То, что мы можем делать за границей, сводится только к растолкованию того, что делается в России и к удержанию иностранных держав от ошибочных шагов"⁵⁸.

Тимашев не во всем соглашался с этой точкой зрения. Он написал даже специальную статью под названием "О подлинном смысле непредрежденства", в которой разъяснял смысл этой позиции. Подлинное понятие непредрежденства означает лишь констатирование факта о невозможности предугадать, каков будет государственный строй послебольшевистской России. Это установит сама нация. Ложным истолкованием непредрежденства Тимашеву представлялся отказ в эмиграции от всякой политической программы, лозунгов борьбы, изоляций от решения этого вопроса. В России, считал он, имеется огромный взрывчатый материал, "огромная восприимчивость" и невозможна "увязка" мыслей и их "обработка". Эмиграция в большей мере может быть подготовлена к этой деятельности. Наличие нескольких программ в эмиграции и России усилит "фермент брожения" и приблизит решение проблемы. Устранение эмиграции от решения этого вопроса он признавал большой ошибкой, подобной бездействию интеллигенции накануне захвата власти большевиками. Тимашев призывал придерживаться старого правила военного теоретика Германии Х.К. Мольтке "отдельными отрядами наступать, биться вместе"⁵⁹.

Прогнозы будущего устройства России имели довольно широкий спектр проблем. Об этом в той или иной мере писали многие эмигранты. Вышедшее в 2001–2002 гг. издание под названием "Совершенно лично и доверительно", переписка Б.А. Бахметьева и В.А. Маклакова – уникальный источник по этой теме. Особенно много писал Бахметьев, отвечая на мысли и идеи Маклакова, которые не всегда сохранились в имеющихся письмах. Конечно, взгляды Бахметьева не во всем совпадали со взглядами Маклакова. Бахметьев принадлежал другому поколению, иному мировоззрению и менталитету. Тем не менее любовь к России, заинтересованность в свержении советской власти и создании в ней демократического государ-

ства были общими. В ноябре 1927 г. Бахметьев писал Маклакову: "Нам надо осмысливать будущее, находить удовлетворение хотя бы в подготовке теоретического фундамента для правильного подхода к практическим вопросам, которые во весь рост встанут перед будущей Россией. Тут форма правления вообще, и государственный строй с точки зрения соотношения центральной и местной власти; в первую голову – выборная структура и структура представительных учреждений снизу доверху; конечно, экономика вообще; соотношение государственной и частной экономики, как одна из главных и самых жгучих тем"⁶⁰. Разумеется, этот перечень проблем не замыкал их круг, появлялись новые; кроме того, не все из перечисленных получили дальнейшее развитие. Но, несомненно, что это свидетельство устойчивого и вдумчивого отношения к теме будущего России.

Исторически проницательны суждения Тимашева о подходах к решению проблемы будущего России. Он предостерегал от заблуждений о том, что можно игнорировать результаты революционных потрясений, так же как принимать их устойчивую стабильность. Эмигранты должны понять, считал он, что "индивидуальные чувства не делают истории" и ко многому, что было дорого в прошлой жизни, возврата быть не может.

В планах построения новой России либеральные консерваторы предостерегали от намерений имущественной реставрации, "вредной и утопичной идеи", которая будет способствовать размаху Гражданской войны, поскольку крестьяне никогда не откажутся от своей собственности. "Для меня ясно, – писал Струве, – что никакая политическая сила не может идти против большевиков и одолеть их, не внушив массам населения твердого убеждения, что она, эта освободительная сила и власть, не несет с собой имущественной реставрации"⁶¹.

Будущая Россия должна стать цивилизованным, демократическим, правовым и экономически развитым государством, в котором осуществляются принципы политического и экономического либерализма. Сильное государство, основанное на правовых нормах, свобода личности в "широчайшем смысле", частнохозяйственная свобода, а также "непреложные религиозные начала", определяющие развитие государства и личности, верховенство церкви, которая выше всех партий – таковы основы будущего государственного устройства России. Одним из главных условий нового государственного устройства признавалась частная собственность. Понятия "свобода" и "собственность" войдут, по словам Маклакова, в будущую идеологию и определяют "новую расценку людей и идей"⁶².

Либеральные консерваторы глубоко осознавали специфические особенности России как крестьянской страны. Лицо возрожденной России, по Струве, должны определять две творческие идеи – "наци-

ональная и крестьянская". Наиболее вероятной формой государственного управления ему представлялась "национальная диктатура на крестьянском основании"⁶³. И Маклакову будущая Россия виделась страной с "широким крестьянским основанием и с сильной единоличной национальной властью". Возрожденную Россию они называли крестьянско-купеческой. Ее создание предполагало передачу земли крестьянам, укрепление крестьянского землевладения, промышленности и торговли "на самых ярких капиталистических началах". Это требовало забвения интересов помещика, отказа от всякой реставрации и недопущения вмешательства государства в частно-экономические отношения. Маклаков считал необходимым даже создать особую политическую партию – крестьянско-купеческую, буржуазную по своей сущности.

В переписке с Бахметьевым Маклаков много размышлял о русском крестьянстве, подчеркивая, что на крестьянство он смотрит "не в очки народолюбия и демократизма"⁶⁴, возлагает большие надежды на крестьянство как на буржуазного собственника, который спасет Россию. Вместе с тем Маклаков отмечал определенную теоретичность этого утверждения. В российской практике, считал он, русский крестьянин оказался "не буржуем" и не "оплотом" консерватизма, а в революции проявил пролетарскую психологию и революционные привычки. "Пролетарием по идеологии и революционером по методам" он стал потому, что жил вне закона, был неравноправен по сравнению с другими сословиями, не имел гражданских прав, прав на землю и был лишен психологии собственника. Причину этого Маклаков усматривал в "проклятой общине... которую кадеты защищали против Столыпина". Разрушение общины сторонники либерального консерватизма считали одним из важнейших условий создания буржуазного государства, при котором крестьянин не станет на сторону революции⁶⁵.

В будущем демократическом государстве иным, чем в советской России, Маклаков видел не только крестьянство, но и рабочий класс, который должен занять не приоритетное, а равное с другими сословиями России положение. "Ошибку" большевиков он усматривал не в том, что они допустили рабочий класс к власти, а в том, что они считали его единственным носителем власти, "подобно тому, как физический труд стали считать единственным создателем ценностей"⁶⁶.

Исторический путь возрождения России либеральные консерваторы связывали с процессом первоначального распада отдельных национальных территорий России, за которым последует воссоединение (неизвестно в какой форме), поскольку потребность в центральной власти будет определяться прежде всего экономическими соображениями. При этом Маклаков подчеркивал, что предугадать как произойдет этот распад и воссоединение невозможно.

Одновременно он отмечал, что неизбежный процесс освобождения и отчленения отдельных национальных районов от большевистского центра означает и расчленение России, что может быть опасным для государства. Однако освобождение от советской тирании окраинных государств он приветствовал, полагая, что они должны быть самостоятельными, их стремление ввести гражданский правопорядок и разумную экономику должно вызывать всяческое сочувствие и поддержку и им должны быть предоставлены все преимущества, которые приняты между цивилизованными государствами⁶⁷.

Струве в рассуждениях на эту тему акцентировал внимание на практическом решении вопроса. Он считал необходимым в национальном строительстве упразднить партийную власть, учредить справедливое судопроизводство, обеспечить национальное воспитание и образование и предотвратить вмешательство государственной власти в дела совести и веры.

В переписке Маклакова с Бахметьевым активно обсуждался вопрос о том, могут ли возникнуть новые социальные отношения в недрах большевизма. "Нужно... найти дорогу к оздоровлению России, – утверждал Маклаков, – начиная не с момента падения большевизма, а обдумывая те шаги, которые должен сделать сам большевизм и которые можно было бы навязывать ему непосредственно, и через те союзные правительства, которые вступают с ним в переговоры"⁶⁸. В этой связи Маклаков даже допускал утопичную мысль о том, что из тактических соображений и с целью получения для страны иностранного капитала, большевики могут пойти на уступку и провозгласить частную собственность. Таким образом он считал возможным содействовать ослаблению большевизма.

"Громадное значение" в борьбе с большевизмом и в стимулировании реформ и раскола в среде большевиков он видел в крестьянских восстаниях, не возлагая, однако, надежд на свержение советской власти. Что касается крестьянских восстаний, которые произойдут на отдельных окраинных территориях, где появится "новый цемент в виде национальной идеи" и где территории могут находиться в сношениях с Европой, получив от нее помощь, то они, по мнению Маклакова, обладают большей силой и могли бы "сместить" большевизм. "Среди общего хаоса России, – писал он, – я мыслил освобождение отдельных территориальных лоскутков, но при условии, что они станут под защиту соседа. Это можно представить себе на Кавказе, в Крыму, на более широких территориях, как казачьи области и целая Украина. Но рекомендовать этот путь, – писал Маклаков, – значило бы проповедовать то самое, с чем мы боролись, т.е. с расчленением России"⁶⁹.

Национальной проблемой специально занимался Н.С. Тимашев. Деятельность регионов, национальное творчество он обуславливал

развитием национальной культуры. Культурный аспект в объяснении исторических явлений и событий – характерная черта либерально-консервативных воззрений. Именно на базе признания культурной самобытности и сохранения государственного единства будущего строится новая Россия, которой "придется укрепить и развить культурные автономии и поднять некоторые из них до ранга политических".

Старую Россию Тимашев рассматривал как унитарное государство с тенденцией к централизму, как "наковальню русификации". Одновременно он признавал "нелепыми басни" самостийников об ужасах царского угнетения, оговаривая, что и в современных демократиях этот "порок" имеет место.

Будущее национальное устройство должно избавиться от несовершенств национального строительства в дореволюционной и Советской России. До революции решение национального вопроса упиралось в ее отсталость, безграмотность населения, нерадивое управление и т.д., в советское время федеративное устройство определялось руководящей ролью коммунистической партии, ее давящим влиянием без учета национальных интересов.

В новой, демократической России необходимы существенные преобразования в разных сферах жизни. Тимашеву представлялось антиисторичным насаждение коллективных форм землепользования, тенденцией развития он признавал свободное право собственности и замену крупного землевладения мелким и средним. О ликвидации помещичьего землевладения, осуществленном в ходе революции, как считал Тимашев, можно сожалеть с экономической, культурной и эстетической точек зрения. Эти сожаления, размышлял он, естественны, но бесполезны. "В части, касающейся ликвидации помещичьего землевладения, дело революции – в духе исторических тенденций – и потому необратимо". Важно обеспечить свободное развитие нации, национальных традиций, предоставить гражданские права, освободить церковь от религиозных гонений⁷⁰.

В планах построения новой России либеральные консерваторы придавали огромное значение роли государства, видя в нем одну из основных традиций дореволюционной России. Конечно, не все представления о государстве Струве, Маклакова и Тимашева были однозначны, имели индивидуальную окраску и эволюционировали в ходе сложной, насыщенной впечатлениями эмигрантской жизни.

Тимашев, например, специально занимающийся этой проблемой, ввел понятие "сложного государства", которое в истории выступало в трех формах: "унитарного государства с автономными провинциями", "союзного государства" и "Союза государств". Форму "Союза государств" он считал неприемлемой для России, так как подобные государства – Германский союз 1815–1848, Швецию до 1848 г. и США до 1789 г. – распались или видоизменились в своем

развитии. Прогноз российского постбольшевистского развития зависит от направления "процесса институционализации": если от центра к периферии, то это ведет к возникновению унитарного государства, от периферии к центру – союзного⁷¹.

Единицей территориального объединения Тимашев предлагал считать этнографический принцип, а также образовать территории с равной численностью населения на основе традиций исторического и экономического развития. Это, по мысли Тимашева, обеспечит пропорциональность национального представительства в общегосударственных учреждениях. Большое значение Тимашев отводил фактору культурного развития, полагая, что чем он выше, тем размер области может быть меньше, так как культурная область может успешнее реализовать ее потребности. Вопрос о разграничении полномочий между государством и местными органами Тимашев считал чрезвычайно важным, характеризующим тип государственного правления.

Невмешательство государства в национальное строительство представлялось ему утопичным и неправильным. Будущее государство должно лишь отказаться от "давящего влияния" и "по возможности" ограничивать свои функции, особенно после "безмерного властного начала" в большевистский период. К компетенции государства он относил оборону страны, регулирование отношений между национальными районами, распоряжение гражданскими правами, свободным земельным фондом, денежной системой, комплексом путей сообщений.

Проблема судоустройства, как справедливо отмечено М.С. Федоровой, занимает в трудах Тимашева как ученого-юриста, одно из центральных мест. Изучая как профессионал опыт мирового судебного строительства, Тимашев относил судебное управление к компетенции областей, государство же должно осуществлять лишь право контроля за соблюдением общегосударственных законов. М.С. Федорова права в утверждении, что Н.С. Тимашев в своей теории "сложного государства" синтезировал опыт и традиции национального устройства России с потребностями времени. Впрочем, следует заметить, что либеральный консерватизм начала XX в. в целом стоял на позиции синтеза традиций и новых потребностей.

Многие страницы своих трудов Тимашев посвятил роли государства в области экономического развития. Он ввел в научный оборот термин "плановое хозяйство", подчеркивая при этом, что не существует препятствий для сочетания демократического устройства и плановой системы. Его статьи "Плановое хозяйство и демократия", "О том, что останется после большевиков" содержат программу будущего устройства России. Изучив опыт участия западноевропейских государств в экономическом развитии разных стран, он писал о

разных типах планового хозяйства: внедрение планового элемента в частные предприятия, что характерно было для Германии и Италии военного времени, об учреждении государственного капитализма, что имело место в дореволюционной России, и создание предприятий со смешанной формой собственности при правовом регулировании государства (Скандинавские страны). Разумеется, непременным условием экономического прогресса Тимашев и его сторонники признавали хозяйственную свободу, которая может быть гарантирована только государством.

Но сохранение принципов демократии и экономической свободы применительно к России, как полагал Тимашев, возможно при наличии ряда условий: многоукладной экономики, т.е. существования различных форм собственности, государственной – в области тяжелой и частной – в торговле и легкой промышленности. (При этом планирование должно касаться лишь крупных предприятий, а также профессионализма и независимости планирующих органов.)

Преимущество планового хозяйства Тимашев видел в возможности применения принципа народоправства в хозяйственной системе, поскольку каждый торговец мог принять участие в работе плановых органов, что могло способствовать повышению активности населения и демократизации производства.

Представления об эмигрантском либеральном консерватизме значительно дополняют высказывания Струве и Маклакова, связанные с их полемикой с Милюковым. Напряженный и темпераментный диалог этих представителей разных политических течений создает яркую картину идейной жизни эмиграции, раскрывает и уточняет позиции обеих сторон. С именем Милюкова либеральные консерваторы связывали характер российского либерализма, его разрушительную и пагубную роль в уничтожении Российской империи. "Политическое поведение" Милюкова в эмиграции усугубляло их противоречия.

Отказ Милюкова в противобольшевистской борьбе объединяться с монархистами Струве признавал "морально недопустимым и политически нелепым". В борьбе с большевиками необходимо идти "рука об руку" с идейными противниками. "Можно быть разных мнений о методах борьбы с большевиками, но это исключает приемы морального дискредитирования какой бы то ни было реальной по форме и приемам борьбы с большевиками"⁷². Из этого Струве делал вывод, что Милюков выступает противником единого противобольшевистского фронта, отказывается от активной борьбы с советской властью и тем самым невольно становится на сторону врагов России. Размышляя на эту тему, Струве попытался понять феномен Милюкова, так как историческая публицистика обязана осмысливать и разъяснять исторические явления, к числу которых относились и политические деятели, особенно такого масштаба, как Милюков.

Струве не разделял политической концепции Милюкова, но воздавал дань его таланту политика (особенно в первый период его деятельности), общественного трибуна, историка и публициста. В статье, посвященной 70-летию Милюкова, не касаясь разногласий с ним, лежащих "за роковой чертой революции", Струве упрекал Милюкова за его "измену" и осуждение "белого движения" и неспособность стать лидером антибольшевистского зарубежья. Он считал, что разногласия по этим вопросам "не укладываются в чисто политические рамки"; они "затрагивают самые глубокие пласты национальных чувств и чувствований". Причины подобного политического поведения он выводил из особенностей Милюкова как личности. К Милюкову, по его мнению, "изумительно подходит" определение: "ум по преимуществу распорядительный". Милюков исключительно умел располагать идеи, аргументы, "арранжировать вещи", но не способен был понимать живых людей, сочувствовать и сострадать им. Именно этим Струве объяснял "роковые неудачи" Милюкова как политика⁷³.

Деятельность Милюкова и его единомышленников в эмиграции представлялась либералам-консерваторам глубоко ошибочной и вредной для России. "Кадетская партия, – свидетельствовал Маклаков, – представляет в настоящее время трагическое зрелище полного отсутствия политического творчества", Милюков "потерял самого себя, потерял партию, потерял индивидуальность и самостоятельность"⁷⁴.

Провозглашенная Милюковым "новая тактика", образование Республиканско-демократического объединения, союз с эсерами, программа будущего устройства России как федеративной республики вызывали осуждение в либерально-консервативной среде. Предметом непримиримых споров являлся союз Милюкова с эсерами. Милюков утверждал, что либеральный демократизм, к которому он причислял себя и своих сторонников, многому научился у социализма: "смотреть на социальную реформу как на прямую задачу государства"⁷⁵. Партия народной свободы, подчеркивал он, всегда шла в направлении к этой цели.

Отношение Милюкова к социализму прошло определенную эволюцию от абсолютного отрицания до признания его определенной роли как общественной теории. Однако Милюков различал социализм эсеров и социализм социал-демократов. С демократическим социализмом, если он освободился от ошибок недемократического социализма – от идеи классовой борьбы и диктатуры пролетариата – с таким социализмом несоциалистические демократы, т.е. сторонники Милюкова, полагал он, могут идти вместе. Содержанием социалистического строя, по Милюкову, должно быть установление парламентского правового государства, хозяйства капиталистического типа и мелкой частной собственности⁷⁶.

Струве социализм и союз либералов с социалистами-революционерами воспринимал иначе. Он отмечал эволюцию социализма, потерю надежд на его благодеяния. Как многие мыслители-эмигранты Струве считал, что социализм может преуспевать и играть роль только "внутри капитализма и при условии капитализма", т.е. внутри того общественного строя, который по социалистической программе подлежит отрицанию. В этом, как считал Струве, заключалось "глубочайшее, основоположное историческое противоречие социализма"⁷⁷.

Опыт социализма в советской России, где "большевизм принял и осуществил ортодоксальную марксистскую идею сочетания коренного социального преобразования с методами и приемами насильственной политической революции" означает, по Струве, разрушение культуры, права и пропаганду социальной революции. В объединении Милюкова с эсерами как социалистами-революционерами Струве видел "недопустимый союз с социалистами", отступление от принципов либерализма, понимаемого в либерально-консервативном духе.

Для Маклакова коалиция с эсерами, их сотрудничество под вывеской Учредительного собрания также представлялись изменой либеральным принципам. "Социализм как таковой, – писал он, – скомпрометирован коммунизмом... Ни кадеты, ни эсеры, именно потому, что они старые партии, никаким обаянием в России не пользуются. А само Учредительное собрание партий социалистических давно потеряло всякий кредит". Демократическая программа будущей России представлялась ему "определенно антисоциалистической"⁷⁸. Объединение с эсерами Маклаков считал не только бесперспективным фактом, но и углубляющим противоречия и раздоры в эмигрантской среде.

Неприятие либеральных консерваторов вызывала и милюковская концепция "эволюции советской власти", суть которой состояла в том, что советская власть сама эволюционирует к своей гибели и утрате своих принципиальных установок. Струве считал эту концепцию утопией, "неумной конструкцией" и отказом от активной борьбы с большевиками. В статье "Два суждения: об эволюции большевизма и революции против большевизма"⁷⁹ Струве солидаризировался с приводимыми им мыслями своего "друга-осведомителя", посетившего советскую Россию. Их смысл заключался в том, что если "самодержавный строй" мог эволюционировать в конституционную монархию, что осуществилось в 1905–1906 гг., то советская власть не может себе позволить роскоши эволюции. К большевизму возможно лишь революционное отношение.

Струве считал необходимым различать эволюционные процессы, происходящие в самой России, и эволюцию большевистской власти, которая "неспособна к изменению своей деспотической сущно-

сти". "Те, кто внушает русским людям, находящимся за рубежом, эволюционные иллюзии и примиренчески-соглашательские настроения по отношению к большевикам, – писал он, – поражают отсутствием всякого исторического воображения"⁸⁰ и способности научно оценивать явления и события истории.

Маклаков разделял это мнение Струве: "эволюция жизни не есть эволюция власти", большевизм не способен к эволюции. "Как можно трансформировать большевиков? – обращался он к Бахметьеву. – Вот основной вопрос. Укажите этот путь, заставьте в него поверить, постройте на этом пути всю политику и Вы спасете Россию"⁸¹.

"Вред" концепции Милюкова Маклаков усматривал и в ее влиянии на европейское общественное мнение, для которого Милюков был авторитетным политическим деятелем и мог сеять ошибочные мысли о происходящем в России и о борьбе с большевизмом.

- ¹ Исключение составляет лишь диссертация М.С. Федоровой "Либерально-консервативное направление общественно-политической мысли русского зарубежья 20–40-х гг. XX в." (М., 2003) – ценная исследовательская работа, не лишенная, однако, ряда односторонних трактовок.
- ² Струве П. По поводу соображений А.И. Пильца // Возрождение. 1925. 18 окт.
- ³ Струве П. Два основных освободительных требования // Россия и славянство. 1929. 12 янв.
- ⁴ Струве П. П.А. Столыпин // Возрождение. 1926. 26 сент.; Он же. Александр I Благословенный и Николай II Замученный // Возрождение. 1925. 3 дек.
- ⁵ Струве П. Дух и слово. Париж, 1981. С. 10.
- ⁶ Струве П. О соглашении и о соглашательстве // Возрождение. 1926. 5 сент.
- ⁷ Струве П. "Младороссы". Социал-легитимисты. "Крестыанская Россия". Национал-республиканцы // Россия. 1928. 18 февр.
- ⁸ "Совершенно лично и доверительно..." / Б.А. Бахметьев – В.А. Маклаков: Переписка 1919–1951: В 3 т. М., 2001–2002. Т. 3. С. 437.
- ⁹ Там же. Т. 2. С. 89.
- ¹⁰ Струве П. По поводу соображений А.И. Пильца // Возрождение. 1925. 18 окт.
- ¹¹ "Совершенно лично и доверительно..." Т. 3. С. 373, 437.
- ¹² Струве П. Ответ А.Н. Крупенскому // Возрождение. 1925. 23 сент.
- ¹³ Струве П. Демократия и консерватизм // Возрождение. 1925. 16 июля.
- ¹⁴ См.: Струве П. Государственное дарование и политический лик П.Н. Врангеля // Россия и славянство. 1933. 1 июня; Он же. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм: Сб. статей за пять лет (1905–1910). СПб., 1911.
- ¹⁵ "Совершенно лично и доверительно..." Т. 3. С. 401.
- ¹⁶ Там же. Т. 1. С. 449.
- ¹⁷ См.: Тимашев Н.С. О сущности советского государства // Новый журнал. 1964. Нью-Йорк. № 76; Он же. Плановое хозяйство и демократия // Там же. 1946. № 13; и др.
- ¹⁸ Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Русская мысль. 1923. № 6–8. С. 250–251.
- ¹⁹ Франк С.Л. De profundis // Из глубины. М., 1991. С. 322.

- 20 См.: Франк С.Д. Духовные основы общества. Париж, 1930; *Он же*. Из размышлений о русской революции // Русская мысль. 1923. № 6–8; и др.
- 21 Струве П. Возвышение Пилсудского // Возрождение. 1926. 1 июня.
- 22 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 3. С. 542–543.
- 23 Там же.
- 24 Струве П. Топчутся в партийных тупиках // Возрождение. 1926. 26 дек.
- 25 Возрождение. 1925. 8 июня.
- 26 Струве П. Д.С. Пасманик об едином фронте. "Империя и царство" Л. Петрова // Россия. 1928. 11 февр.
- 27 Тимашев Н.С. Мысли о демократическом будущем России // Свободная Россия. Берлин, 1924. С. 209.
- 28 См.: Возрождение. 1926. 13 мая.
- 29 Там же.
- 30 Струве П. Выборы в Германии и выборы во Франции // Россия и славянство. 1932. 7 мая.
- 31 Струве П. Блуждания и заблуждения французского фашизма // Возрождение. 1927. 3 мая.
- 32 Струве П. Фашизм и социализм // Возрождение. 1927. 15 апр.
- 33 Струве П. Расхождение Гинденбурга и Брюнинга // Россия и славянство. 1932. 18 июня.
- 34 Россия и славянство // Там же.
- 35 Струве П. Английские отражения большевизма и евразийства // Россия и славянство. 1929. 6 июля.
- 36 Струве П. Идеи, власть, личности. Кризис советчины // Россия. 1927. 10 дек.
- 37 Струве П. Люди во-ображения и безо-ображения / Возрождение. 1925. После 1 ноября.
- 38 Там же.
- 39 Струве П. Современный мир и положение и роль в нем коммунизма // Россия и славянство. 1932. 2 апр.
- 40 Струве П. Экономический кризис советчины // Россия. 1928. 10 марта.
- 41 Струве П. Три положения и положение вещей // Россия и славянство. 1929. 7 сент.
- 42 Струве П. О своеобразии русского исторического развития // Россия. 1928. 10 марта.
- 43 Струве П. Почему и как? Что же дальше? // Возрождение. 1926. 15 июня.
- 44 Струве П. Идеи, власть, личности. Кризис советчины // Россия. 1927. 10 дек.
- 45 Струве П. О том, что делается и зреет в России // Возрождение. 1926. 14 окт.
- 46 Струве П. Идеология, разрушающая быт и сама превращающаяся в звериный быт // Россия и славянство. 1929. 12 окт.
- 47 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 3. С. 397.
- 48 Там же. Т. 1. С. 477; Т. 2. С. 271; Т. 3. С. 397; Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. М., 1991. С. 150–184.
- 49 Струве П. Мелкие свары и великая борьба // Россия и славянство. 1932. 4 июня.
- 50 Там же.
- 51 Струве П. Фасад и фундамент // Возрождение. 1926. 5 авг.
- 52 Струве П. Наши идеи // Возрождение. 1926. 3 июня.
- 53 Струве П. Ни гордыни, ни самоуничужения // Возрождение. 1926. 4 февр.
- 54 Струве П. Две практические идеи начинают завоевывать Зарубежье. Все-объемлющий смысл идеи свободы // Россия и славянство. 1930. 24 мая.
- 55 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 2. С. 247–248.
- 56 Там же.

- 57 Там же. Т. 1. С. 377.
- 58 Там же. С. 197.
- 59 *Тимашев Н.* Возможно ли предвидение завтрашнего дня // *Возрождение*. 1929. 15 июля.
- 60 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 3. С. 356.
- 61 *Струве П.* Ответ Крупенскому // *Возрождение*. 1925. 23 сент.
- 62 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 2. С. 193.
- 63 *Струве П.* О "Возрождении" и возрождениях // *Возрождение*. 1926. 30 янв.
- 64 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 2. С. 17, 193; Т. 1. С. 142.
- 65 Там же. Т. 2. С. 17–18.
- 66 Там же. С. 264.
- 67 Там же. Т. 1. С. 397.
- 68 Там же. Т. 1. С. 348.
- 69 Там же. С. 349.
- 70 *Тимашев Н.С.* Центр и места в послереволюционной России (К проблеме федеративного устройства России) // *Крестьянская Россия: Сб. статей по вопросам общественно-политическим и экономическим*. Прага, 1923. Т. V–VI. С. 58.
- 71 Эта тема впервые рассмотрена в работе М.С. Федоровой "Сложное государство" Н.С. Тимашева: попытка либерально-консервативного синтеза // *Российское общество и власть в XX веке*. М.; Рязань, 2003.
- 72 *Струве П.* Кампания очернения // *Россия*. 1927. 8 окт.
- 73 *Струве П.* П.Н. Милюков // *Россия и славянство*. 1929. 9 марта.
- 74 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 1. С. 353–354. См.: *Будницкий О.В.* Нетипичный Маклаков // *Отечественная история*. 1999. № 2, 3; *Александров С.А.* К истории русского либерализма в эмиграции (возникновение и деятельность РДО) // *История и историки*. М., 2003; *Сперкач А.И.* П.Н. Милюков против правых кадетов ("Новая тактика" и идеологические аспекты раскола конституционных демократов) // *П.Н. Милюков: историк, политик, дипломат*. М., 2000 и др.
- 75 *Милюков П.* Социалистическая демократия или "социал-демократия" // *Последние новости*. 1924. 13 июля.
- 76 *Милюков П.* Демократия и социализм // *Последние новости*. 1924. 9 июля.
- 77 *Струве П.* Фашизм и социализм // *Возрождение*. 1927. 15 апр.
- 78 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 1. С. 380.
- 79 *Возрождение*. 1927. 21 июня.
- 80 Там же. 1925. 5 июля, 27 сент.; 1927. 21 июня.
- 81 "Совершенно лично и доверительно..." Т. 2. С. 191.

**БОРЬБА С "ОБЪЕКТИВИЗМОМ"
И "КОСМОПОЛИТИЗМОМ"
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ:
"РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ" Н.Л. РУБИНШТЕЙНА**

I

В любом историческом исследовании, помимо вложенных в него идей, волей-неволей отражается общее состояние науки, политическая борьба своего времени. Чем глубже, шире, актуальнее поставлены проблемы, чем более самостоятельно они решены, тем дольше это произведение не превращается в "историографический факт" и не "отпускает" от себя автора. Книга Н.Л. Рубинштейна (1897–1963) "Русская историография" (М., 1941) – наглядный тому пример.

Написанная в переломный для советской исторической науки период, когда безраздельное господство взглядов М.Н. Покровского было сильно поколеблено, "Русская историография" несла в себе ряд принципиально новых для марксистских исследований положений. Резкое изменение политики ВКП(б) в области гуманитарных знаний в послевоенные годы поставило труд Н.Л. Рубинштейна вне рамок советской историографии. Он превратился в удобный объект критики. Почти десятилетняя полемика вокруг сочинения Н.Л. Рубинштейна отражала основные тенденции в развитии исторической науки и на долгие годы определила тематику и направленность историографических исследований советских ученых.

II

Переехав из Одессы на постоянное жительство в Москву, Н.Л. Рубинштейн служил в Научно-исследовательском институте иностранной библиографии Объединения государственных книжно-журнальных издательств Народного комиссариата просвещения РСФСР (ОГИЗ; 1931–1933), редактором иностранной редакции Государственного издательства социально-экономической литературы (Соцэкгиз; 1933–1939). Помимо знакомства с современной западноевропейской историографией, эта работа содействовала развитию аналитического мышления начинающего ученого, что впоследствии нашло отражение в глубоких теоретических заключениях его исследований. В 1934 г. Н.Л. Рубинштейн был утвержден доцентом Московского областного педагогического института (МОПИ). Одновременно по совместительству ученый начал чтение лекций в Московском университете (с 1942 г. был зачислен в штат). В 1936 г. Н.Л. Ру-

бинштейн был также приглашен читать курс историографии в Московском институте философии, литературы, истории (МИФЛИ)¹.

Необходимо отметить, что до Н.Л. Рубинштейна ни в МГУ, ни в МИФЛИ полного курса историографии никто не читал. Это объяснялось как новизной предмета для советской высшей школы, так и более серьезными причинами. Профессор А.П. Гагарин в этой связи отмечал: "После разгрома схоластической, неверной, антиленинской школы Покровского, мы долгое время имели налицо боязнь даже у крупных историков делать обобщения в области исторических наук и заниматься анализированием крупных исторических фактов"². Обращение к историографической проблематике требовало в те годы помимо научной смелости еще и определенного гражданского мужества.

Параллельно с лекциями Н.Л. Рубинштейн вел подготовку докторской диссертации по истории русской исторической науки "от летописей до Ленина". Работа была завершена в очень короткие сроки. 15 мая 1940 г. на ученом совете МИФЛИ состоялось обсуждение монографии Н.Л. Рубинштейна "Русская историография", в которой приняли участие ведущие отечественные специалисты в этой области знания: Ю.В. Готье, А.М. Панкратова, М.Н. Тихомиров (официальные оппоненты), С.В. Бахрушин, Н.М. Дружинин. Все выступавшие и представившие свои отзывы отмечали, что труда такого широкого тематического и хронологического охвата еще не было в отечественной науке. Н.Л. Рубинштейн представил систематическое, пронизанное единой мыслью освещение процесса становления и развития исторической науки в России. "Это прежде всего авторская, исследовательская работа с самостоятельным замыслом и выполнением, работа лишенная элементов компилятивности и основанная на личном изучении первоисточников..."³ – заключала М.В. Нечкина.

Высказанные в ходе обсуждения замечания не требовали принципиального пересмотра концепции и структуры монографии. Оппоненты указывали на необходимость скорейшей публикации диссертации. Высокие оценки этого труда подтверждали и итоги голосования: не было подано ни одного черного шара⁴. Учитывая актуальность и научную значимость исследования, кафедра истории СССР МГУ 18 января 1941 г. выдвинула "Русскую историографию" на соискание Сталинской премии 1942 г.⁵

1 марта 1941 г. состоялось заседание экспертной комиссии Комитета по делам высшей школы по обсуждению вопроса о предоставлении "Русской историографии" статуса вузовского учебника. Его участники (Ю.В. Готье, М.В. Нечкина, М.Н. Тихомиров и др.) вновь подтвердили высокие оценки этого сочинения и согласие с основными его положениями. Однако в виду наличия в нем многих дискуссионных проблем, выступавшие единогласно рекомендовали

присудить книге статус не учебника, а учебного пособия⁶. Замечания А.В. Шестакова о перегруженности "Русской историографии" философской терминологией и о сложности восприятия ее содержания вызвали следующую реплику М.Н. Тихомирова: "В этом году студенты 5-го курса МГУ сдавали историографию по стенограммам проф[ессора] Рубинштейна... Результаты были прекрасные. Не было случая, чтобы студенты говорили, что они не поняли"⁷.

Вместе с опубликованными работами М.Н. Тихомирова по отечественному источниковедению и О.Л. Вайнштейна по западноевропейской историографии книга Н.Л. Рубинштейна призвана была заполнить существовавший пробел в учебных пособиях для вузов страны.

В 1940-е годы в вузах советской России историография как учебная дисциплина находилась в стадии становления. Четких дефиниций ее предмета, задач, методов еще не было. Существовали различные подходы к определению места и вклада в развитие науки как отдельных историков, так и целых направлений. В этих условиях было ясно, что книга Н.Л. Рубинштейна вызовет немало разногласий в подходах и оценках, неизбежных при анализе такого значительного по охвату материала сочинения. Это показало уже само обсуждение диссертации, и к этому призывали практически все выступавшие, ссылаясь на спорность и нетрадиционность в решении автором ряда проблем. Подразумевалось, что начавшаяся полемика, нисколько не умаляя научной значимости исследования Н.Л. Рубинштейна, стимулирует интерес к дисциплине, активизирует углубленную разработку малоизученных вопросов. Так полагал и сам автор: "Я не считаю свою работу (окончательным. – А.Ш.) итогом работы по историографии. Конечно, это только первый этап, первая борозда, которая послужит предметом целого ряда обсуждений, дискуссий, что будет очень плодотворно для дальнейшего развития историографии"⁸.

Издание книги затянулось. Она вышла в свет только зимой 1942 г. В том же году редакция "Исторического журнала", поместив рецензию О.Л. Вайнштейна, призвала научные круги откликнуться на этот труд⁹. Однако в условиях военного времени это пожелание не могло быть реализовано.

III

В первые послевоенные годы поднятые в книге проблемы (хотя и под иным углом зрения) приобрели помимо научной и политической заостренность. У некоторой части советской творческой интеллигенции окрепло убеждение, что источником победы над фашизмом, наряду с достижениями социализма, явилось и "наследство, которое советская социалистическая революция получила от капитализма и от царской России"¹⁰. Монополия ВКП(б) на научную тео-

рию подверглась корректировке снизу, что не могло не вызвать серьезных опасений у партийных лидеров. Усиление борьбы с любыми проявлениями "вольномудства" внутри страны обуславливалось и обострением идеологического противоборства с недавними союзниками по антигитлеровской коалиции.

В 1946 г. были проведены дискуссия по проблеме образования русского централизованного государства, а также созданное по инициативе ЦК ВКП(б) "и лично тов. Сталина" совещание работников "научно-философского фронта" по обсуждению учебника Г.Ф. Александрова "История западноевропейской философии"¹¹ В следующем году научная общественность выявляла "методологические просчеты" авторов второго издания учебника по истории СССР¹². Периодика, резолюции собраний, совещаний ученых запестрели обвинениями как в адрес конкретных лиц, так и целых учреждений, изданий "в недостатке большевистской заостренности и воинственности", "необходимости коренной перестройки и улучшения работы", преодоления преклонения перед Западом и дореволюционной наукой. В июле 1948 г. академик Е.В. Тарле на конференции, посвященной 30-летию архивного дела в СССР, требовал разоблачения "антинаучных концепций буржуазных историков". Ему вторил А.Д. Удальцов, который на научной сессии по истории Крыма в том же году призывал "резко отмежевать взгляды советской науки от точек зрения досоветских ученых – Ключевского, Шахматова, Соболевского и др."¹³

В качестве объекта критики "Русская историография" Н.Л. Рубинштейна была выбрана не случайно. От числа многочисленных изданий, в которых были выявлены "отступления от марксистско-ленинской методологии", этот труд отличали широкий охват материала, глубина обобщений и, наконец, объем. Книга являлась практически единственным учебным пособием по предмету и основой для лекционных курсов в университетах и педвузах страны, а ее автор был ведущим специалистом в этой области исторических знаний. Организаторов кампании никто не смог бы упрекнуть в мелкотемье. Нельзя не отметить и созвучия в проблематике исследований Н.Л. Рубинштейна и Г.Ф. Александрова, что давало возможность проведения обсуждения по уже апробированному сценарию.

Кто явился непосредственным организатором гонений на Н.Л. Рубинштейна и его "Русскую историографию", установить вряд ли удастся, да это и не столь важно. Постановка вопроса о начале "всесторонней глубокой критики и самокритики на историческом фронте", всесоюзный характер этого мероприятия и само развитие событий однозначно свидетельствуют, что инициатива исходила из ЦК ВКП(б). На среднем уровне власти эта идея нашла ярых приверженцев в Министерстве высшей школы и редакции "основного периодического органа исторической мысли" – журнала "Вопросы ис-

тории", недавно организованного вместо "политически беззубого" "Исторического журнала"¹⁴.

Инициатива проведения кампании нашла многих адептов на местах, где в большинстве своем преобладали профессорско-преподавательские кадры, выпестованные в осужденной, но пустившей глубокие корни школе М.Н. Покровского. Для них борьба с "пережитками буржуазной идеологии" была делом привычным. Однако инициатива с мест (факт неоднократно подчеркиваемый в ходе дискуссии) была явно инспирирована. Еще в феврале 1948 г. профессор Саратовского университета Л.А. Дербов писал Н.Л. Рубинштейну: "Как сейчас обстоят дела в области русской историографии? Были ли какие-нибудь обсуждения, официальные материалы по части перестройки этого курса?.. До меня дошли слухи, что в Москве предполагается специальное совещание по этому вопросу"¹⁵. Но уже в марте 1948 г. в ряде университетов и педагогических вузов на периферии прошли обсуждения книги Н.Л. Рубинштейна.

Когда стало ясно, что подталкиваемого властями широкого обсуждения книги не избежать, Н.Л. Рубинштейн, желая предварить "разоблачения" и смягчить удар, решил сделать первый шаг сам. В февральском номере "Вопросов истории" были опубликованы статьи Н.Л. Рубинштейна "Основные проблемы построения русской историографии" и М.Н. Тихомирова "Русская историография XVIII века", которыми редакция журнала открыла обсуждение книги¹⁶. Б.А. Романов писал Н.Л. Рубинштейну из Ленинграда: "В университете начинаются заседания с откликами биологической дискуссии... На этом фоне ваш демарш в сторону правды с предвидением дискуссии не выпадает из стилия... Мне бы такие умышленные поступки были уже не по возрасту..."¹⁷

Ссылаясь на итоги критики работы Г.Ф. Александра и опыт, накопленный советской наукой за прошедшие десять лет, Н.Л. Рубинштейн откорректировал свои взгляды на предмет, задачи историографии, отношение к "буржуазному наследству", проблеме иностранного влияния и т.п. Впоследствии оказалось, что "разоружение" Н.Л. Рубинштейна прошло незамеченным. Более того, аргументы в пользу пересмотра своих взглядов широко использовали участники дискуссии для критики его же сочинения¹⁸.

Кульминацией развернутой вокруг книги Н.Л. Рубинштейна кампании явилось состоявшееся 15–20 марта 1948 г. в Москве под эгидой Министерства высшего образования Всесоюзное совещание заведующих кафедр истории СССР университетов, педагогических вузов, специалистов Академии наук СССР и Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). Ничего общего с научной дискуссией совещание не имело. Оно явилось еще одним примером того, как изменения в трактовке научных проблем происходили не по мере накопления знаний по предмету, а по директивному указанию "сверху", из

"пропагандистских целей". Книга в необходимости и научных достоинствах которой еще несколько лет назад никто не сомневался, враз стала "методологически чуждой", "приносящей вред социалистическому строительству". Под видом марксистского анализа автор якобы протащил идеи "буржуазного объективизма" – "превозносил Гегеля перед Марксом". В своих оценках Н.Л. Рубинштейн отказался от принципа партийности в историческом исследовании и вскрытия "классовых корней" дореволюционной науки. По мнению всех ораторов, книга Н.Л. Рубинштейна нуждалась "не в переработке, а в написании заново". Эти обвинения перекочевывали из одного выступления в другое, причем к источникам ни один из участников дискуссии не апеллировал. Их выводы большей частью ни на какую исследовательскую работу не опирались. Понятие объективности научного знания в ходе дискуссии вообще не упоминалось. Как его синоним повсеместно выступал принцип партийности: научно только то, что "помогает делу строительства коммунизма в нашей стране"¹⁹. О научных достоинствах "Русской историографии" никто из выступавших даже не упомянул.

Ход обсуждения наглядно свидетельствовал, что, формально осудив выводы школы М.Н. Покровского, ученые-марксисты отбросили лишь "крайности" в высказываниях своего идейного учителя, продолжая широко использовать весь арсенал его методики и методологии. Так, Н.Л. Рубинштейну ставилось в упрек "затушевание антидемократических, реакционных взглядов", "классовой сущности" воззрений М.П. Погодина, С.М. Соловьева, славянофилов, Н.П. Павлова-Сильванского и др. Совершенно кощунственной казалась А.Л. Сидорову предложенная Н.Л. Рубинштейном трактовка творческого наследия М.П. Погодина и К.Д. Кавелина как предтеч основных построений русской исторической науки второй половины XIX в. Следуя ленинской периодизации революционного движения в России, выступавшие приоритетным направлением в изучении дореволюционной историографии считали не академическую науку, а "носителей передовой идеологии" (А.Н. Радищев, декабристы, революционеры-демократы, Н.Г. Чернышевский). Определяющей тематикой исследований, по их мнению, должны стать проблемы крестьянского, рабочего движения, революционной мысли и практики. Н.Л. Рубинштейн согласился с критикой в свой адрес, хотя, казалось бы, недавно в рецензии на программу курса историографии нового времени Б.Г. Вебера выступал против сведения предмета только к проблематике возникновения и развития марксистской теории²⁰.

Выступавшие игнорировали многократные заверения Н.Л. Рубинштейна о том, что "проблема советского периода на сегодня должна быть самостоятельной темой и не может войти в общий курс". Вновь, как и в 1940 г., звучали упреки в ущербности освеще-

ния исторических взглядов классиков марксизма-ленинизма, И.В. Сталина, недостаточном внимании к советскому периоду развития науки.

К участию в московском совещании не удалось по техническим причинам привлечь всех "работников исторического фронта": среди выступавших преобладала периферийная профессура, часто вообще далекая от исследовательской работы. Организаторы отмечали отсутствие на заседаниях "так называемых столпов исторической науки". "Русскую историографию" ведущие исследовательские центры страны даже не удосужились обсудить, и их представители в большинстве своем совещание проигнорировали²¹.

В рамках полемики вокруг труда Н.Л. Рубинштейна была опубликована статья Д.С. Лихачева "О летописном периоде русской историографии". Эта работа носила академический характер. Однако содержащиеся в ней оценки, безусловно, усугубили гонения на Н.Л. Рубинштейна²². Д.С. Лихачев критиковал своего оппонента за выводы о подражательном характере "Повести временных лет", отрицание у летописцев представлений о причинно-следственной связи событий, принижении тем самым уровня развития исторических знаний XII–XVII вв. и их "идейного уровня"²³.

Двусмысленность ситуации состояла в том, что "Русская историография" действительно содержала некоторые материалы для подобных заключений. Но ко времени публикации рецензии взгляды Н.Л. Рубинштейна на отечественное летописание претерпели существенные изменения. Это нашло отражение в его статье 1946 г. "Летописный период русской историографии (историография феодальной Руси XI–XVII веков)", о которой Д.С. Лихачев по каким-то причинам умолчал²⁴. В своем ответе на высказанные замечания (так, кстати, не по вине автора оставшемся неопубликованным) Н.Л. Рубинштейн справедливо недоумевал: «Можно ли, действительно, считать добросовестной такую критику, когда автор, имея перед собой исследуемую работу 1946 года, упорно цитирует работу 1941 года ("Русская историография"), чтобы сплошь и рядом преподносить мне с почтительным тоном то самое, что писано мною в статье 1946 года»²⁵. Д.С. Лихачев умолчал, что включение в "Русскую историографию" обзора отечественного летописания было делом принципиально новым: традиционно летописание рассматривалось только в курсе источниковедения. Н.Л. Рубинштейн едва ли не впервые в советской науке поставил задачу проследить закономерный процесс превращения исторических знаний в науку, без чего история последней не была бы полна.

Институт истории СССР, несмотря на многочисленные призывы редколлегии "Вопросов истории", Всесоюзной конференции преподавателей вузов к активизации борьбы с "пережитками буржуазной идеологии", "укреплению кадров", долгое время не предпринимал ника-

ких конкретных шагов. В конце сентября 1948 г. один из сотрудников его ленинградского филиала сообщил: "Сегодня, говорят, решительный день в Ин[ститу]те истории. Нас отсюда никого не вызвали... Значит, в Москве придают этому локальный характер"²⁶. Только после появления в центральной прессе статей о ряде "объективистских" публикаций института²⁷ 15–18 октября 1948 г. было проведено расширенное заседание его ученого совета. В прениях по докладу Б.Д. Грекова выступило 34 человека. 2 и 4 сентября прошло заседание сектора истории средних веков, а 21 октября – сектора истории СССР до XIX в. Руководство института каялось в ослаблении внимания к издательской деятельности, что привело к выпуску ряда "порочных работ", сползанию на позиции "буржуазного объективизма". Особенным нападкам подверглись авторы, пытавшиеся "навязать советским людям научные традиции" историко-юридической школы, В.О. Ключевского, А.А. Шахматова, П.Г. Виноградова, П.Н. Милукова и др. "Объективизм" научного анализа Н.Л. Рубинштейна виделся выступавшим в том, что "развитие русской исторической науки автор изобразил как единый, плавный процесс развития исторической мысли, в котором каждое новое направление вытекает из предшествовавшего, сохраняет и развивает его наследие". В плане же конкретных "ошибок" были повторены заключения Всесоюзного совещания. В оценках творчества Н.Л. Рубинштейна восторжествовал (не в столь, конечно, острой форме) уже осужденный в советской науке вульгарно-социологический подход М.Н. Покровского²⁸.

На этом дискуссия о "пережитках буржуазного объективизма и преклонении перед буржуазно-помещичьей историографией" выдохлась. Н.Л. Рубинштейн, признав свои "заблуждения", вновь погрузился в исследовательско-преподавательскую работу. В феврале 1949 г. он был впервые избран в Ученый совет Института истории²⁹. Его научная деятельность получила высокую оценку и в МГУ. В опубликованной в начале года статье И.И. Минца "Ленин и развитие советской исторической науки" ученый, несмотря на все еще не утихшую критику, был назван представителем марксистско-ленинской историографии³⁰.

Тревоги, казалось, ушли в прошлое. Однако результатами дискуссии ее инициаторы (прежде всего редколлегия "Вопросов истории") удовлетворены не были: она явно не достигла уровня "показательности" обсуждения книги Г.Ф. Александрова. Поэтому как нельзя кстати для них явилась инспирированная ЦК ВКП(б) и широко подхваченная на местах кампания "по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством". В Московском университете ее возглавил назначенный в марте 1948 г. проректором по учебно-научной работе на гуманитарных факультетах профессор А.Л. Сидоров.

Кандидатура организатора чистки научных кадров была выбрана как нельзя более удачно. А.Л. Сидоров в научных и политических

вопросах менял свои воззрения в полном соответствии с изменениями партийного курса. Выпускник Института красной профессуры, он в предвоенные годы клеймил последователей школы М.Н. Покровского. С изменением политической конъюнктуры в 1960-х годах, напротив, писал о большом вкладе своего учителя в дело становления марксистской науки. Также резко менялись его оценки работ И.В. Сталина³¹. В ходе кампании по борьбе с космополитизмом он, кроме выполнения партийного долга, преследовал своекорыстные цели – удаление научных противников.

"Мальчиком для битвы" на историческом факультете МГУ был избран коллега А.Л. Сидорова по Институту красной профессуры И.И. Минц. К его "группе" был "приписан" и Н.Л. Рубинштейн. "Русская историография" продолжала оставаться удобной мишенью. Подготовить новое учебное пособие или курс лекций с учетом высказанных в 1948 г. "замечаний" времени не было. Помимо этой работы, объектом критики стал теперь и очерк Н.Л. Рубинштейна "История СССР до XVII в." в Большой советской энциклопедии, высоко оцененный "безродными космополитами" кафедры. Среди последних абсолютно преобладали лица еврейской национальности. Этот факт, однако, нигде не комментировался. Об антиеврейской направленности кампании нигде не было сказано ни слова. Только в своих неопубликованных воспоминаниях А.Л. Сидоров признавался: "Он (И.И. Минц. – А.Ш.) оставлял впечатление человека, склонного вилить, говорить в лицо одно, а за глаза делать другое. Личной храбростью и мужеством он не отличался, зато способность собирать своих людей, группировать их, поддерживать лиц определенной национальности, несомненна. Я считаю своей заслугой, что в... [19]49 г. выставил его из университета, где он собрал комплекс сил и заведовал кафедрой. Там, где появлялся Минц, появлялись исключительно евреи. Я не против евреев, среди которых у меня много друзей и много учеников, но я против того, чтобы собирали и группировали только их, как это делал Минц"³².

Фамилия Н.Л. Рубинштейна в связи с "группой" И.И. Минца всплыла уже на сессии Институты истории и философии Академии наук СССР в феврале 1949 г. По свидетельству С.С. Дмитриева, 25 февраля в своем выступлении Х.Г. Аджимян "изничтожал" "Русскую историографию"³³. 3 марта 1949 г. Н.Л. Рубинштейн выступил на партийном собрании исторического факультета с докладом "Задачи и пути перестройки курса русской историографии"³⁴. Он признавал правильность всех замечаний в свой адрес, указал на прямую связь "Русской историографии" с традициями "буржуазной" науки и наметил пути преодоления выявленных "недостатков"³⁵. Это признание было равносильно отказу от основных теоретических принципов построения курса русской историографии. Однако индульгенции ученый не получил. «Было в университете

на истфаке партсобрание. Итоги его: главная опасность – "школа Минца"... На втором месте Рубинштейн с его "Историографией", это – космополитизм в исторической науке... Для Рубинштейна дело может кончиться исключением из партии»³⁶, – зафиксировал в дневнике С.С. Дмитриев.

С заключительным словом по докладу ученого 3 марта 1949 г. выступил А.Л. Сидоров. Оппонент, казалось, не услышал покаянных заявлений Н.Л. Рубинштейна. С незначительными конъюнктурными вариациями и некоторым смещением акцентов А.Л. Сидоров повторил свои упреки и выводы, высказанные в ходе дискуссии 1948 г. Н.Л. Рубинштейн якобы не извлек уроков из критики и "не стал на путь действительной, реальной перестройки". В итоге, "взгляды Рубинштейна – это последовательные идеи буржуазного космополитизма и... преклонения перед иностранной наукой"³⁷.

Еще дальше в самообличении пошел Н.Л. Рубинштейн в своем выступлении на конференции аспирантов и студентов кафедры истории СССР Московского университета "по проблеме низкопоклонства перед Западом в рамках XVIII в." Теория "абсолютной отсталости русского исторического процесса" рассматривалась теперь как осознанная позиция "отмирающего помещичьего класса", стремившегося задержать поступательное развитие страны в целях сохранения своего политического господства. Единый процесс развития исторических знаний в XVIII в. насильственно разбивался на два параллельных, не связанных между собою потока ("две культуры"). Сторонниками осознанной консервации отсталости России выступали Г.-З. Байер, Г.-Ф. Миллер, А.-Л. Шлёцер. Им противостояли защитники передовой национальной культуры: В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, М.М. Щербатов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. Представители различных течений общественной мысли без каких-либо на то оснований были объединены в один последовательный ряд защитников "русской идеи". До этого в свое время не додумался даже Д.И. Иловайский. Парадоксальна и характеристика славянофильства – "низкопоклонство перед Западом наизнанку". Оценка этого общественно-политического течения как выразителя интересов консервативного "помещичьего класса" сближала Н.Л. Рубинштейна с позицией М.Н. Покровского³⁸. Круг, таким образом, замкнулся.

11 и 14 марта проходило объединенное совещание гуманитарных кафедр Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). Отправляясь на заседание, Н.Л. Рубинштейн говорил своей знакомой: "Я доволен. Будет интересная дискуссия". Однако спора на этот раз не получилось. Имя Н.Л. Рубинштейна без конца склонялось в докладе А.Л. Сидорова и многочисленных выступлениях с мест. И вновь историк принужден был оправдываться в "заблуждениях". Формулировки решений собрания слово в слово повторили итогов-

вые документы партийных собраний МГУ: вся кампания проводилась одним дирижером³⁹.

17 марта 1949 г. А.Л. Сидоров выступил на партийном собрании истфака МГУ с обобщающим докладом "Борьба с космополитизмом в исторической науке" (через месяц он с незначительными изменениями был повторен на заседании ученого совета университета). Теперь уже помимо научных "просчетов" А.Л. Сидоров обнаружил в сочинении Н.Л. Рубинштейна и явные политические ошибки. В частности, "Русская историография" в его представлении оказалась ни чем иным, как "амальгамой идей буржуазной историографии и школы Покровского". Столь же абсурдно было обвинение марксиста-Рубинштейна в "отрицании всем очевидного факта о том, что основоположниками советской исторической науки являются В.И. Ленин и И.В. Сталин"⁴⁰.

В резолюции собрания отмечалось, что Н.Л. Рубинштейн "не пожелал понять всю глубину коренных антимарксистских пороков своей монографии". Его выступления 3 марта и на конференции аспирантов и студентов были расценены как пропаганда антипатриотических взглядов. На историческом факультете была создана специальная комиссия по проверке научной и учебной деятельности профессора⁴¹. Официальные протоколы еще сглаживали накал страстей на партийных собраниях. В них не вошли подобные выпады в адрес Н.Л. Рубинштейна: "плюет на родину, которая его вскормила", "антисоветский дух", "гнать поганой метлой" и др. А.Л. Сидоров втянул в дискуссию и студентов. Лишь единицы нашли мужество склониться от обсуждения⁴².

Итого борьбы с "космополитизмом" были подведены на заседании Ученого совета МГУ 11 апреля 1949 г. Здесь был констатирован вред "делу развития советской науки и подготовки кадров", нанесенный "группой Минца, Разгона, Рубинштейна". С полным единодушием была принята резолюция о том, что "космополиты не могут являться воспитателями советской молодежи в стенах университета"⁴³. Актом политического недоверия своему коллеге было исключение Н.Л. Рубинштейна из членов ВКП(б) партийными бюро исторического факультета и университета. После долгих мытарств райком партии ограничился выговором за политические ошибки. Профессор был выведен из Ученого совета истфака МГУ.

Постановление ЦК ВКП(б) от 16 июня 1949 г. "О мерах по устранению недостатков в подборе, подготовке и переподготовке кадров преподавателей..." гуманитарных факультетов санкционировало "освобождение от работы лиц, не отвечающих требованиям высшей школы по своим политическим и деловым качествам". "В связи с более тщательным изучением кадров" в 1949–1950 гг. с гуманитарных факультетов МГУ было уволено более 30 преподавателей. В число "космополитов" попал и родной брат Николая Леонидови-

ча – член-корреспондент Академии наук СССР, психолог С.Л. Рубинштейн, которого также вынудили к публичному покаянию. Общее партийное собрание кафедры истории СССР МГУ осенью 1949 г. по докладу С.С. Дмитриева констатировало, что "оздоровительный процесс самоочищения от людей, зараженных космополитизмом", проходит успешно, а "идейный разгром конкретных носителей космополитизма и буржуазного объективизма" в основном завершен⁴⁴.

В апреле 1949 г. Н.Л. Рубинштейн был уволен из МГУ и "по собственному желанию" оставил службу в Государственном Историческом музее. В течение двух лет ведущий специалист в области отечественной историографии был без работы. Развенчание научных построений Н.Л. Рубинштейна, лишение его профессорской кафедры морально и нравственно сломили ученого. Положение усугубилось еще и тем, что он не был ни "внутренним эмигрантом", ни преднамеренным "космополитом". В трудное для страны время конца 1942 г. Н.Л. Рубинштейн вступил в ряды ВКП(б).

Пред опальным профессором враз закрылись все двери, к нему охладели и прежние друзья. А, казалось бы, совсем недавно заведующий кафедрой Ленинградского университета В.В. Мавродин предлагал "любые занятия, любые курсы, любое время"⁴⁵. Рушились и творческие планы. Так и не вышла в свет подготовленная публикация документов из творческого и эпистолярного наследия "идеолога буржуазии" С.М. Соловьева⁴⁶. Осталось в черновиках монографическое исследование о "государственной школе" в русской историографии, не были в полной мере осуществлены задуманные статьи и публикации о И.Е. Забелине⁴⁷, Н.П. Павлове-Сильванском. Не получил дальнейшей разработки летописный период русской историографии. В 1949–1950 гг. вообще не было опубликовано ни одной работы профессора. В марте 1952 г. О.Л. Вайнштейн, несмотря на покаянные выступления и неоднократные публичные признания "ошибок" (как своих, так и Н.Л. Рубинштейна), лишившийся кафедры, писал своему товарищу по несчастью: «Что касается вас, то я очень рад, что, наконец, "лед тронулся", после чего, вероятно, публикация в[аших] работ будет идти в дальнейшем более или менее нормально...»⁴⁸ Сам адресат этим похвастаться еще не мог.

Внимание Н.Л. Рубинштейна к историографической проблематике в последние годы его жизни заметно ослабело. Его статьи о С.М. Соловьеве, "так называемом государственном направлении в русской историографии" в "Очерках истории исторической науки в СССР" (М., 1955. Т. 1), Большой советской энциклопедии, главы в учебнике В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева (М., 1961) были во многом лишены творческой индивидуальности и носили видимые следы проработок 1948–1949 гг.

IV

Постановление ЦК ВКП(б) от 26 января 1936 г. о "Преодолении антинаучных взглядов на историческую науку" М.Н. Покровского и развернувшаяся вслед за тем травля (а часто и физическое уничтожение) его последователей вкупе с массовыми репрессиями в среде творческой интеллигенции создали своеобразный вакуум исторической мысли в стране. В то же время в условиях изоляции от европейской исторической и философской науки исходный материал для новых исторических построений можно было искать только в отечественной дореволюционной историографии. Поэтому вопрос о пересмотре отношения к "буржуазному наследству" стоял в этот период чрезвычайно остро. Позднее Н.Л. Рубинштейн вспоминал: "Пересмотр исторической схемы М.Н. Покровского требовал одновременного пересмотра историографических оценок, отказа от сугубо нигилистической оценки прошлого, перехода в этом отношении к более реалистической, диалектической оценке накопленного исследователями опыта и достижений научной мысли"⁴⁹.

Н.Л. Рубинштейн сознательно вводил в свои изыскания идеи преемственности, эволюционности накопления исторических знаний, когда каждый последующий этап закономерно вырастал на фундаменте предыдущего. Марксизм трактовался им как "закономерное и неизбежное завершение пройденного пути". Основную задачу исследователя он видел не в отображении "ограниченности пройденных этапов" (как школа М.Н. Покровского), а в "освоении и развитии положительных достижений" предшественников⁵⁰. Эта точка зрения базировалась на высказываниях В.И. Ленина о том, что марксизм впитал в себя все лучшее, созданное предшествовавшей историей человечества.

Именно в этом плане и было воспринято Н.Л. Рубинштейном постановление 1936 г. В предисловии к переизданному в 1937 г. "Курсу русской истории" В.О. Ключевского ученый писал: "Освоение исторического наследства прошлого – один из основных элементов в деле реализации этого указания. Ключевский – один из талантливейших представителей этого буржуазного наследства, которое мы должны органически переработать в процессе создания своей марксистско-ленинской науки"⁵¹. Ту же мысль проводил Н.Л. Рубинштейн и в статье, посвященной памяти Ю.В. Готье, который не будучи марксистом, "сумел как-то просто и естественно войти в ряды советских ученых, стал для них своим, близким человеком". Даже в трудах эмигранта А.А. Кизеветтера он отмечал постановку новых проблем, большой вклад в методiku работы с источниками XVIII в. Роднила "кадетскую" науку с "марксистской" и общая социальная направленность исследований⁵².

Этот подход был теоретически сформулирован и практически реализован в обобщающем труде Н.Л. Рубинштейна: "Задача марксистской историографии представляется мне как задача диалектического преодоления прежней науки" по пути "творческого освоения наследства этой науки"⁵³.

Для Н.Л. Рубинштейна переход от нигилизма школы М.Н. Покровского к более рациональной оценке вклада своих предшественников совершился естественно, без внутренней ломки потому, что он сам как ученый сформировался именно в опоре на достижения "буржуазной" науки. В решении многих проблем отечественной историографии – оценки вклада ученых-иностранцев XVIII – первой четверти XIX в., характеристики творческого наследия Н.М. Карамзина, исследователей "государственной школы" и др. – Н.Л. Рубинштейн опирался на выводы С.М. Соловьева, К.Н. Бестужева-Рюмина, а в вопросах о философской основе исторических сочинений XIX в. – даже на П.Н. Милокова, естественно, не указывая источника своих сведений.

Н.Л. Рубинштейн в этом своем подходе к научному историческому наследию не был "белой вороной". Во второй половине 1930–1940-е годы наблюдался пересмотр традиционных марксистских взглядов на сочинения А.А. Шахматова (Л.В. Черепнин), В.О. Ключевского (А.И. Яковлев), С.М. Соловьева (А.И. Андреев) и др. На аналогичных позициях по вопросам европейской историографии стоял и "сиамский близнец" (по выражению А.Л. Сидорова) Н.Л. Рубинштейна – О.Л. Вайнштейн. В 1940 г. с одобрением основных положений "Русской историографии" выступили Ю.В. Готье, Н.М. Дружинин⁵⁴.

Однако уже тогда точка зрения Н.Л. Рубинштейна встретила противодействие со стороны ряда лидеров марксистской науки, которые не без некоторого основания видели в ней посягательство на устои. Со свойственной выпускнице Института красной профессуры прямолинейностью М.В. Нечкина в 1940 г. писала: «Вся предыдущая последовательность историков закономерна. Соловьев как бы "вырастает" из Эверса и Погодина, Ключевский из Соловьева, – это понятно. Но сохранять для читателя хотя бы внешнее впечатление некоего "вырастания" Ленина из Павлова-Сильванского, конечно, было бы большим промахом»⁵⁵.

Рассмотренный подход Н.Л. Рубинштейна к проблеме "буржуазного наследства" в рамках советской науки сулил большие исследовательские перспективы. Пусть даже он не стал бы определяющей тенденцией.

Рубеж исследовательским разработкам в этом направлении положила заключительная речь А.А. Жданова на совещании по обсуждению учебника Г.Ф. Александрова. Принцип постепенности развития научных знаний, "простой смены одной философской шко-

лы другой" был охарактеризован им как порочный. Марксистская наука трактовалась как "самое полное и решительное отрицание всей предшествовавшей". Попытка "сказать доброе слово" в адрес "буржуазных" ученых именовалась "объективизмом", а партийность понималась не иначе, как нетерпимость к немарксистской науке: "сам Ленин, как известно, не щадил своих противников"⁵⁶.

В этом плане проходило и обсуждение сочинения Н.Л. Рубинштейна. А.Л. Сидоров писал: « Проблемы, поднятые в дискуссии, касаются коренных вопросов нашей исторической науки и развития общественно-политической и философской мысли в России. Речь идет об отношении советских историков к тому "наследству", которое они получили от буржуазно-помещичьей науки"⁵⁷. Встреченный и ранее с настороженностью тезис об эволюционном характере развития исторических знаний, в 1948 г. был воспринят прямо в штыки. "Даже марксизм, с точки зрения Рубинштейна, явился результатом простого количественного роста буржуазной науки, ее непосредственным продолжением"⁵⁸, – отмечал И.И. Мордшвин. Позиция Н.Л. Рубинштейна трактовалась как следствие немарксистского понимания предмета и задач историографии, отход от принципа партийности в угоду "буржуазному объективизму".

В 1948–1949 гг. ученый отказался от трактовки историографического процесса как органической смены одной школы другой, сфокусировал свои исследовательские задачи не на поиске позитивных элементов в трудах предшественников, а на доказательстве "конечного кризиса буржуазной науки" на рубеже XIX–XX вв. "Задача историографии, – писал он в 1948 г., – показать... процесс преодоления дворянско-буржуазных идеалистических концепций... и последовательного утверждения подлинно научного материалистического марксистско-ленинского понимания истории"⁵⁹. Нужно оговориться, что элементы такого подхода содержались уже в "Русской историографии". В частности, обращение к теме исторического синтеза Н.П. Павловым-Сильванским, разработанная А.А. Шахматовым методика работы с летописями – суть не закономерные результаты развития "буржуазной" науки, а успешные попытки преодоления ограниченности ее методологии и приближения к марксистскому пониманию исторического процесса⁶⁰. Явный крен в сторону классовых характеристик творчества ученых, выводы о непосредственном отражении в их трудах общественного положения, политических воззрений вели к заметному упрощению предмета исследований. Поступательное развитие науки теперь всецело связывалось с творчеством "носителей передовой идеологии" (революционеры-демократы, Н.Г. Чернышевский, ученые-марксисты) при забвении вклада трудов их оппонентов, отрицании за ними права на историческую истину.

Одним из несомненных достоинств "Русской историографии" явилось внимание к проблеме воздействия западноевропейской исторической, философской мысли на отечественную науку, отказ от прямолинейного понимания ее самобытности. В своих аргументированных замечаниях оппоненты докторской диссертации ученого в 1940 г. единодушно указывали, что эту зависимость Н.Л. Рубинштейн даже недооценил⁶¹. Особенно это касалось исторических трудов XVIII в., в которых методологическое и методическое превосходство иностранных ученых над представителями только еще зарождавшейся российской науки было несомненным. Никакого преднамеренного принижения значения отечественных авторов и оскорбления национальной гордости современников обсуждения участники дискуссии не усматривали. Спор носил сугубо академический характер.

Неполные десять лет, прошедшие со времени первого обсуждения монографии Н.Л. Рубинштейна, были крайне неблагоприятны для развития советской науки. Никаких существенных разработок по данной проблематике не появилось. Оснований для кардинального пересмотра взглядов Н.Л. Рубинштейна не было. Однако колебания политической конъюнктуры, идеологии господствовавшей партии уже в который раз вступили в противоречие с изысканиями ученых, принцип партийности науки одержал верх над ее объективностью. В ходе обсуждения книги в 1949 г. Н.Л. Рубинштейн был единодушно обвинен в "расправе" над русской историографией XVIII в., "смазывании черт оригинальности русской исторической мысли", "беззубой критике норманской теории" и непомерном возвеличивании вклада академиков-немцев: А.-Л. Шлёцера, Г. Эверса в развитие отечественной науки.

О.Л. Вайнштейн, М.Н. Тихомиров публично раскаялись в своих "заблуждениях". Статья последнего – "Русская историография XVIII века" – носила сугубо публицистический характер. Теперь в решении чужестранцами варяжской проблемы ученый видел не столько следствие их научной несостоятельности, сколько умышленную попытку дискредитации России: "Почему Байер не изучил русского языка?.. Потому что он был бездарным, малоразвитым, воинствующим немцем, с отсутствием настоящего интереса к науке и ее задачам"⁶². Высказывания участников московского совещания были еще более безапелляционны и также не основаны на изучении конкретных материалов.

В итоге, на многие годы восторжествовал тезис о "самобытности" отечественной исторической науки, ее изолированности от движений научной мысли Западной Европы. Особенно негативно подобный подход отразился в 1950–1960-е годы на характеристиках вклада ряда русских ученых (прежде всего М.В. Ломоносова) в методике и методологию исторического исследования.

Полемика вокруг "Русской историографии" Н.Л. Рубинштейна показала, что любые несанкционированные шаги ученых в области теоретической разработки научных проблем – дело далеко небезопасное. От них ясно требовалось лишь комментирование партийных решений и положений трудов классиков марксизма-ленинизма. ЦК ВКП(б) всегда рассматривал историческую науку как один из важных участков "идеологического фронта" и требовал, как и в общественной жизни, строгой унификации исторического знания. Это касалось не только "посягательств" на авторитет В.И. Ленина, И.В. Сталина, других партийных теоретиков, но также и отдельных "генералов" от науки. Еще в 1938 г. В.В. Мавродин в письме к Н.Л. Рубинштейну вспоминал разговор с редактором Соцэкгиза: "Ты, пожалуй, не умничай. Если что-нибудь... "скажет Греков – это будет точка зрения, а если ты, – то это будет ошибка"⁶³.

Неоднозначность, даже спорность решения многих проблем истории исторической науки России Н.Л. Рубинштейном в других условиях стимулировало бы исследовательские интересы его оппонентов. Результатом же данной дискуссии было абсолютное сворачивание любых форм разномыслия даже в рамках марксизма, боязнь касаться острых проблем, самостоятельности мышления. Печальные итоги "дискуссии" вокруг книги Н.Л. Рубинштейна еще не одно десятилетие сказывались на изучении русской исторической науки.

¹ См.: *Дмитриев С.С.* К истории советской исторической науки. Историк Н.Л. Рубинштейн (1897–1963) // Учен. зап. Горьк. гос. ун-та. Сер. ист.-филол. Горький, 1964. Вып. 72. С. 415–471; *Он же.* Памяти Николая Леонидовича Рубинштейна (1897–1963) // История СССР. 1963. № 3. С. 239–244; *Закс А.Б.* Рубинштейн – во главе научной работы ГИМ (1943–1949): По материалам НВА ГИМ и личным воспоминаниям // Археографический ежегодник за 1989 год М., 1990. С. 124–133; *Она же.* Трудные годы // *Вопр. истории.* 1992. № 4/5. С. 157–159; *Ковалев И.В.* Материалы по социально-экономической истории России XVIII в. в рукописном наследии Н.Л. Рубинштейна // Археографический ежегодник за 1985 год. М., 1986. С. 283–289; *Некрич А.* Поход против "космополитов" в МГУ (к коллективной биографии советских историков) // *Континент* (Париж). 1981. № 28. С. 301–320; *Поляков Ю.А.* Весна 1949 года / *Вопр. истории.* 1996. № 8. С. 66–77; *Цамутали А.Н.* Николай Леонидович Рубинштейн // *Историческая наука в России в XX веке.* М., 1997. С. 465–479; *Он же.* Николай Леонидович Рубинштейн (1897–1963) // *Историки России XVIII–XIX веков.* М., 1996. Вып. 3. С. 126–135. В "Археографическом ежегоднике за 1998 год" (М., 1999) опубликован цикл статей и мемуаров к юбилею ученого: *Шмидт С.О.* К 100-летию со дня рождения Николая Леонидовича Рубинштейна. С. 202–238; *Муравьев В.А.* "Русская историография" Н.Л. Рубинштейна. С.228–233; *Медушевская О.М.* Источниковедческая проблематика "Русской историографии" Н.Л. Рубинштейна. С. 233–236; *Кагагощина М.В.* Из творческой биографии Н.Л. Рубинштейна: фрагмент не-

- состоявшейся публикации труда И.Е. Забелина. С. 236–237; *Макарова Р.В.* Воспоминания. С. 237–239.
- 2 НИОР РГБ. Ф. 521 (Н.Л. Рубинштейн). К. 3. Ед. хр. 1. Л. 32 об.
- 3 Там же. К. 28. Ед. хр. 12. Л. 1.
- 4 Там же. К. 3. Ед. хр. 1. Л. 1–48.
- 5 Там же. К. 24. Ед. хр. 40. Л. 1. Сталинская премия за этот год была присуждена Б.Д. Грекову.
- 6 Там же. Л. 26 об.
- 7 Там же. Л. 17. Отзыв А.В. Шестакова см.: К. 30. Ед. хр. 14. Л. 110.
- 8 Там же. К. 3. Ед. хр. 1. Л. 37 об. См. также: Л. 33, 40; К. 27. Ед. хр. 40. Л. 2; К. 28. Ед. хр. 12. Л. 1 об.
- 9 Рец. О.Л. Вайнштейна см.: Ист. журн. 1942. № 10. С. 119–122.
- 10 НИОР РГБ. Ф. 631 (А.Л. Сидоров). К. 78. Ед. хр. 14. Л. 23. О жизни и творчестве А.Л. Сидорова см.: *Волобуев П.В.* Аркадий Лаврович Сидоров: [Некролог] // История СССР. 1966. № 3. С. 234–235; *Тарновский К.Н.* Путь ученого // Ист. зап. М., 1967. Вып. 80. С. 207–244; Список трудов А.Л. Сидорова см.: Там же. С. 245–251.
- 11 Вопр. философии. 1947. № 1. С. 259–262.
- 12 Вопр. истории. 1948. № 3. С. 146–154; НИОР РГБ. Ф. 632. К. 96. Ед. хр. 20. Л. 16–33.
- 13 Вопр. истории. 1948. № 5. С. 139; № 10. С. 107–113; № 12. С. 179.
- 14 Невидимым "дирижером" кампании борьбы с "космополитами" считают секретаря ЦК КПСС М.А. Сулова. Тогдашний ректор Московского университета академик А.Н. Несмеянов отказался принимать в ней участие. См.: *Неркич А.* Указ. соч. С. 305, 317.
- 15 НИОР РГБ. Ф. 521. К. 25. Ед. хр. 42. Л. 24.
- 16 Вопр. истории. 1948. № 2. С. 89–93, 94–99.
- 17 НИОР РГБ. Ф. 521. К. 26. Ед. хр. 39. Л. 30 об.
- 18 Ср.: Там же. Ф. 632. К. 21. Ед. хр. 1. Л. 9 об.; Ед. хр. 2. Л. 5–18, 116 об., 170; Ед. хр. 3. Л. 2 об.
- 19 Там же. К. 78. Ед. хр. 14. Л. 45–46.
- 20 Там же. Ф. 521. К. 23. Ед. хр. 190. Л. 1–2.
- 21 Протокол заседания московского совещания см.: Вопр. истории. 1948. № 6. С. 126–135. Из записавшихся в прениях 60 ораторов выступило лишь 26.
- 22 А.Л. Сидоров в программном докладе "Борьба с космополитизмом в исторической науке" (март 1949 г.) воспроизвел аргументы статьи Д.С. Лихачева. См.: НИОР РГБ. Ф. 632. К. 21. Ед. хр. 2. Л. 170.
- 23 *Лихачев Д.С.* О летописном периоде русской историографии // Вопр. истории. 1948. № 9. С. 22–23, 33, 38 и др.
- 24 См.: *Рубинштейн Н.Л.* Летописный период русской историографии (историография феодальной Руси XI–XVII веков) // Учен. зап. Моск. гос. ун-та. История. М., 1946. Кн. 1. Вып. 93. С. 3–19.
- 25 НИОР РГБ. Ф. 521. К. 2. Ед. хр. 22. Л. 10.
- 26 Там же. К. 26. Ед. хр. 39. Л. 30 об.
- 27 См.: *Павлов С.* Объективистские экскурсы в историю // Культура и жизнь. 1948. 21 сент.; *Кротов А.* Примиренчество и самоуверенность // Лит. газ. 1948. 8 сент.
- 28 См.: *Мосина З.* О работе Института истории АН СССР // Вопр. истории. 1948. № 11. С. 144–149; В Институте истории АН СССР // Там же. № 12. С. 172–178; Против объективизма в исторической науке // Там же. С. 3–12.
- 29 НИОР РГБ. Ф. 632. К. 102. Ед. хр. 9. Л. 1, 3.

- ³⁰ См.: *Мицц И.И.* Ленин и развитие советской исторической науки // *Вопр. истории.* 1949. № 1. С. 14.
- ³¹ В 1948 г. в МГУ была создана комиссия по разбору выдвинутых против А.Л. Сидорова обвинений в научном плагиате (НИОР РГБ. Ф. 632. К. 9. Ед. хр. 1. Л. 128–129). О результатах ее работы сведений обнаружить не удалось.
- ³² Там же. К. 85. Ед. хр. 3. Л. 24. См. также: *Закс А.Б.* Трудные годы. С. 158–159.
- ³³ Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // *Отечеств. история.* 1993. № 3. С. 145.
- ³⁴ Тезисы доклада см.: *Шмидт С.О.* Указ. соч. С. 218–220.
- ³⁵ НИОР РГБ. Ф. 632. К. 21. Ед. хр. 3. Л. 10–12. Раскаяние Н.Л. Рубинштейна было, без сомнения, искренним, ибо даже впоследствии он признавал прозвучавшую в его адрес критику вполне заслуженной. См.: *Рубинштейн Н.Л.* О путях исторического исследования // *История СССР.* 1962. № 6. С. 104–105.
- ³⁶ См.: *Отечеств. история.* 1993. № 3. С. 145.
- ³⁷ НИОР РГБ. Ф. 632. К. 21. Ед. хр. 2. Л. 171.
- ³⁸ Там же. Ф. 525. К. 10. Ед. хр. 15. Л. 1–14.
- ³⁹ Там же. Л. 128–132; *Закс А.Б.* Трудные годы. С. 158.
- ⁴⁰ НИОР РГБ. Ф. 525. К. 21. Ед. хр. 2. Л. 79, 114–115, 148–186.
- ⁴¹ Там же. Л. 114–118.
- ⁴² *Закс А.Б.* Указ. соч. С. 158; *Дмитриев С.С.* Указ. соч. С. 149.
- ⁴³ НИОР РГБ. Ф. 632. К. 21. Ед. хр. 1. Л. 93–95.
- ⁴⁴ Там же. К. 79. Ед. хр. 10. Л. 32; К. 21. Ед. хр. 1. Л. 34–37; Ед. хр. 2. Л. 142.
- ⁴⁵ Там же. Ф. 521. К. 26. Ед. хр. 23. Л. 12.
- ⁴⁶ С.С. Дмитриев в своей рецензии отмечал, что подготовленная Н.Л. Рубинштейном публикация морально устарела. Это заключение касалось прежде всего материалов, посвященных оценкам вклада академиков-немцев в развитие русской историографии XVIII в. и "западническо-космополитического" отношения ученого к трудам Ю. Венелина, П. Шафарика. См.: НИОР РГБ. Ф. 521. К. 6. Ед. хр. 5. Л. 1–7.
- ⁴⁷ Несмотря на то что из подготовленных в 1949 г. к изданию фрагментов рукописи второго тома "Истории города Москвы" И.Е. Забелина были исключены наиболее "космополитические" фрагменты текста, публикация ее так и не была разрешена. См.: *Катагощина В.М.* Указ. соч. С. 236–237).
- ⁴⁸ НИОР РГБ. Ф. 521. К. 25. Ед. хр. 31. Л. 22.
- ⁴⁹ *Рубинштейн Н.Л.* О путях исторического исследования. С. 101. См. также: *Сидоров А.Л.* "План выступления по историографии Рубинштейна" // НИОР РГБ. Ф. 632. К. 21. Ед. хр. 3. Л. 3.
- ⁵⁰ *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М., 1941. С. 5, 17.
- ⁵¹ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. М., 1937. Ч. 1. С. XVIII.
- ⁵² *Рубинштейн Н.Л.* Памяти академика Ю.В. Готье // *Учен. зап. Моск. гос. ун-та. История СССР.* М., 1946. Вып. 87. С. 156–160.
- ⁵³ НИОР РГБ. Ф. 521. К. 3. Ед. хр. 1. Л. 22.
- ⁵⁴ Там же. К. 27. Ед. хр. 40. Л. 2.
- ⁵⁵ Там же. К. 28. Ед. хр. 12. Л. 1 об.
- ⁵⁶ *Вопр. философии.* 1947. № 1. С. 259–262.
- ⁵⁷ НИОР РГБ. Ф. 632. К. 21. Ед. хр. 3. Л. 1.
- ⁵⁸ *Вопр. истории.* 1948. № 6. С. 129. См. также: С. 127, 132–133.
- ⁵⁹ *Рубинштейн Н.Л.* Основные проблемы построения русской историографии. С. 88. Ср. с предшествовавшими его высказываниями: *Он же.* Русская историография. С. 13; НИОР РГБ. Ф. 521. К. 23. Ед. хр. 10. Л. 1.

- 60 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. С. 514, 534; *Он же*. Основные проблемы построения русской историографии. С. 91.
- 61 Вайнштейн О.Л. Указ. соч. С. 119–122; НИОР РГБ. Ф. 521. К. 3. Ед. хр. 1. Л. 27, 28 об., 45.
- 62 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 95 и др.
- 63 НИОР РГБ. Ф. 521. К. 26. Ед. хр. 23. Л. 13–13 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В.О. Ключевский в оценках советских историков: из стенограммы заседания экспертной комиссии по истории Всесоюзного комитета по делам высшей школы по обсуждению рукописи монографии Н.Л. Рубинштейна "Русская историография". 1 марта 1940 г.

*М.В. Нечкина*¹. ...Я думаю, что при изучении Ключевского автор [Н.Л. Рубинштейн. – *А.Ш.*] все-таки умолчал о некоторых существенных моментах и изложение всего этого может произвести трактовку некоторой идеализации Ключевского. Почему нужно опустить о партийной принадлежности Ключевского? Он был членом кадетской партии. Он баллотировался по объединенному списку кадетов. Я с этим [Н.Л. Рубинштейном. – *А.Ш.*] не могу согласиться. Мне представляется, что концепция Ключевского несет на себе некоторую печать к [далее несколько слов пропущено. – *А.Ш.*] и об этом надо сказать.

Затем я не знаю, мне лично не известен материал о принадлежности Ключевского к организации Каракозова². Я считаю, что это основано на легенде. Ключевский в каком-то году был только репетитором гимназиста Ишутина³. Не следует указывать эти детали как намек на принадлежность [В.О. Ключевского. – *А.Ш.*] к революционным кругам 60-х гг. Я думаю, что это замечание о Ключевском нужно снять⁴...

*Ю.В. Гомье*⁵ ...В отношении замечаний Милицы Васильевны. Я во всем с ней согласен, но по [ункту] 10 ее замечаний согласиться не могу. Она говорит: "...Недопустимо замалчивание вопроса о партийной принадлежности Ключевского". Ключевский действительно был выделен от партии кадетов по Троицкому Посаду, но блестяще провалился. Но, Милица Васильевна, из всех [здесь. – *А.Ш.*] присутствующих только один я знал, что такое Ключевский. Я только один знал его лично. Никогда у Ключевского никаких кадетских разговоров не было. Он был выдвинут от кадетов в 1905–[19]06 гг., когда проходили выборы в Государственную думу. Если хотите потерять три минуты, я расскажу в чем суть, потому что я знаю – это происходило на моих глазах, у меня в эти годы с Ключевским общение было значительное.

Ключевский был в отношении характера и общественной деятельности настоящая "мокрая курица". Я ему так и говорил. Воля у него была только в его произведениях, а в жизни у него никакой воли не было. Университетская его деятельность [еще. – *А.Ш.*] не отмечена, а он был деканом и помощником ректора. Ключевский всегда был у кого-нибудь под башмаком. Я в те годы был еще слишком молод и не сознателен.

Его супруга была человеком простым и никакой политики для нее не существовало. Белокуров⁶ был направителем его действий. Это продолжалось до тех пор, пока не пошел его сын Борис Ключевский⁷. Он, кажется, даже высшего образования не окончил, а если и окончил, [то] только один факультет. В первые годы XX в. Борис Ключевский сразу сообразил, затем [далее несколько

слов пропущено. – А.Ш.] старика Ключевского. Произошло волнение, даже скандал в тогдашнем кругу. Ключевский в то время был председателем Общества [истории и древностей российских. – А.Ш.], а все дела делал за него Белокуров. Он хотел уйти с должности, и Белокуров нашел ему причину, и он ушел.

Вторая причина – владычество Бориса Ключевского. Старые издания Ключевского испещрены всякими клеймами: книги можно найти только там-то. Все это – произведения Бориса. Старик в это дело не входил.

Я не знаю, как он считается в отношении кадетской партии. Он строил из себя ярого кадета. Он приказал отцу баллотироваться.

Я не помню, по какому поводу нас собрали в Орликовом переулке⁸. Я не соглашался тогда, не могу согласиться и теперь. Я протестую против того, что "недопустимо замалчивать".

У него одна была общественная струнка – старался как историк быть объективным. У него была ненависть к дворянству как общественному классу. Это у него было. А другого у него ничего такого определенного и не найдете. Мне кажется, нечего и говорить об этом.

Он баллотировался в кадетский список. Что бы вышло, если бы его выбрали, я не знаю. Против этого пункта я протестую. Это не покоится ни на какой деятельности Ключевского...

М.В. Нечкина. Я все-таки думаю, что к обсуждению этого вопроса надо привлечь более широкий круг [источников. – А.Ш.]. Надо взять материал Милокова⁹ о Ключевском и свидетельство Милокова о вступлении Ключевского в партию [кадетов. – А.Ш.]. Здесь Милоков, может быть, более, чем Борис Ключевский имел значение. В Государственной думе застенографировано пять его выступлений¹⁰. Видна достаточно яркая позиция в этом вопросе, вот хотя бы в вопросе против царя.

Возвращаюсь к [19]00-му году. Ключевский в кружке Трубецкого¹¹. Кроме баллотировки есть вопрос и о перебаллотировке. Я думаю, что эта вещь совершенно ясна. Я принимаю все оговорки. Здесь мы имеем фигуру нового стиля. Я с большим интересом слушала Ю[рия] В[ладимировича], но по-моему, [оно] несколько не полно.

Ю.В. Готье... Делать из Ключевского кадетскую фигуру – это невозможно.

М.В. Нечкина. Мои поправки сводились не к тому, чтобы обрисовали его с [18]60-х годов кадетом, но об этом упоминание должно быть.

Ю.В. Готье. Милоков здесь какую-то роль играл в привлечении, но отношения между Ключевским и Милоковым были очень не близкими, и влиять на него он не мог, а через Бориса мог. Я даже допускаю, что Ключевский сказал: "Запишите и меня", – но ничего не сделал.

М.В. Нечкина. Он не был демократом. Возьмите стенограмму по Булыгинской думе.

Ю.В. Готье. Нужно спросить [того. – А.Ш.], кто был около него, спросить его учеников. Остался, кажется, один Яковлев¹².

НИОР РГБ. Ф. 521. К. 24. Ед. хр. 40. Л. 6 об.-7, 13–16 об. Машинописная копия.

¹ Нечкина Милица Васильевна (1901–1985) – академик РАН, ведущий советский специалист по изучению творческого наследия В.О. Ключевского.

² Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) – участник революционного движения, повешен за организацию покушения на императора Александра II 4 апреля 1866 г. В предвоенные годы М.В. Нечкина не была знакома с днев-

- никовыми записями В.О. Ключевского и воспоминаниями А.И. Яковлева о нем. Позднее она заметно пересмотрела свои взгляды и в монографии 1974 г. даже упрекала "буржуазных" ученых (в том числе и Ю.В. Готье) за попытки оторвать В.О. Ключевского от революционно-демократического наследия 1860-х годов. См.: *Она же*. Василий Осипович Ключевский. М., 1974. С. 18, 470, 473.
- 3 Ишутин Николай Андреевич (1840–1875) – участник революционного движения, кузен братьев Каракозовых, в доме которых репетиторствовал В.О. Ключевский.
- 4 При доработке рукописи Н.Л. Рубинштейн исключил из раздела о В.О. Ключевском свидетельства о его близости к революционно-демократическим кругам 1860-х годов, подчеркнул основополагающее влияние на становление концепции молодого ученого государственной теории С.М. Соловьева–Б.Н. Чичерина. Следуя советам М.В. Нечкиной, Н.Л. Рубинштейн указал на партийную принадлежность В.О. Ключевского и характеризовал его как "выразителя русской буржуазной идеологии" (*Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М., 1941. С. 446–447).
- 5 Готье Юрий Владимирович (1873–1943) – ученик В.О. Ключевского и автор воспоминаний о нем, профессор Московского университета.
- 6 Белокуров Сергей Александрович (1862–1918) – ученик В.О. Ключевского, его помощник по службе председателя Общества истории и древностей российских при Московском университете (ОИДР).
- 7 Ключевский Борис Васильевич (1869–1944) – сын В.О. Ключевского и его личный секретарь. По свидетельству М.В. Нечкиной, Б.В. Ключевский имел два высших образования. В исследовании 1974 г. М.В. Нечкина не упоминала, что Б.В. Ключевский являлся членом московской организации кадетской партии.
- 8 О каких событиях идет речь, установить не удалось.
- 9 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – ученик В.О. Ключевского, видный деятель партии кадетов. См.: *Милюков П.Н.* В.О. Ключевский // *В.О. Ключевский*. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 183–217; *Он же*. Воспоминания. М. 1990. Т. 1–2. Указатель имен.
- 10 Речь идет не о I Государственной думе, а о Петергофских совещаниях по разработке законопроекта о ее созыве.
- 11 В 1900 г. В.О. Ключевский принял участие в подготовке записки на имя императора Николая II с изложением своего видения положения дел в стране и настроений различных слоев общества. Заседания проходили под руководством Сергея Николаевича Трубецкого (1862–1905).
- 12 Яковлев Алексей Иванович (1878–1951) – ученик В.О. Ключевского. После публикации воспоминаний А.И. Яковлева о своем учителе в 1946 г. на него был навешен ярлык "буржуазного объективиста". М.В. Нечкина широко привлекала их в исследовании 1974 г.

**СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ
ПОСЛЕВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ:
СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ
И ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЕ ЧЕРТЫ**

После окончания Великой Отечественной войны в историческую науку страны начало вступать новое поколение советских историков, составившее третью генерацию российских историков в XX в. В это время еще продолжали трудиться историки, вошедшие в науку на рубеже XIX–XX в. и работавшие уже в советской России. Среди них были С.В. Бахрушин, С.Н. Валк, С.Б. Веселовский, Б.Д. Греков, Б.А. Романов, Е.В. Тарле, М.Н. Тихомиров и другие, являвшие собой "старую школу" в рядах советских историков. Ведущие позиции занимали историки следующего поколения, первого марксистского, которое профессионально сформировалось уже в постреволюционной России: Э.Б. Генкина, Е.Н. Городецкий, И.И. Минц, М.В. Нечкина, А.М. Панкратова, А.Л. Сидоров и многие другие, с именами которых связано становление нового образа исторической науки в России.

Таким образом, послевоенное поколение историков оказалось в среде весьма несхожих предшественников. Его "деды" и "отцы", несмотря на годы исследовательской деятельности в одном профессиональном сообществе, существенно различались по своим творческим и жизненным принципам. Однако, несмотря на крутой излом в общественной жизни России в начале XX в., изменивший ход развития отечественной исторической науки, преемственность между ними не была совершенно утрачена.

Послевоенная генерация историков испытывала на себе влияние двух таких разных поколений, формируя собственную позицию. Ее консолидации в достаточно четко очерченную группу в небольшой степени способствовала Великая Отечественная война, ставшая своеобразной гранью, в том числе и в сообществе советских историков. Этот процесс был определен и очередной сменой политико-идеологической парадигмы, вызванной идеями хрущевской оттепели. Все это, безусловно, не могло не сказаться на облике послевоенного поколения историков, обрисовать который – задача данной статьи.

Для ее решения, помимо документальных источников, были привлечены материалы, полученные автором в результате формализации и обобщения информации, содержащейся в библиографическом словаре "Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории"¹, в котором помещены статьи о более

чем 1300 российских историках, научных сотрудниках академических институтов и преподавателях вузов, творчество которых пришлось на XX в. Надо заметить, что среди них историки послевоенного поколения представлены с наибольшей полнотой (более 700 человек). Выборка может считаться вполне репрезентативной.

Ядром этой генерации историков являются люди, родившиеся в 20–30-е годы XX в. Принимая во внимание подвижность и условность временных рамок при определении границ любых генераций, для характеристики всего послевоенного поколения они были несколько расширены: за основу были взяты данные об историках, даты рождения которых пришлись на период с 1921 по 1945 г. (Включение историков, родившихся в 1941–1945 гг., объясняется крайней малочисленностью этой группы и ее пограничным характером, что дает возможность отнесения ее как к послевоенному, так и к последующему поколению историков.)

В отличие от своих более старших коллег, историки послевоенного поколения выросли и сложились в советское время. Они родились в СССР и обучались в советских школах и вузах, воспитывались в духе коллективизма, участвуя в пионерских и комсомольских организациях. Многие из них являлись членами коммунистической партии. Страна Советов была той повседневной реальностью, которая окружала их, формировала их представления и взгляды. Идеалы эпохи – политическая активность, убежденность в социальной справедливости советского строя, национальное равенство – становились органической частью сознания большинства историков послевоенного поколения.

Будущие историки "рекрутировались" из всех слоев общества. Две трети их числа (65,5%) по своему социальному происхождению принадлежали к служащим. При сравнении по этому показателю послевоенной генерации с двумя предыдущими поколениями сразу становятся заметны как кардинальные перемены, произошедшие в сообществе историков после 1917 г., так и новые тенденции, обозначившиеся в нем в послевоенные и особенно в последующие годы.

Если среди "старой профессуры" доля служащих приближалась к 90%, то у историков-марксистов она существенно понизилась и в среднем равнялась 58,5%, но спустя поколение вновь обозначился ее рост до 80–90%. Такая динамика отражает реалии жизни послереволюционной России, в том числе и социальную направленность кадровой политики в области науки и высшей школы, ограничивавшей доступ в эти сферы "социально чуждых элементов" и их детей, что имело место до середины 1930-х годов². Историки послевоенного поколения уже не испытывали дискриминации как лица непролетарского происхождения: их родители были советскими служащими

и интеллигенцией, даже если и из "бывших". Особенно много было детей учителей.

Выходцы из рабочих и крестьян составляют треть послевоенной генерации историков, в среднем соответственно 13,0 и 20,7%. Внутри поколения эти показатели были нестабильными. Так, например, среди историков, родившихся в 1931–1935 и 1936–1940 гг., рабочее происхождение имели 19,6 и 18,9%, крестьянское – 12,4 и 15,9%, а среди родившихся в 1921–1925 гг. пропорция была обратная – 9,6% из рабочих и 29,9% – из крестьян. В целом эти цифры говорят о демократизации сообщества российских историков, процессе, безусловно, позитивном, однако зачастую искусственно форсированным правящей партией.

Немаловажный фактор в характеристике отдельного человека или группы людей – место рождения. Условия, в которых были проведены детские годы, часто определяют содержание багажа знаний, с которым человек вступает в жизнь, оставляют свой след в дальнейшей деятельности. Историки послевоенного поколения родились преимущественно в городах – 62,5%. В сельской местности родился каждый третий историк этого поколения – 36,5% общего числа.

Среди городов особо выделяются Москва и Санкт-Петербург (тогда – Ленинград): их доли составляют в среднем 17,3 и 6,9%. Это закономерно, поскольку обе столицы, являясь крупнейшими научными центрами страны, могли предоставить своим молодым горожанам широкие возможности обучения на исторических факультетах университетов и педагогических институтов. Из других крупных городов происходили 12,6% историков послевоенной генерации и 25,7% – из прочих.

В целом городской уклад жизни, с более высоким уровнем среднего образования, наличием библиотек, театров, кино и прочей социокультурной инфраструктуры, способствовал тому, что городская молодежь была более подготовленной, чем сельская. На студенческой скамье последней приходилось многое наверстывать. Однако довузовская подготовка историков послевоенного поколения, как и у их предшественников, продолжала оставаться достаточно неоднородной и среди горожан.

Традиционное отличие в уровнях полученного образования в столичных и провинциальных школах, особенно сельских, усиливалось тем обстоятельством, что многие студенты имели за своими плечами не десятилетку, а фабрично-заводские училища и школы колхозной молодежи. Преодолевать такой разрыв было непросто, но многим студентам это удавалось. Вот как об этом вспоминает доцент Н.В. Бржостовская: "Надо сказать, что средний культурный уровень студентов (МГИАИ. – Л.С.) за четыре года учебы рос буквально на глазах. Вначале даже говорили не все правильно, а выхо-

дили из института все в большей или меньшей степени подготовленными к научной работе"³.

Огромную роль в профессиональной подготовке историков послевоенного поколения сыграло постановление 1934 г. о преподавании гражданской истории в школе. Трудно переоценить значение отказа от преобладания социологизирования в исторической науке и восстановления в своих правах исторического факта, изменения отношения к трудам дореволюционных историков России. Большая часть историков послевоенного поколения начала заниматься в школе по новым учебникам, подготовленным после постановления 1934 г. и отразившим новые тенденции в изучении истории. Однако нельзя и идеализировать произошедшие перемены: история преподавалась как предмет идеологически заданный, что особенно сказывалось на изучении новейшей отечественной истории: "Историю ВКП(б). Краткий курс" историки этого поколения знали почти наизусть со школьной скамьи.

Изменения коснулись и организации учебного процесса на исторических факультетах вузов как в отношении содержания, так и формы преподавания. Студенты начали знакомиться с трудами выдающихся русских историков, что не могло не сказаться на качестве исторического образования. Парадоксально, но факт: этому способствовало само отсутствие учебных пособий, которые в конце 1930-х годов еще только начали массово печататься. Обратимся еще раз к воспоминаниям Н.В.Бржостовской, студентки МГИАИ в 1933–1937 гг.: "По большинству дисциплин у нас еще не было учебников. Зато студенты читали много литературы: труды С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, М.Н. Покровского, немногочисленные пока книги советских историков, изданные источниками"⁴.

Публиковавшаяся историческая литература вызывала интерес к предмету, влекла к нему со школьной скамьи. Академик П.В. Волобуев писал, что он прочитал запоем все десять томов "Истории XIX века" Лависса и Рамбо, которые вышли из печати в 1938 г. и появились в библиотеке партийного кабинета. "К тому времени я уже был комсомольским активистом, – продолжал он, – и добился в райкоме ВЛКСМ, чтобы меня записали в эту партийную библиотеку"⁵.

Одновременно укрепилось положение первой генерации советских историков, "старой профессуры", у которой посчастливилось учиться многим историкам послевоенного поколения. Историки "старой школы" щедро делились с учениками своим богатейшим исследовательским и жизненным опытом. Оценивая это общение, А.Я. Гуревич пишет, что оно давало не только знания и навыки научной работы, но было прежде всего фактором воспитания: "Мы общались с носителями иной культурной традиции, нежели та, что была вложена в нас советской школой, семьей, средой, улицей, газе-

тами, радио, да и самим истфаком". Говоря о кафедре истории средних веков исторического факультета МГУ, он называет ее "замечательным оазисом, где приобретались такие ценности, которые за пределами небольшой комнатки, где она помещалась, получить было невозможно"⁶.

А.И. Зевелев, выпускник МИФЛИ, рассказывает в своих воспоминаниях об академике Ю.В. Готье: «Он не только великолепно анализировал и комментировал "Русскую Правду", но и демонстрировал нам свою лихость и молодечество, когда соскакивал на ходу с трамвая "СК" – там, где тот делает поворот в сторону завода "Богатырь". До сих пор теряюсь в догадках, не это ли молодечество (а может, французское происхождение?) подвигало его на такие, к примеру, эскапады. 15-я аудитория. Звонок. Готье собирает свои записи и вдруг: "Не расходитесь, не расходитесь! Ай-ай-ай! Забыл пару цитат из "Краткого курса"». Вслед за этим наскоро зачитывал несколько высказываний Сталина. И это проделывал человек, побывавший в ссылке! У меня уже тогда, на втором курсе, закрадывалась мысль о том, что лектор или демонстрирует свою "перестройку" в духе официальной идеологии, или что он остался прежним Готье»⁷.

Несомненно, это был "прежний Готье", дававший пример дистанцирования своей научной деятельности от бесцеремонно вторгавшейся в нее идеологии при соблюдении внешних признаков ее признания. Необходимое цитирование классиков марксизма воспринималось как некий ритуал, после совершения которого историк получал возможность решать конкретные задачи своего исследования.

Он, как и многие другие представители "старой профессуры", придерживался мнения, предельно точно сформулированного М.К. Любавским в его бытность ректором Московского университета: "В университете не должно быть места политике, так как наука является достоянием всего человечества и не может быть достоянием одной какой-либо партии"⁸.

Однако классово-методологическая непримиримость в исторической науке не шла на убыль. Студенчество конца 1930-х годов получало не менее жесткие наказания, чем их предшественники в ИКП. Вот как вспоминает советский историк-медиевист Е.В. Гутнова о собрании студентов-первокурсников (в числе которых была и она), состоявшемся в актовом зале МГУ 1 сентября 1934 г.: «С краткой речью к нам обратился первый декан исторического факультета, тогда известный историк-марксист Г.С. Фридлянд. Речь его показалась мне малоприятной. Он подчеркнул политическое значение исторической науки, сказав, что обучать нас будут марксистско-ленинскому ее пониманию, что нам предстоит постоянная борьба с буржуазной историографией. Затем он перешел к вопросу о составе наших студентов, о том, как строго они отбирались и по знаниям, и по социальному происхождению, но, не исключая ошибок в этом наборе,

угрожающе провозгласил: "Мы еще посмотрим, кто вы такие на самом деле, проверим всю вашу подноготную"»⁹.

Такая ситуация не могла не готовить почвы для двоемыслия среди части послевоенного поколения историков, становление которого проходило в общении с убежденными историками-марксистами и корифеями "старой профессуры", остававшимися во многом на прежних исследовательских позициях, несмотря на использование марксистской терминологии и идеологическую толерантность. Они становились свидетелями и наследовали опыт компромиссов, на которые были вынуждены идти их "деды".

Одну из таких ситуаций описывает в своих воспоминаниях А.Я. Гуревич, рассказывая со слов А.И. Неусыхина о выступлении Е.А. Косминского на Ученом совете истфака МГУ, которое носило официальный характер. Вот ее воспроизведение: «Кончается заседание, Неусыхин подходит к Косминскому... Внешне все выглядело мирно, но некая пикировка произошла. Александр Иосифович говорит: "С каким пафосом Вы говорили сегодня, Евгений Алексеевич!" Косминский поворачивается, смотрит на него и отвечает: "Dixi et animam levavi, – как сказал Салтыков-Щедрин". А.И. учился в такой же классической гимназии, как и Е.А., и знает, что это было сказано задолго до Салтыкова-Щедрина. Поэтому он спрашивает: "Е.А., а причем здесь Салтыков-Щедрин?" Косминский: "А вы не помните в "Современной идиллии": Dixi et animam levavi, – сказал я, и стошнел меня"»¹⁰.

Однако стремление дистанцироваться от политической конъюнктуры не означало умаления значимости марксизма как методологии исторического познания. Марксистская парадигма оставалась ведущей в исследовательской деятельности историков послевоенной генерации вплоть до последнего десятилетия XX в.

Улучшению качества профессиональной подготовки молодых историков, несомненно, способствовали изменения в системе обучения, которая до середины 1930-х годов господствовала как в средней школе, так и в вузах, и ставила во главу угла коллективное решение всех учебных задач.

Преодоление столь безбрежного и неоправданного коллективизма проводилось по советской традиции силами партийных организаций высших учебных заведений. "Нужно было под руководством парторганизации и дирекции проделать большую работу по изжитию и выкорчевыванию старого наследия в учебе, оставленного после так называемого бригадно-лабораторного метода, который сводил на нет самостоятельную работу и ответственность каждого студента за свою учебу", – говорилось в статье "В борьбе за кадры (К 5-летию комсомольской организации института)" секретаря комсомольской организации МГИАИ А. Мухина¹¹. Для будущих историков такой подход к обучению был тем важнее, что их труд по сво-

ей сути носит индивидуальный, творческий характер, допускающий объединение исследовательских усилий, но не размывающий вклада каждого ученого.

Неизменно высокой оставалась роль МГУ и ЛГУ (СПбУ) в подготовке историков – преподавателей и исследователей. Московский университет стал alma mater для 29,8% послевоенной генерации историков, ленинградский (петербургский) – для 11,0 % (Для сравнения: МГУ окончили 26,1% первого марксистского поколения и 16,6% – ЛГУ.) Существенную роль играл и МГИАИ (7,4%). Его выпускники в совокупности с выпускниками МГУ и ЛГУ составили 48,2% историков послевоенного поколения. Другая их половина (в среднем 50,2%) окончила прочие вузы, причем их доля в подготовке кадров историков имела тенденцию к росту, что объяснялось укреплением высшей школы на местах.

На детские и юношеские годы этого поколения выпали лишения Великой Отечественной войны, многие его представители, как например И.Д. Ковальченко, В.Я. Лаверычев, К.Н. Тарновский и другие, воевали на ее фронтах. А.И. Зевелев писал, что "влиться в ряды защитников Родины, в действующую Красную Армию, для меня и моих сверстников было закономерным этапом предшествующей, пока еще юношеской жизни"¹².

Однако вынужденный перерыв в учебе вызывал немало трудностей. Уходя со студенческой или школьной скамьи на фронт, старшая ветвь послевоенного поколения советских историков оставляла в мирном прошлом планы дальнейшей учебы, работу в библиотеках и архивах, посещение лекций и семинаров. Возвращение к привычным и любимым занятиям было делом не простым. П.В. Волобуев вспоминал о времени, когда он, демобилизовавшись и приехав в Москву 17 сентября 1946 г., приступил к учебе: «Как и у большинства фронтовиков (а их на 2-м курсе было человек 50, т.е. пятая часть), голова была пустая. Я, правда, еще старался что-то читать, но пришлось основательно налечь на учебу. Нельзя было ударить в грязь лицом перед теми, кто пришел в университет сразу со школьной скамьи. Ведь они смотрели на нас с почтением, но мы понимали, что это только до поры, до времени. Так я опять начал жить под девизом "Ни минуты зря"»¹³.

Настойчивость в учебе бывших фронтовиков отмечали, со своей стороны, их младшие сокурсники. Вспоминая о К.Н. Тарновском, М.С. Симонова писала: "Они и учились иначе, чем мы, упорно и целеустремленно, наверстывая упущенное"¹⁴.

Послевоенная генерация историков отличалась быстрым профессиональным ростом. В среднем почти у половины их числа между защитой кандидатской и докторской диссертаций проходило около 15 лет (42,8%). По этому показателю они даже опережают первое марксистское поколение (35,5%), однако уступают в количестве

историков, прошедших путь от кандидата к доктору наук не более чем за 5 лет (0,8 против 4,8%), что объясняется, безусловно, ускоренной "ковкой марксистских кадров" в 1920-х – начале 1930-х годов, для которой основным человеческим материалом были люди, родившиеся в период с конца 1890-х до 1910 г. (отсюда – и высокие показатели – около 25% этих историков защитили докторские диссертации через 10 и менее лет после кандидатских).

Сопоставляя по тем же параметрам послевоенную генерацию историков с их младшими коллегами, можно отметить дальнейшее ускорение темпов профессионального роста, напрямую связанное с ситуацией в отечественной исторической науке в постперестроечные годы (временной промежуток между защитами у 60,0% историков, родившихся уже после войны, был менее 15 лет).

Историки послевоенного поколения отличаются от своих предшественников выбором области научных интересов. Общей тенденцией стало смещение центра тяжести в исследованиях от древности к проблемам истории XX в. Период до XVIII в. – предмет профессионального интереса в среднем 15% историков этой генерации, XVIII в. – 7,2%, XIX в. – 16,4% и 61,4% – XX в. Для сравнения: историки первого марксистского поколения так распределялись по этим грациям – 22,1%; 11,1%; 19,8%; 47%. Историки с дореволюционным исследовательским стажем, за редкими исключениями, не считали правомрным изучение недавнего прошлого.

Увеличение удельного веса истории XX в. в общей проблематике исторических исследований объясняется несколькими факторами. Во-первых, объективным течением времени, увеличивающим историческую перспективу и переводящим события из ранга современности в прошедшее, пусть и сравнительно недавнее. Для историков послевоенного поколения история начала XX в. столь же равноудаленная, как история середины XIX в. для историков "старой школы".

Другим фактором, обусловившим резкий рост внимания к истории XX в., является его насыщенность революционными процессами, требовавшими своего осмысления, помноженная на традиционный интерес марксистской науки к проблемам классовой борьбы. Помимо этого, ориентация молодых историков на изучение советской истории проходила красной нитью в политике партии в отношении исторической науки, особенно в послевоенные годы.

Существовала и иная тенденция. При выборе области научного исследования нередко проявлялось стремление дистанцироваться от новейшей истории России и зарубежья, поскольку ее проблемы были наиболее идеологизированы и подвержены политической конъюнктуре.

Уход от политико-идеологической ангажированности в какой-то мере достигался отказом от постановки обобщающих проблем.

"Мелкотемье" было поводом для постоянной критики со стороны руководства исторической наукой. Такая ситуация во многих случаях совершенно справедливо была названа А.Я. Гуревичем "внутренней эмиграцией". «Для нее, – констатирует он в своей "Истории историка", – была характерна узкая специализация, привязанность к привычной теме, может быть, и существенной, занятия источниковедением, разработка сугубо конкретных сюжетов без каких-либо широких обобщений, потому что там, где начинаются обобщения, вы попадаете в сферу идеологии»¹⁵.

Профессиональное становление историков послевоенного поколения проходило в условиях менявшегося в стране идеологического климата: от печально известных постановлений ЦК ВКП(б) 1946–1948 гг., направленных на усиление партийного контроля в области литературы, искусства и науки, исторической в частности, до хрущевской оттепели с ее попытками провозгласить приоритет научности в исследовательской деятельности.

Эта генерация историков отказывалась от недавно ею освоенных положений "Краткого курса", от сталинского прочтения отечественной истории. Трудно приходилось и недавним выпускникам, и студентам-историкам. А.И. Алаторцева, в 1953 г. поступившая на исторический факультет МГУ, вспоминала, что в таких условиях было весьма непросто держать экзамены по отечественной истории.

Происходившие в стране и науке перемены требовали от послевоенного поколения историков определения своего отношения к ним, выработки собственной общественной и научной позиции. В целом они с увлечением поддержали идеи, вошедшие в историческую науку после XX съезда КПСС, хотя отказ от сталинизма для многих из них не был мгновенным.

Труднее пришлось старшим представителям послевоенного поколения, студенческая пора и начало научной деятельности которых совпали с последними годами сталинского правления: недавно освоенные постулаты надо было переосмысливать и переоценивать. П.В. Волобуев, принадлежавший как раз к этой части послевоенной генерации историков, писал впоследствии: "Не знаю, как кому, но преодоление сталинизма мне далось нелегко и потребовало немалых интеллектуальных усилий (с нравственной стороной этой задачи дело обстояло намного легче)"¹⁶. В 1955 г. он выступил на стороне противников нового курса журнала "Вопросы истории"; об этом впоследствии, в марте 1997 г. говорил в своем интервью: "Конечно, и я кое-что недоучел. Настроения в обществе поворачивались в сторону критики культа личности Сталина (хотя XX съезд еще был впереди), и мне надо было бы соображать поживее. Какие же мы все, в том числе и я, были тогда дремучие догматики!"¹⁷

Послевоенное поколение историков оказалось увлечено задачей приложения к изучению прошлого марксизма-ленинизма, освобож-

денного от напластований сталинской эпохи. Несмотря на признаки идеологической значимости исторической науки, эти историки проявляли стремление отделить науку от конкретной общественно-политической ситуации, не приспособлять к ней свои труды.

Большую роль в этом направлении сыграл руководимый М.Я. Гефтером сектор методологии, историки "нового направления"¹⁸. Аккумулировав достижения русской классической и советской историографии, получив широкие, по сравнению с предшествовавшими годами, возможности работы в архивах, они всей своей деятельностью были нацелены на творческий поиск, на дискуссионный метод решения исторических проблем.

Основным ядром этих исследовательских групп были историки послевоенной генерации. Однако было бы неверным на этом основании делать вывод о разрыве преемственности с поколением историков-марксистов, многие представители которого восприняли и отстаивали новые тенденции в исторической науке, как например М.В. Нечкина, А.М. Панкратова, А.Л. Сидоров и др. Не случайно, что А.М. Панкратова оказалась во главе "мятежных" "Вопросов истории", а вокруг А.Л. Сидорова сформировалось "новое направление". В этом не было никакой иронии истории, как утверждает Роджер Марквик в отношении А.Л. Сидорова¹⁹, а проявился исследовательский потенциал этих ученых.

Хотя кардинальным направлением методологического поиска у историков послевоенного поколения в советский период было новое прочтение классиков марксизма-ленинизма, получило импульс к развитию и другое направление, в основании которого лежало изучение достижений современной западной историографии, ее гносеологии и эпистемологии, в первую очередь историко-антропологического метода.

Следовавший этим направлением А.Я. Гуревич считает себя "счастливчиком, потому что, когда мы здесь, как слепые котятка, искали свои пути, своевременно прислушался к тому новому, что рождалось в трудах ведущих историков на Западе (имеются в виду М. Блок, Л. Февр и др. – Л.С.)"²⁰. Свои монографии – "Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе" и "Категории средневековой культуры", над которыми он работал на протяжении 1960-х годов, – А.Я. Гуревич считает "естественным следствием этой общей ориентации"²¹.

Свертывание "оттепели" привело к возникновению в среде историков послевоенного поколения конформизма, к ужесточению "цензуры собственной головы", смягченной в годы "оттепели". Наличие исторических тем и сюжетов, персоналий, о которых не следовало упоминать в статьях и на страницах монографий, принималось *de facto* и публично не комментировалось, что, естественно, мешало обсуждению идеологически сложных проблем истории в ча-

стных беседах. Существование официальных партийных трактовок исторического процесса вкупе с двоемыслием в исследовательской деятельности было существенной преградой для решения методологических проблем исторической науки.

Так, В.П. Данилов говорил о двух поражениях, которые потерпели "шестидесятники": одно – в конце 1960-х, другое – в 1990–1991 годах²², имея в виду возможность исследования истории на основе творческого применения марксизма. С этим выводом можно согласиться лишь отчасти: многие ученые послевоенного поколения советских историков в 1990-х годах продолжают плодотворно работать, сочетая в своих исследованиях различные методологические подходы.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой индивидуальности в творчестве ученого: многие историки даже в наиболее неблагоприятные в смысле идеологического давления на историческую науку годы находили возможность создавать действительно научные работы. Выявляется общая не только для историков послевоенного поколения закономерность: отдавая дань в начале творческой деятельности господствовавшим историческим концепциям, отдельные его представители в процессе исследовательской деятельности становятся более самостоятельны и независимы в своих суждениях, осваивая новые методологические подходы.

В 1960–1970-е годы особые надежды на получение объективного знания возлагались на применение новых методов исследования, заимствованных из точных наук – математических методов изучения истории. Признанными лидерами этого направления стали И.Д. Ковальченко и возглавляемая им кафедра источниковедения исторического факультета МГУ, Проблемная группа по изучению социальной истории В.З. Дробижева²³.

Количественные методы в изучении истории нашли многих приверженцев среди историков послевоенного поколения. Их привлекательность была связана не только с тем, что в научный оборот могли отныне включаться массовые источники. С их помощью решалась задача выявления фундаментальных глубинных взаимосвязей, изучения скрытых от взгляда макроструктур, пронизывавших жизнь социума на протяжении больших отрезков времени²⁴. В конечном счете, речь шла о возможности достижения исторической наукой большей объективности, сопоставимости ее результатов с выводами точных наук.

Это увлечение количественными методами исследования отечественная историческая наука переживала почти одновременно с мировой историографией, которая также отдала дань "сциентическому соблазну". Надежды, возлагаемые на них, были столь же велики, как и убежденность в их объективности, что они стали применяться даже для изучения небольших по объему источников.

Так, Л.М. Брагина провела количественную корреляцию дефиниций, содержащихся в философском трактате эпохи Возрождения, разбив их на две группы. В первую из них вошли понятия, связанные с честью, достоинством и пр.; во вторую – относящиеся к сфере товарно-денежных отношений. На основе превалирования последних она сделала вывод о развитии капиталистических отношений. Однако применение этого метода анализа в отношении уникального документа едва ли было оправданно, да и результаты его были жестко детерминированы марксистско-ленинской методологией, проявившейся уже на стадии подразделения понятий на две группы²⁵.

Количественные методы изучения истории не стали панацеей от субъективности исторического знания и универсальным способом достижения его объективности, хотя прочно вошли в исследовательский арсенал многих историков послевоенного и последующего поколений.

Таким образом, характеризуя наиболее общие черты, присущие послевоенному поколению отечественных историков, следует выделить следующее: во-первых, их профессиональная подготовка изначально включала в себя изучение достижений русской, а не только советской исторической науки, освоение приемов и методов работы с источниками, внимание к историческим фактам; во-вторых, марксистская непримиримость поколения красных профессоров уступала место более взвешенному отношению к партийности в исторических исследованиях. Поиск исторической объективности был включен в число исследовательских задач.

Это поколение дважды становилось непосредственным участником концептуальных и методологических перемен в отечественной исторической науке, в целом позитивно отзываясь на них. Его младшая ветвь продолжает активно работать в современной науке. Вклад послевоенного поколения отечественных историков в историческую науку, несомненно, значителен. Его еще предстоит оценить по достоинству, избегая нигилистического отношения к советской составляющей и изучая в совокупности труды разных лет.

¹ Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиогр. словарь / Автор-составитель А.А. Чернобаев. 2-е изд., испр., доп. / Под ред. В.А. Динеса. Саратов, 2000.

² Смирнова Т.М. "В своем происхождении никто не повинен..."? Проблемы интеграции детей "социально чуждых элементов" в послереволюционное российское общество (1917–1936 гг.) // Отечеств. история. 2003. № 4. С. 34–35.

³ Московский ордена "Знак Почета" Государственный историко-архивный институт. 1930–1980: Сб. док. и материалов. Пермь, 1981. С. 78.

- ⁴ Там же. С. 77.
- ⁵ Волобуев П.В. Неопубликованные работы: Воспоминания. Статьи. М., 2000. С. 8.
- ⁶ Гуревич А.Я. История историка. М., 2004. С. 15.
- ⁷ Зевелев А.И. Я – историк и этим горжусь. 2-е изд., испр., доп. М., 2002. С. 57–58.
- ⁸ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 249. Д. 112а. Л. 131.
- ⁹ Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001. С. 126–127.
- ¹⁰ Цит. по: Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 19–20.
- ¹¹ Московский ордена "Знак Почета" Государственный историко-архивный институт. 1930–1980. С. 81.
- ¹² Зевелев А.И. Указ. соч. С. 73.
- ¹³ Волобуев П.В. Указ. соч. С. 13.
- ¹⁴ Константин Николаевич Тарновский: Историк и его время: Историография. Воспоминания. Исследования. СПб., 2002. С. 22.
- ¹⁵ Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 96.
- ¹⁶ Волобуев П.В. Указ. соч. С. 16.
- ¹⁷ Отечеств. история. 1997. № 6. С. 111–112.
- ¹⁸ Подробнее см.: Мир историка. XX век. М., 2002. С. 200–258.
- ¹⁹ Markwick R.D. Rewriting History in Soviet Russia. The Politics of Revisionist Historiography, 1956–1974. Palgrave, 2001.
- ²⁰ Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 117.
- ²¹ Там же. С. 134–135.
- ²² Цит. по: Markwick R.D. Op. cit. P. 234.
- ²³ И.Д.Ковальченко: Научные труды, письма, воспоминания (из личного архива академика): Сб. материалов. М., 2004.
- ²⁴ Милов Л.В. Иван Дмитриевич Ковальченко // Историки России XVIII–XX вв. М., 1996. Вып. 3. С. 158.
- ²⁵ Брагина Л.М. Методика количественного анализа философских трактатов эпохи Возрождения // Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977.

ПРИЛОЖЕНИЯ*

Таблица 1

Год рождения	Место рождения, %					
	Москва	Санкт-Петербург	Крупные города	Прочие города	Сельская местность	Не указано
Второе поколение советских историков (первое марксистское) 1896–1920						
Средний показатель по поколению	6,1	10,1	12,0	32,4	37,8	1,6

* Сост. автором статьи.

Таблица 1 (окончание)

Год рождения	Третье поколение советских историков (послевоенное)					
	1921–1925	17,8	5,7	8,9	22,3	45,3
1926–1930	14,0	9,7	16,1	23,1	36,6	0,5
1931–1935	22,2	7,8	13,7	26,1	30,2	–
1936–1940	15,2	4,3	10,2	32,6	34,1	3,6
1941–1945	18,6	4,9	13,6	25,9	35,8	1,2
Средний показатель по поколению	17,3	6,9	12,6	25,7	36,5	1,0
Четвертое поколение советских историков (1946–1965)						
Средний показатель по поколению	19,0	6,1	14,1	36,3	22,8	1,7

Таблица 2

Год рождения	Социальное положение, %			
	служащие	рабочие	крестьяне	не указано
Второе поколение советских историков (первое марксистское) 1896–1920				
Средний показатель по поколению	58,5	12,3	27,7	1,5
Третье поколение советских историков (послевоенное)				
Год рождения				
1921–1925	60,5	9,6	29,9	–
1926–1930	68,3	7,5	24,2	–
1931–1935	67,3	19,6	12,4	0,7
1936–1940	61,6	18,9	15,9	3,6
1941–1945	71,6	9,9	18,5	–
Средний показатель по поколению	65,5	13,0	20,7	0,8
Четвертое поколение советских историков (1946–1965)				
Средний показатель по поколению	77,5	14,7	6,1	1,7

Таблица 3

Год рождения	Вузы, %					
	МГУ	СПБУ (ЛГУ)	МГИАИ	ИКП	прочие вузы	не указано
Второе поколение советских историков (первое марксистское) 1896–1920						
Средний показатель по поколению	26,1	16,6	2,8	4,0	46,6	3,9
Год рождения	Третье поколение советских историков (послевоенное)					
1921–1925	31,2	10,8	6,4	–	49,7	1,9
1926–1930	29,6	13,4	6,0	–	47,8	3,2
1931–1935	36,6	13,7	11,1	–	38,6	–
1936–1940	19,6	8,0	6,5	–	64,5	1,4
1941–1945	32,1	6,2	7,4	–	54,3	–
Средний показатель по поколению	29,8	11,0	7,4	–	50,2	1,6
Четвертое поколение советских историков (1946–1965)						
Средний показатель по поколению	20,2	9,2	11,2	–	57,3	2,1

Таблица 4

Год рождения	Область научных интересов, %			
	до XVIII в.	XVIII в.	XIX в.	XX в.
Второе поколение советских историков (первое марксистское) 1896–1920				
Средний показатель по поколению	22,1	11,1	19,8	47,0
Год рождения	Третье поколение советских историков (послевоенное)			
1921–1925	14,6	9,6	17,8	58,0
1926–1930	17,2	5,4	19,4	58,0
1931–1935	11,1	5,9	15,0	68,0
1936–1940	15,2	7,2	13,8	63,8
1941–1945	17,3	9,9	13,6	59,2
Средний показатель по поколению	15,0	7,2	16,4	61,4
Четвертое поколение советских историков (1946–1965)				
Средний показатель по поколению	10,1	6,9	12,4	70,6

Таблица 5

Год рождения	Временной промежуток между кандидатской и докторской диссертациями, %					
	до 5 лет	до 10 лет	до 15 лет	до 20 лет	свыше 20 лет	не указано
Второе поколение советских историков (первое марксистское) 1896–1920						
Средний показатель по поколению	4,8	8,9	21,8	25,0	22,2	17,3
Третье поколение советских историков (послевоенное)						
Год рождения						
1921–1925	0,6	12,1	28,0	28,7	24,2	6,4
1926–1930	2,7	13,4	27,4	24,8	24,7	7,0
1931–1935	–	16,3	34,0	24,2	18,3	7,2
1936–1940	–	7,3	23,9	32,6	17,4	18,8
1941–1945	–	18,5	32,1	24,7	14,8	9,9
Средний показатель по поколению	0,8	13,2	28,8	27,0	20,7	9,5
Четвертое поколение советских историков (1946–1965)						
Средний показатель по поколению	3,5	27,1	29,4	12,9	2,6	24,5

Н.Ф. Бугай

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЭТНОСОВ СОЮЗА ССР В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Развитие политических событий в Союзе ССР, начиная с 20-х годов прошлого столетия, протекало таким образом, что в государственной политике приходилось широко прибегать к использованию таких мер, как репрессии и реабилитации в отношении личности, когорт населения, принадлежащего и разным национальностям, и целого этноса.

Разумеется, Союз ССР в 1920-е годы не был в этом отношении исключением в мировой практике. История человечества знает немало таких примеров, когда реабилитация, как и репрессии, проводилась по отношению к личности.

Однако специфика развития многонационального союзного государства в 1920-е годы и позднее, как и России в 1990-х – начале

XXI в., требует особого анализа такого явления в жизни общества, как реабилитация. Это, несомненно, позволяет познать на практике, прежде всего, не сам процесс, действия в ходе реабилитации, но и причины, приводившие к тем или иным репрессивным актам со стороны государства. Появляется возможность разъяснить обстановку, вскрыть ложный характер принимаемых решений по отношению к народам, личности, когорте населения, раскрыть роль и место общественных организаций во взаимодействии с государственными органами власти в решении сложных вопросов реабилитации. В этой связи остается важным выяснить и предпринимать действия по использованию этой меры со стороны государства в плане консолидации народов, целенаправленного формирования их национального самосознания, объединения вокруг идеи утверждения самих позиций государства.

Очевидно, с этих же позиций исходила и редакция появившегося в 1994 г. "Малого толкового словаря" (М., 1993), которой были даны в предисловии разъяснения самой сути понятия "реабилитация" как "восстановление в прежних правах; восстановить чье-нибудь доброе имя, незапятнанную репутацию" (С. 500).

Несомненно и то, что само понятие претерпевало эволюцию, включая на разных этапах развития общества и новые составляющие, в зависимости от обстановки в том или ином обществе, складывавшейся ситуации, устойчивого или неустойчивого положения самой власти, прочности ее позиций и т.д.

Для Российского государства 1990-х годов было характерным появление такой категории, как "полная реабилитация незаконно репрессированных", что также оставалось составляющим элементом более ёмкого понятия "реабилитация".

Следует отметить, что не только проблема реабилитации, но и сам термин практически не упоминались в историографии 1920–1940-х годов. Все это происходило по той причине, что оценки тех или иных явлений в обществе, связанные с принимавшимися партией и государством мерами репрессивного воздействия в условиях господства административно-командной системы управления обществом, получавшие отражение в партийных документах, не подлежали сомнению. Как, кстати, не подлежали сомнению и дававшиеся оценки роли и месту не только групп населения, но и целых этносов в системе межнациональных отношений в государстве. В конечном итоге это способствовало отрицанию необходимости проведения на практике мер по реабилитации, не проявлялось внимание и к изучению этой проблемы в развитии общества.

И в то же время было бы неверным утверждать, что реабилитация как действие, мера со стороны государства, сформировавшаяся в российском обществе в самостоятельное направление националь-

ной политики в 90-е годы XX в., присуща только исключительно этому периоду в развитии государства. Отнюдь нет. Как и любое другое общественное явление, оно также эволюционизировало в полной зависимости от ситуации в государстве.

Можно констатировать, что относительно проводимых реабилитаций в Союзе ССР в 1920-е годы характерным было наличие одного из главных компонентов – политического, и отсутствие таких составляющих этого процесса, как духовно-культурный аспект, социальный, территориальный и др.

Однако развитие событий в многонациональном государстве на всех срезах истории свидетельствует о том, насколько важно отслеживание ситуации именно с духовным состоянием общества, с духовным началом, которое, по мнению многих политологов и обществоведов, является в целом основным скрепом в национальных отношениях. «Именно духовное единение многонационального государства, – замечал председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации В.И. Зоркальцев на парламентских слушаниях "Законодательное обеспечение предупреждения терроризма. Этноконфессиональный аспект" (Москва, 7 апреля 2003 г.), – делает его народом, а не конгломератом этносов, готовых противостоять друг другу»¹.

Разумеется, в те времена и мысли не было о необходимости определения критериев компенсации, прежде всего, морального, а затем и материального ущерба, нанесенного репрессированным: личности, когорте населения, принадлежавшего к той или иной национальности, этносам. Все это получило свое развитие, но спустя длительный период времени.

Эволюция самого понятия "реабилитация" привела к тому, что оно претерпело изменения и на новом этапе, например в период развития Союза ССР в 50–60-е годы прошлого столетия оно включало уже совершенно новые компоненты, в числе которых были социальная, экономическая, территориальная реабилитации, которые приобрели зачастую на практике элементы самостоятельного направления в осуществляемой государственной политике.

Выступая на Всероссийском совещании "О реализации Концепции государственной национальной политики Российской Федерации", проходившем 18 апреля 2003 г. в Доме Правительства Российской Федерации, известный российский ученый, политолог Р.Г. Абдулатипов отмечал: "Политические режимы оставили нам очень много репрессий и несправедливости, но вместе с тем гражданское общество, русское общество спасло всех нас, обеспечило нам дружбу народов, и от этих ценностей мы не должны отказываться"².

Вывод Р. Абдулатипова, несомненно, отличался корректностью и одновременно выдвигает на передний план необходимость как изучения этих сложных процессов, так и теневых сторон, форм и мето-

дов исправления допущенных ошибок в прошлом, одной из таких первоочередных мер остается и реабилитация ранее подвергшихся репрессиям народов.

По нашему мнению, реабилитацию народов и когорт населения, принадлежавшего к различным национальностям, следует рассматривать как одну из составляющих единого политического процесса, как одну из черт и свойств тоталитарного режима государственной власти, которая зачастую своими действиями доводила до абсурда реализацию выработанных установок в экономическом и духовном преобразовании общества.

Именно во имя интересов власти осуществлялась депортация. Уже, например, в 1920-е годы были депортированы казаки, частично корейцы Дальнего Востока, а затем поляки, немцы и, наконец, народы Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Все это ни о чем другом не говорит, кроме как о происходившей деформации общественных процессов, отклонении их от мирового цивилизационного процесса. Наглядным подтверждением этому явились подобные акции, предпринимавшиеся правительствами таких государств, как США, Япония и отдельных стран Западной Европы.

Реабилитация применительно той или иной группы населения, независимо от того, по какой причине она проводилась, как правильно замечает Т.Ю. Красовицкая, это «сокрушительный финал этих акций, когда неразрешенные социальные проблемы вновь "вернулись" к себе домой (имеются в виду вместе с возвратившимися народами. – *Авт.*), а по железным дорогам Заполярья, Средней Азии и Сибири уже давно не ходят поезда, законсервированы те или иные разработки природных богатств...»³

В дополнение к этому реабилитация – это еще и свидетельство провала и неэффективности административно-командных, тоталитарно-идеологических методов руководства обществом, процесса социальных трансформаций. Реабилитация остается составной частью депортации, это как бы последнее звено этой цепи.

Очевидно, общество, с учетом интересов своего развития, никогда не согласится со сверху данными подобного рода идеологическими установками. Альтернативным действием этому может быть только протест в открытой форме (письма в государственные органы власти, обращения, предложения, листовки, призывающие к возвращению к прежним местам проживания) или завуалированные действия (неповиновение и др.).

Несомненно, основой для проведения дальнейших мер по реабилитации ранее подвергшихся репрессиям граждан стал принятый 26 апреля 1991 г. Закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Однако, как показывает практика более чем десятилетнего исполнения закона, решить все проблемы

на его основании не удастся, в том числе и в современной России. Судя по всему, сказывается и несовершенство самого законодательного акта.

И справедливости ради, надо согласиться с первым заключением в отношении принятия закона, высказанным в письме в Правительство РСФСР заместителем председателя Госкомнац РСФСР В. Серяковым: "Однако определяющим фактором торможения стало все более утверждающееся в определенной среде восприятие этого закона как мандата на мгновенное решение всех проблем – правовых, политических, культурных, территориальных без учета какой бы то ни было геополитической реальности, каких бы то ни было интересов добрососедства и сотрудничества"⁴. Поэтому тут же В. Серяков предлагал и комплекс мер оперативного характера только лишь с той целью, чтобы "стабилизировать обстановку и ввести процесс в конституционное русло"⁵.

Как отмечают известные политологи, практики сферы национальных отношений Российской Федерации В.А. Тишков, Д.О. Рогозин, исходя из демократических порывов и насущных нужд незавершенной реабилитации, по своей идеологии закон оказался ущербным и конфликтогенным. Его субъектом были не граждане, непосредственно пострадавшие от репрессий, а коллективные тела под названием "репрессированные народы", в отношении которых должна быть восстановлена "историческая справедливость". Закон, как известно, сочиняли и лоббировали люди малосведущие в этнических и правовых материях или же отчаянные активисты из числа представителей репрессированных народов, использовавшие болезненную память⁶.

Кстати, несколько позднее подобная точка зрения высказывалась в письме первого заместителя главы Администрации Воронежской области Г.И. Макина в адрес Государственного правового управления Президента Российской Федерации. "Если реабилитация народов – это признание их права на возмещение ущерба, причиненного государством, – писал Г.И. Макин, – то не ясно, кому этот ущерб предполагается возмещать. Гражданам или народу в целом? Как возместить ущерб, причиненный, например, грекам, проживающим в Союзе ССР и высланным на спецпоселение? Если же речь идет о гражданах, то почему это не входит в раздел о социальной реабилитации?"⁷

Это же мнение было изложено и в обращении в Администрацию Президента Российской Федерации Президента Республики Северная Осетия А.Х. Галазова и председателя правительства республики Ю. Бирагова, которые полагают, что "основным принципом реабилитации должен стать индивидуальный подход к реабилитации конкретного человека, что соответствует принципу приоритета личности и гражданина"⁸.

Как известно, еще более жесткую позицию по отношению к Закону РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" занимал и лидер ЛДПР В. Жириновский. Его позиция была изложена на пленарном заседании Государственной думы 5 февраля 1998 г. В частности, в связи с обсуждением вопроса о выплатах компенсации жертвам политических репрессий (в том числе и калмыкам), он заявил: "Товарищ Сталин, глава нашего государства, просто так не переселял. Когда ему доложил КГБ, что тысячи калмыков организовали свои бригады, пошли по рейдам Красной Армии и уничтожили тысячи советских бойцов, – вот за это оставшихся в живых действительно переселили... Поэтому даже эти деньги (компенсацию за депортацию) не надо платить, потому что это деньги родственников тех, кто уничтожал советских солдат"⁹.

Подобное заявление вызвало резкое осуждение со стороны общественности Республики Калмыкия. На это отреагировали и "Известия Калмыкия" (№ 42 от 25 февраля 1998 г. и др.), представив подборку выступлений многих общественных и политических деятелей республики.

На свой лад оценивался закон и заведующим Отделом правовых проблем федеративных и национальных отношений Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Б.С. Крыловым. В аналитической записке, которая была направлена 2 февраля 1995 г. в Правительство Российской Федерации, касаясь перспектив развития национальных отношений в России, он писал: «Прежде всего это относится к Закону РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Как бы высоко этот акт не оценивался, нельзя не видеть, что в настоящее время дестабилизирующие факторы в национальном вопросе обусловлены в значительной мере невыполнением этого закона»¹⁰.

Разумеется, что задачей российской исторической науки в этой ситуации является изучение слабо разработанной темы. Это, несомненно, будет иметь большое значение как для управления развитием внутривнутриполитических процессов в российском обществе, так и в международном плане, особенно для государств бывшего социалистического содружества и государств СНГ, где имеют место аналогичные процессы, где правительствам этих государств приходится также заниматься решением этой проблемы, выработкой необходимого законодательства.

Применительно к Российской Федерации известно, что в середине июня 1996 г. указом Президента Российской Федерации в целях всестороннего учета интересов народов Российской Федерации, обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики была утверждена

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. В документе нашли впервые отражение положения о мерах по реабилитации репрессированных народов, исправлению ошибок, допущенных тоталитарной системой, связанных с массовыми репрессиями, включая депортации и разрушение многих культурных национальных ценностей. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации констатирует: "национальная политика может стать консолидирующим фактором лишь в том случае, если она будет отражать все многообразие интересов народов России, иметь в своем арсенале четкие механизмы их согласования"¹¹.

Концепция четко определила требование современности – 1990-х годов – разрешение ряда проблем репрессированных народов. В числе их ускорение разработки и реализации соответствующих "законодательных актов, направленных на устранение последствий репрессий и депортаций в отношении этих народов"¹².

Реализация Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" определялась Концепцией государственной национальной политики Российской Федерации в качестве приоритетной задачи органов власти¹³. Однозначно, в решении этой проблемы нельзя останавливаться на половине пути. Она определяет во многом состояние межнациональных отношений и состояние самой души подвергшихся репрессиям, их сознания, их отношения к государству, к проблеме "народы и власть". Это следует всегда помнить. Не случайно, как бы не развивались события в Чеченской Республике, однако, общество напоминает, как правильно об этом заметила газета "Московские новости" (2003. 24–30 июня) в рубрике "В Чечне вспомнили о ваучерах", что "гражданам Чеченской Республики не выплатили компенсации как жертвам репрессий, а также не выдали ваучеры. Как устранить эту несправедливость?" Проблема остается на слуху и у других народов, например, у тех же поляков, российских греков, турок-месхетинцев. Одним словом, она не доведена в практике национальных отношений Российской Федерации до логического завершения.

Правда, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 8 октября 2002 г. было дано поручение о внесении коррективов в существующую Концепцию государственной национальной политики Российской Федерации. Они не могли не коснуться и проблемы реабилитации граждан. Появилась возможность по-новому определить и в отношении проблемы реабилитации в целом. Анализ материалов, поступивших из субъектов, свидетельствует о том, что эта тема сведена к нулю и мало вызывает интерес. Более того, например, в материалах Администрации Ставропольского края прямо указано: «В Концепции зафиксировать отношение государства к вопросу о "территориальной реабилитации репрессированных народов" и

снять его с обсуждения как одного из самых конфликтогенных факторов на Северном Кавказе»¹⁴.

Необходимо сразу же отметить, что публикации по исследуемой теме незначительны. Научные труды можно рассматривать только лишь в качестве подступов обществоведов к теме в качестве их стремления разобраться в столь сложном вопросе, определить роль и место реабилитации в развитии многонационального общества, а также и выявить формы и методы устранения ошибок прошлого. Такой подход можно расценивать и как стремление ученых выявить возможности недопущения ошибок в будущем во имя создания консолидированного общества, подчиненного единой цели – формированию такого многонационального государства, в котором, по определению Президента Российской Федерации В.В. Путина, жилось бы всем народам, составляющим это государство, комфортно, такого общества, в котором было бы гармоничным развитие национальных отношений, высокий уровень культуры межнационального общения¹⁵.

Разумеется, применительно к России решение этих задач сделает ее на международном уровне и сильной, и конкурентоспособной. Именно эти цели ставил Президент Российской Федерации В.В. Путин в посланиях Федеральному собранию в 2002–2003 гг.

Дальнейшее изучение проблемы, на наш взгляд, во многом будет зависеть от того, как правильно будут определены направления в ее разработке, выявлена степень практической необходимости, полезности результатов исследования, т. е. дан ответ на вопрос: а во имя чего необходима разработка этого направления в государственной национальной политике России?

Несомненно, все это необходимо и для того, чтобы выработать верный научный подход практического осуществления самой реабилитации, без придания ей ложного исторического парадизма. Однозначно, непродуманные, необоснованные меры могут вызвать как недовольство, так и обиду со стороны народов, когорт населения, проживающих на той или иной территории, чтобы не было огульного охаивания, как тех, кто занимался разработкой механизма реабилитации, так и непосредственно самих мер, которые соответствуют состоянию государственных возможностей для реализации намечаемых планов реабилитации. Как известно, крайности в этом деле не исключены.

В ходе реализации мер, связанных с реабилитацией этносов и когорт населения, принадлежавших к разным национальностям, в дефиниции изучаемой проблемы уже в 1990-е годы было включено такое понятие, как "антиреабилитационные силы"¹⁶. К "силам" были причислены партократы, а также все те, кто хотя бы прикоснулся каким-то образом к анализу этого нового явления, связанного с реабилитацией части населения в государстве, по-другому, не дай Бог, посмел бы возразить против утверждавшихся новых понятий.

Отсюда естественные попытки поисков этих "антиреабилитационных сил" среди ученых, в верхнем эшелоне власти, так и на местах. К этой категории следовало бы отнести и стремление выстроить ряд доказательств степени "наказанности" того или иного народа, а отсюда и дележа реабилитации по формуле: "этих – надо, этих – нет". В конечном итоге все это приводило к кощунствующим выводам, искажению как самой истории процесса, так и непосредственно содержания мер по реабилитации.

Публикации 1990-х годов позволили в конечном итоге вернуться к такой важной проблеме, как предпринимавшиеся репрессивные меры по отношению к русскому народу, и в том числе к казачеству, и имевшие особую жесткую форму в 1920-е годы. Именно опубликованные исследования позволяют свести на нет необходимость доказательства – заслуживают они (казаки) реабилитации или же нет. Казаки в Советской Республике, Советском Союзе оказались в числе первых из когорт населения, подвергшихся жесточайшим репрессиям¹⁷.

В плане приращения знаний по проблемам депортации и реабилитации народов и граждан привлекает внимание исследование К. Чомаева. Автор предпринял действия по определению критериев компенсации морального и материального ущерба, нанесившегося подвергшимся репрессиям. Это была смелая попытка для начала 1990-х годов. Однако отсутствие документальной обоснованности, убедительной аргументации выдвигаемых автором положений, точных характеристик количественных величин, например, конфискованного имущества, вело к определенному искажению действительности, вымыслам, надуманности, бездоказательности, созданию неверных представлений и формированию определенного мнения по всем этим сложным вопросам у населения. Разумеется, все это позволяет сделать вывод о необходимости более глубокого и всестороннего подхода к изучаемой теме, а главное, обоснованности выдвигаемых положений.

Несомненно, среди суждений автора его посылка в потребности реабилитации самого государства как соучастника преступлений против народов, виновность его правительства по причине принимавшихся решений заслуживает определенного внимания и, особенно, со стороны государственников, государственно-правовых служб, а также тех лиц, кто занят формированием новой законодательной системы в обществе. В этом же ряду и посылки автора об оценке деятельности правительства в восстановлении поправленных прав народов и когорт населения, о покаянии государства, о гарантиях от рецидивов национальной репрессии¹⁸.

Кстати, следует заметить, что эти мотивы получили продолжение и в появившейся в это же время обобщающей книге "Карачаевцы. Выселение и возвращение. 1943–1957" (Черкесск, 1993).

"Восстановление справедливости – дело непростое, с какой точки зрения ее ни рассматривать, – пишет доктор исторических наук Д.Х. Мекулов. – Со стороны пострадавших народов – это связано с новыми переменами (место жительства, психика, зачастую язык общения), что благотворно для народа в целом, но не всегда легко и безболезненно воспринимается каждым человеком или семьей в отдельности. Со стороны Правительства Российской Федерации, правительств субъектов Российской Федерации – это кропотливый труд по разработке комплекса документов, финансированию мер по реабилитации, осуществлению мероприятий, способствующих восстановлению конституционных прав репрессированных народов"¹⁹.

В 1997 г. Институтом гуманитарных исследований Республики Адыгея совместно с Департаментом Северного Кавказа (Миннац России) был издан сборник статей "Народы России: проблемы депортации и реабилитации". В нем большое внимание уделялось анализу последствий депортации, в частности демографическим и территориальным изменениям, преобразованиям в развитии культур народов, подвергшихся переселению в 20–40-х годах прошлого столетия. В целом же в сборнике удалось только обозначить подступы к проблеме реабилитации.

Вопросу реабилитации народов Северного Кавказа, а также частично других народов и когорт населения посвящен специальный раздел в монографии Н.Ф. Бугая, А.М. Гонова "Северный Кавказ: новые ориентиры национальной политики (90-е годы XX в.)" (М., 2003). В монографии проблема реабилитации народов авторами определена для рассматриваемого периода, наряду с другими, в качестве нового самостоятельного направления государственной национальной политики в многонациональном регионе страны. Приведены многие новые количественные характеристики, отражающие ход реабилитации народов в субъектах Северного Кавказа, роль в этих процессах Правительства Российской Федерации и исполнительных органов государственной власти на местах, трудности этих мер и недостатки, причины наличия комплексного подхода к решению проблемы применительно ко всем народам, подвергшимся репрессиям.

И.В. Белоусов, занимаясь проблемой возрождения казачества России, не мог обойти стороной вопросы реабилитации казачества. В дополнение к этому он констатирует, что к середине 1993 г. казачество определилось в своих основных тенденциях в политической жизни, которые сводились к следующему: «стремлению выступать в качестве реальной политической силы, способной консолидировать патриотические настроенные массы; автономизации казачьих регионов с введением атаманского правления; "внедрению" в органы государственной власти с целью влияния на принятие решений, развитию самоуправления, основанного на традиционных казачьих прин-

ципах». Одновременно автором была предложена и периодизация процесса возрождения казачества, т.е. мер по проведению реабилитации. При этом 1990-е годы разделяются автором на два самостоятельных этапа: с 1993 по 1996 г. (рост политической активности казачества) и 1997–1999 гг. (массовое вступление казачьих войск в государственный реестр)²⁰.

Привлекателен и вывод автора. По его мнению, только благодаря предприняемым мерам по реабилитации со стороны государства казачество к концу 1990-х годов удалось из стихийного состояния в целом интегрировать "в конституционное политическое пространство России, в известном смысле, придав новые специфические черты политической системе Российского государства, дополняющие ее отличия от всех представленных в мире форм демократии"²¹.

Уже в ходе безудержной эйфории, охватившей массы в середине 1990-х годов, в связи с озвученной реабилитацией, а по существовавшему тогда общественному мнению, якобы такая акция со стороны государства проводилась впервые, отдельные ученые, журналисты пытались более осмысленно подойти к оценкам событий. Они касались и реабилитации народов, когорт населения, отдельных граждан, принадлежавших к разным национальностям и подвергшихся репрессиям. Их публикации отличает стремление дать объективную оценку этому периоду, показать роль и место реабилитации народов России, сказать правду о роли других народов в этих процессах. Так, например, Жагафар Токумаев (Кабардино-Балкарская Республика), рассматривая проблемы реабилитации балкарского народа, замечал: "Я хорошо помню 1957–1958 годы, когда балкарцы возвращались в свои родные места. Наши аулы были разрушены. Люди (балкарцы. – *Авт.*), приехавшие к своим очагам, фактически остались под открытым небом. Тогда им на помощь первыми пришли кабардинцы. Их почин поддержали русские братья. Со всех колхозов, совхозов республики к балкарским селам потянулись караваны машин с зерном, скотом и строительными материалами. Вновь созданным балкарским хозяйствам выделили пахотные земли в степных участках, которыми они пользуются и до сегодняшнего дня"²².

Эти попытки, хотя и были незначительными, тем не менее заслуживают пристального внимания, так как предостерегают от новых непродуманных шагов, от новых причин по созданию на местах конфронтационной обстановки, неприязненных отношений между народами.

В целом следует отметить, что подобный подход был более характерным для публицистов того времени. Что касается обществоведов, то они обратились к этой проблеме в более позднее время, делая свои выводы с учетом материалов незначительных исследований.

В основном историография изучаемой проблемы складывалась в 90-е годы прошлого столетия. Работы создавались в ответ на требования дня и базировались на текущих материалах министерств и ведомств, которые были призваны к решению проблемы в государственном масштабе, с учетом происходящих перемен в российском обществе, а также в государствах СНГ. Проблема изучалась как бы параллельно, как параллельно накапливалась и ее источниковая база.

В связи с этим, выступая по случаю Дня возрождения балкарского народа 27 марта 1995 г., президент Кабардино-Балкарской Республики В.М. Коков верно заметил: "Хотя случившееся полвека назад забыть трудно, но нельзя вечно жить тяжелым прошлым, скорбеть, лить слезы, а необходимо направить усилия и энергию, волю, думы и устремления людей на решение злободневных проблем, на организацию созидательного труда во имя будущего"²³. На наш взгляд, именно этот принцип был положен в основу многих исследований, посвященных проблеме реабилитации народов Российской Федерации.

Появившиеся первые исследования в основном статейного плана не касались проблемы в целом, а были посвящены конкретно одному из направлений реабилитации²⁴.

Конкретно проблеме реабилитации народов была посвящена работа А.М. Гонова "Северный Кавказ: реабилитация народов (20–90-е годы XX века)". (Нальчик, 1998). Фактически в российской историографии это был первый научный труд, в котором применительно к Северокавказскому региону раскрывались направления реабилитационных мер по отношению к народам, казачеству, подвергшимся репрессиям, начиная с 20-х годов прошлого столетия. Научный подход автора характеризует широта охвата проблемы, богатая источниковая база, привлечение как опубликованных документов, так и выявленных, отражающие как степень изучения проблемы, так и раскрывающие возможности ее дальнейшего исследования.

А.М. Гонов, опираясь на итоги исследования, делает главный вывод, распространяющийся на современность. Многое в решении этой важной задачи государства зависит от политической воли его лидеров, а в значительной мере и от самих масс, которые должны видеть в этих процессах единственную цель – сохранение целостности государства, поддержание мира и гражданского согласия в обществе. Однозначно, реабилитация, по мнению автора, должна быть такой, чтобы все ранее репрессированные и проживающие совместно с ними народы, когорты населения и отдельные граждане были удовлетворены этими мерами, чтобы в их взаимоотношениях не появлялись недовольство и неприязнь друг к другу.

Автору на конкретных примерах удалось проследить весь ход реабилитационных действий со стороны государства, их выстраива-

ние по значимости, уровню исполнения и наполняемости, показать трудности реализации, выявить возможности более широкого взаимодействия центра и местных структур законодательной и исполнительной власти в успешном решении задачи. А.М. Гонов практически определил основные направления исследований темы реабилитации репрессированных народов и граждан, подвергшихся репрессиям, которые могут быть восприняты в качестве основы проведения подобных исследований применительно как к другим регионам страны, так и государств СНГ.

Специальный раздел "Долгий путь репрессированных народов Кавказа к реабилитации" выделен в монографии Н.Ф. Бугая и А.М. Гоновой "Кавказ: народы в эшелонах (20–60-е годы)" (М., 1998). Авторы предприняли попытку проследить в краткой форме и показать, каким образом протекали эти процессы применительно ко всем народам Кавказского региона, определить направленность и первые итоги проводимых мер. Упоминается ими и о таком явлении в развитии общества, как "погружение" страны в бифуркационное состояние. Как полагают авторы, выход из подобного состояния преследовали и меры по реабилитации, проводившиеся в обществе. Проблема бифуркации в историческом плане применительно к изучаемой теме рассмотрена слабо и представляет определенный интерес для полноты понимания раскрываемой темы.

Разработкой вопроса занимались в основном философы и политологи, зачастую без опоры и иллюстрации исторических событий в развитии Союза ССР, а также частично и историки²⁵.

Проблема актуальна и в условиях современного развивающегося на правовой основе Российского государства, когда возникают явные открытые противоречия между тем же правительством и обществом вокруг вопроса о реформах, якобы осуществляющихся в интересах удовлетворения потребностей общества, защиты интересов граждан.

В сложной обстановке протекавших событий в Союзе ССР кауна войны 1941–1945 гг. и непосредственно на первом ее этапе на территории Союза ССР, открыто обнажилось состояние общества, и в первую очередь итоги осуществлявшейся в нем пропагандистской работы, которой постоянно придавали особое значение, в частности, по формированию национального самосознания граждан. Судя по всему, еще прошел незначительный период времени (с 1917 г.) для формирования совершенно новых отношений в многонациональном государстве, в плане сплочения народов вокруг провозглашаемых государством и партией лозунгов.

Проводимые до начала 1940-х годов в государстве различные политические акции, а именно раскачивание, раскулачивание, коллективизация, коренизация аппарата, "чистка" и проверка интеллигенции на лояльность, а также меры по административно-тер-

риториальному обустройству страны, жесткость в осуществлении национальной государственной политики оказались малоэффективными, да и порождали определенное чувство страха, недоверия в обществе. Все более ощутимым становился разрыв между руководящей верхушкой общества и народами, населяющими Союз ССР, особенно это ощущалось в национальных районах страны.

Одной из политических акций, усложнившей и без того трудную ситуацию в Союзе ССР, в сфере государственной национальной политики кануна войны 1941–1945 гг., по нашему мнению, явилась депортация – принудительное выселение народов и когорт населения (определение социологов), принадлежавших к различным национальностям. Если до середины 1930-х годов эта мера в значительной степени коснулась отдельных когорт населения (корейцы Дальнего Востока, казачество, кулаки), то с середины 1930-х годов эти акции приобретали все более ярко выраженный национальный окрас. Другими по своему содержанию становились мотивы этих жестких мер, а именно проверка на лояльность народов к существовавшей власти.

Расстановка сил в мире, особенно в сопредельных Союзу ССР государствах, формировала новое отношение и к народам, которые проживали на территории Союза ССР, особенно, в его пограничных регионах, это и турки, и поляки, и немцы, и корейцы, и китайцы (Дальний Восток). Жизнь был порожден вопрос, а каким образом они "поведут себя" непосредственно в условиях войны, на какой стороне окажутся, будут ли они верными и последовательными проводниками партией лозунгам.

Одним словом, страна как раз и погружалась в бифуркационное состояние, которое она испытывала уже неоднократно и в первую очередь в условиях Октябрьской революции 1917 г., в период Гражданской войны, разделения общества на многополярный мир, когда также четко проявлялось отношение масс к происходящим событиям, к самому государству. В последующем подобное состояние общества в Союзе ССР, да и в России, безусловно, имело и имеет место, но оно уже не носило такого ярко выраженного характера, как, например, в годы Гражданской войны.

В условиях функционировавшей административно-командной системы управления обществом, многие причины, способствующие формированию такой ситуации, можно было заметно ослабить путем применения жестких методов командования и военной силы. Многие задачи в этой сфере решались налаженной карательной системой ГУЛАГа. Об этом как раз и свидетельствует тот факт, что в ходе экстремальной ситуации в стране накануне войны 1941–1945 гг. только по делам НКВД Союза ССР были приговорены к расстрелу 1118 человек. Так, число репрессированных достигло огромных цифр, а именно: в 1937 г. это было 353 074 приговоренных к расстрелу, в 1938 г. – 328 618 виновных, подозрительных и потенциально подо-

зрительных²⁶. И эти меры получали оправдание со стороны многих политических и государственных деятелей того времени.

Непосредственно канун войны 1941–1945 гг. вызвал обеспокоенность Правительства Союза ССР этой проблемой. Она обнаружилась со всей остротой на Западе страны (Украина, Белоруссия, Молдавия и др.). Необходимо было в короткие сроки, авральным способом решать столь сложные задачи по адаптации этих регионов, их "врастанию в социализм", реализации тех преобразований, которые проводились в Союзе ССР. Проявлялось открытое недовольство масс, а как следствие этого – принятие жестких карательных мер со стороны Правительства Союза ССР.

Сопротивление находило свое выражение в формировании различного характера политических бандформирований, несогласия с установками власти, а непосредственно в начале 1940-х годов и проявления такой формы сопротивления, как отказ от призыва в Красную Армию, дезертирство.

Немаловажным фактором выступал и конфессиональный. По причине религиозных догм граждане отказывались служить в Красной Армии ("истинно-православные христиане" и др.), имела место активная пропаганда как среди православных, так и мусульман, буддистов. Одним словом, создавалась ситуация, в условиях которой четко выявлялась позиция различных слоев общества, их отношение к существующему режиму власти в государстве. Необходим был поиск ответа на вопрос: выступают ли они на стороне советов или будут пребывать в условиях ожидания развития событий, а в последующем поддержат новый режим власти, в том числе и фашистский, в случае его прихода?

Именно в таком ключе развивались события во многих регионах Союза ССР и, особенно, национальных. Анализ обстановки, материалов рассматриваемого периода позволяет сделать подобный вывод. Это в значительной мере подтверждается и апелляцией к развитию бандитизма и дезертирства в этот период.

В определенной мере решить проблему помогают сведения из отчетов Отдела по борьбе с бандитизмом (НКВД СССР) за три года Великой Отечественной войны. Так, по данным "Справки о количестве зарегистрированных и раскрытых бандповстанческих групп, число зарегистрированных бандгрупп на Северном Кавказе составило 1982 (Кабардинская АССР – 160, раскрыто – 113, Дагестанская АССР – 350–107; Северо-Осетинская АССР – 27–13; Краснодарский край – 499–482; Ставропольский край – 541–540; Грозненская обл. – 405–134).

Наряду с этим регионом, в Закавказье было зарегистрировано 1549 групп, раскрыто 1234, в Средней Азии – 1217–1084, в центральных областях СССР в данные включены сведения по 28 областям, а также Мордовской, Чувашской, Удмуртской, Марийской АССР, 527

зарегистрировано, раскрыто – 476; по Сибири и Дальнему Востоку – 1576, раскрыто 1348 враждебных групп.

По имеющимся данным Отдела борьбы с бандитизмом, за три года войны (июнь 1941–1943 гг.) по Союзу ССР были ликвидированы 7163 повстанческие группы, объединявшие в своих рядах 54 130 человек. Обстановка в стране осложнялась борьбой с теми, кто оказывал сопротивление функционировавшему режиму власти, выступал против Красной Армии. Подпиткой этому движению оставались дезертиры и уклонявшиеся от службы в армии. За три года войны (июнь 1941–1943 гг.) численность дезертиров в Союзе ССР составила 1 210 224 человека, а уклонявшихся от службы в Красной Армии – 456 667, всего 1 666 891 человек²⁷. Эти данные позволяют определить масштабность движения в Союзе ССР, его роль и место в дестабилизации ситуации во многих регионах страны в войне 1941–1945 гг. Подобные действия в комплексе явились и причиной депортации многих народов и групп населения Союза ССР. Они как раз и характеризуют бифуркационное состояние общества.

Непосредственно военная обстановка в стране усиливала эту сторону проблемы. Часть населения выразила поддержку фашистскому режиму, обосновывая это состояние различными причинами. Так было в Украине, Белоруссии, в Прибалтике, Крыму, на Северном Кавказе. Безусловно, это трагические страницы истории, однако они имели место. Дестабилизация ситуации в государстве потребовала от Правительства Союза ССР защитных мер (ритомсация), и оно избрало испытанную и проверенную на практике (предвоенный период) меру – депортацию народов и когорт населения, принадлежавших к различным национальностям.

Условия военной (чрезвычайной) обстановки периода войны, бесспорно, оправдывали действия Советского правительства "в тылу или на подступах к линии фронта". Однако вряд ли можно оправдать предпринимаемые этим же правительством репрессивные, насильственные меры ко всему тому или иному народу (наказанию подвергались не только виновники, но и народы в целом). Они (эти меры) не могут быть оправданы.

Опыт всемирной истории, исследование подобных событий в других регионах мира показывают, что явление бифуркации характерно для многих обществ, независимо от существующей в них системы управления. В этой ситуации необходимо четкое регулирование этими процессами. Несомненно, общество не могло постоянно пребывать в таком состоянии, и это понималось руководством государства. Одной из мер регулирования этим процессом и выхода из возникшего состояния, создания нормальной обстановки в сфере межнациональных отношений и выступала реабилитация. Содержание монографий, в частности Н.Ф. Бугая и А.М. Гонова, позволяет читателю на примере народов Кавказа проследить в определенной

степени это явление в развитии общества в Союзе ССР. Многие из идей, касающихся реабилитации народов главным образом Северного Кавказа, и характеристики условий, в которых она проводилась в 1990-х годах, получили свое развитие и в появившейся новой монографии Н.Ф. Бугая и А.М. Гонова "Северный Кавказ: новые ориентиры национальной политики (90-е годы XX в.)" (М., 2004).

В связи с разработкой проблемы реабилитации российских корейцев богатый материал, в том числе и документального характера, содержится в исследовании 1990-х годов, подготовленных Н.Ф. Бугаем, И. Нам, М.Н. Пак, В.Ф. Ли, Сим Хон Ёнг и другими авторами²⁸.

В книге Н.Ф. Бугая "Социальная натурализация и этническая мобилизация (опыт российских корейцев) (М., 1998) проблеме реабилитации отводится специальный раздел, в котором анализируются только лишь первые шаги в плане реабилитации российских корейцев. Последующие работы посвящены многим аспектам этой проблемы применительно к гражданам корейской национальности в Российской Федерации²⁹.

В 90-е годы прошлого века, в связи с разрабатываемыми мерами по реабилитации, пришлось пояснять многие вопросы осуществления государственной национальной политики в 1920–1950-е годы. Предпринимались и продолжают попытки дискуссий по вопросу, например, были ли советские корейцы "спецпереселенцами" или же административно-высланными (определение категорий, применявшихся в официальных документах НКВД–НКГБ Союза ССР). В данном случае только по одному факту принудительного действия со стороны властей можно было бы считать корейцев как спецпереселенцев. Более того, этот же статус как контингенту населения, подлежащего переселению, был определен наркомом внутренних дел Союза ССР Н.И. Ежовым в письме от 25 октября 1937 г., направленном на имя председателя внутренних дел СНК Союза ССР В.М. Молотова. Текст письма доступен для прочтения³⁰. Именно в этом письме Н.И. Ежов об оставшихся от основной группы корейцев-переселенцев в Охотске писал: "Охотские спецпереселенцы (корейцы. – *Авт.*), всего 700 человек, которые будут вывезены сборным эшелонном к 1 ноября с.г."³¹

Очевидно, такие суждения в отношении корейцев были связаны с указанием начальника Отдела спецпоселений В.В. Шияна, являвшегося автором справки к вопросу о выселении с Дальневосточного края корейцев, подготовленной им в 1949 г., т.е. спустя 10 лет, в совершенно иной обстановке в стране. Именно в ней автор констатировал: "На учете спецпоселенцев эти корейцы не состояли, а лишь в паспорта им были внесены ограничения сроком на пять месяцев о проживании их только в местах выселения"³². Несомненно, в 1949 г. меры по спецпоселению были несколько ослабленными, да и сами

корейцы уже адаптировались в новых местах проживания, хотя протекали эти процессы не так легко, как они представлялись В.В. Шином в конце 1940-х годов.

Анализируя этот аспект проблемы, не следует сбрасывать со счетов тот факт, что в январе 1940 г. корейцы уже переводились из ведомства НКВД и НКЗема Союза ССР в подчинение Переселенческого управления при СНК Союза ССР. Заместитель председателя Комиссии контроля при СНК Союза ССР Я. Чадаев в январе 1940 г. писал в Экономический совет при СНК Союза ССР Н.А. Булганину: "Недопустимо задерживать приемку дел по переселению корейцев от НКВД и НКЗема СССР. Считаю необходимым:

1. Обязать начальника Переселенческого управления при СНК Союза ССР – т. Чекменева: а) в 5-ти дневной срок закончить приемку от НКВД и НКЗема СССР дел по переселению и хозяйственному устройству корейцев ..."³³

В приказе Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР от 10 сентября 1940 г. № 0555 указывалось относительно корейцев совершенно конкретно следующее: «Корейцам, переселенным с Дальнего Востока в не режимные местности Узбекской и Казахской ССР, и их семьям пишется в паспорт: "выдан на право проживания в пределах Узбекской (или Казахской) ССР"»³⁴.

В то же время не следует сбрасывать со счетов и существующий приказ наркома внутренних дел Союза ССР Л. Берии от 2 июля 1945 г., которым оглашалось, что советские корейцы были взяты на учет как спецпоселенцы. Все меры по ужесточению проживания спецпереселенцев на местах распространялись и на них³⁵.

Безусловно, режим проживания корейцев в республиках Средней Азии и в Казахстане ослаблялся, хотя все переселенцы-корейцы обязаны были проживать на территории республик расселения. Об этом наглядно свидетельствует и содержание директивы № 196 от 2 августа 1946 г., а также содержание директивы № 36 от 3 марта 1947 г. – о механизме применения первой. Ее главный пункт: "постоянным местопребыванием этих корейцев (депортированных. – Авт.) считается Узбекистан, Казахстан и другие республики Средней Азии, куда они в 1937 г. были переселены.

Новые паспорта этим корейцам, по-прежнему, выдавать только для проживания в соответствующих республиках Средней Азии, за исключением пограничных районов"³⁶. Въезд корейцев в Дальневосточные районы (Читинская область, Хабаровский, Приморский края) "по-прежнему без особого разрешения Министерства внутренних дел, воспрещается"³⁷. Затем эти положения и вошли в уже названные последующие директивы (№ 196 от 2 августа 1946 г.) и другие постановления, касающиеся советских корейцев, переселенных с территории Дальнего Востока, Мурманска и Мурманской области.

Далее следовала целая полоса выяснения того, брать или не брать на учет спецпоселенцев корейцев, работавших на Тульском угольном комбинате. Именно В. Чернышов предлагал "проработать вопрос о взятии на учет спецпоселенцев всех (в свое время) переселенных корейцев"³⁸. И в это же время заместитель начальника Управления НКВД по Тульской области обращается в Отдел спецпоселений НКВД, излагая свое видение этой проблемы. "Ввиду того, что этот контингент (корейцы. – *Авт.*) вызывает оперативный интерес, – читаем в документе, – считаем целесообразным держать его на учете, вести за ним агентурно-оперативное наблюдение и его разработку"³⁹.

И, наконец, последовало указание В.В. Чернышова, а затем был издан и приказ за подписью Л. Берия – "корейцев, работающих на предприятиях системы Наркомата угольной промышленности Союза ССР, взять на учет как спецпереселенцев". Корейцы, которые имели семьи в Узбекской и Казахской ССР, отправлялись к своим семьям. Оставшиеся корейцы-одиночки были взяты на учет как переселенцы⁴⁰. Затем следовало объяснение примерно такого содержания: "Они (корейцы. – *Авт.*) были переселены не в порядке репрессии, а в порядке предупредительного очищения приграничных с Японией районов". Однако все эти пояснения относятся к совершенно иным временным рамкам (1945–1946) с учетом произошедших изменений и в стране, и в регионах проживания советских корейцев.

В 1937 г. ситуация была иной. Да и из письма начальника 5-го отделения НКВД Союза ССР В. Матвеева свидетельствует, что НКВД просто не испытывало желания заниматься корейцами как спецпереселенцами. К этому времени на спецпереселении и без корейцев уже было более 3 млн человек, принадлежавших к разным национальностям. В этой ситуации чиновник делает характерный для его статуса вывод: подведение корейцев под статус "спецпереселенец" повлечет две нагрузки, а именно: или "закреплять их навечно в местах расселения" (Узбекская и Казахская ССР), или "переселять в новые места", что "нецелесообразно"⁴¹.

Хотя позиция высшего руководства НКВД Союза ССР (Л. Берия, В.В. Чернышов, М. Кузнецов и др.) была совершенно иной. В том же апреле 1945 г. высшие чиновники силового ведомства, сетуя на то, что "не исключена возможность побегов корейцев с мест поселений и возвращения обратно на Дальний Восток и другие режимные местности", считали "целесообразным всех корейцев, переселенных с Дальнего Востока", взять на учет спецкомендатур НКВД. Предлагалось распространить на них постановление СНК Союза ССР "О правовом положении спецпереселенцев". По их мнению, в этой ситуации надо было "оперативно-чекистское обслуживание корейцев возложить на Отдел спецпоселений НКВД СССР, для чего создать на местах поселения корейцев спецкомендатуры НКВД, при

Отделе спецпоселений НКВД СССР – Отделению по обслуживанию корейцев в составе 6 человек⁴².

Вряд ли статус "спецпереселенец" можно характеризовать только наличием одного фактора – спецкомендатур и обязательной еженедельной отметкой, а также наличием или отсутствием депортированных этносов в списке НКВД. Вопрос может быть рассмотренным только в комплексе, с учетом других факторов. В отношении корейцев устанавливался усиленный контроль, включая состояние их настроения, содержание бесед, отношение к центральной и республиканским властям и т.д.

Возможно, что корейцы, оставаясь в основном законопослушными, по сравнению с другими народами, не "причиняли" столь много хлопот и неудобств органам власти, поэтому и были переведены, во всяком случае, в официальных документах под статус "административно-высланных", имевших ограничение в паспортах на пятилетний срок. Однако система применяемых репрессивных мер к корейскому населению ничем не отличалась от других подвергшихся репрессиям народов.

В названных трудах, а также в других работах ученых⁴³ особое внимание уделено показу роли и места общественных институтов, в первую очередь Федеральной национально-культурной автономии российских корейцев, Общероссийского объединения корейцев (ООК), корейского общественного объединения "Единство" и других объединений в реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Раскрываются частично формы и методы взаимодействия общественных институтов с органами власти в осуществлении мер по направлениям экономической и культурной реабилитации (улучшение экономического положения в регионах проживания, сохранение языка, пресса, издание литературы, духовное возрождение российских корейцев). Спрогнозированы возможности дальнейшего осуществления государственной национальной политики с учетом привлечения средств неправительственных организаций, различных международных фондов, функционирующих, например, в КНДР, Республике Корея, США.

Наряду с изложением материалов исследовательского характера, содержатся разделы с документами, отражающими непосредственно ход самой реабилитации российских корейцев. Особую ценность приобретают протоколы заседаний ООК, раскрывающие в деталях многие стороны этого сложного процесса. На примере российских корейцев прослеживается процесс осуществления мер по реабилитации этноса, его духовного возрождения, усиления его роли в системе межнациональных отношений в Российской Федерации, в развитии ее экономического и культурного потенциала.

Исследование С.И. Акиевой⁴⁴ привлекает внимание исключительно в плане освещения проблемы реабилитации балкарцев в

Кабардино-Балкарской Республике, так как других, ранее подвергшихся депортациям народов, в том числе и в республике, автор не затрагивает. При этом С.И. Акиева справедливо подчеркивает, что в российской историографии "меньше внимания уделено последствиям депортации и вопросам реабилитации" (С. 28). В то же время, касаясь работы Н.Ф. Бугая и А.М. Гонова "Кавказ: народы в эшелонах. 20–60-е годы" (М., 1998), автор высказывает замечания о тенденциозной направленности исследования. Якобы, по ее мнению, "обусловленной в значительной мере использованием в работе источников правоохранительных органов" Союза ССР, что, как замечает далее С.И. Акиева, подводит базу под "обоснованность" и "необходимость" выселения народов в военный период. Толкование автора в данном случае явно не соответствует действительности, так как подобного в замысле опубликованного труда не было. Что же касается источников, то, к сожалению, С.И. Акиева не предлагает, какими же из них следовало бы пользоваться при освещении столь сложной проблемы исторической науки. В числе известных это документы структур НКВД–НКГБ, МВД–МГБ, СНК Союза ССР и союзных республик, Прокуратуры Союза ССР, Переселенческих управлений СССР, РСФСР, управленческих структур союзных и автономных республик и областей. Они и явились основой исследования. Важным источником выступали также воспоминания участников тех событий, в том числе представителей кабардинской и балкарской национальностей. Можно ознакомиться одновременно и с содержанием документов, хранящихся в немецких архивах.

Что касается проблемы реабилитации, главным образом балкарцев, хотя в республике проживают и корейцы, и турки-месхетинцы, и казаки, как об этом отмечено в книге, то С.И. Акиевой представлен богатый материал, свидетельствующий о проведенных мероприятиях по реализации мер (С. 191–203 и др.), особенно в сфере национально-культурного возрождения. Весьма ценными в работе являются и разделы, в которых рассматривается проблема территориальной реабилитации балкарского народа, с анализом взаимосвязи этих процессов с общим этнополитическим состоянием в республике.

Фактически первым обобщающим исследованием по вопросу реабилитации ингерманландских финнов явился сборник статей и материалов "Беда народа" (СПб., 2003), подготовленный участником Великой Отечественной войны Л.А. Гильди. Автором раскрываются роль и место ингерманландцев в системе межнациональных отношений Российской Федерации, значение принятого 29 июня 1993 г. Верховным Советом Российской Федерации постановления "О реабилитации российских финнов", отмечено фактически полное отсутствие мер по реализации постановления. "Этот исторический

законодательный акт, – замечает Л.А. Гильди, – сведен Правительством России к пустопорожней декларации в части приема и обустройства ингерманландских финнов на их исторической родине – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области"⁴⁵.

Обвинение со стороны Л.А. Гильди в адрес Правительства Российской Федерации прозвучало и в другом направлении, а именно, что оно "не содействует российским финнам в восстановлении их духовного наследия и удовлетворении культурных потребностей, возвращении объектов культуры..."⁴⁶, а также повинно в том, что не решает кадровой проблемы. По мнению Л.А. Гильди, "в многонациональной стране на государственной службе место многонациональной научной интеллигенции, готовой реально взять ответственность за судьбу единой России" и, в конечном счете, решению проблемы ингерманландцев (С. 88), остальных же Л.А. Гильди причисляет к "соглядатаям или авторам схоластических трудов".

Несомненно, в работе привлекают внимание и оценки, данные Л.А. Гильди, специалистам, занимавшимся решением сложных вопросов реабилитации, подвергшихся ранее репрессиям народов. В значительной степени по этим выводам автора можно было бы дискутировать, но продвинет ли это вперед решение проблемы в целом, это вопрос.

Заметны определенные успехи в изучении проблемы реабилитации российских немцев. За истекший период со времени принятия Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" была создана объемная научная база, опубликованы как статьи, так и монографические исследования, очерки, которые обогатили эту сторону проблемы, создана мощная источниковая база для разработки и принятия Закона Российской Федерации "О реабилитации российских немцев".

В числе научных исследований есть и труды, изданные в центре, и работы, опубликованные на местах⁴⁷. Для всех их характерно стремление к спокойной оценке того, что удалось достигнуть, и того, что предстоит еще выполнить, определить пути дальнейшего решения реабилитации. Следует отметить, что публикации, появившиеся в конце 1990-х годов, отличаются отходом от митинговых всплесков, для них характерны осмысление темы, глубокие систематизированные выводы.

В трудах В. Дизендорфа собран богатейший документальный материал становления и развития немецкого движения в новых условиях России в 1990-е годы, т.е. после принятия Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Документы позволяют восстановить истинную картину начального этапа осуществления мер, вскрывают трудности самого процесса, роль и место органов государственной власти, возможности оказания помощи со стороны Германии.

В. Бауэр рассматривает эту же проблему путем подбора документов, выступлений непосредственных участников процесса реабилитации российских немцев, предпринимает попытку вскрыть существующие противоречия в движении российских немцев, различных направлений, однако, преследующих одновременно единые цели – объединение и защита интересов российских немцев.

По нашему мнению, в определенной мере автором идеализируется сам общественный институт – национально-культурная автономия, в том числе и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, принижается роль других общественных объединений российских немцев. С учетом государственных интересов все эти организации имеют единую платформу, они равнозначны, так как создавались на основе принимаемых государством законов. Вряд ли можно согласиться с высказанной еще в 1998 г. В. Бауэром точкой зрения, согласно которой следует рассматривать федеральные национально-культурные автономии чуть ли не в качестве основы для создания государственности российских немцев. Это противоречит и самому содержанию Закона Российской Федерации "О национально-культурной автономии".

Не могут быть оценены адекватно достижения последнего десятилетия прошлого века в сфере экономики и в сфере идеологии. На наш взгляд, наука о строительстве государства, базирующегося на принципе федерализма, нациестроительстве⁴⁸ в Российской Федерации, заметно продвинулась вперед. И эти преобразования стали возможными благодаря созданным условиям происходящей демократизации российского общества.

Открытие доступа исследователей к новым источникам, глубокий анализ работ своих предшественников, знание литературы, анализ развития, продиктованных жизнью форм и методов взаимодействия между народами России, позволили обществоведам, политологам отойти в большей мере от муссируемой продолжительное время самой сущности понятия "национальный вопрос" и заняться такой, столь актуальной проблемой, как выстраивание межнациональных отношений; изучением вопросов, связанных с этим явлением, осуществляемой миграцией этносов, интегрированием их в совершенно новую среду обитания, адаптацией к новым условиям и народам, с которыми приходится обустраивать свою жизнь.

Этот комплекс проблем рассмотрен Е.А. Брюхновой в ее диссертационном исследовании на примере немецкого этноса, немцев, прибывавших на поселение в Россию, а затем трансформировавшихся за годы советской власти в этнос "советские" – "российские немцы", выступающие отдельной и в то же время единой составляющей российских народов. Исследование Е.А. Брюхновой выполнено на серьезной научной базе. В основу его положена главная идея – "создание социально-экономической и культурной базы для сохране-

ния и развития проживающих в стране этносов, в том числе и российских немцев"⁴⁹. Предпослав научному труду развернутый анализ историографии и источников и определив конкретные задачи исследования, цели и намерения, Е.А. Брюхнова последовательно и скрупулезно прослеживает такую важную проблему, которая созвучна нашим дням, как взаимоотношение государства (государственной власти) и этносов. Возможно, автор сам того не подозревает, как им на многих достоверных исторических фактах развития немцев в России опровергается такое, долго муссируемое понятие, как "Россия – тюрьма народов".

Однозначно, вторая половина 1980-х годов XX в. привнесла в жизнь советских немцев коренные изменения. В государстве менялось отношение к немцам, изменялся непосредственно и их имидж, социальная активность. Сфера применения труда немцев заметно расширяла свои рамки, о чем свидетельствуют и приводимые в диссертации сведения о росте доли городского населения среди немцев (на 1989 г. оно составляло 53,5%). Наблюдается и активная мобилизация немецкого этноса, участие его в политической жизни государства.

Е.А. Брюхновой рассмотрен комплекс проблем жизнеобеспечения российских немцев в условиях демократизации российского общества в 1990-е годы, когда приходилось во многом по-новому решать вопросы взаимодействия народов в осуществлении курса реформ в сфере экономики и культуры. Для российских немцев, как разделенного этноса на пространствах СНГ, это оказалось сложной задачей. Однако выработанные подходы, установление эффективного международного сотрудничества с Германией содействовали тому, чтобы эти преобразования стали более ощутимыми. обстоятельно рассмотрен Е.А. Брюхновой и международный аспект проблемы, показана роль международных организаций, призванных к решению проблем этнических меньшинств, в том числе и российских немцев.

Автор раскрывает содержание усилий в этом плане со стороны Российской Федерации, ее государственных структур, показывает значение принятия основополагающих законодательных актов в сфере национальной государственной политики и первые шаги в их реализации по отношению к российским немцам.

Ей же показана роль государственных структур, в частности, Миннац России, которое не только координировало деятельность министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, но и непосредственно участвовало в реализации программ по экономическому и культурному развитию районов проживания российских немцев.

Безусловно, Е.А. Брюхнова не могла не уделить значительную долю своего труда проблеме реабилитации российских немцев, как

составляющей одного из направлений государственной национальной политики Российской Федерации в 1990-е годы прошлого столетия. В связи с этим рассмотрены вопросы их территориальной, культурной реабилитации. Показана роль таких демократических институтов, как общественные объединения и национально-культурные автономии российских немцев. Уделено внимание возрождению немецкого языка, формированию национального самосознания российских немцев.

Заметный вклад в российскую историографию внесен В.Н. Земсковым, опубликовавшим монографию по проблеме насильственных переселений в Союзе ССР⁵⁰. Особое внимание автор уделил проблемам принудительных переселений 1930-х годов, а также затронул вопросы истории депортации этносов в более позднее время. По мнению автора, массовые выселения раскулаченных крестьян в отдаленные районы страны на специальные поселения как раз и породили особый слой в обществе – спецпоселенцев (трудпоселенцы, спецпереселенцы). В.Н. Земсков затрагивает многие дискуссионные стороны проблемы, обращает при этом особое внимание и на социальные, демографические и иные последствия этих мер в Союзе ССР.

Отдельные суждения автора, в частности, о неосуществимости идеи создания национально-государственной автономии в районах проживания репрессированных, о гигантском сальдо "между рождаемостью и смертностью репрессированных, о быстрой ассимиляции их", вызывают сомнения⁵¹.

В 1990-е годы уделялось фрагментарно внимание анализу правовой стороны проблемы. Несомненно, любые исследования по этому аспекту полезны для раскрытия проблемы в целом, хотя каждое из них в отдельности имеет существенные упущения, недоработки, отличается неполнотой раскрытия вопроса⁵².

Накопление исторических знаний по проблеме позволило сообщить о первых итогах на научно-теоретических конференциях как международного, регионального, так и местного масштаба. В докладах участников анализировалось состояние разработки мер реабилитации и их практического осуществления, делались выводы и давались рекомендации об усилении работы в этом направлении⁵³. Обратим особое внимание на региональную конференцию, состоявшуюся в Женеве (Швейцария) в конце мая – июне 1996 г., по рассмотрению вопросов беженцев, перемещенных лиц, других форм недобровольных перемещений и возвращающихся лиц в странах СНГ и соответствующих соседних государствах. В ее работе принимал участие исполнявший тогда обязанности Генерального секретаря ООН Бутрос-Бутрос Гали. Исходя из направленности конференции, докладчик затронул и "проблему недобровольного переселения". Предлагаемая "Программа действий" в

этой связи рассматривалась им как "важный шаг вперед к распространению международного права на все современные формы недобровольных или насильственных миграционных перемещений"⁵⁴. В ней подтверждался также "широкий круг прав меньшинств и права депортированных народов на возвращение в дома своих предков"⁵⁵.

К сожалению, все эти предписания не являлись обязательными для исполнения. И здесь же в выступлении докладчик делает оговорку, что "проблемы и перспективы государств СНГ будут и впредь зависеть в первую очередь от них самих". Исходя из посылок докладчика, можно сделать вывод, что международные организации вряд ли могли решать обозначенную проблему в той или иной стране (в частности, что касается депортированных лиц в государствах СНГ), доводя ее до логического завершения. Бутрос-Бутрос Гали оценил значение состоявшегося форума как важного "для тысяч ни в чем не повинных страдальцев", назвав его "вехой в условиях по демократизации международного сообщества на благо всех народов во всем мире"⁵⁶.

Выступая на конференции, руководитель ФМС России Т.М. Регент отмечала: "Впервые предметом пристального внимания международного сообщества стал комплекс сложных взаимозависимых проблем вынужденной миграции ... Никогда прежде на международных форумах не рассматривались столь подробно практические проблемы восстановления исторической справедливости в отношении депортированных народов, а также проблемы экологических мигрантов и незаконной миграции"⁵⁷. И далее Т.М. Регент еще раз констатировала, что "для России приоритеты (применительно к середине 1990-х годов) охватывают все категории мигрантов, рассматриваемые в рамках конференции. Это, прежде всего, переселенцы, беженцы, экологические мигранты, ранее депортированные народы и меньшинства, нелегальные мигранты".

Материалы названной конференции, несомненно, представляют научный интерес. Они позволяют выявить и общественное международное мнение по столь важной проблеме – депортированных лиц и не только применительно к Российской Федерации, но и других стран, отношение правительств к имевшей злободневный характер проблеме в плане определения направлений действий по урегулированию вопросов, касающихся судеб подвергшихся репрессиям народов и лиц, к ним принадлежащих.

Здесь же вырабатывались и новые понятия, касающиеся депортированных народов. Например, было предложено под понятием "интеграция ранее депортированных народов и лиц, к ним принадлежащих", рассматривать "восстановление их прав в соответствии с положениями международных документов, обеспечение принимающим государством с участием других государств и международных

организаций специальных мер политического представительства и участия этих народов в официальной жизни государства, полного восстановления культурно-исторического наследия, развития и использования языка на территориях, где они проживали до депортации, созданию условий для автономии и социально-экономического самообеспечения, недопущению дискриминации в отношении этих народов и лиц, к ним принадлежащих"⁵⁸. На заседаниях конференции прозвучали и другие не менее интересные предложения.

Конкретно вопросы реабилитации народов Российской Федерации обсуждались на состоявшемся 1 декабря 1999 г. заседании "круглого стола" по теме "Национальный вопрос и парламентские выборы в России", проходившего под эгидой Международной академии духовного единства народов мира. Участники "стола" излагали политическое видение национальных отношений, включая и вопросы о последствиях проводимых репрессий, а также текущей реабилитации этносов и особенно ее аспекта – территориальной реабилитации. В связи с этим высказывались рекомендации осуществления политики реабилитации с учетом строгого соблюдения консенсуса во взаимоотношениях реабилитируемых этносов с теми, кто не по своей воле оказался на территории прежнего проживания репрессированных.

Интересной по своему содержанию стала 6-я Международная конференция "Сотрудничество" (29–30 ноября 2000 г.), посвященная проблемам жизнеустройства российских корейцев в период после 1993 г., а также вопросам развития их культуры, межнациональных связей и международного сотрудничества⁵⁹. Публикацией материалов конференции внесен заметный вклад в историографию изучаемой проблемы реабилитации репрессированных народов в Российской Федерации.

Вопрос рассматривался и на последующих конференциях, но в основном при анализе других аспектов истории межнациональных отношений в Российской Федерации. Одной из таких встреч ученых и практиков был Международный симпозиум "Трансформирующиеся государства и вызов этнических конфликтов: российский и международный опыт" (18–20 декабря 2000 г., Москва). Участники симпозиума (Г. Витковская, Х. Думанов и др.) в качестве причин межэтнической напряженности, межэтнических конфликтов называли и вялотекущий ход реабилитации народов, его незавершенность.

Проблема реабилитации народов затрагивалась на многих научно-практических конференциях, посвященных проблемам возрождения казачества. Так, 12–14 апреля 2001 г. в Ростове-на-Дону Северокавказской академией государственной службы и войсковым казачьим обществом "Всевеликое войско Донское" была проведена

конференция "Казачество Юга России в XXI веке: место и роль в обществе". В ее работе принимали участие представители многих казачьих обществ Северокавказского региона, а также местных органов власти, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе М.Г. Фетисова.

Конференция четко сформулировала главную задачу этапа развития казачества России – определение социальной роли казачества, принятие решений, рассматривающих казачество в качестве "реального механизма, способного эффективно противостоять региональному сепаратизму". В качестве мер, направленных на осуществление дальнейшей реабилитации, были определены следующие: укрепление государственных институтов, формирование единой системы войсковых казачьих обществ и казачьих общин, развитие духовности и самобытной культуры, переход на традиционное казачье самоуправление, принятие единой Государственной концепции поддержки казачьих обществ, создание системы взаимоотношений между войсковым казачьим обществом (реестровым) и органами исполнительной власти Федерации и регионов, организация государственной службы на уровне муниципальных органов власти, образование соответствующих комиссий и служб и др.

Многие аспекты реабилитации народов были в центре внимания и участников Международного научного форума, состоявшегося в октябре 2003 г. в Элисте (Республика Калмыкия). Проблема рассматривалась в комплексе, т.е. были заслушаны сообщения и доклады, касающиеся как репрессий, так и реабилитации народов в 1950 и 1990-е годы.

Итоги разработки столь сложной проблемы в конце 1980-х и в 1990-е годы позволили представить совершенно новые темы отечественной истории в учебных пособиях для студентов и вузов. По нашему мнению, более удачное изложение проблемы осуществлено в учебном пособии "История России. 1938–2002" (М., 2003), подготовленным А.С. Барсенковым и А.И. Вдовиным. Авторы пособия четко и последовательно увязывают проблему реабилитации, а также реструктуризации государственного обустройства народов, подвергшихся репрессиям, с основными курсами политики партии и государства в 1940–1960-е годы и, особенно, в сфере национальных отношений, раскрывают органичность этих процессов. Вряд ли можно согласиться с утверждением авторов о том, что "до 1954 г. депортированные народы, которым по ранее принятым решениям предстояло оставаться в местах высылки навечно, не доставляли властям особых волнений" (С. 216). Это далеко не так. К сожалению, вопрос о реабилитации народов, как проявление второго, выпавшего на 1990-е годы периода построения, формирования и развития новой политической системы России, – не нашел отражения в разделах исследования.

В последнее время появляются публикации, содержащие разделы, касающиеся реабилитации репрессированных и в других бывших союзных республиках. Однако подобных работ очень мало⁶⁰.

Предпринимались попытки обобщить первые исследования по изучаемой проблеме, выявить направления их дальнейшей разработки, определиться в подходах необходимости создания источниковой базы и т.д.⁶¹

Характеризуя источниковую базу проблемы, вряд ли можно обойтись без обращения к документам КПСС. Это оправдано, так как именно партией, как в 1920-е годы, так и позднее, определялись политические акции, связанные с осуществлением репрессивных действий со стороны правительства и различных министерств, ведомств. В первую очередь следует назвать резолюции пленумов ЦК РКП(б), а применительно к казачеству это резолюция Пленума ЦК РКП(б) "По вопросу о казачестве" (апрель 1925 г.), в которой среди прочих мер решалось "признать допустимым районы с компактным казачьим населением в национальных областях выделить в отдельные административные единицы"⁶².

В этом же ряду документы структурных подразделений государственных органов власти – наркоматов, ЦИК Союза ССР, касающиеся вопросов реабилитации, таких, например, как постановление ЦИК СССР от 27 мая 1934 г. "О восстановлении трудпоселенцев в гражданских правах", постановление СНК Союза ССР от 22 декабря 1938 г. № 1143-280 "секретно" – о выдаче паспортов при примерном поведении бывшим кулакам (трудпоселенцам), постановление Совета Министров Союза ССР "Об отмене особого режима в спецпоселках Ставропольского края" от 13 августа 1946 г. № 1767-19 и многие другие.

Для исследователя проблемы весьма важное значение имеют и материалы XX съезда партии (февраль 1956 г.), в частности, доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева "О культуре личности и его последствиях", прочитанный на закрытом заседании съезда 25 февраля 1956 г. (Известия ЦК КПСС. М., 1989. № 3. С. 128–170). В докладе проведен глубокий анализ деятельности И. Сталина, дана обстоятельная оценка акциям в отношении репрессированных народов. "В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего человека, – читаем в документе, – не укладывается такое положение, как можно возлагать ответственность за враждебные действия отдельных лиц или групп на целые народы, включая женщин, детей и стариков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям".

Следующую группу документов составляют постановления и распоряжения Верховного Совета Союза ССР, Совета Министров РСФСР, касающиеся вопросов реабилитации народов, проводившейся в 1950–1960-х годах, и в связи с этим мер помощи народам в

их возвращении в места своего прежнего проживания (до депортации). К таким документам относятся, например, постановление "О мерах помощи Калмыцкой области Ставропольского края" от 22 февраля 1957 г. № 58, постановление Совета Министров РСФСР "О мерах помощи Калмыцкой АССР" от 12 сентября 1958 г. № 1067 и др.

Особый блок составляют, естественно, документы – указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации о мерах по реабилитации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", "Об общественных объединениях", "О национально-культурной автономии", материалы совещаний специалистов министерств и ведомств по вопросам реабилитации репрессированных народов и др.

Так, проблемы репрессированных народов обсуждались на рабочем совещании руководителей министерств, управлений, комитетов по делам национальностей республик, краев и области Северного Кавказа, проходившем 24–25 января 1995 г. в Ставрополе. Участниками совещания были рассмотрены вопросы о 3 и 6-й статьях Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", о задержках Минфином России возмещения затратных сумм, расходованных на реабилитацию репрессированных народов, о подготовке новых указов Президента Российской Федерации о реабилитации этнических меньшинств России (крымские болгары, греки, курды, крымские татары и др.). Участниками совещания были выработаны конструктивные рекомендации Правительству Российской Федерации по вопросам социально-экономической и территориальной реабилитации граждан.

Несомненно, приобретают особую научную ценность и документы Миннац России, в первую очередь материалы заседания коллегии министерства. Одно из таких заседаний состоялось 26 марта 1997 г. В выступлениях его участников, решении коллегии не только раскрыты роль и место министерства в осуществлении политики в отношении репрессированных народов, подведены итоги достигнутому в осуществлении мер по реабилитации, но и определены главные направления реабилитации на последующее время. Коллегия констатировала: «Финансирование мероприятий по реабилитации народов идет неудовлетворительно ... Поставленные задачи по подготовке нормативных актов, связанных с реабилитацией репрессированных народов, особенно в части территориальной реабилитации с учетом Указа Президента Российской Федерации "О мерах по осуществлению территориальной реабилитации репрессированных народов" не выполняются в полной мере»⁶³. И здесь же особое внимание обращалось на то, чтобы была продолжена "работа по сохранению и развитию духовного наследия подвергшихся репрессиям граждан различных национальностей,

решая эти проблемы через реализацию национально-культурной автономии, местное самоуправление".

В это же время обращаются к проблеме политики и обществоведы государств СНГ, что объяснялось потребностью публикации новых разрабатываемых документов по реабилитации граждан, принадлежавших к различным национальностям и подвергшихся репрессиям. В числе этих публикаций "Сборник законодательных актов о реабилитации, принятых в государствах – бывших союзных республиках СССР" (М., 1992) и "Сборник нормативных актов Верховного совета и Совета министров Крыма по вопросам возвращения депортированных народов" (Симферополь, 1992) и др. Это были первые публикуемые подборки нормативных актов, разработанные новыми правительствами государств СНГ.

Привлекают своей новизной опубликованные документы и материалы по проблеме, хотя количество публикаций подобного характера было незначительным⁶⁴. Так, в сборнике документов "Казачество России: историко-правовой аспект..." особое внимание обращалось первоначальным этапам возрождения казачества и частично мерам по его реабилитации.

В числе первых был опубликован "Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий" (М., 1993), подготовленный бывшим заведующим сектором Комиссии Верховного Совета Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий Е.А. Зайцевым. Публикация этого сборника – свидетельство того, насколько была скудной источниковая база проблемы. В подборке документов для практических целей по данной проблеме нуждались даже органы государственной законодательной и исполнительной власти. В двух разделах сборника содержатся документы СССР и РСФСР прежних лет и действующие законодательные акты Российской Федерации о реабилитации и восстановлении прав реабилитированных. К этой же серии следовало бы причислить и публикацию подборки документов под общим названием "Реабилитация", в которой даны также пояснения механизма реализации мер по реабилитации лиц, подвергшихся ранее репрессиям по различным мотивам⁶⁵.

Среди публикаций документов по реабилитации народов значится и сборник документов "Реабилитация народов России" (М., 2000), подготовленный специалистами Департамента по проблемам Северного Кавказа Министерства по делам Федерации и национальностей Российской Федерации.

Настоящий сборник включает комплекс уже изданных нормативных актов как в Российской Федерации (центральные и местные органы власти), так и частично в СНГ. Это позволяет читателю представить не только масштабность самой проблемы, но и убедиться воочию в том, каким образом решается она, особенно в России,

какие трудности приходится преодолевать, какие финансовые средства необходимы для реализации намеченных мер. В предисловии к сборнику министр В.А. Михайлов написал: "Особо следует выделить проблему реабилитации малочисленных народов, проживающих на территории бывших союзных республик, а сегодня ставших гражданами Российской Федерации. Решить эту проблему без активной поддержки и участия местных органов власти невозможно"⁶⁶.

В сборнике содержатся официальная часть документов, среди которых исходные законы о реабилитации народов, Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, материалы о конкретно принимавшихся мерах по реабилитации народов, процессе формирования комиссий по каждому из подвергшихся репрессиям народов.

Как известно, в связи с реструктуризацией высших органов власти комиссии были ликвидированы, однако работа по реабилитации народов Российской Федерации не была прекращена. В специальный раздел также выделены документы, положившие начало реализации названных законов – "О реабилитации репрессированных народов" и "О реабилитации жертв политических репрессий", а также указов Президента Российской Федерации, касавшихся казачества, балкарцев, карачаевцев, немцев и представителей других народов. Положения указов явились юридической основой для разработки мер по подготовке нормативных актов, связанных с осуществлением национально-культурной реабилитации, проведением акций по возмещению материального ущерба, причиненного в процессе репрессий, разработки программ экономического и культурного возрождения народов и решения других проблем социального плана.

В названном сборнике впервые предпринималась попытка представить итоги нормативной практики субъектов Российской Федерации в плане реабилитации народов и когорт населения, принадлежавшего к разным национальностям, проживающих на территории расселения депортированных. Эти документы объединены в специальный раздел (IV). Они базируются на основополагающих документах Российской Федерации о реабилитации народов, учете специфики мест, раскрывают механизм и технологию реализации мер по реабилитации.

В разделе представлены нормативные акты, разрабатывавшиеся администрациями Волгоградской области, на территории которой были подвергнуты репрессиям около 120 тыс. граждан, из них раскулачиванию подлежали 24 969 человек, выселено по национальному признаку – 40 тыс., репрессировано по статье 58 – 56 тыс. человек. В этом же разделе содержатся нормативные акты, подготовленные правительством Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия,

Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области и др.

Несомненно, имевшаяся нормативная база субъектов Российской Федерации – заметное существенное дополнение общегосударственной нормативной базы для решения сложной проблемы, связанной с исправлением ошибок прошлого и установлением исторической справедливости.

Очевидно, сборником преследовалась и чисто пропагандистская цель – показать путем документов, что процесс реабилитации народов, когорт населения, принадлежавших к разным национальностям, отдельных граждан не есть явление изолированное и начатое только в 1991 г., а мера, реализация которой занимает длительное время. Прослеживается и главная направленность этих действий со стороны государственных структур – не допускать подобного в будущем.

В этом же ряду и публикация сборника документов "Реабилитация: как это было" (М., 2000), который содержит большой комплекс материалов, раскрывающих меры государства по реабилитации подвергшихся репрессиям в 1920–1950-е годы. Они характеризуют и процесс оживления общественной жизни в государстве в 1940–1950-е годы и, особенно, в послевоенный политический период, в определенной мере с помощью документов раскрываются противоречивость и половинчатость процесса реабилитации граждан и народов в 1950–1960-е годы.

Источниковая база проблемы заметно обогатилась в связи с публикацией книги-хроники "По решению Правительства Союза ССР..." (Нальчик, 2003. Сост. Н.Ф. Бугай, А.М. Гонов)⁶⁷, специальные два раздела которой посвящены проблемам реабилитации народов на двух срезах истории, начиная с 1940-х годов. Раздел 23 охватывает период 1940–1970-х годов и позволяет восстановить ход событий, связанных с необходимостью проведения мер по реабилитации уже в 1940-е годы. В последующем разделе помещены документы, относящиеся к новому демократическому периоду развития государства, когда появились условия для того, чтобы приступить широким фронтом к проведению мер по реабилитации граждан, подвергшихся репрессиям.

Важным источником (по своему содержанию и направленности) являются материалы парламентских слушаний, состоявшихся в Государственной думе Российской Федерации в 1990-е годы. К сожалению, по проблеме реабилитации народов такие слушания проводились однажды (1994 г.), но рассматриваемого вопроса касались и во взаимосвязи с анализом других проблем. В 1994 г. с подробным анализом ситуации в решении проблемы выступал министр по делам национальностей Российской Федерации С.М. Шахрай. Состоялся обстоятельный обмен мнениями, констатировалось как о достигнутых успехах по отдельным направлениям, в частности, по социаль-

ной реабилитации, так и о недостатках трудно проходившей территориальной реабилитации, которой, кстати, придавалось в тот период особое внимание.

Именно вокруг этого вопроса "бушевали" страсти, в буквальном смысле этого слова, выдвигались различные предложения, был рекомендован механизм их осуществления. Конечно, все эти предложения вступали в противоречие со ст. 67 Конституции Российской Федерации, провозглашающей возможность изменения границ субъектов только с согласия всех сторон, задействованных в решении проблемы об изменении границ субъектов Российской Федерации.

Разумеется, проблема реабилитации народов затрагивалась и в ходе других парламентских слушаний по смежным вопросам. Во многом практика сферы национальных отношений базировалась, как правило, на основе требований исторического права. Однако этот посыл, в целом весьма сложно воспринимаемый в обществе, да и вряд ли обоснованный. Нельзя в данном случае не согласиться с замечанием заведующего отделом Института политического военного анализа С.М. Маркедонова, который, выступая на парламентских слушаниях 9 декабря 2002 г. по теме "О проекте Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации", отмечал: "Касаясь исторического права, на мой взгляд, вообще идея исторического права этноса на территорию достаточно вредна, ее реализация приводит к межэтническим, кровавым конфликтам"⁶⁸.

По содержанию ценные сведения о реабилитации народов содержатся в информационных записках, поступавших в Миннац России из других министерств (Минэкономразвития России, МВД России, Минтруда России, Минсотрудничества России со странами СНГ и др.), а также ведомств (Генеральная прокуратура России, ФСБ России, ФМС России и др.). Им по роду своей функциональной деятельности приходилось совместно с Миннац России проводить большую работу в плане реализации законов РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", "О реабилитации жертв политических репрессий" и других, направленных всецело на реализацию мер по реабилитации народов.

Именно этими органами власти определялся и сам механизм реабилитации, критерии оценок этих мер, а также другие вопросы правовой стороны проблемы, начиная от вопроса об установлении рамок возраста репрессированных (дети, взрослые) и до определения объемов компенсации ущерба по различным направлениям реабилитации.

Богатые сведения по проблеме содержатся в отчетах Департамента по делам депортированных и репрессированных народов, Департамента по делам Северного Кавказа, Департамента по этническим проблемам русского народа, Департамента по делам националь-

ностей, действовавших в структуре Миннац России в 1990-е годы и решавших проблемы реабилитации народов Российской Федерации. В их функциональные обязанности входили разработка нормативных актов, контроль над реализацией мер проводимой реабилитации народов, подвергшихся репрессиям в 1920–1960-е годы в Союзе ССР.

Содержательная информация о реабилитации имеется и в информационных отчетах, записках, справках администраций субъектов Российской Федерации, республиканских правительств, которые направлялись в Миннац России. Разумеется, что в материалах подобного плана сведения подавались в совокупности с другими. Это, несомненно, делало и информацию о реабилитации на местах более наполненной, в частности, по таким направлениям, как взаимодействие репрессированных граждан с органами законодательной и исполнительной власти по вопросам определения самого содержания мер по реабилитации, раскрытию специфики, трудностей взаимодействия региональных органов власти с федеральными органами власти в плане разрешения возникавших проблем.

Характеризуя эти источники, следует отметить, что информация, поступавшая по проблеме в конце 90-х годов XX в. и в начале XXI в., год от года становилась все скуднее. Все это свидетельствовало о том, что в ряде субъектов Российской Федерации, где компактно расселялись репрессированные, многое удалось выполнить, вошел в нужное русло и сам процесс реабилитации, и уже для него не был характерен ажиотаж, как это наблюдалось, например, в первой половине 1990-х годов.

Богатые материалы можно почерпнуть в отчетах, информационных справках, направляемых в Миннац России его территориальными отделами, которые функционировали в качестве представительств министерства в различных субъектах Российской Федерации. Эти сведения, как правило, отличались конкретикой, богатым содержанием о реализации мер, изложением мнений, суждений непосредственно подвергшихся репрессиям лиц, что, безусловно, способствовало четкому уяснению такого важного вопроса, как формирование национального самосознания граждан, изменение его под влиянием происходивших процессов, связанных с реабилитацией.

В самостоятельную группу источников следовало бы выделить и письма граждан, ранее подвергшихся репрессиям. В них передается во многом колорит той страшной эпохи, содержатся многочисленные примеры осуществления на практике мер по депортации и реабилитации народов.

Особую группу среди документов могли бы составить и материалы международных организаций. В первую очередь следовало бы назвать отчет Хельсинской группы по правам человека "Репрессированные народы Советского Союза. Наследие сталинских репрессий". (Хельсинки. 1991, сентябрь), подготовленный на базе данных иссле-

дований, проведенных научным сотрудником Русского исследовательского центра Гарвардского университета Джеймсом Критчлоу.

Отсутствие возможности пользования архивными материалами и документами сказалось на точности отображения автором имевшихся событий, а также и его выводах по этой столь сложной для Союза ССР проблеме. Для отчета характерно наличие искаженных данных о самом процессе депортации, как и по реабилитации народов. Автор оперировал исключительно сведениями, почерпнутыми в период встреч с теми, кто подвергался депортации, поэтому на них сказывается в значительной мере фактор субъективизма. Это вполне объяснимо. Для времени подготовки Д. Критчлоу доклада в российской исторической науке было мало накоплено знаний по проблеме, отсутствовала по ней и должная база данных.

Определенно, значимы и отчеты, ежегодно представляемые Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) о состоянии групп этнических меньшинств в Российской Федерации, о мерах, предпринимаемых Правительством Российской Федерации по защите их прав и интересов⁶⁹. Отчеты в преобладающей степени отличаются своей тенденциозностью, поверхностным пониманием сути происходящих событий в Российской Федерации. Выстраивая свои конструкции, авторы названных отчетов в заметной мере обходят требования Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", в частности, положение, касающееся реализации мер реабилитации народов, оно возможно только при условии ненанесения ущерба проживающему в тех или иных районах населению. Так, касаясь вопроса взаимодействия казачества и турок-месхетинцев в Краснодарском крае (2002 г.), открыто изложено несогласие с функционирующими казачьими обществами, созданными на основе законов Российской Федерации, а казачество классифицируется как "отдельные экстремистские группы", "вооруженные группы людей" и т.д. Разумеется, что в этой ситуации речь не идет о взаимном уважении интересов как турок-месхетинцев, так и казаков.

По многим вопросам реабилитации народов важным источником остается и "национальная" пресса, печатные органы различных общественных национальных объединений, национальных организаций, национально-культурных автономий. В числе их такие, как "Народ", "Лига наций" (Москва), "Путь" (Ростовская обл.), "Вон-Дон" (Дальний Восток), "Российские корейцы" (Москва, ООК), "Ариран", "Ариран-Пресс" (Москва, ФНКА российские корейцы), "Корейская диаспора" (Москва), "Русский курьер", "Омал маал" (Ленинградская обл.), "Краснодарские известия" (14 апр. 2001 г.) и др. Фактически во всех газетах содержится разнообразный материал о ходе реабилитации народов, о межнациональных отношениях, развитии культурной жизни и т.д. К сожалению, многие из обозревате-

лей газет слабо знакомы с содержанием самих законов, их направленностью и зачастую подают материалы в искаженной форме. Так, например, обозреватель З. Светова утверждает, что якобы Закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" определяет "порядок восстановления прав политзеков сталинского и постсталинского времени"⁷⁰. Все это не соответствует действительности. Закон имел совершенно иное назначение. И таких неточностей предостаточно.

Достоверное освещение вопросов реабилитации граждан Союза ССР, по нашему мнению, можно расценивать как одну из важнейших задач обществоведов. Последовательное исправление грубых ошибок, допущенных проводившим национальную политику государственным режимом в прошлом, – яркое подтверждение тому, что Россия в современных условиях поступательно продвигается по новому пути выстраивания отношений между народами, ее населяющими. Она делает эти отношения конструктивными и благожелательными. Создаются и условия для того, чтобы этносы, проживающие в Российской Федерации, чувствовали себя благополучно.

¹ Стенограмма Парламентских слушаний Комитета Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций по теме "Законодательное обеспечение предупреждения терроризма. Этноконфессиональный аспект". М., 2003. 7 апр.

² Стенограмма Всероссийского совещания "О реализации Концепции государственной национальной политики Российской Федерации" 18 апреля 2003 года. М., 2003. С. 92.

³ Из выступлений на заседании Специализированного ученого совета Ростовского государственного университета. Ростов на Дону, 1998.

⁴ Из письма заместителя председателя Госкомнац РСФСР В. Серякова в Правительство РСФСР от 17 декабря 1991 г. № 01-712.

⁵ Там же.

⁶ См.: *Тишков В.А.* Очерки истории и политики этничности в России. М., 1997; *Рогозин Д.* Россия между миром и войной. М., 1999. С. 249.; и др.

⁷ Из письма Г.И.Макина в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации от 28 февраля 1994 года № 31-1/А-711.

В связи с этим вопросом, более точный подход к оценке закона, на мой взгляд, был определен рабочей группой Северной Осетии Комиссии Совета Министров РСФСР для подготовки предложений по реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" в Чечено-Ингушской АССР и Северо-Осетинской АССР, в которую входили министр юстиции Г.А. Джигкаев, член Верховного Совета СССР А.С. Абоев, консультант Верховного Совета Северо-Осетинской АССР Ф.Х. Гутнов. Они писали: «Основной формой реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" должна быть реабилитация каждого человека, каждой семьи во всех ее аспектах. В связи с этим полагаем, что следует изучить, как выполняется в Северной Осетии этот принцип, и принять Государственную программу по восстановлению в правах каждого репрессированного гражданина». (Из архива автора.)

- ⁸ Письмо в адрес Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.Ф. Шумейко, Председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации И.П. Рыбкина от 13 марта 1994 года № Пр-170.
- ⁹ Стенограмма пленарного заседания Государственной думы Российской Федерации от 5 февраля 1998 г.; Письмо зам. руководителя Администрации Президента Калмыкии А. Рожкова в адрес министра по делам национальностей и федеративным отношениям В.А. Михайлова от 18 марта 1998 г. С. 6.
- ¹⁰ Аналитическая записка в Правительство Российской Федерации от 2 февраля 1995 г. С. 6.
- ¹¹ Реабилитация народов России: Сб. док. М., 2000. С. 11.
- ¹² См.: Там же. С. 19.
- ¹³ Там же. С. 20.
- ¹⁴ См.: Письмо губернатора Ставропольского края А. Черногорова на имя министра Российской Федерации В.Ю. Зорина от 16 апреля 2003 г. № 01-20/944-231.
- ¹⁵ *Феохтистов А.* Русские, казахи и Алтай. Усть-Каменогорск, 1991; Северный Кавказ: национальные отношения. Майкоп, 1992; *Чомаев К.* Наказанный народ. Черкесск, 1993; *Бугай Н.Ф.* Казаки – представители русского народа, проблемы реабилитации // *Русский народ: историческая судьба в XX веке.* М., 1993; *Киколенко О.А.* Российские немцы: история формирования национальной общности и проблемы постсоветского периода. М., 1994; *Немецкий российский этнос: веки истории.* М., 1994; *Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге.* М., 1995; *Бугай Н.Ф., Гонов А.М.* Кавказ: народы в эшелонах. 20–60-е годы. М., 1998; и др.
- ¹⁶ *Чомаев К.* Указ. соч.
- ¹⁷ *Беджанов М.Б.* Суверенитет, демократические движения, многопартийность и возрождение казачества. Майкоп, 1991; *Земсков В.Н.* "Кулацкая ссылка" в 30-е годы // *Социологические исследования.* М., 1991, № 10; *Казачество: истории и возрождение.* Ставрополь, 1991; *Кубанское казачество: проблемы истории и возрождение.* Краснодар, 1995; *Русский путь в развитии экономики.* М., 1993; *Барсенков А.С., Вдовин А.И., Корецкий В.А.* Русский народ: историческая судьба в XX веке. М., 1993; *Табolina Т.В.* Возрождение казачества. 1989–1994 гг. М., 1994; *Козлов А.И.* Российское казачество. Ростов н/Д., 1997; *Бугай Н.Ф.* 1917–1945 годы: казачество в системе межнациональных отношений в России (СССР) // *Кубанец: Донской атаманский вестник: Сборник.* Нью-Йорк, 1998; *Хунагов А.С.* Депортация народов с территории Краснодарского края и Ставрополя (20–50-е годы). М., 1998; *Озеров А.А., Киблицкий А.Г.* Союз казачьих войск Области Войска Донского. Ростов н/Д, 2002; *Белоусов И.В.* Власть и казачество: эволюция взаимоотношений и политического курса в XX веке: Автореф. ... дис. д-ра ист. наук. М., 2003; *Козлов А.И., Козлов А.А.* Российское казачество: краткий анализ ближайшей истории и перспективы // *Вестн. Академии военных наук.* М., 2003. № 1(2); *Он же.* У истоков разработки казачьей проблематики // *Голос минувшего.* Краснодар, 2003. № 1/2; *Бугай Н.Ф.* Казачество Юга России: проблемы воспитания культуры межнационального общения // *Голос минувшего.* Краснодар, 2003, № 1/2; *Российское казачество: Науч.-справ. изд.* М., 2003; *Казачество: Энциклопедия.* М., 2003; и др.
- ¹⁸ См.: *Чомаев К.* Указ. соч. С. 91–93.
- ¹⁹ См.: *Народы России: проблемы депортации и реабилитации.* Майкоп, 1997. С. 4.
- ²⁰ *Белоусов И.В.* Указ. соч. С. 28.
- ²¹ Там же. С. 29.

- 22 Кабардино-Балкарская правда. 1994. 12 апр.
- 23 См.: Там же. 1995. 30 марта.
- 24 См., например: *Земсков В.* Массовое освобождение спецпоселенцев и ссыльных // Социол. исследования. М., 1991, № 1; *Калтахчан А.* Реабилитация репрессированных народов России: первые практические шаги // Этнополитический вестник. М., 1992, № 2; *Бугай Н.Ф.* Закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов": два года спустя // Обозреватель. М., 1993. № 19; *Викторин В.М.* Калмыцкий этнический ареал в Нижнем Поволжье и проблема реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" // Этничность и власть в полиэтнических государствах. М., 1994; *Коцонис А.Н.* Документы "ушли" наверх... (О перспективах реабилитации российских греков) // Народ. М., 1994, № 2–6; *Он же.* Проблемы реабилитации репрессированных народов // Информ. бюлл. Миннаца России: Федерация и народы России. М., 1998, № 2; *Бугай Н.Ф.* Реабилитация народов – одно из направлений национальной политики по укреплению федеративных отношений // Российский федерализм: опыт становления и стратегия перспектив. М., 1998; *Он же.* Национально-культурная реабилитация народов: опыт, уроки // Этнодиалоги Москва–Кавказ: диалог культур. М., 1999; *Шин А.* Корейцы в России: К десятой годовщине реабилитации российских корейцев // Информ. бюлл. "Единство". М., 2003. № 3/35. Март–апр.; и др.
- 25 *Черняк А.* Национальная политика в тоталитарном обществе. Казань, 1993; 50-летие Великой победы над фашизмом: история и современность. Смоленск, 1995; Крайности истории и крайности историков. М., 1997; *Хунагов А.С.* Депортация народов с территории Краснодарского края и Ставрополя, 20–30-е годы: Автореф. ... дис. канд. ист. наук. М., 1997; *Он же.* "Выселить без права возвращения..." М., 1999; *Зумакулов Б.М.* Реабилитация: история, проблемы решения. Нальчик, 1998; *Бугай Н.Ф.* Депортация народов Крыма. М., 2002; и др.
- 26 Реабилитация: как это было: Сб. док. М., 2000.
- 27 ГАРФ. Ф.-Р. 9478. Оп. 1. Д. 317. Л. 8–15.
- 28 См.: *Пак М.Н.* Об исторических судьбах советских корейцев // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 5; *Бугай Н.Ф.* 60 лет депортации российских корейцев // Независимая газета. 1997. 20 сент.; *Он же.* Российские корейцы: от народного консерватизма к естественному этническому развитию // Этнопарнама. Оренбург, 2001. № 2; *Он же.* 10 лет закону РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" // Современное общество на Юге России: основные тенденции развития. Ростов н/Д, 2001; *Ли В.Ф.* Культурно-национальная автономия и возрождение корейской диаспоры в России // Диаспоры национальных меньшинств в Китае и России. Сеул, 2000; *Нам И.* В национальных культурных объединениях и автономиях // Сеть этнического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов: Бюлл. М., 2001. Май-июнь; *Сим Хон Ёнг.* Корейский этнос в системе межнациональных отношений СССР. М., 1998; *Рахманкулова А.Х.* Документы центрального Государственного архива Республики Узбекистан по истории депортации народов в Узбекистан в 1930-е годы (На примере корейцев); и др.
- 29 См.: *Бугай Н.Ф.* Российские корейцы: новый поворот истории (90-е годы). М., 2000; *Он же.* Российские корейцы и политика "солнечного тепла". М., 2002.
- 30 См.: *Бугай Н.Ф.* Социальная натурализация и этническая мобилизация (опыт российских корейцев). М., 1998. С. 224–225.
- 31 Цит. по: Там же. С. 224.
- 32 ГАРФ. Ф.-Р. 9479. Оп. 1. Д. 436. Л. 21–22.

³³ Там же. Ф.-Р. 5446. Оп. 31. Д. 2663. Л. 46–51.

³⁴ Там же. Ф.-Р. 5446 (сч.). Оп. 1. Д. 171. Л. 315.

³⁵ Об этом, в частности, пишет и исследователь проблемы "корейцев" Узбекистана А.Х. Рахманкулова. Изучая документы Центрального государственного архива Республики Узбекистан, она заключает: «Среди материалов особенно следует остановиться на постановлении СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. "О правовом положении спецпереселенцев"» (ЦГА РУз. Ф. 314. Оп. 7. Д. 18), закрепившем принудительное трудовое устройство и ограничения спецпереселенцев на свободное передвижение. Хотя переселенные корейцы считались административно высланными, данное постановление было распространено и на них тоже.

2 июля 1945 г. Л. Берией был издан приказ, согласно которому корейцы были взяты на учет спецпереселенцев официально. В местах поселения корейцев были созданы отделения спецкомендатур при местных управлениях НКВД и при Отделе спецпоселений НКВД – Отделение по обслуживанию корейцев (*Рахманкулова А.Х.* Документы Центрального государственного архива Республики Узбекистан по истории депортации народов в Узбекистан в 1930-е годы (На примере корейцев). Ташкент / Институт истории АН Республики Узбекистан).

³⁶ Хотя некоторым из депортированных корейцев все же "повезло". Тот же В.В. Шиян сообщал: "В течение семи месяцев: с августа 1946 года по март 1947 года часть корейцев имела возможность получить паспорта без каких-либо ограничений" (ГАРФ. Ф.-Р. 9479. Оп. 1. Д. 436. Л. 21–22). Однако и в этом случае необходим учет временных рамок. Уже шел 1947 год...

³⁷ Там же. Ф.-Р. 9122. Оп. 1. Д. 19. Л. 188.

³⁸ Белая книга: О депортации корейского населения России в 30–40-х годах. М., 1997. Кн. 2. С. 77; и др.

³⁹ Там же. С. 89.

⁴⁰ Там же. С. 90.

⁴¹ Там же. С. 80.

⁴² Там же. С. 81.

⁴³ *Пак Б.Д., Бугай Н.Ф.* 140 лет в России: Очерк истории российских корейцев. М., 2004; 1937 год: Российские корейцы. Приморье–Центральная Азия–Сталинград: Депортация. М., 2004; *Бугай Н.Ф.* Корейцы в Союзе ССР–России: XX век. М., 2004; *Бугай Н.Ф., О Сон Хван.* Испытание временем. Российские корейцы в оценках дипломатов и политиков. Конец XX – начало XXI в. М., 2004; *Бугай Н.Ф., Сим Хон Ёнг.* Общественные объединения корейцев в России: конститутивность, эволюция, признание. М.; Сеул, 2004; и др.

⁴⁴ *Акиева С.И.* Развитие этнополитической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике (постсоветский период). М., 2002.

⁴⁵ *Гильди Л.А.* Указ. соч. С. 6.

⁴⁶ Там же. С. 8.

⁴⁷ *Дизендорф В.* 10 лет в "Возрождении". М., 2000; *Смирнова Т.Б.* Немцы Сибири: этнические процессы. Омск, 2002; *Брюхнова Е.А.* Российские немцы в государственной политике: Ист.-полит. анализ: Автореф. ... дис. канд. полит. наук. М., 2002; *Бауэр В.* Российские немцы – 60 лет после депортации. Год 2001-й. М., 2003; и др.

⁴⁸ Национализм – это совокупность культурных, политических, психологических процессов, направленных на выработку специальных национальных черт и признаков, присущих национальной общности – человеческому коллективу, находящемуся на определенной экономической и политической

- ступени развития, и преобразование последнего в соответствии с выработанным национальным типом.
- 49 Брюхнова Е.А. Указ. соч. С. 3.
- 50 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2003.
- 51 См.: Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2005. С. 36; и др.
- 52 Лазарев Б.М. Правовые вопросы репрессированных народов // Государство и право. М., 1994. № 12; Жамсуев Б.Б. О реабилитации репрессированных народов // Думский вестник. М., 1995. № 3(18); Коцонис А.Н. Правовая база реабилитации депортированных народов // Информ. бюлл.: Миннац России. Федерация и народы России. М., 1997. № 1(11); Он же. Реабилитация и законность // Человек и право. М., 1997; и др.
- 53 См.: Репрессированные народы: история и современность. Элиста, 1992; Репрессированные народы: история и современность. Нальчик, 1994; Российские греки: история и современность. М., 1997; и др.
- 54 Тест доклада Бутрос-Бутрос Гали, распространенный между участниками конференции 30 мая 1996 г. (С. 2–3).
- 55 Там же.
- 56 Из дневниковых записей Н.Ф. Бугая.
- 57 Из текста выступления Т.М. Регент на конференции (С. 8). Архив автора.
- 58 Введение такого понятия в оборот (рабочую практику) было предложено общественной организацией "Фонд-Крым", представлявшей интересы депортированного крымско-татарского народа.
- 59 См.: Сотрудничество: Материалы 6-й Международной конференции. Москва, 29–30 ноября 2000 г. М., 2001.
- 60 Хан В.С., Ким Г.Н. Актуальные проблемы и перспективы корейской диаспоры Центральной Азии; Хан Ён Сук. Восстановление корейского языка у советских корейцев – путь к возрождению ментальности. Алма-Ата.
- 61 См.: Бугай Н.Ф. Депортационные процессы на Кубани: их последствия // Северный Кавказ: национальные отношения (историография проблемы). Майкоп, 1992; Гонов А.М. Актуальные проблемы русского этноса (20–30-е годы). Ростов н/Д, 1997; и др.
- 62 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970. Т. 3. С. 171.
- 63 Решение коллегии Министерства Российской Федерации по делам национальностей и федеративным отношениям от 26 марта 1997 г. "О ходе реализации указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов".
- 64 См.: Бугай Н.Ф. Казачество России: проблемы возрождения // Обозреватель. 1994. № 1(35); Реабилитация народов и граждан. 1940–1950 гг. М., 1994; Русские на Северном Кавказе. 20–30-е годы / Сост. А.М. Гонов. Нальчик, 1995; Казачество России: Историко-правовой аспект: документы, факты, комментарии. 1917–1940 / Сост. Н.Ф. Бугай, А.М. Гонов. Нальчик, 1999; и др.
- 65 См.: Домашний адвокат. М., 1994. № 17, 19, 20.
- 66 См.: Реабилитация народов России: Сб. док. М., 2000. С. 6.
- 67 См. подробнее. рец.: Широков С. Без ретуши и перекосов // Комсомолец Калмыкии. № 56 (139). 2003, 10 дек.; Отечеств. история. М., 2004. № 1. Этот же аспект проблемы рассматривается и в сборнике документов "Час испытаний: Депортация, реабилитация и возрождение балкарского народа" (Нальчик, 2003).

- ⁶⁸ Стенограмма парламентских слушаний Комитета Государственной думы по делам национальностей на тему "О проекте Концепции по миграционной политике Российской Федерации". М., 2002. С. 101.
- ⁶⁹ Второй доклад Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) по ситуации в Российской Федерации (принят 16 марта 2002 г.). Страсбург, 2001. 13 нояб.; и др.
- ⁷⁰ См.: Русский курьер. 2003. 5 дек. С. 3.

Э. Дурачинский

О ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

В данной статье автор не стремился дать полный обзор польской историографии новейшей истории. Он лишь выделил важнейшие этапы развития исторических исследований по новейшей истории и отметил наиболее значительные достижения.

Большинство польских исследователей считает точкой отсчета новейшей истории своей страны осень 1918 г., когда после 123 лет неволи начался процесс восстановления польского государства. До рубежа 1970–1980-х годов большинство историков придерживалось мнения, что строительство основ независимого государства началось в самом конце октября 1918 г. и продолжалось несколько недель. Сегодня почти все историки отправной точкой считают 11 ноября 1918 г. – день, когда Юзеф Пилсудский, прибывший накануне из немецкой тюрьмы в Магдебурге в Варшаву, принял из рук Регентского совета¹ командование нарождавшейся армией.

Итак, будем считать, что 11 ноября 1918 г. началась история II Речи Посполитой (первая завершила свое существование вместе с III разделом Польши в 1795 г.), и что 11 ноября 1918 г. датируется начало новейшей истории Польши, которая продолжается до настоящего времени.

Следует, однако, подумать, не стоит ли начать отсчет новейшей истории Польши с более позднего времени, например, с 1944–1945 гг., или даже с 1989 г., когда в Польше закончилась эпоха системы так называемого реального социализма, а период с 1918 г. отнести к эпохе нового времени? Или же то, что началось в 1989 г., назвать современной историей по примеру английской recent history?

Польская историография новейшей истории с конца 1940-х годов развивалась в условиях тоталитарного (или авторитарного) государства, государства с ограниченным суверенитетом, зависимого от СССР, с многочисленными последствиями, вытекающими из этих обстоятельств. Это, во-первых. Во-вторых, что чрезвычайно важно – уже с 1945 г. все большее количество научных работ по исто-

рии начало появляться в эмиграции, особенно во Франции и Великобритании, а также и в США. Это были труды польских историков, оказавшихся после 1939 г. на Западе и не вернувшихся после войны в Польшу, и более молодых исследователей, сформировавшихся как историки в странах пребывания.

Особые заслуги на поприще публикации научных работ, документов и воспоминаний по новейшей истории принадлежат Ежи Гедройцу (начавшему свою деятельность в Париже в 1947 г. и продолжавшему ее до своей смерти в 2000 г.) и созданному им ежемесячному журналу "Kultura". По его же инициативе с 1962 г. и по сей день выходят ежеквартальные "Zeszyty Historyczne", почти сразу ставшие одним из важнейших польских научных исторических журналов. Правда, оба журнала не разрешалось распространять в Польше, но самыми разными, нелегальными, с точки зрения властей Народной Польши, путями они все-таки попадали в главные научные библиотеки, где их могли прочитать научные работники. "Kultura" и "Zeszyty" оказывались также и в руках частных лиц, среди которых были и профессиональные историки. Это же касается и сотен книг по истории, изданных на польском языке на Западе. Все эти публикации в большей или меньшей степени влияли на историков, занимающихся различными аспектами новейшей истории, что само по себе является исследовательской проблемой, ожидающей добросовестного и вдумчивого историка. Во всяком случае, уже сегодня, не дожидаясь результатов детальных исследований, можно утверждать, что среди факторов, формирующих картину польской послевоенной историографии новейшей истории, вышедшие в эмиграции публикации, бесспорно, занимают важное, прочное место. К некоторым из них обратимся в ходе дальнейших рассуждений. Хотелось бы, однако, сразу отметить, что, за исключением короткого периода 1950–1955 гг., польская историческая наука развивалась в контакте с мировой исторической наукой, особенно с французской Школой анналов, а также с важнейшими исследовательскими центрами Великобритании, США и Западной Германии. В течение всего послевоенного периода польские историки сотрудничали с научными кругами СССР и стран социалистического лагеря. Сегодня – это плодотворные контакты с историками России, Украины, Белоруссии, странами Балтии (в частности, с литовскими учеными) и независимых государств Центральной Европы (особенно с чешскими и словацкими исследователями).

После окончания Второй мировой войны нужно было отстроить уничтоженные оккупантами исследовательские лаборатории, возобновить выпуск исторических журналов (в том числе выходящего с 1887 г. журнала "Kwatalnik Historyczny"), разобрать разоренные во время войны и оккупации архивы, приступить к подготовке молодых научных кадров. Еще тогда историография новейшей истории,

хотя и имела уже в своем багаже многочисленные достижения времени II Речи Посполитой, начала новый этап своей истории, прерванный годами польского варианта сталинизма (1949–1955), когда власти пытались подчинить все гуманитарные науки единой доктрине ортодоксального марксизма, называемого марксизмом-ленинизмом. Эта попытка принесла плачевные результаты, хотя историзм, присущий взглядам Маркса, приобрел (и надолго) многочисленных сторонников не только среди научной молодежи, но и среди части довоенной профессуры.

Перелом в послевоенной истории польских гуманитарных наук, в том числе, разумеется, в историографии новейшей истории, был следствием 1956 г. с его мощным воздействием на оживление интеллектуальной жизни в стране. Наверное, самым важным явлением нового периода стал фактический методологический плюрализм. Рядом с партийной ортодоксальностью возродилась тенденция к утверждению объективного взгляда на новейшую историю, учитывающего, по мере возможности, многообразие факторов, а не только классово-идеологический, как того хотели партийные ортодоксы. С течением времени упомянутая тенденция, несмотря на препятствия, чинимые подвластной руководством правящей партии цензурой, становилась все более мощной, а к концу 1970-х годов стала господствующей. Это нашло свое выражение в публикациях. Именно в 1960–1970-е годы появилось много работ о начальном этапе существования II Речи Посполитой, ее истории 1921–1939 гг., о Польше времен Второй мировой войны. Вместе с тем это было время создания первых исторических монографий, посвященных начальным этапам существования послевоенной Польши или, как ее называли, Народной Польши. По большей части они несли на себе отпечаток того времени, что особенно касалось политической истории.

Несмотря на безусловный прогресс в исследованиях по новейшей истории, которого удалось достичь после 1956 г., ряд тем все еще оставался под строгим запретом цензуры. Так, нельзя было публиковать работы, критикующие советскую политику по отношению к Польше, разбирающие содержание тайных советско-германских соглашений августа и сентября 1939 г. (хотя польским историкам они были хорошо известны по западным публикациям). Табу было наложено на изучение преступлений НКВД в отношении польских офицеров весной 1940 г., на исследование сюжетов, связанных с послевоенным подчинением Польши Советскому Союзу. Но обо всем этом писали польские историки и публицисты, работающие и издающие свои труды на Западе, а в Польше их внимательно читали, причем не только историки. С содержанием эмиграционных публикаций регулярно и подробно знакомила своих слушателей польская редакция радиостанции "Свободная Европа". Ее заслуги в этой области сегодня очевидны. Передачи этой радиостанции, посвященные

истории, польской партийной пропагандой назывались тогда исключительно ложью, но в польском обществе процент доверяющих этому мнению никогда не был высок и, к тому же, неизменно уменьшался, а к концу 1970-х годов почти достиг нулевой отметки.

Тогда же в стране назревал очередной кризис системы так называемого реального социализма. Это было также предвестие качественно нового этапа развития историографии новейшей истории, хотя его формальное начало следует связывать с рубежом 1980–1990-х годов.

1980-е годы – десятилетие небывалого расцвета публикаций, независимых от цензуры. Это подпольное, с точки зрения властей, нелегальное издательское движение обращалось к историческому опыту времени национальной неволи XIX столетия и особенно оккупации периода Второй мировой войны. Из подпольных издательств 1980-х годов выходили десятки книг, в которых рассматривались различные проблемы новейшей истории. Такие работы принадлежали, в частности, ученым из университетов и институтов Польской академии наук, которые печатались в подпольных издательствах (а их было много) под псевдонимами. Вместе с тем все больше появлялось ценных монографий, выпускаемых государственными издательствами.

Новейшая история, в том числе и новейшая история Народной Польши (Польской Народной Республики), почти полностью освободилась в то время от ограничений, навязываемых партийными идеологами, перед ними вставала необходимость отказа от исповедуемых догматов или их принципиального пересмотра.

В итоге, последняя декада XX столетия оказалась для историографии новейшей истории лучшим периодом за все послевоенные годы. Плюрализм исторических школ и исследовательских методов стал нормальным и привычным явлением. Вместе с ним, однако, среди историков возродились все существовавшие ранее политические симпатии и ориентации, к которым добавились и новые. С течением времени политические эмоции начали утихать, а на первый план выдвинулись пытливость и поиск истины, хотя в трактовке послевоенной истории Польши, т.е. Народной Польши 1945–1989 гг., научные споры все еще уступают первенство политико-идеологической конфронтации.

Надеемся, что в скором времени ситуация будет выглядеть иначе. Разумеется, политико-идеологические расхождения, конечно, во взглядах останутся, но не они будут определять содержание и форму даже самых спорных, но все же следующих правилам исторической науки суждений. Тем не менее можно согласиться с мнением выдающегося французского историка Жака Ле Гоффа, написавшего следующее: "Историки не могут быть совершенно объективными. История по своей природе рождает эмоции... История, – добавляет

он, – исключая бесспорные факты, основывается, прежде всего, на интерпретации и, до известной степени, допускает существование многих истин”².

Имея это в виду, посмотрим теперь на существующие направления исследований польских историков новейшей истории и попробуем осветить некоторые вопросы, на которых сфокусированы научные споры и которые рождают различные интерпретации.

Польские историки конца XIX – начала XX в. спорили по многим вопросам, но подход к одному из них разделил самых выдающихся исследователей на две школы: краковскую (называемую также пессимистической) и варшавскую (или оптимистическую). Представители обеих школ задавались вопросом о причинах падения I Речи Посполитой в конце XVIII в. По мнению историков краковской школы, решающим фактором здесь оказалась внутренняя слабость государства. Согласно мнению историков варшавской школы, после 1772 г., т.е. после I раздела, Польша вошла в фазу интенсивной модернизации и пала жертвой ненасытности своих трех соседей: России, Пруссии и Австрии.

Напоминаю это потому, что после 1918 г., когда начался процесс возрождения государства, историки вновь разделились на тех, кто главным его условием считал международную конъюнктуру, и тех, кто делал упор на предпринимаемые поляками усилия по освобождению. Впрочем, и тогда, и сейчас (к чему еще вернемся) при рассмотрении ключевых событий новейшей истории Польши велись и все еще ведутся споры о роли и значении двух определяющих факторов: внутреннего и внешнего.

Вернемся, однако, к спорам вокруг условий и обстоятельств возрождения польского государства в 1918 г.

В 1920–1930-е годы часть историков, увлеченных личностью Юзефа Пилсудского, именно ему приписывала главную заслугу в деле воскрешения государства. Другие, идеологически и политически связанные с Романом Дмовским, считали, что это он сумел склонить лидеров западных государств (т.е. Франции, Великобритании, Италии и, прежде всего, США) к идее возрождения независимого польского государства.

Среди исследователей того времени лишь немногие указывали на значение двух российских революций и германской революции, как внешних факторов, благоприятствовавших освободительным стремлениям поляков.

Согласно официальной версии политической пропаганды, развернувшейся после Второй мировой войны, Польша смогла обрести независимость только благодаря Ленину и Октябрьской революции. Серьезные историки не игнорировали этот фактор, но и не абсолютизировали его. Стефан Кеневич, выдающийся исследователь истории Польши XIX – начала XX в., писал, что сначала Германия побе-

дила царскую Россию, Россия, в свою очередь, была низвергнута революцией, а сама Германия пала под ударами армий Франции, Великобритании и США. Кеневич при этом добавлял, что все три государства-разделителя были стерты с лица земли собственными революциями³. Думаю, что польским историкам, до сих пор ведущим споры по этому вопросу, следует возвратиться к процитированным мыслям Кеневича – наиболее взвешенным и лучше всего отражающим тогдашнее положение вещей.

Среди многочисленных работ, освещающих проблему возрождения польского государства, можно выделить две книги – Януша Паевского и Петра Лоссовского⁴. Первый сконцентрировал свое внимание на представлении многообразия внешних и внутренних факторов, создавших условия возрождения государства, отдав первенство внешним. Второй продемонстрировал действия по освобождению, предпринимавшиеся самими поляками в октябре и ноябре 1918 г. В этой ценной монографии внешние события, таким образом, отошли на задний план. Однако когда мы говорим о значении военных действий Легионов Пилсудского в то время и созданной и работавшей по его инициативе Польской военной организации (ПВО)⁵, следует помнить мысль Кеневича, что потенциал Легионов⁶ "не сыграл, без сомнения, никакой роли в судьбе мировой войны, но легенда Легионов взбудоражила целое поколение"⁷. Добавим, что легенда возродилась и оказала значительное влияние на новое поколение поляков в конце XX в., хотя она и не засияла таким блеском, как в 1918–1939 гг. или во время Второй мировой войны, когда в оккупированной стране военные действия Легионов и ПВО стали для солдат подпольной Армии Крайовой или конспиративных Крестьянских батальонов примером патриотизма.

С историографией возрождения польского государства самым тесным образом связана история польско-советской войны, или, как писалось до 1945 г. и пишется сейчас, польско-большевистской. В отличие от довоенной историографии, в которой доминировали споры вокруг вопроса, кто является автором польского плана победы над Красной Армией, сегодня утвердилось мнение о решающей роли маршала Юзефа Пилсудского. Современные историки не сомневаются также, что война 1920 г., окончившаяся успехом Польши, не только спасла только что обретенную независимость, но и перечеркнула планы Ленина по завоеванию Европы, т.е. перенесения большевистской революции в Германию и дальше на Запад.

В последние годы появился ряд работ, освещающих разные аспекты польско-советской войны, в том числе и сложный вопрос о судьбах солдат Красной Армии, оказавшихся в польском плену. Но полная, всесторонне представленная история этого события все еще не создана.

Польско-советская война, Рижский мирный договор 1921 г., устанавливающий границу между Польшей и Советской Россией⁸, и решения, касающиеся границ с Германией, определяли территорию возрожденного польского государства, хотя и не гарантировали ее постоянство. В результате, II Речь Посполитая, как свободное и суверенное государство, едва просуществовала 21 год. Сентябрь 1939 г. принес поражение ее армии и разделение, согласно подписанным Риббентропом и Молотовым соглашениям, между Германией и СССР. Этой последней проблеме посвятили свои монографии молодые краковские исследователи Марек Корнат и Славомир Дембски⁹.

Сентябрьское поражение уже с осени 1939 г. стало одной из главных тем обсуждения в польской прессе, выходящей подпольно в оккупированной стране и открыто на Западе. Историки же к сентябрьской драме 1939 г., ее предпосылкам и последствиям, обратились после войны (хотя первые попытки были сделаны еще до ее окончания) и изучают ее до сих пор. Многие из них смотрели на это событие 1939 г. сквозь призму истории II Речи Посполитой, в ее внутренней слабости и ошибках внешней политики усматривая главные причины сентябрьского поражения. Такой способ объяснения определяющих факторов мог бы напомнить историографию краковской школы, если бы он не вытекал напрямую из современных пропагандистских текстов правящей в стране партии.

Однако ради справедливости следует добавить, что в первые послевоенные годы знания об истории II Речи Посполитой и ее положении в Европе были довольно скромными. Неудивительно, что после перелома 1956 г. основным трудом (множественно затем переизданным) о первых 15 годах существования польского государства межвоенного периода оставалась книга, вышедшая еще в 1933 г. и принадлежавшая перу историка и деятеля левого крыла социалистов Адама Прухника¹⁰. На тот момент она была единственной, вызывавшей доверие читателей, желающих получить истинные знания о столь недавнем прошлом, хотя она и содержала все недостатки труда, созданного чуть ли не на следующий день после описываемых событий и отягощенного политическими взглядами автора. Впрочем, Прухник не был единственным, кто занимался новейшей (лучше сказать – современной) историей. Достаточно назвать хотя бы имя пилсудчика Владислава Побуг-Малиновского, выпустившего в год смерти маршала его двухтомную биографию¹¹. Уже после войны этот же историк издал в эмиграции объемный трехтомный труд по истории Польши 1864–1945 гг., второй и третий тома которого (1918–1945) вплоть до 1980-х годов были основой для тех, кто серьезно занимался новейшей историей Польши, хотя в самой Польше книга Побуг-Малиновского была запрещена¹². Наверное, не будет преувеличением сказать, что многие исто-

рики-новисты, сформировавшиеся уже в Народной Польше, понимаемая необъективность и политические пристрастия автора (который до конца жизни остался пилсудчиком и врагом противников маршала), считали его книги не только источником знаний, но и отправной точкой творческих исканий. Пожалуй, никто из находящихся в эмиграции историков не оказал такого влияния на развитие историографии новейшей истории в Польше, как Побуг-Малиновский. Прежде всего, это касается политической истории возрожденной в 1918 г. Польши.

Говоря об отправной точке творческих исканий и влиянии, имею в виду то, что многие проблемы были подняты исследователями в результате непосредственной или опосредованной полемики со взглядами Побуг-Малиновского, затронуты упущенные историком моменты, кроме того, приняты его констатации, а зачастую и интерпретации.

В общем, польская историография новейшей истории, освобождаясь от давления цензуры, с 1956 г. открыла новую главу истории польской исторической науки, являясь ее неотъемлемой, имманентной частью. Это обозначилось сначала в исследованиях по истории II Речи Посполитой, затем периода Второй мировой войны и, наконец, истории послевоенных лет. Сегодня, не боясь быть обвиненным в чрезмерном оптимизме, можно сказать, что основной объем фактов, относящихся к 1918–1939 гг., уже хорошо известен и по большей части удовлетворительно обеспечен источниками. Это, по моему мнению, относится к политической, экономической, социальной истории, истории культуры, науки и военного дела, одним словом — к истории всей внутренней жизни Польши того времени. За последние 40 лет ушедшего столетия в руки читателей попали тысячи книг, из которых, по крайней мере, несколько сотен, если не целиком, то в своих важнейших частях, до сегодняшнего дня не потеряли ценность. Это объясняется, прежде всего, тем, что большинство историков, хотя и сформировалось в условиях Народной Польши, все же не поддавалось форсировавшейся правящей партией примитивной идеологизации и политизации исторической науки. Существовали, правда, цензурные ограничения, но они, главным образом, касались истории СССР и польско-советских отношений. Исследователи II Речи Посполитой и периода Второй мировой войны имели доступ к польским архивам, в том числе партийным (однако, далеко не все и не сразу), а со временем также к эмиграционным в Лондоне и Нью-Йорке. И еще один момент. В основных польских университетах и учреждениях Польской академии наук (прежде всего, в Институте истории) новые поколения историков (среди которых много талантливых исследователей) формировались под руководством замечательных ученых, которые, правда, были слабо знакомы с марксистской методологией (или не знакомы с ней вовсе), но зато успели до

войны познакомиться с ведущими историческими школами Западной Европы. Сегодня их ученики скоро перейдут или уже перешли рубеж 70-летия, а после 1956 г. именно они пошли по стопам своих учителей. Так была поддержана (в интеллектуальном плане) столь важная преемственность поколений, что для развития польской исторической науки имело первостепенное значение. В такой атмосфере создавались ценные монографии и даже предпринимались попытки синтеза исследований по внутренней истории Польши 1918–1939 гг.

Из ранних работ по политической истории хотелось бы вспомнить две книги Тадеуша Ендрушчака, посвященные последним годам существования II Речи Посполитой¹³. Обе книги пронизаны критicismом, далеким, однако, от ожиданий идеологических руководителей правящей партии.

В 1960–1970-е годы появилось много работ о майском перевороте 1926 г., осуществленном Пилсудским (в последнее время некоторые историки пишут, что переворот был оправдан внутренним положением страны того времени), о лагере пилсудчиков, об оппозиционных по отношению к нему партиях (в частности, о Польской Социалистической Партии и крестьянских партиях), забастовочном движении рабочих и крестьян и о многих других проблемах политической жизни II Речи Посполитой¹⁴. Сегодня многие выводы и оценки историографии 1960–1970-х годов требуют пересмотра, а еще существующие лакуны (хотя их и не так много) нужно заполнить. Здесь, однако, следует привести меткое замечание видного польско-американского историка, профессора Йельского университета, иностранного члена Польской академии наук Петра Вандыча. В апреле 2001 г. на страницах издаваемого в Кракове престижного католического еженедельника "Tygodnik Powszechny" он писал: «Так называемая марксистская историография, особенно в период сталинизма, толковала прошлое выборочно и бездумно. После падения коммунизма в результате освобождения нашей истории ото лжи произошел "перекос" в другую сторону. Белые пятна заполнялись, но не все и не равномерно»¹⁵. От себя добавлю, что во многих опубликованных после 1989 г. работах вместо справедливо устраненной лжи появилась новая. И та старая, и эта сегодняшняя ложь вырастали и вырастают на почве определенных (кардинально противоположных) симпатий или же политических предпочтений отдельных исследователей. Это относится, прежде всего, к ключевым событиям и оценке действий главных "актеров" польской политической сцены. Впрочем, естественный и творческий пересмотр не коснулся (по крайней мере, до сих пор) важнейших работ по истории экономики и общества 1918–1939 гг.

Перемены 1990-х годов и новые возможности, открытые перед историками новейшей истории, не умалили ценности исследований в

области экономики и общественной жизни II Речи Посполитой. Правда, уже появились работы, лучше демонстрирующие достижения экономики и состояние финансов того времени, но и они не изменили мнение о польской экономике, которую даже сторонникам оптимистической школы (а их появилось очень много) не удастся представить как процветающую и догоняющую самые развитые страны Западной Европы. Все добросовестно выполненные исследования по-прежнему приводят к выводу, что несмотря на отдельные, даже очень яркие успехи (например, постройка самого современного по меркам того времени морского порта в Гдыни на Балтийском море, Центрального промышленного округа в Люблинском, Келецком и Жешувском воеводствах), в целом, страна все еще оставалась в европейской зоне цивилизационного отставания. Это относится и к ее социальной структуре, в которой доминирующее положение занимало крестьянство. Новейшие исследования не изменили и наши знания о национальной структуре: в конце 1930-х годов национальные меньшинства составляли треть граждан.

Среди исследований в области социальной структуры II Речи Посполитой нужно бы отдать первенство работам Януша Жарновского, созданным еще в 1960 и 1970-е годы¹⁶. Он новаторски представил генезис интеллигенции II Речи Посполитой, точно определил ее состав, политические симпатии и пристрастия отдельных профессиональных и региональных групп. Занимаясь затем уже всем обществом межвоенного периода, он ввел определения таких понятий, как "элита власти", "правящая прослойка", которые используют до сегодняшнего дня не только историки, но и многие социологи и политологи. На границе экономической и социальной истории и истории техники следует поместить его новейшую монографию, посвященную одновременно труду, технике и обществу в Польше 1918–1939 гг.¹⁷

В сфере экономической истории к серьезным достижениям следует отнести работы известных специалистов в этой области исторической науки Збигнева Ландау и Ежи Томашевского¹⁸. Правда, часть историков – сторонников оптимистического представления прошлого родного края – обвиняла обоих авторов в чрезмерном критицизме, однако до сих пор сопоставимого, по значению альтернативного, труда создано не было.

Весьма существенную проблему состояния национального и политического самосознания поляков межвоенного периода поднял в трех новаторских книгах знаменитый гданьский исследователь Роман Вапийньски¹⁹, восполнив тем самым ощутимые пробелы в польской историографии.

Конец 1950-х годов, когда польские историки вновь начали выезжать на Запад для работы в архивах, положил начало исследованиям, а вместе с ними и первым публикациям об отношениях Польши со странами Западной Европы. Появились монографии о поль-

ско-германских и польско-французских отношениях. Монографию о польско-германских отношениях, основанную на источниках, еще в 1965 г. представил Мариан Войчеховски²⁰, она была переиздана также на Западе. Пятью годами позже Ян Чалович обнародовал книгу о польско-французском военном союзе²¹. Обоих историков можно считать пионерами в изучении этой области. С того времени и до сих пор появляются новые работы, благодаря которым наши знания об отношениях с обоими государствами становятся все богаче²².

Среди новейших работ отличается монография молодого исследователя из Познани Станислава Жерко о польско-германских отношениях накануне Второй мировой войны. Таким же высоким научным уровнем отличается работа молодой варшавской исследовательницы Малгожаты Гмурчик-Вронска о французско-польских отношениях в 1938–1944 гг.²³

В 1980-е годы появилось много интересных работ о польско-британских²⁴, а в начале 1990-х – о польско-американских отношениях²⁵. Историки – главным образом известный познанский историк Станислав Серповски²⁶ – изучали также польско-итальянские отношения. В круг интересов исследователей попала даже далекая Япония и ее политика в отношении Польши²⁷. Однако главным объектом интересов оставалась и остается по-прежнему Европа, в том числе (что очевидно) ближайшие соседи Польши. Кроме Германии и СССР (к чему мы еще вернемся) много работ посвящено соседним южным и северным государствам. О последних большинство книг принадлежит перу самого выдающегося знатока их межвоенной истории – Петру Лоссовскому²⁸. Он сосредоточил свое внимание на политических связях, которые в межвоенный период сложились между Польшей и Литвой, Латвией и Эстонией.

О сложных польско-чехословацких отношениях из более старых работ можно назвать монографии Ежи Козеньского²⁹ и Михала Пулавского³⁰. Несмотря на то что появилось много источников, ранее недоступных обоим авторам, их труды сохранили свою познавательную ценность. В последнее время историю Чехословакии в XX в. представил известный исследователь Ежи Томашевски³¹, о польско-чехословацком конфликте 1918–1921 гг. написал варшавский историк Марек К. Камиски³². Среди польских специалистов по истории Венгрии межвоенного периода и польско-венгерских отношений можно назвать Мачея Козьминьского³³.

Историки, занимающиеся польской международной политикой и издававшие свои труды в 1960–1980-е годы, вынуждены были тогда считаться с цензурой. Однако больше всех подвергались вмешательству те, кто касался тематики польско-советских отношений. По этой причине часть их работ – а может даже большинство (включая написанные партийными ортодоксами) – не выдержала испытания временем. Но несколько монографий сохранило познаватель-

ное значение, в том числе работы Мариана Лечика³⁴ и Станислава Грегоровича³⁵. Новые условия для изучения СССР и польско-советских отношений возникли после 1989 г. С того времени в Польше было издано много книг, посвященных этим проблемам, но большинство из них относятся, скорее, к жанру публицистики, причем не очень высокого качества. Из серьезных, претендующих на научность, можно назвать книги Станислава Грегоровича, Михала Захариаса³⁶ и Войчеха Матерского³⁷. Однако, скорее всего, не ошибусь, если скажу, что монографию об отношениях Польши и СССР 1918–1939 гг., отвечающую всем требованиям, предъявляемым научным работам, нужно еще подождать, хотя бы по той причине, что еще не полностью открыт доступ в архивы бывшего СССР.

Хотелось бы обратить внимание на несколько книг, выходящих за рамки типичных исследований двусторонних отношений. Так, удачной оказалась попытка Михала Захариаса взглянуть на всю европейскую политику Польши в 1932–1936 гг.³⁸ Несколько исследователей представили свое видение польской внешней политики в 1918–1939 гг.³⁹ Эти книги вышли из-под пера профессиональных историков, хорошо известных в Польше, но, по замыслу авторов, они носят научно-популярный характер. Претендующую на научность историю польской дипломатии 1918–1939 гг. представил коллектив авторов под руководством Петра Лоссовского⁴⁰.

Среди попыток синтеза всей истории международных отношений и дипломатии в 1918–1939 гг. первенство, бесспорно, принадлежит Хенрыку Батовскому, крупному исследователю, известному и ценному, пожалуй, во всех важнейших научных центрах Европы⁴¹.

На основании перечисленных и не перечисленных здесь работ и вне зависимости от темперамента и пристрастий отдельных авторов, складывается яркая картина польской внешней политики и места Польши в Европе того времени.

Уже несколько десятилетий назад в польской историографии закрепились мнение, что в Польше межвоенного времени стоящие у руководства политические элиты, не зависимо от партийной принадлежности, руководствовались в своей политике принципом защиты интересов государства, его свободы, суверенности и территориальной целостности. На службе этих интересов стояла внутренняя и внешняя политика. Из этих генеральных соображений исходили расчеты Юзефа Пилсудского создать нормальные, корректные отношения Польши с ее двумя крупнейшими соседями, т.е. с Германией и СССР. Затем эти планы были развиты министром иностранных дел (в 1932–1939 гг.) Юзефом Бекком. В то время политика, названная политикой "равновесия" или "равного удаления" Варшавы от Берлина и Москвы, должна была стать одной из гарантий безопасности государства, охраняя его границы на западе и востоке. В све-

те исследований историков не подлежит сомнению, что опасения польских лидеров были полностью обоснованными. Из старых и совсем новых работ польских исследователей, касающихся планов Германии, а также из последних, представляющих политику и стратегические цели Москвы, следует (и это, видимо, неоспоримо), что оба соседа не намеревались, несмотря на публичные уверения в постоянстве границ Польши, отказываться от своих территориальных претензий, которые могли быть удовлетворены как раз за счет Польши. Именно это обстоятельство заставляет подавляющее большинство польских историков иначе взглянуть на концепцию "равновесия", к которой был так привязан министр Бек. Давние обвинения уступают место более взвешенным оценкам его действий. До сих пор, однако, многие исследователи (может, даже большинство) поддерживают мнение, что честолюбивый шеф польской дипломатии значительно сильнее дистанцировался от Москвы, чем от Берлина, и что в связи с этим его политику нельзя назвать политической "равновесия". Новые акценты появились также в оценке отношения К. Бека к Чехословакии и президенту Э. Бенешу. Еще недавно почти все историки, издающие свои работы в Польше, не сомневались, что ультиматум, который поставила Варшава Праге 30 сентября 1938 г., а затем занятие отрядами Войска Польского Заолзья⁴² было крупной ошибкой. Сегодня часть историков, составляющих, однако, меньшинство, склонна оправдать или, по крайней мере, смягчить различными обстоятельствами эту фатальную ошибку польской внешней политики. Впрочем, к вопросу польско-чехословацких отношений еще вернемся.

Могли ли, однако, доктрина "равновесия" и вся политика Бека уберечь Польшу от того, что ее постигло в сентябре 1939 г.? Когда-то господствовало мнение, что единственным спасением мог бы быть союз Польши с Советским Союзом. Подобное мнение было совершенно чуждо эмиграционным историкам, но спустя годы оказалось, что именно они были правы, хотя, как и все остальные, не знали советских источников. Позднее один из известных варшавских историков в книге, изданной в подпольном издательстве под псевдонимом, а в 1990 г. уже официально, пытался убедить читателей, что единственным выходом летом 1939 г. могло стать соглашение Варшавы с Берлином, направленное против Москвы⁴³. Однако почти все историки, высказывавшиеся на этот счет, не разделили это мнение, обращая внимание на то, что подобный шаг Варшавы вел к зависимости, а затем к полному подчинению Польши гитлеровскому третьему рейху. Поэтому исследователи, давая ответ на поставленный выше вопрос, ищут его в иной области. Подавляющее большинство, к которому принадлежит и настоящий автор, указывает на одну из основных ошибок в расчетах Бека, который со времени прихода Гитлера к власти в Германии и начала германо-со-

ветской идеолого-пропагандистской войны совершенно не принимал во внимание возможность нового Рапалло или какого-либо еще варианта политики сближения этих двух тоталитарных государств. Это, во-первых.

Во-вторых, Бек мог считать, что польско-французский договор 1921 г. и гарантии, предоставленные Польше правительством Великобритании 30 марта 1939 г., к которым присоединилась Франция, а затем обнародование польско-британского соглашения, подписанного в Лондоне 25 августа, удержит Гитлера от нападения на Польшу, чтобы избежать удара со стороны Франции и Великобритании. Если же, несмотря ни на что, это произойдет, Польша не останется в одиночестве. Ей будет оказана действенная помощь союзников, вместе с которыми она выиграет войну против третьего рейха.

Польские историки, проведя всесторонний анализ доступных им французских и английских источников, уже давно знают, насколько напрасны были надежды и расчеты Варшавы. Теперь им доступны и недавно обнаруженные в Москве советские документы, что в совокупности с уже известными не оставляют никаких сомнений в том, что политика "равновесия", "равного удаления" от Москвы и Берлина была весьма слабой конструкцией, которая при столкновении с имперскими планами Гитлера и Сталина не могла стать серьезной преградой для них. По крайней мере, так считает большинство польских исследователей, включая автора этой статьи.

Однако критика предположений, расчетов и надежд польского министра, по мнению польских исследователей, не перечеркивает, по крайней мере, одну его историческую заслугу: вместе со всем правительством он сказал Берлину "нет", что, между прочим, не дало англичанам и французам осуществить какой-нибудь новый вариант Мюнхена, а в результате склонило обе державы к объявлению войны третьему рейху.

Таким образом, позиция властей Польской Республики содействовала окончанию этапа мирных завоеваний Гитлера.

Концентрируя свое внимание на анализе и оценке положения Польши накануне Второй мировой войны, польские историки не теряли и по-прежнему не теряют из поля зрения ключевой вопрос об ответственности за ее начало. Если ни раньше, ни теперь никто не сомневался и не сомневается, что вся внешняя политика Гитлера угрожала мирному существованию, и что, в конце концов, это он, напав 1 сентября 1939 г. на Польшу, развязал войну, которая впоследствии стала мировой, то роль остальных европейских держав оценивалась по-разному. Сейчас подавляющее большинство польских историков, к которым принадлежит и настоящий автор, склоняется к мнению, что практиковавшаяся в Лондоне и Париже политика уступок (*appeasement policy*) по отношению к требованиям Гитлера, вместо того, чтобы умерять его аппетит (на что рассчитывали

лидеры Великобритании), напротив, усиливала его. Повторю здесь свою мысль, что мюнхенское соглашение, это наиболее яркое проявление политики уступок, внесло нечто совершенно новое в международные отношения. Процесс дестабилизации в Европе решительно перешел критическую отметку. Вопрос "когда будет война?" перестал быть теорией. Наиболее жизненно важно это было для Польши: она стала жертвой изменения международной конъюнктуры, начало которому положил именно Мюнхен. Там был нанесен решительный удар по Версальской системе, которая, несмотря на все свои недостатки, стабилизировала ситуацию в Европе, а государствам ее центральной части давала чувство безопасности, хотя и не лишённое беспокойства. Мюнхен уверил Гитлера, что он и дальше может вести политику требований, так как вероятнее всего она не встретит решительного сопротивления Запада, и что единственную реальную угрозу мог бы создать весьма, однако, гипотетический союз Великобритании и Франции с СССР. Гитлер пришел к выводу, что он сможет эту угрозу устранить, реанимировав политику Рапалло.

В свою очередь, Сталин мог предвидеть, что захват части Чехословакии, о котором и было принято решение в Мюнхене, не будет последним, что дальнейшее разрушение Версальской системы станет абсолютно реальным. Поэтому он выжидал своего шанса, момента вступления в большую игру на участие в этом процессе. Важнейшей целью его политики было возвращение Советскому Союзу статуса великой державы, возвращение положения, которое занимала Россия до поражений в Первой мировой войне. Элементом такого понимания политики должно было быть принципиальное изменение ситуации в Центральной Европе. Здесь цели Сталина совпадали с претензиями Гитлера⁴⁴.

В этой и некоторых других причинах польские историки, издающие свои труды в Польше в официальных издательствах, приблизительно со второй половины 1980-х годов ищут причины заключения советско-германского договора 23 августа 1939 г., подписанного в Москве вместе с секретным дополнительным протоколом. Польские историки едины во мнении, что содержание этого протокола означало, что обе стороны не собирались соблюдать действовавшие тогда нормы международного права, Сталин же – подписанные его правительством международные договоры, в том числе с Польшей, а также договор, определяющий понятие агрессора. Польские исследователи не сомневаются также, что пакт Молотова–Риббентропа не был должным образом оценен в Варшаве, а самим Бекком чуть ли не оставлен без внимания. По его мнению, цитировавшемуся в различных исторических трудах, он не изменил "ни в чем фактического положения Польши". Эта принципиальная ошибка польского министра заняла важное место при составлении разными польскими

историками результатов его трудов. Сильное удивление, с которым ранним утром 17 сентября встретил Бек известие о вступлении Красной Армии на территорию Польши, было лишь следствием ошибочной оценки пакта 23 августа.

Польские историки, как и их коллеги во многих странах, рассматривая непосредственные последствия заключения пакта Молотова–Риббентропа, сегодня ставят этот акт в череду событий и обстоятельств, приведших к началу Второй мировой войны. Правда, часть их склоняется к мнению, что, подписав тайный протокол, Кремль взял на себя такую же, как Берлин, ответственность, за Вторую мировую войну, которую Сталин хотел развязать, и к началу которой он стремился. Другие историки лишь утверждают, что, не будь пакта с СССР, Гитлер не отдал бы приказ о нападении на Польшу. Однако все они связывают политику Сталина того времени с генезисом начала Второй мировой войны. Дискуссии по этому чрезвычайно важному вопросу продолжаются и будут, скорее всего, продолжаться еще многие десятки лет, а, может, никогда не прекратятся. Важное место в ней заняли уже, по крайней мере, две польские монографии: Влодзимежа Ковальского⁴⁵ и выдающегося краковского исследователя Мариана Згурняка⁴⁶ и прежде всего упомянутые работы Корната и Дембского.

Вспомним еще одну точку зрения, а именно о том, что Гитлер даже без пакта с Москвой совершил бы нападение на Польшу в расчете на пассивность Запада. Такая точка зрения близка моим взглядам, хотя это только догадки и гипотезы.

Агрессия Германии против Польши 1 сентября 1939 г. и ход военных действий на польско-германском фронте уже много десятилетий являются предметом исследования польских историков, работающих в эмиграции и в Польше. Наиболее смелым начинанием здесь, бесспорно, явилась издававшаяся в течение многих лет в Лондоне многотомная история, посвященная польским вооруженным силам в годы Второй мировой войны, первые тома и части которой посвящены как раз сентябрьской кампании⁴⁷. В свою очередь, в Польше – среди сотен работ – на первый план вышли монографии об отдельных армиях, принимавших участие в сентябрьской войне 1939 г. В этих работах использованы доступные польские и германские источники. Несмотря на определенные различия, их объединяет одно: добросовестность и поиск источников неудач.

В течение последних лет на книжном рынке появилось множество работ, посвященных советской агрессии против Польши, начавшейся 17 сентября, по согласованию с германской стороной. Среди этих изданий можно отдать первенство монографии варшавского исследователя Чеслава Гжеляка⁴⁸. Вслед за более ранними публикациями эмиграционных историков, Гжеляк принимает положение, что вступление Красной Армии на территорию Польши 17 сентября

1939 г. было актом агрессии, и, тщательно анализируя все доступные ему источники, в том числе советские (что особенно важно), описывает военные столкновения и бои, происходившие в то время между военными подразделениями обеих сторон.

Будем надеяться, что уже в ближайшее время мы увидим новое, комплексное исследование о войне, которую вследствие нападения Германии, а затем и Советского Союза Польша вынуждена была вести с 1 сентября по 5 октября 1939 г. Она проиграла эту войну, так как не могла ее не проиграть, и в этом сегодня уверены, наверное, все польские историки. Не могла потому, что против нее выступила самая сильная и самая подготовленная (вплоть до 1942 г.) армия мира, с востока ее атаковал Сталин, и она не получила от своих западных союзников обещанной помощи, на которую так рассчитывала. Несмотря на это, она не капитулировала. Армия стойко сражалась, а государство, хотя и разделенное между третьим рейхом и Советским Союзом, с точки зрения международного права, существовать не перестало. Такие (или сходные) суждения можно найти во всех серьезных работах о польской драме сентября 1939 г., но это не означает, что польские историки перестали спорить по десяткам вопросов, начиная от оценки руководства всем Войском Польским и его крупными оперативными соединениями, заканчивая решением верховного главнокомандующего и верховного руководства государства оставить страну вечером 17 сентября и ночью с 17 на 18 сентября. Сегодня большинство исследователей уже не сомневается в том, что в той ситуации не было лучшего выхода. Можно было бы сдать Германию, что никем из польских руководителей и военного командования не рассматривалось. К тому же, ожидание отрядов Красной Армии, очень быстро приближающихся к месту пребывания польских властей, могло закончиться только арестом президента, премьер-министра и правительства, верховного главнокомандующего и его генерального штаба. Переход границы с Румынией открывал возможность добраться до союзной Франции и продолжать руководить делами государства, хотя и оккупированного, но по-прежнему признаваемого союзниками и правительствами нейтральных стран существующим. На такой поворот событий рассчитывали тогдашние лидеры Польской Республики. Однако они были жестоко обмануты в своих ожиданиях.

Вторая мировая война, продолжавшаяся для Польши с 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г., остается предметом изучения для многих историков в Польше и в эмиграции. О различных ее аспектах, фрагментах и проблемах написаны сотни, если не тысячи книг. Ценность этих изданий, конечно, неодинакова, а так как их очень много, в этом очерке смогу обратиться лишь к некоторым областям исследований и важнейшим достижениям.

Многие польские исследователи (прежде всего, историки, а также юристы и политологи) занимаются анализом идеологии и политической системы итальянского фашизма и германского нацизма. В первых рядах – работы Франтишека Рышки⁴⁹, исследовательской группы, собранной вокруг Кароля Ёньцы⁵⁰ во Вроцлавском университете, и варшавского историка Ежи Борейши⁵¹. В изучении перечисленных вопросов польская историография, бесспорно, находится на передовых позициях в Европе. То же касается и объемных монографий Чеслава Мадайчика об оккупационной политике третьего рейха в Европе и в Польше⁵². И хотя исследования не останавливаются и приносят все новые подробности⁵³, они лишь подтверждают и обогащают то, что ранее установил Мадайчик на основе польских, немецких и других источников. Картина гитлеровского геноцида, страшным символом которого стал Освенцим, довольно целостная. В этом самом крупном в оккупированной Европе гитлеровском концентрационном лагере, по подсчетам польских историков, погибло около 1 350 000 жертв, в том числе около 1 100 000 евреев. Согласно этим же подсчетам, в результате гитлеровской политики геноцида, потеряли жизнь около 5,1 млн граждан Польской Республики, в том числе около 2 700 000 польских евреев (согласно критериям гитлеровских нюрнбергских постановлений). Более 2 820 000 людей было вывезено с польских земель на работы в третий рейх. Это лишь часть баланса польских демографических потерь, сделанного польскими историками.

Важным направлением исследований, приносящим существенные результаты, стала тема повседневной жизни во время Второй мировой войны. Появилась монография о Варшаве Томаша Шароты. Позднее вышли подобные работы Станиславы Левандовской, посвященные Мазовии (историческая область в среднем течении Вислы; здесь находится Варшава), а затем Вильнюсу. Недавно ценную работу о Львове опубликовал молодой вроцлавский исследователь Гжегож Хрычук. Эти книги⁵⁴ дают представление об условиях существования городского населения в годы войны. До сих пор нет таких работ о деревне.

В течение многих лет историки, работающие в Польше, не могли по цензурным соображениям заниматься историей той части довоенной Польской Республики, которая на основании пакта Молотова–Риббентропа была включена в состав СССР. Зато об этом писали эмиграционные историки⁵⁵. Их работы, конечно, попадали в Польшу, а в 1980-е годы многие из них вышли в свет в подпольных издательствах. Перелом произошел после 1989 г. Начали появляться первые научные исследования, в которых были использованы постепенно открываемые архивные документы прекратившего свое существование в 1991 г. Советского Союза. По моему мнению, наибольшую познавательную ценность имеют написанные на основе

источников монографии Анджея Гловацкого из Лодзи, Эвы Ковальской и Данела Боцковского из Варшавы⁵⁶. Гловацкий, прежде всего, описал и проанализировал механизм введения системы, названной – вслед за эмиграционной историографией – советской оккупацией. В свою очередь, Ковальская сосредоточила свое внимание на массовых депортациях, жертвой которых стали несколько сотен тысяч граждан Польской Республики (прежде всего, поляков, но также евреев и украинцев). Выводы автора основаны преимущественно на советских источниках. Боцковский занялся условиями жизни ссыльных. Добавим, что вокруг вопроса о числе депортированных в глубь СССР до сих пор идут горячие споры. Часть исследователей считает, что число депортированных было значительно больше, тех, что приводят Ковальская и Гловацкий (может, даже более, чем в два раза)⁵⁷. Документы, предоставленные польским исследователям в московских архивах, позволили начать изучение не только проблемы депортаций, но и судьбу более 15 тыс. офицеров, взятых в плен или арестованных после 17 сентября 1939 г. советскими властями. Правда, о том, что они были убиты в СССР весной 1940 г., было известно из эмиграционных публикаций уже с конца 1940-х годов, а позднее из монографии польско-американского историка Януша Заводного⁵⁸, но лишь секретные советские документы позволили воссоздать процесс принятия решения и точный список жертв преступления, совершенного по решению сталинского Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г.⁵⁹

К важнейшим достижениям польской историографии следует отнести результаты исследований по истории высших конституционных властей Польши, с 30 сентября 1939 г. работавших в эмиграции (сначала во Франции, а с конца июня 1940 г. в Англии). Уже более 30 лет исследователи пользуются архивами этих властей, хранящимися в Лондоне, а также архивами британского правительства. Благодаря этому историки имели возможность собирать материалы, а когда в стране возникли благоприятные условия, ученые приступили к публикации результатов своих исследований. В первой половине 1990-х годов были изданы монографии Э. Дурачинского и М. Хулас, а в Лондоне – совместный сборник историков, работающих в Польше и в эмиграции⁶⁰. Кроме истории деятельности правительства, отдельная монография, написанная на основании хранящихся в Лондоне и частично в Польше источников, была посвящена Национальному совету, который, будучи совещательным органом при правительстве и президенте, выполнял в эмиграции функции парламента⁶¹.

Истории польских вооруженных сил, подчиненных польским конституционным властям в эмиграции, посвящен уже упомянутый фундаментальный труд, созданный в Лондоне⁶², а также многочисленные работы, написанные и изданные в Польше⁶³.

Одним из самых важных явлений в истории Польши времен Второй мировой войны было развернувшееся с необычайным размахом, наверное, самое мощное во всей оккупированной Европе движение Сопротивления⁶⁴. Оно охватило всю довоенную территорию польского государства, все социальные слои и профессиональные группы, создало развитую систему подпольной политической и общественной жизни, конспиративные военные организации и подпольные органы польского аппарата государственной администрации.

Движение Сопротивления, несмотря на террор оккупантов, наладило исправно функционировавшую систему подпольного издательского дела – вышли в свет около 2 тыс. подпольных периодических изданий (газет, еженедельников, ежемесячников), а также сотни книг поэзии, прозы, учебников и т.п. Была создана и широко развита система подпольного образования в старших классах, в начальной школе, в лицеях и вузах тайно обучалось несколько сот тысяч детей и студентов. Система образования в подполье была исключительным событием в жизни всей оккупированной Европы. Действовала также (и весьма успешно) система подпольного правосудия, карающая предателей и наиболее жестоких представителей германского оккупационного аппарата. Перечисленные и не перечисленные учреждения и организации в подавляющем большинстве были составляющими частями подполья, связанного с действовавшими в эмиграции польскими государственными властями, в которых поляки видели единственного конституционного выразителя интересов Польши и руководителя борьбы за освобождение от оккупации. Именно эта часть подпольной Польши (этот термин использовался польской конспирацией, а после войны вошел в понятийный аппарат историков) составляла ее большую часть и пользовалась поддержкой подавляющего большинства поляков. В феврале 1944 г. ее начали называть подпольным государством, и это понятие сейчас используют почти все польские историки⁶⁵.

Важнейшей частью подпольного государства была его подпольная армия, история зарождения которой восходит к концу сентября 1939 г., с февраля 1942 г. носившая название Армия Крайова (АК). Историкам до сих пор не удалось точно определить ее численность. Как бы то ни было, весной 1944 г., по различным подсчетам, в ее рядах насчитывалось от 300 тыс. до 380 тыс. членов армии.

Историей этой армии, организованной, пожалуй, лучше всех подпольных армий оккупированной Европы, историки занимаются уже более полувека. Первая (и на данный момент самая обширная) история АК появилась в Лондоне в 1950 г.⁶⁶ В то время в Польше официальная пропаганда эту организацию называла не иначе как реакционной. После 1956 г. ситуация изменилась, но первая научная

монография, автором которой является Ежи Терей, вышла в Варшаве лишь во второй половине 1970-х годов⁶⁷. Настоящий перелом в изучении истории Армии Крайовой наступил с начала 1980-х годов. Именно тогда была издана биография фактического создателя АК, ее первого командующего генерала Стефана Ровецкого, написанная известным историком Томашом Шаротой⁶⁸. Через несколько лет в руки читателей попала монография краковского историка Гжегожа Мазура, посвященная деятельности одного из важнейших организационных подразделений Армии Крайовой, занимающегося информацией и пропагандой⁶⁹.

Но настоящая лавина работ разного уровня нахлынула в последние годы XX в. Из десятков работ, предлагающих историю разных организационных звеньев АК или различные формы ее широких боевых действий, направленных против немецких оккупантов, можно выделить две монографии Марека Ней-Крвавича и один коллективный труд⁷⁰. Две первые книги – по причине необыкновенно богатой источниковой базы, последнюю – из-за попытки (впрочем, не совсем удавшейся) сделать набросок всей истории АК, используя исследовательский опыт, накопленный за последние 30 лет XX в. Судя по всему, всесторонней истории Армии Крайовой нам еще придется подождать.

Написанию истории Армии Крайовой сопутствовали и сопутствуют до сих пор серьезные споры. Они касаются разных вопросов, но один из них представляется особенно важным. Имеется в виду оценка шансов выполнить главную задачу, стоявшую перед этой организацией. Сегодня польские историки едины во мнении, что Армия Крайова чуть ли не с самого зарождения вела действия, направленные против оккупантов. Первоначально это были, прежде всего, разведка и саботаж в военной промышленности (в обеих направлениях солдаты АК с течением времени достигали все лучших результатов, а за разведанные, передававшиеся англичанам через польский штаб главнокомандующего в Лондоне, они получали слова самого высокого признания). Позднее, по приказу командующего АК, ее отряды приступили к реализации других заданий, среди которых главной в 1943–1944 гг. была вооруженная борьба с немецкой полицией, а весной и летом 1944 г. – вооруженные столкновения с отрядами вермахта. Но не эти действия были стратегической задачей организации. Армия Крайова была создана для того, чтобы при благоприятных внешних обстоятельствах, получив с Запада (от англичан и американцев) необходимые оружие и боеприпасы, в момент не вызывающего сомнений краха Германии и ее оккупационной системы в Польше провести кратковременное и победоносное всеобщее вооруженное восстание и в результате овладеть центральной Польшей с Варшавой, Люблином и Краковом. Над планами так называемого восстания штаб главного командования Армии Крайовой в

Варшаве и штаб верховного главнокомандующего в Лондоне работали с 1940 и по 1944 г. Однако им было не суждено осуществиться⁷¹.

Часть исследователей считает, что планы были реальными, и Армия Крайова, получив необходимые боеприпасы с Запада и поддержку авиации, могла достичь полного успеха. Другие, к числу которых принадлежит и настоящий автор, полагают, что план всеобщего вооруженного восстания с самого начала был нереальным, так как англичане его не приняли, а со Сталиным поляки его не согласовывали и согласовывать не собирались, и успех восстания не ставили в зависимость от помощи Советского Союза в вооружении и от поддержки авиации.

Победоносное восстание с помощью англосаксов должно было принести Польше свободу и суверенность, признания которых ни правительство, ни лидеры польского государства от Москвы ожидать не могли (во всяком случае с весны 1943 г.), хотя очень этого хотели. С целями планируемого всеобщего восстания связан и вопрос о варшавском восстании, к которому еще вернемся.

Наряду с работами, посвященными истории подпольного государства и его вооруженных сил, т.е. Армии Крайовой, много исследований посвящено подпольным политическим партиям и созданным ими военным организациям, которые должны были служить достижению целей этих партий. В этой группе монографий до сих пор лучшей считаю книгу Ежи Тереза о влиятельной до войны сильной в Подпольной Польше национал-демократической партии правого толка⁷². Созданы также и ценные труды о крестьянской партии и ее Крестьянских батальонах⁷³, о социалистическом движении⁷⁴. Появились и книги о крайне правых Национальных вооруженных силах⁷⁵, о некоторых более мелких политических объединениях.

До 1989 г. было опубликовано много работ, посвященных коммунистическому движению, т.е. созданной Коминтерном в январе 1942 г. Польской рабочей партии, и ее войску – Гвардии Людовой и ее наследнице – Армии Людовой (с января 1944 г.)⁷⁶. Большинство этих трудов имело апологетический характер, хотя в них и содержится довольно много существенных фактов. Их авторы именно коммунистам приписывали ведущую роль в борьбе с немецкими оккупантами, всяческими способами умаляя действительный вклад и достижения Армии Крайовой, и всего Подпольного государства, которое поддерживало подавляющее большинство поляков. Но именно коммунисты в 1944 г. получили власть в освобождаемой Красной Армией стране. И именно 1944 г., по меньшей мере, по двум причинам привлекал и по-прежнему привлекает особое внимание историков. Во-первых, 21 июля, по решению Сталина, в Москве был создан Польский комитет национального освобождения, во-вторых, 1 августа в Варшаве началось вооруженное восстание. Оба события

должны были в результате определить (на целых 45 лет!) будущее Польши, в чем едины сегодня все польские исследователи.

В целом, историки разделяют точку зрения, что конституционные государственные власти в эмиграции и подчиненные им Польские вооруженные силы, а также лидеры Подпольного государства и его Армия Крайова ставили перед собой и нацией следующие цели: 1) бороться на стороне противников третьего рейха и обеспечить Польше участие в окончательной победе; 2) вернуть ей свободу и суверенитет; 3) восстановить польское государство в довоенных границах на юге и востоке, получить более выгодные границы с Германией и максимально ослабить ее; 4) перестроить отношения в Центральной и Восточной Европе так, чтобы государства этого региона с Польшей во главе могли противостоять Германии и России и противодействовать в будущем попыткам создания какого-либо союза этих двух государств; 5) обеспечить послевоенной Польше достойное и безопасное место в Европе.

Этих целей поляки хотели достичь в самом тесном союзе с Западом. Но ангlosаксы, принимая во внимание ход войны с третьим рейхом, который требовал углубления сотрудничества с СССР, не могли, а в 1944 г. – прямо не хотели ставить интересы поляков выше собственных. И поэтому летом 1944 г., когда Красная Армия была уже близка к Варшаве, шанс реализации вышеизложенных целей был почти равен нулю.

Значительно раньше, летом 1942 г., провалились польские планы создания польско-чехословацкой конфедерации, над чем обе стороны работали с 1940 г.⁷⁷ Расхождение во мнениях по ряду существенных вопросов и, прежде всего, позиция Москвы перечеркнули перспективу создания новой системы отношений в послевоенной Центральной Европе⁷⁸, которая, по мнению польского правительства, должна была стать важным элементом обеспечения суверенности и безопасности Польши.

Весной 1943 г. Москва разорвала дипломатические отношения с польским правительством. Об обстоятельствах этого события существует обширная польская литература, созданная сначала в эмиграции, а в 1990-х годах и в Польше⁷⁹. Историки довольно единодушно обвиняют Москву в создавшемся положении вещей и, независимо от тех или иных личных взглядов на всю историю Польши в годы Второй мировой войны, подчеркивают драматичность последствий этого акта Кремля для политики польского правительства в Лондоне.

Однако поворотным моментом стали решения, принятые главами трех великих держав на их первой встрече в Тегеране. Этой теме в Польше и в эмиграции посвящена обширная литература, из которой хотелось бы отметить две монографии: польско-американского историка Яна Карского⁸⁰ и варшавской исследовательницы Кристины Керстен⁸¹. Оба автора не сомневаются в том, что именно в Те-

геране Сталин, Черчилль и Рузвельт достигли предварительного соглашения о будущем Польши. Разделяя это мнение, добавлю со своей стороны, что это соглашение было достигнуто лидерами трех великих держав без ведома и согласия единственного выразителя суверенных прав Польской Республики, каким было правительство в Лондоне⁸². Решения тегеранской конференции, назревавшие еще до ее начала, перечеркивали принцип неприкосновенности польской восточной границы, т.е. одну из основных целей программы правительства. Решения, принятые позднее в Ялте и Потсдаме, были органичным продолжением тегеранских решений. Польские историки едины также во мнении, что в этом ключевом для Центральной Европы вопросе победила воля Сталина. Впрочем, уже со второй половины 1941 г. по вопросу о государственной границе с Польшей он мог все больше убеждаться в том, что Черчилль поддержит его требование провести эту границу по так называемой линии Керзона⁸³. Так и произошло. Лучшая работа, посвященная этому важному вопросу, принадлежит перу молодого исследователя из Гданьска Яцеку Тебинке⁸⁴.

Примеру британского премьер-министра последовал американский президент Рузвельт⁸⁵. Конституционное правительство Польской Республики, которое Великобританией считалось союзником, Соединенными Штатами – другом, а Москвой не признавалось с апреля 1943 г., летом 1944 г. оказалось перед перспективой международной изоляции. Именно в таких обстоятельствах и в момент перехода Красной Армией линии Керзона Сталин выразил находящимся в Москве польским коммунистам свое согласие на создание Польского комитета национального освобождения (ПКНО), с самого начала будучи его покровителем. В 1960–1970-е годы о ПКНО писали много, в основном, некритично или даже апологетически. Из тех времен, несмотря на влияние цензурных ограничений, внимания заслуживает монография Крыстыны Керстен⁸⁶, но лишь по истечении 20 лет сама автор смогла представить другую версию событий второй половины 1944 г.⁸⁷ Соглашусь с мнением Керстен, что "как бы ни расценивали это творение (т.е. ПКНО – Э.Д.) как советскую агентуру, узурпацию, марионеточное правительство, он был реальностью, с которой надо было считаться".

Сегодня историки не сомневаются в том, что с созданием Комитета в истории Польши началась новая глава: страна не смогла восстановить суверенитета и свободы, становясь государством, зависимым от воли могущественного покровителя. Среди историков и политологов есть сегодня и такие, кто утверждает, что с лета 1944 г. до мая 1945 г. одну оккупацию – германскую, сменила другая – советская. Правда, они не составляют большинство, но все же имеют место быть и публикуют свои работы. Большинство исследователей (в том числе и автор статьи) отвергают подобные взгляды. Часть из

нас, оглядываясь на историю 1944–1989 гг., приходит к выводу, что, если опустить вышеупомянутый начальный этап и период сталинизма, Польша формировалась как государство с ограниченным суверенитетом, и границы этого суверенитета скорее расширялись, чем сужались. Споры вокруг этого кардинального вопроса ведутся по-прежнему, хотя во все более спокойной атмосфере.

Подобным образом дело обстоит и с решением поднять в Варшаве вооруженное восстание, которое началось 1 августа 1944 г. и продолжалось до 2 октября, и должно было быть кратковременным, привести к взятию столицы под контроль до момента вступления Красной Армии, которую бы в роли полноправных хозяев приветствовали лидеры польского подпольного государства. Научная литература, посвященная истории восстания, насчитывает более 100 книг и тысячи статей в научных периодических изданиях, не считая прессы. Научные споры касаются многих вопросов, но три из них выдвигаются на первый план⁸⁸. Во-первых, военные и политические предпосылки принятия этого решения, во-вторых, отношение Сталина к восстанию и, в-третьих, что, наверное, самое важное, было ли оно вообще нужно, и что дало бы Польше. Первый вопрос лучше всего на данный момент представлен варшавским историком Александром Скаржиньским и польско-английским исследователем Яном Чехановским. Оба автора издали свои книги, посвященные предпосылкам принятия решения о варшавском восстании, еще в 1960-е годы. Скаржиньский мог тогда основываться только на источниках, хранящихся в польских архивах, Чехановский использовал польские источники, хранящиеся в Лондоне. Несмотря на это, оба исследователя по важнейшим вопросам пришли к сходным выводам⁸⁹. Они установили, что те, кто принимал решение о поднятии в столице вооруженного восстания, не знали, какие были действительные намерения немцев, отступающих в конце июля, и что планировала приближающаяся к Варшаве Красная Армия. Главнокомандование Армии Крайовой предполагало, однако, что под натиском советских войск вермахт будет вынужден оставить город, появятся условия для успеха восставших. Сегодня из московских документов известно, что штабисты Главнокомандования АК были не слишком далеки от истины, так как советское главнокомандование, в самом деле, в конце июля отдало приказы, выполнение которых могло привести к освобождению Варшавы. Но приказы эти не были выполнены. Лидеры подпольного государства, принимая 31 июля трагическое по своим последствиям решение, руководствовались исключительно расчетами штаба Главнокомандования АК, так как никаких отношений с советской стороной они не имели (с 25 апреля 1943 г. советское правительство не поддерживало дипломатических отношений с польским правительством в Лондоне). Оба упомянутых исследователя пришли к выводу, что принимавшееся при таких обстоятельствах решение

опиралось на слишком ничтожные военные предпосылки, и, учитывая катастрофическое состояние вооружения солдат АК, оно было чрезмерно рискованным. Преобладали, однако, аргументы политического характера, и с этой точки зрения между лидерами подпольного государства и польским правительством в Лондоне царило полное согласие. Восстание (предполагалось, что победоносное) должно было повернуть вспять катастрофический для Польши ход событий и не допустить, как тогда говорилось, ее советизации, начало которой усматривалось в создании Польского комитета национально-го освобождения. Сейчас, пожалуй, все серьезные польские исследователи едины во мнении, что восстание, в военном отношении антигерманское, политически было направлено против планов Сталина сделать из Польши государство-сателлит Москвы.

Иначе дело обстоит со вторым и третьим из поставленных выше вопросов. Начнем с оценки отношения Сталина к восстанию. В Польше уже нет историка, который бы усомнился в том, что отношение Кремля к восстанию, как военно-политическому акту, направленному против планов и интересов СССР, имело, прежде всего, политический характер и лишь во вторую очередь – военный. В то же время историки ведут споры, действительно ли Москва могла, но не хотела оказать восстанию действительную помощь или и не могла, и не хотела. Многие известные в Польше историки высказываются за первый вариант. Есть даже такие, кто, не приводя каких-либо достоверных источников, называет день, когда Сталин отдал приказ приостановить наступление советских войск на Варшаву (якобы 5 августа)⁹⁰. Сам же автор принадлежит к числу тех исследователей, которые полагают, что по политическим соображениям Сталин не собирался спасать восстание, направленное против его планов. Однако невозможно разрешить дилемму, была ли в августе и сентябре Красная Армия в состоянии выполнить операцию по освобождению Варшавы, что она и сделала, но лишь в январе 1945 г. Мне не известен также приказ 5 августа, но разделяю мнение, что вопрос отношения Кремля к варшавскому восстанию во время его хода требует дальнейшего исследования.

И, наконец, последний, довольно щекотливый вопрос: было ли восстание нужно, и что оно дало Польше? Так, из работ Скаржиньского, Чехановского и других исследователей (в том числе и автора) следует (пожалуй, неоспоримо), что в тогдашней политической ситуации (польско-советский конфликт по вопросу границы, уступчивость Черчилля и Рузвельта к требованиям Сталина, значительная удаленность войск западных союзников от Польши) восстание в Варшаве с самого начала было обречено на военное и политическое поражение. Если такой ход мыслей является верным, придется согласиться, что приказ о его начале был трагической ошибкой, а может быть, как говорил в августе 1944 г. стоявший во главе находив-

шегося в Италии II Корпуса Войска Польского генерал Владислав Андерс, "тяжким преступлением"⁹¹.

Повторю, ни с военной, ни, тем более, с политической точек зрения восстание не могло принести успех. Оно было трагическим актом борьбы поляков за свободную и суверенную Польшу. Такова, по крайней мере, авторская интерпретация.

Сегодня некоторые историки утверждают, что хотя восстание и закончилось в октябре 1944 г. поражением, а город был уничтожен, оно все-таки имело большое значение, оставило нам в наследство важные и прочные ценности, ставшие в 1980-е годы одним из источников победы "Солидарности"⁹². С таким взглядом трудно спорить по существу, но и научно доказать его не удастся, так как он имеет, скорее, эмоциональный характер. Одно, в то же время, не подлежит сомнению: восстание занимает прочное место в национальном самосознании поляков. Удивлять может только то, что после 1989 г., несмотря на ликвидацию цензуры, не был создан научный труд, охватывающий всю историю восстания со всей его внешней обусловленностью. Вышла, правда, прекрасная хроника восстания, принадлежащая перу Анджея Кунерта⁹³, но она не может заменить столь необходимого синтезного исследования.

Подобным образом дело обстоит с монументальной энциклопедией восстания, первые тома которой уже попали в книжные магазины⁹⁴. Читателю, интересующемуся монографическими исследованиями по истории восстания, остаются лишь устаревший труд Адама Боркевича⁹⁵ и довольно политически тенденциозная работа Ежи Кирхмайера⁹⁶ (оба были высшими офицерами Армии Крайовой).

Создание Польского комитета национального освобождения положило начало истории Польши под властью коммунистов, а поражение варшавского восстания решительно перечеркнуло возможность реализации вышеперечисленных целей, хотя война еще продолжалась. Активное участие в ней принимало Войско Польское. В мае 1945 г. Польские вооруженные силы на Западе, подчиненные польским властям в Лондоне, насчитывали порядка 200 тыс. солдат. В то же время в войске, называемом тогда Народным войском польским, подчиненным коммунистическим властям в Варшаве, насчитывалось около 400 тыс. солдат, из которых 12 тыс. сражались в 1945 г. на улицах Берлина. Участие Польши в окончательном триумфе союзников было довольно значительным. Польша была среди победителей, хотя далеко не все поляки почувствовали вкус победы. Многие из них (особенно, члены Польских вооруженных сил на Западе и Армии Крайовой) считали, что победа 1945 г. не была их победой, так как Польша, лишенная суверенитета и свободы, оказалась в сфере советского господства. В начале 1990-х годов, да и сегодня, среди исследователей ведутся споры, была ли Польша в мае 1945 г. в числе победителей, или же окончание войны принесло ей

политическое поражение, так как не дало суверенности и свободы. В этом споре настоящий автор принадлежит к числу тех историков, которые считают, что в 1939 г. Польша проиграла войну, навязанную ей третьим рейхом 1 сентября, но в мае 1945 г. она имела полное право чувствовать себя победительницей, несмотря на политические последствия, которые несли Центральной и Юго-Восточной Европе победы Красной Армии и планы Сталина.

Сегодня военные историки, работающие в Польше, уже отважились сделать не апологетическое, а предметное описание боевых свершений этого Народного войска⁹⁷ и попытку подвести итоги военных усилий всех польских подразделений, сражавшихся на польских землях, на Западе и Востоке в 1939–1945 гг.⁹⁸ Правда, и вокруг этой проблематики не утихают споры, но в ней уже превалируют научные дискуссии, а эмоции, столь характерные для рубежа 1980 и 1990-х годов, к счастью, отошли на задний план.

Серьезным достижением польской историографии новейшей истории считаю изучение стереотипов. Здесь на первый план выдвигается монография выдающегося вроцлавского историка Войчеха Вжесиньского о формировании стереотипа немца в Польше 1795–1939 гг.⁹⁹ Несколько других работ посвящены периоду Второй мировой войны. Образ немцев и немецкой оккупации в глазах поляков сразу после войны представлен в монографии Эдмунда Дмитрува¹⁰⁰. Он также является автором новаторского труда, который должен заинтересовать российских исследователей, так как посвящен образу России и русских в германской пропаганде 1933–1945 гг.¹⁰¹ Выдающийся польский историк Томаш Шарота одну из своих книг посвятил польско-германским стереотипам¹⁰². Группа вроцлавских историков уже давно исследует проблему польско-чешских стереотипов XX в. Над схожей тематикой работают исследователи в Кракове и других центрах. Несколько краковских и варшавских историков исследуют сложную проблему польско-русских стереотипов. Одним словом, эта важная область исторической науки притягивает внимание все большего количества польских исследователей новейшей истории.

Вернемся, однако, ко Второй мировой войне. Общий очерк ее истории в последние годы представил известный познанский историк Антони Чубиньски¹⁰³. 30 лет тому назад историю "большой тройки" написал Владзимеж Ковальски¹⁰⁴, ранее опубликовавший свою версию истории польской дипломатии 1939–1945 гг., впрочем, многократно переиздававшуюся¹⁰⁵. Автору этих ярко написанных книг, основанных на богатой литературе предмета и доступных на тот момент архивных источниках, делалось множество принципиальных замечаний, но в то время никто из польских историков лучшего труда по этой теме не написал и не издал. Лишь в 1999 г. исследовательский коллектив под руководством известного лодзинского

историка Вальдемара Миховича предложил несравненно более достоверную и обширную историю польской дипломатии времен Второй мировой войны¹⁰⁶.

Дождалась попытки обобщения и история Польши в годы Второй мировой войны. Первым на этой стезе был уже упоминавшийся Владислав Побуг-Малиновский. Третий том его монументальной "Новейшей истории Польши"¹⁰⁷ охватывает как раз годы Второй мировой войны. Используя богатые польские архивы в Лондоне, он рассматривает проблемы Польши и дилеммы тогдашних польских политиков, прежде всего, сквозь призму политико-дипломатической документации. Главными виновниками трагедии Польши он считает Гитлера и Сталина. Черчилля и Рузвельта упрекал в том, что, уступая Сталину, они продали ему Польшу. Двух первых премьер-министров польского правительства – Владислава Сикорского и Станислава Миколайчика – упрекал в слабости и полном отсутствии решительности в защите жизненных интересов Польши.

В свою очередь Чеслав Лучак, выдающийся познанский исследователь, в своем обобщающем труде, основанном, главным образом на польских и германских источниках, представил убедительную картину условий существования граждан Польской Республики в 1939–1945 гг. Значительно меньше внимания он посвятил международным вопросам и движению Сопротивления в оккупированной стране¹⁰⁸.

В обобщении истории Польши в годы Второй мировой войны автор использовал важнейшие архивные собрания, хранящиеся в Польше и Лондоне¹⁰⁹. Благодаря этому главный акцент настоящим автором сделан на историю подпольной Польши и судьбу польского народа на международной арене. Вторая мировая война заняла в истории Польши особое место, а по многим точкам зрения – исключительное. И это не относится только к XX в. Неудивительно, что она занимает столько места в исследованиях польских историков. Казалось бы, все важнейшие вопросы уже, хотя бы в предварительном виде, изучены и описаны. Это относится и к польско-литовским, польско-украинским, и, прежде всего, польско-еврейским отношениям.

В рамках первой темы не так давно появилась ценная монография польского исследователя Кшиштофа Тарки¹¹⁰ о месте Литвы в политике польского правительства в эмиграции. Предметом неразрешенных споров и дальнейших исследований по-прежнему остаются сложные и подчас драматичные отношения между поляками и литовцами на территориях, считавшихся своими и теми и другими.

Такая же проблема, только в более крупном масштабе, касается и польско-украинских отношений. Ведущий польский исследователь этой проблематики Рышард Тожецки представил свои научные обобщающие монографии¹¹¹, которые обсуждаются многими истори-

ками. Споры вызывают другие вопросы. Речь идет о численности жертв, которые повлекла за собой кровавая борьба между обеими этническими общностями, о том, кто несет ответственность за ее начало и эскалацию. На эту тему появились новые работы¹¹², но до описания объективной картины еще далеко.

Совсем недавно представлялось, что судьба польских евреев, Холокост, запланированный и осуществленный третьим рейхом, уже описан польскими историками довольно полно и всесторонне¹¹³. Также была компетентно исследована помощь, которую оказывали поляки обреченным на истребление евреям¹¹⁴. В работах польских историков не замалчивается и тема польского антисемитизма. Автор настоящего очерка писал в книге, изданной в 1999 г.¹¹⁵, что немцы, истребляя евреев, во многих оккупированных странах находили среди местного нееврейского населения, а в Польше также и среди поляков, помощников. Они составляли незначительную часть польского общества, но все же они были. Холокост сильно ослабил антисемитизм, характерный до войны для многих групп польского общества во многих регионах страны, но все же его не уничтожил.

Когда автор этой статьи об этом писал, он не знал о событии, произошедшем в июле 1941 г. О нем говорит польско-американский исследователь Ян Гросс в книге "Соседи"¹¹⁶, изданной в Польше в 2000 г. В небольшом селении Едвабне, недалеко от г. Ломжа, 10 июля, вскоре после вступления туда немцев, местные жители-поляки, по инициативе немцев, сожгли в один их амбаров своих соседей евреев и сожгли их там заживо. Такие же страшные преступления были совершены поляками еще в нескольких близлежащих селениях. Книга Гросса вызвала в Польше настоящий шок, дала толчок широкой дискуссии, в которой прозвучал голос и профессиональных историков, а органы прокуратуры начали расследование, законченное в 2003 г. половинчатым успехом (установлено, что погибло около 300 человек). Часть историков, связанных с политическими и националистическими правыми группировками, поставила под вопрос научную честность обвинений и выводов Гросса; большинство, однако, не сомневается в том, что преступление было совершено поляками, хотя остается еще не выясненной роль в этом деле немцев и настоящее число жертв (у Гросса значится 1600 человек). В связи с преступлением в Едвабне раздаются голоса о том, что мы стоим перед необходимостью написания польской новейшей истории заново. Автор этих строк считает, что это требование продиктовано эмоциями, впрочем, вполне понятными.

То, что сделано польской историографией по истории Польши межвоенного периода и Второй мировой войны, по большей части, выдержало испытание временем и, на наш взгляд, не требует пересмотра, что не исключает возможности, а иногда и необходимости, еще раз взглянуть на то или иное событие, на ту или иную личность,

но ведь это явление нормальное и очевидное для развития исторических исследований.

Наряду с эмоциональными голосами, раздаются и другие, носящие чуть ли не историософский характер. Так, Анджей Новак, исследователь истории России XIX в. и главный редактор правого журнала "Агсапа", выходящего в Кракове, словно возвращаясь к давним спорам историков краковской и варшавской школ, писал, что в связи с дискуссией вокруг преступления в Едвабне «мы сегодня имеем дело со столкновением истории национальной славы (он называет ее "монументальной" историей. – Э.Д.) с историей национального позора (т.е. историей "критической". – Э.Д.)». Ко второй Новак относится неприязненно, открыто заявляя, что "критическая история" является "результатом стремления не к правде, а к стыду". Первая, т.е. "монументальная история", ему решительно более близка, так как она "служит формированию общности, чаще всего национальной; поддерживает чувство верности к ней"¹¹⁷.

Автору этих строк ближе максимально объективная история, конечно, настолько, насколько она вообще возможна. В так понимаемой объективной истории есть место как для истории "национальной славы", так и для "критической", конечно, при сохранении необходимой дистанции и умеренности при анализе того, что является славным, а что заслуживает порицания в национальном прошлом. Предпочтение одной или другой школы мышления и изложения, если это противоречит источникам, в целом, искажает картину и даже ведет к ложному истолкованию прошлого.

Дискуссия, вызванная книгой Гросса, является, пожалуй, одной из самых существенных среди историков новейшей истории за последние десятилетия. Она на какое-то время отодвинула споры вокруг истории Польши 1944–1989, обычно называемой Народной Польшей.

До конца 1980-х годов об истории этого периода было написано много книг, но именно эта часть польской историографии новейшего времени требует основательной ревизии. Из книг, изданных в Польше, научную ценность сохранили монографии Крыстыны Керстен¹¹⁸, Хенрика Слабека¹¹⁹ и, может, еще нескольких авторов по социально-экономической истории. Подавляющее большинство работ по политической истории (в том числе множество книг по истории правившей в стране партии) не выдержало испытания временем, хотя часть содержащихся в них фактографических материалов может быть (при соблюдении необходимой осторожности) использована при написании новых трудов по тем же самым темам.

Ревизия политической истории послевоенной Польши ярче всего заметна, наверное, в попытках написать монографии о польских кризисах 1948, 1956, 1968, 1970 гг. и всего периода, который замыкается 1980–1989 гг., а также в опубликованных после 1989 г. очерках

по политической истории Народной Польши и в работах, посвященных польской политической эмиграции. К списку новых тем исследований следует отнести также работы молодого вроцлавского историка Лукаша Каминьского, изучавшего отношение поляков (в том числе рабочих и их забастовки) к новой действительности 1944–1948 гг. и предложившего интересные монографии, посвященные этим проблемам¹²⁰.

Итак, кризис 1948 г. – это, прежде всего, поворот в политике правящей партии в сторону сталинской версии тоталитаризма, поворот, узаконенный Москвой, лишивший власти Владислава Гомулку. Из опубликованных на эту тему работ следует отметить (с точки зрения собранных в ней архивных материалов) монографию Чеслава Козловского¹²¹.

Наибольшее число существующих на данный момент работ посвящено кризису 1956 г., имевшему две кульминационные точки: июньское восстание рабочих в Познани и обширное общепольское общественное движение, самым ярким событием которого было возвращение к власти Гомулки в октябре 1956 г. Можно назвать две книги, посвященные Познани¹²², и две – о польском Октябре, причем обе интересные. Первую, написанную на основе тогда еще недоступных источников (в том числе протоколов заседаний Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии), издали в 1989 г. (а подготовили шестью годами ранее) Збыслав Рыковский и Владислав Владыка. Их монография¹²³ сохраняет ценность и по сей день. Иное видение Октября предложил уже после 1989 г. молодой талантливый варшавский историк Павел Махцевич, подвергший анализу, прежде всего, волнения на заводах, в вузах и в различных других кругах¹²⁴. Тезис Махцевича о том, что именно давление снизу вызвало изменения в политике руководства государством, довольно убедителен, хотя и остается дискуссионным. Рыковский и Владыка сконцентрировали свое внимание на противоречиях внутри руководства правящей партии и в рядах ее актива, видя в этом главную причину перемен. По нашему мнению, начавшийся тогда в Польше процесс десталинизации не был бы возможен как без одного, так и без другого фактора, оба они были одинаково важны.

Выступлению польской интеллигенции в марте 1968 г. посвятил свою обширную монографию Ежи Эйслер¹²⁵. В ней, однако, не использованы недоступные тогда автору партийные документы и документы органов общественной безопасности.

Из работ о кризисе декабря 1970 г. отметим книги Анджея Гловацкого, Казимежа Козловского, Ежи Эйслера, Барбары Дановской, Мариана Пазевского¹²⁶, но полностью декабрьские события еще не описаны.

Первой попыткой научного описания кризиса июня 1976 г. может считаться публикация Ежи Эйслера¹²⁷.

О кризисе 1980 г. вышло много работ, но всеобъемлющей монографии об этом обширном кризисе все еще нет. То же самое можно сказать и о введенном генералом Войцехом Ярузельским в декабре 1981 г. военном положении. Новейшая книга Анджея Пачковски представила интересную попытку анализа стратегии тактики лагеря власти в период с июля 1980 по январь 1982 г. Главная тема – подготовка и введение военного положения в Польше¹²⁸.

В то же время внушительны научные достижения в области истории оппозиции в Польше. Из всех вышедших книг перечислим несколько самых важнейших. Удачную попытку написания истории оппозиции в Польше 1945–1980 гг. сделал известный по многочисленным публикациям Анджей Фришке¹²⁹. Выдающийся польский исследователь Ежи Хольцер изучал историю Независимого самоуправления профессионального союза "Солидарность", в результате появились две его книги¹³⁰. О деятельности организации, во второй половине 1970-х годов сыгравшей большую роль и сплотившей в своих рядах многих представителей оппозиционной властям польской интеллигенции, написал книгу Ян Юзеф Липский¹³¹.

Одним из самых значительных достижений польской историографии новейшей истории можно считать цикл работ, посвященных различным аспектам истории польской политической эмиграции 1945–1989 гг. В течение всего этого периода в Лондоне существовали и работали польские политические партии и организации, а также высшие власти, президент и правительство. В 1945 г. они не признали решение трех великих держав антигитлеровской коалиции о создании в Польше Правительства национального единства и продолжили деятельность, начатую в конце сентября 1939 г. В Лондоне издавалась польская ежедневная и еженедельная пресса, функционировали образовательные и культурные учреждения. Совокупность деятельности этого своеобразного "государства в изгнании" охвачена в трехтомном труде Анджея Фришке, Павла Махцевича и Рафала Хабельского (каждый из авторов подготовил по одному тому). Книги посвящены политической жизни, международной политике, общественной и культурной жизни¹³². Этими материалами восполнен ощутимый пробел в польской историографии новейшей истории.

К сожалению, этого нельзя сказать об истории польского рабочего движения. Во времена Народной Польши это было особо предпочтительное направление исследований, и хотя оно находилось под бдительным надзором партийных ортодоксов, наряду с неудачными работами был создан ряд ценных трудов, касающихся, главным образом, истории Польской социалистической партии. На сегодняшний день – это чуть ли не забытая область научных исследований.

В то же время хорошие традиции, сложившиеся в основном в 1970–1980-е годы, продолжают в исследованиях по всеобщей ис-

тории. Именно тогда были изданы многие работы, посвященные начальным этапам послевоенной истории некоторых государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Имеются в виду монографии Адама Косеского о Болгарии¹³³, Зофьи Рутыны о Югославии¹³⁴, Анджея Корына о Румынии¹³⁵, Михала Захариаса о Югославии¹³⁶, Ежи Новака о Венгрии¹³⁷. Почти все эти работы были посвящены месту данного государства в европейской политике в 1944–1948 гг. и на момент создания содержали в себе неизвестный, интересный материал и, в целом, более или менее взвешенные трактовки.

Новые условия для изучения всеобщей истории послевоенного периода были созданы после окончания "холодной войны" и изменения геополитической ситуации в Европе. Тогда же увидели свет важные исследования Марека Каминьского о польско-чехословацких отношениях и месте обоих этих государств в политике США и Великобритании в первые послевоенные годы¹³⁸, а также монография известного краковского исследователя Анджея Касторы о политике Чехословакии по отношению к ее соседям в 1945–1947 гг.¹³⁹ Смелую попытку показать место Польши в международных отношениях 1945–1947 гг. предпринял известный варшавский историк Влодзимеж Бородзей¹⁴⁰. Один из выдающихся знатоков международных отношений, польско-американский историк Петр Вандыч, коснулся развития польско-американских отношений в 1939–1987 гг.¹⁴¹ Среди довольно большого количества других работ¹⁴² стоит обратить внимание на первую в Польше попытку описания истории "холодной войны", принадлежащую перу познанского исследователя Владислава Малендовского¹⁴³.

С сугубо историческими монографиями по всеобщей истории неразрывно связаны работы, посвященные рождению, истории и упадку коммунизма как идеологии и политической доктрины. Выдающаяся работа на эту тему принадлежит перу историка общественно-политической мысли, крупного польско-американского ученого Анджея Валицкого, издавшего обширный труд о коммунистической утопии, сначала на английском, а позднее на польском языке¹⁴⁴. Без знания этой фундаментальной работы трудно понять историю мира XX в. Полезной, с этой точки зрения, также является небольшая по объему, но довольно интересная работа Ежи Хольцера об истории коммунизма в Европе¹⁴⁵.

С сожалением должен, однако, признать, что спокойного, неэмоционального подхода к анализируемым явлениям, характерного двум вышеназванным авторам, недостает обширной политической истории мира 1945–1995 гг. (впрочем, смелой и нужной), написанной Войцехом Рошковским¹⁴⁶. Если читатель захочет ознакомиться с иными, чем у Рошковского, интерпретациями истории Европы XX в., можно обратиться к обобщающей работе Антония Чубиньского, автора около 25 важных книг по истории Польши и всеобщей истории¹⁴⁷.

Можно было бы перечислить еще несколько авторских книг по мировой истории, появившихся в ушедшем столетии, но, что удивительно, среди них нет научных трудов по истории СССР. Среди монографий о внешней политике Советского Союза можно назвать работу Хенрика Бартошевича о политике Москвы по отношению к государствам Центральной и Восточной Европы в 1944–1948 гг.¹⁴⁸ Конечно, в 1970-е годы не было недостатка в книгах о политике СССР, но, пожалуй, ни одна из них не выдержала испытания временем. Новых еще придется подождать, так как ученые, занимающиеся историей СССР, в Польше существуют.

Представляя польскую историографию новейшей истории, хотелось бы отметить еще несколько весьма важных направлений исследований. Не прекращается изучение истории Католической церкви и политики Ватикана. Основной центр этих исследований находится в Люблине. Имеется в виду Люблинский католический университет, где довольно важную и интенсивную исследовательскую работу ведет коллектив под руководством видного историка, о. Зыгмунта Зелиньского. Из работ светских историков до сих пор не потеряли своего значения монографии Зофьи Вашкевич о политике Ватикана по отношению к Польше в годы Второй мировой войны¹⁴⁹ и Зенона Фиялковского о положении Католической церкви во время гитлеровской оккупации¹⁵⁰.

Из самых новых работ обращают на себя внимание две книги Яна Жарына, одна из которых посвящена отношениям коммунистических властей с костелом в Польше, а вторая – отношению Ватикана к Польше и полякам в 1944–1958 гг.¹⁵¹ В свою очередь, Богдан Цивиньски опубликовал книгу о репрессиях по отношению к Католической церкви в странах советского блока в Европе¹⁵².

Одной из наиболее динамично развивающихся областей, имеющих, впрочем, в Польше богатые традиции, является просопография. Научные биографии выдающихся польских политиков создавались в эмиграции и в Польше. Наибольшее их количество посвящено фигурам Юзефа Пилсудского и Владислава Сикорского. Трехтомную хронику жизни первого маршала возрожденного в 1918 г. Войска польского подготовил в Нью-Йорке Вацлав Енджеевич¹⁵³. В Польше по его стопам пошел известный историк Анджей Гарлицки, который из-за запрещения цензуры издал сначала лишь фрагменты биографии Пилсудского и только в 1980-е годы труд полностью вышел в свет¹⁵⁴. Среди других книг, посвященных этому выдающемуся польскому политическому деятелю XX в., назовем работу вроцлавского историка Войчеха Сулеи¹⁵⁵.

Первую научную биографию Владислава Сикорского издал в эмиграции видный историк и генерал Мариан Кукель¹⁵⁶. В Польше же лучшие до настоящего момента книги вышли из-под пера Романа Вапиньского¹⁵⁷ и Валентины Корпальской¹⁵⁸. Вапиньски являет-

ся автором еще двух прекрасно написанных политических биографий: Романа Дмовского¹⁵⁹ и Игнация Падеревского¹⁶⁰.

Ценную книгу о выдающемся лидере крестьянского политического движения Вицентии Витосе издал Анджей Закшевски¹⁶¹.

В настоящее время большинство историков придерживается мнения, что Пилсудский, Дмовский, Витос, Падеревский и лидер социалистов Игнацы Дашиньский являются творцами возрождения польского независимого государства в 1918 г., хотя до сих пор одни первенство отдают Пилсудскому, другие – Дмовскому (последних становится все меньше). Этот спор, однако, медленно угасает, но не означает, что в будущем не появятся биографии этих лиц.

Две монографии посвящены преемнику Витоса – Станиславу Миколайчику. Одну выпустил в эмиграции Роман Бучек¹⁶². Она имеет богатую источниковую базу. Вторая, отличающаяся критичным подходом к личности героя этого исторического эссе, вышла из-под пера Анджея Пачковского¹⁶³.

Можно перечислить еще ряд более или менее удачных политических и военных биографий времени II Речи Посполитой и после-сентябрьской эмиграции, но те, которые уже приведены, свидетельствуют о развитии этой области новейшей истории. Как правило, эти книги написаны на высоком научном уровне. Подобную характеристику можно дать и некоторым, впрочем, все более редко появляющимся биографиям коммунистических деятелей. Можно отметить одну из таких книг – биография Владислава Гомулки, автором которой является Анджей Верблан, но изложение в ней доведено лишь до 1949 г.¹⁶⁴

Уже упоминалось, что ревизия новейшей истории Польши коснулась нескольких областей, и автор отнес к их числу синтезные работы, посвященные Народной Польше. Самый большой резонанс из них в то время вызвала работа, написанная Владиславом Гурой¹⁶⁵. Это был своеобразный панегирик к 40-летию юбилею ПНР, повсеместно критиковавшийся тогда большинством историков. Диаметрально противоположную версию предложил в своей "Новейшей истории Польши", охватывающей также период Народной Польши, Войцех Рошковский, первоначально публиковавший ее под псевдонимом. Она была издана в Англии, а также в подпольных типографиях в Польше. Вскоре после перелома 1989 г. эта книга стала чуть ли не официальным учебником в лицеях и вузах¹⁶⁶.

Не разделяющий взглядов Гуры и Рошковского уже упоминавшийся познанский исследователь Антони Чубиньский издал несколько своих версий по истории Польши в XX в., в частности, периода после Второй мировой войны¹⁶⁷.

Но самой интересной, с точки зрения формы, является книга Анджея Пачковского¹⁶⁸. Если работы Рошковского и Чубиньского в изложении исторического материала приближены к учебнику, исто-

рия послевоенной Польши Пачковского больше всего по форме напоминает публицистическое эссе. Но не в этом принципиальная разница между этими тремя книгами. Все три автора считают, что система, господствующая в Польше с 1944 г., была навязана Москвой, но Чубинский подчеркивает, что с годами ей все же удалось пустить корни и после 1956 г. получить значительную поддержку в обществе и еще более широкое общественное одобрение, в чем сыграл свою роль и страх перед репрессиями. Два других автора этому последнему фактору отдают первостепенную роль. Именно он, по их мнению, удерживал общество в состоянии относительного спокойствия.

Чубинский не подвергает сомнению, что Народная Польша не была ни полностью свободным, ни полностью суверенным государством, но с течением времени, после 1956 г., масштабы свободы увеличивались, а ограничения суверенитета становились все меньшими.

Рошковский и Пачковский не соглашаются с мнением историков и политологов, связанных с польскими крайне правыми группировками, в том, что Польша, по сути, находилась под советской оккупацией (сторонники такого мнения называют ее "особой оккупацией"), но и не хотят признавать термин "ограниченный суверенитет". Им ближе точка зрения, что суверенитет может быть полным, или его нет вовсе.

Рошковский склонен рассматривать историю Народной Польши чуть ли не как время цивилизационного регресса. Пачковский в этом вопросе более умерен. Для Чубинского система, некогда названная реальным социализмом, несмотря на все свои недостатки и совершенные преступления, была все-таки попыткой цивилизационного развития. Он также отвергает мнение, что Народная Польша в течение почти всего времени своего существования была тоталитарным государством¹⁶⁹. Тоталитаризм, по его мнению, окончился в 1956 г. Все, что было позднее, можно назвать социалистическим авторитаризмом, хотя в своей книге он этого термина не употребляет.

Для Рошковского Народная Польша была тоталитарным государством, хотя не настолько практиковавшим репрессии, как остальные страны советского блока. Пачковский считает, что система все же эволюционировала.

И, наконец, еще одно из важнейших различий. Рошковский и Пачковский, скорее, единодушны в том, что главными факторами упадка системы реального социализма были сильное общественное движение, сплотившееся в рядах "Солидарности", поддержанное подавляющей частью общества и Римским папой из Польши – Иоанном Павлом II, а также выгодная международная конъюнктура. Чубинский основные причины видит в переменах, которые повлекли за собой перестройка Михаила Горбачева, проигранная СССР "хо-

лодная война", и, наконец, прагматизм политического руководства Народной Польши, в новой международной ситуации и под ее давлением весной 1989 г. за "круглым столом" пришедшего к соглашению с лидерами "Солидарности", таким образом положив конец системе реального социализма в Польше.

Особые эмоции историков, политологов и публицистов вызывают обстоятельства и мотивы введения генералом Войцехом Ярузельским военного положения 13 декабря 1981 г. Одни полагают, что это была крупная ошибка, так как Польше в то время не грозило вооруженное вторжение СССР, а генерал мог все-таки прийти к соглашению с "Солидарностью". Другие придерживаются противоположного мнения: считают, что власти должны были так поступить. Существуют, однако, и те (среди них и настоящий автор), кто полагает, что мы до сих пор не знаем, какими были истинные цели и намерения тогдашнего руководства СССР, и что "хорошего выхода" из той ситуации у Польши не было.

Менее острые, но важные споры ведутся вокруг заседаний и результатов созванного в апреле 1989 г. "круглого стола". Одни считают, что это была ошибка руководства "Солидарности", так как система была уже в состоянии агонии, следовательно, нужно было лишь немного подождать ее кончины, вместо того, чтобы идти на компромисс, выгодный властям. Другие позитивно оценивают результаты заседаний и достигнутый компромисс¹⁷⁰. По мнению автора, соглашение, заключенное за "круглым столом" между властью и оппозицией при деятельном участии иерархии Католической церкви, было успехом всех сторон и с этой точки зрения – самым большим достижением поляков в XX в.

В конце ушедшего столетия многие историки задавались вопросом о роли внутренних и внешних факторов в переломные моменты новейшей истории Польши. Если к ним отнести обстоятельства восстановления государства в 1918 г., его поражение в сентябре 1939 г., поворот, наступивший в 1944–1945 гг., и перелом 1989 г., то автор считает¹⁷¹, что во всех этих случаях решающую роль сыграла международная конъюнктура, т.е. внешний фактор. В 1918 и в 1989 гг. она сложилась для Польши необычайно благоприятным образом, а поляки сумели ее максимально использовать. В то же время, 1939 г. был отмечен стечением настолько невыгодных обстоятельств, что никто из польских политиков не был в состоянии предложить такую политическую линию, которая дала бы шанс спасти Польшу от того, что произошло в сентябре.

В свою очередь, в 1944–1945 гг. международная конъюнктура сложилась просто-таки трагически невыгодно для реализации целей, к которым стремились польские конституционные власти в Лондоне и лидеры подпольного государства в оккупированной стране. Зато победы Красной Армии и воля Сталина, т.е. внешний фак-

тор, открыли коммунистам возможность, о которой, например, в 1942 г. те могли только мечтать.

Из того, что изложено в этой статье, следуют, по крайней мере, два вывода. Во-первых, польской историографии новейшей истории есть чем гордиться, а, во-вторых, цитировавшаяся вначале мысль Жака Ле Гоффа находит полное подтверждение и в случае с Польшей.

В то же время хотел бы разделить мнение автора многих известных монографий Петра Вандыча, не так давно написавшего следующее: "Объективность, к которой стремится историк, означает только честное изложение того, что нам известно, и признание невозможности преодолеть ограниченность наших познавательных возможностей. Объективность историка тем самым сводится к добросовестности, а его позицию должно характеризовать сознание ограниченности собственных и материальных возможностей, чувство неудовлетворенности и смирение по отношению к задачам, за решение которых он берется"¹⁷². Между высказываниями обоих ученых только кажущаяся разница. Мне представляется, что они оба правы.

¹ Регентский совет был создан в сентябре 1917 г. Германией и Австро-Венгрией как формально высший орган власти в Королевстве Польском, занятом обоими государствами в 1915 г.

² *Le Point*. 2001. 12 янв.

³ *Kieniewicz S. Historyk i świadomość narodowa*. Warszawa, 1982. S. 272–273.

⁴ *Pajewski J. Odbudowa państwa polskiego w 1918*. Poznań, 1983; *Łossowski P. Zerwane pęta. Wyzwolenie ziem polskich w listopadzie 1918*. Warszawa, 1988. Павский также является автором ценной работы о первых годах возрожденного польского государства. См.: *Pajewski J. Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926*. Kraków, 1995. О спорах вокруг вопроса обретения независимости в 1918 г. см.: *Czubiński A. Spory o II Rzeczypospolitej. Ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego*. Poznań, 1988.

⁵ Польская военная организация была создана по инициативе Юзефа Пилсудского в Варшаве в октябре 1914 г. как тайная организация для разведывательно-диверсионных действий против России. Существовала до 1918 г. См.: *Nalęcz T. Polska Organizacja Wojskowa*. Warszawa, 1970.

⁶ Польские Легионы действовали в 1914–1917 гг. на стороне центральных держав. В 1916 г. их ряды насчитывали около 25 тыс. солдат.

⁷ *Kieniewicz S. Op. cit.* S. 279.

⁸ Самые значительные научные труды, посвященные Рижскому договору, принадлежат Ежи Куманецкому, они вышли в Варшаве в 1970-е годы.

⁹ *Kornat M. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow*. Warszawa, 2002; *Debski S. Między Berlinem a Moskwą. Studium polityczno-wojskowych aspektów stosunków niemiecko-sowieckich. 23 sierpnia 1939–22 czerwca 1941*. Warszawa, 2003.

¹⁰ *Próchnik A. Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (1918–1933)*. Warszawa, 1933.

¹¹ *Pobog-Malinowski W. Józef Piłsudski*, Warszawa, 1935; Т. 1–2; *Idem. Narodowa Demokracja (1887–1918)*. Warszawa, 1933.

- ¹² *Pobog-Malinowski W.* Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945. Londyn 1953–1960. T. 1–3. В 1970–1980 гг. она издавалась в Польше в подпольных типографиях.
- ¹³ *Jędruszczak T.* Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Warszawa, 1963; *Jędruszczak T., Jędruszczak H.* Ostatnie lata drugiej Rzeczypospolitej (1935–1939). Warszawa, 1970. См. также: *Stawecki P.* Następcy Komendanta. Wojsko w polityce wewnętrznej II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1969.
- ¹⁴ *Holzer J.* Mozaika polityczna drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1974.
- ¹⁵ *Wandycz P.* O dobrych i złych skutkach rozdrapywania ran // *Tygodnik Powszechny*. 2001. 22 ар.
- ¹⁶ *Zarnowski J.* Struktura inteligencji w Polsce w latach 1918–1939. Warszawa, 1964; *Spoleczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. 1918–1939.* Warszawa, 1973.
- ¹⁷ *Zarnowski J.* Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo, Warszawa, 1992.
- ¹⁸ *Landau Z., Tomaszewski J.* Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, wydanie 4 poprawione. Warszawa, 1999. Из специальных работ, изданных ранее, ценность сохранила монография о польской экономике 1936–1939 гг., написанная в духе оптимистической историографии. См.: *Drozdowski M.M.* Polityka gospodarcza rządu polskiego w latach 1936–1939. Warszawa, 1963.
- ¹⁹ *Wapiński R.* Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1991; *Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej.* Warszawa, 1991; *Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX w.* Warszawa, 1994.
- ²⁰ *Wojciechowski M.* Stosunki polsko-niemieckie 1932–1938. Warszawa, 1965 (wydanie 2 poprawione. Warszawa, 1980).
- ²¹ *Ciałowicz J.* Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939. Warszawa, 1970.
- ²² См. например: *Wandycz P.* France and her Eastern Allies. 1918–1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from Paris Peace Conference to Locarno. Minneapolis, 1962; *Idem.* The Twilight of French Eastern Alliance. 1926–1936. French-Czechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland. Princeton: New Jersey, 1988; *Idem.* Polish Diplomacy. 1914–1945: Aims and Achievements. L., 1988; *Cieniata A.M.* Poland and the Western Powers. 1938–1939. A Study in the Interdependence of Eastern and Western Europe. L.; Toronto, 1968; *Krasucki J.* Stosunki polsko-niemieckie. 1919–1932. Poznań, 1970. О польско-французских отношениях см.: *Mazurova K.* Европейская политика Франции. 1938–1939. Warszawa, 1974; *Wroniak Z.* Polityka Polski wobec Francji w latach 1925–1932. Poznań, 1987; *Pasztor M.* Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924–1939. Warszawa, 1999.
- ²³ *Zerko S.* Stosunki polsko-niemieckie. 1938–1939. Poznań, 1998; *Gmurczyk-Wróńska M.* Polska niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944). Warszawa, 2003.
- ²⁴ См.: *Jackiewicz H.* Бритыские гарантии для Польши в 1939. Olsztyn, 1980; *Linowski J.* U źródeł sojuszu polsko-brytyjskiego (marzec 1938 – kwiecień 1939), Łódź, 1985; *Nurek M.* Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936–1941. Warszawa, 1983; *Nowak-Kietlikowa M.* Polska – Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1933–1937. Warszawa, 1989. См. также: *Piszczkowski T.* Anglia a Polska 1914–1939 w świetle dokumentów brytyjskich. L., 1975.
- ²⁵ *Winid B.* W cieniu Kapitołu. Dyplomacja polska wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki 1919–1939. Warszawa, 1991.
- ²⁶ *Sierpowski S.* Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940. Poznań, 1975.
- ²⁷ См.: *Pałasz-Rutkowska E.* Polityka Japonii wobec Polski 1918–1941. Warszawa, 1998.

- 28 См.: *Łossowski P.* Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie 1918–1939. Warszawa, 1990; *Idem.* Litwa i sprawy polskie 1938–1940. Warszawa, 1992; *Idem.* Stosunki polsko-estońskie 1918–1939. Gdańsk, 1992; *Idem.* Stosunki polsko-łotewskie 1921–1939. Warszawa, 1997.
- 29 *Kozenski J.* Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932–1938. Poznań, 1964.
- 30 *Puławski M.* Stosunki polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do wiosny 1938. Poznań, 1967.
- 31 *Tomaszewski J.* Czechosłowacja w XX wieku. Warszawa, 1997.
- 32 *Kaminski M.K.* Konflikt polsko-czechosłowacki 1918–1921. Warszawa, 2001.
- 33 См.: *Koźmiński M.* Polska i Węgry przed drugą wojną światową (październik 1938 – wrzesień 1939). Wrocław, 1970.
- 34 *Leczyk M.* Polityka Drugiej Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925–1934. Warszawa, 1976.
- 35 *Gregorowicz S.* Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932–1935. Wrocław, 1982.
- 36 *Gregorowicz S., Zacharias M.* Polska – Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925–1939. Warszawa, 1995.
- 37 *Materski W.* Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939. Warszawa, 1994.
- 38 *Zacharias M.* Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1936. Wrocław, 1981.
- 39 *Krasucki J.* Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1985; *Kaminski M.K., Zacharias M.* W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej. 1918–1939. Warszawa, 1993; *Sierpowski S.* Polityka zagraniczna Polski międzywojennej. Warszawa, 1994; *Łossowski P.* Polska w Europie i świecie 1918–1939. Warszawa, 1990.
- 40 Historia dyplomacji polskiej. 1918–1939 / Red. P. Łossowski. Warszawa, 1998. T. IV. См. также: *Krasucki J.* Tragiczna niepodległość. Polityka zagraniczna Polski w latach. 1919–1939. Poznań, 2000.
- 41 *Batowski H.* Między dwiema wojnami 1918–1939: Zarys historii dyplomatycznej. Kraków, 1988.
- 42 Заолзье – использующееся в Польше название для обозначения расположенной к западу от р. Олза части Тешинской Силезии, которая после 1918 г. оказалась в границах Чехословакии, но значительный процент ее населения составляли поляки.
- 43 *Łojek J. (Jeżewski L.).* Agresja 17 września 1939. Warszawa, 1990.
- 44 *Duraczyński E.* Polska 1939–1945: Dzieje polityczne. Warszawa, 1999. S. 13–14.
- 45 *Kowalski W.T.* Ostatni rok Europy (1939). Warszawa, 1989.
- 46 *Zgórnjak M.* Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939. Kraków, 1993.
- 47 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. Londyn, 1950–1986. T. I–III.
- 48 *Grzelak Cz.* Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939. Warszawa, 2000. Wyd. 2.
- 49 См.: *Ryszka F.* Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa w Trzeciej Rzeszy. Warszawa, 1985. Wyd. 3; *Idem.* Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim. Warszawa, 1987. Wyd. 3.
- 50 К. Ёньца уже многие годы издает известную серию "Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi" (вышло уже свыше 20 томов). Сам К. Ёньца опубликовал ряд работ, в том числе: *Jońca K.* Noc kryształowa. Wrocław, 1991.
- 51 См. важнейшие работы этого периода: *Borejsza J.* Rzym a wspólnota faszys-

- towska. Warszawa, 1981; *Idem*. Antyślawizm Hitlera. Warszawa, 1988; *Idem*. Szkoły nienawiści. Historia faszystów europejskich 1919–1945. Wrocław; Warszawa, 2000.
- 52 *Madajczyk Cz.* Faszystów i okupacji 1939–1945; Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. Poznań, 1983–1984. T. I–II; *Idem*. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Warszawa, 1970. T. I–II. Важную монографию об экономической политике Германии опубликовал Ч. Лучак. См.: *Luczak Cz.* Polityka ekonomiczna Trzeciej Rzeszy w latach drugiej wojny światowej. Poznań, 1982.
- 53 См., например, две ценные, новаторские монографии: *Borodziej W.* Terror i polityka: Polityka niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939–1944. Warszawa, 1985; *Król C.* Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Warszawa, 1999.
- 54 *Szarota T.* Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Warszawa 1988, Wyd. III; *Lewandowska S.* Okupowanego Mazowsza dni powszednie 1939–1945. Warszawa, 1993; *Idem*. Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej. Warszawa, 2001. Wyd. II; *Hryciuk G.* Polacy we Lwowie 1939–1944: Życie codzienne. Warszawa, 2000.
- 55 См., например: *Siemaszko Z.S.* W sowieckim osaczeniu 1939–1943. Londyn, 1982.
- 56 *Głowacki A.* Sowietci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941. Łódź, 1998; *Kowalska E.* Przeżyć aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940–1941 w ZSRR i ich losy do 1946. Warszawa, 1998; *Boćkowski D.* Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943. Warszawa, 1999.
- 57 См.: *Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A.* Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej. Wrocław, 1994.
- 58 См.: *Zawodny J.K.* Katyń, Lublin–Paryż 1989 (значительно ранее на других языках). См.: *Madajczyk Cz.* Dramat katyński. Warszawa, 1989 (книга была издана также в Москве).
- 59 См.: *Tucholski J.* Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar. Warszawa, 1991.
- 60 См.: *Duraczyński E.* Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945. Warszawa, 1993; *Hułas M.* Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie. Wrzesień 1939 – lipiec 1943. Warszawa, 1996; *Władze RP na obczyźnie podczas drugiej wojny światowej*, opracowanie zbiorowe. Londyn, 1994; *Dymarski M.* Stosunki wewnętrzne wśród wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945. Wrocław, 1999.
- 61 *Duraczyński E., Turkowski R.* O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa RP 1939–1945. Warszawa, 1997.
- 62 См. примеч. 47.
- 63 См., например: *Wawer Z.* Organizacja Polskich Wojsk Lądowych w Wielkiej Brytanii 1940–1945. Warszawa, 1992.
- 64 О движении Сопротивления в оккупированной Европе см.: *Duraczyński E., Terej J.J.* Европа Подземна 1939–1945. Warszawa, 1974. О польском движении Сопротивления см.: *Borodziej W., Chmielarz A., Friszke A., Kunert A.K.* Polska Podziemna 1939–1945. Warszawa, 1991. См. также обширные разделы в кн.: *Duraczyński E.* Polska 1939–1945.
- 65 О разных фазах развития учреждений и организаций, названных впоследствии подпольным государством см.: *Duraczyński E.* Kontrowersje i konflikty 1939–1941. Warszawa, 1979. Wyd. 2; *Idem*. Między Londynem a Warszawą VII.1943–VII.1944. Warszawa, 1986; *Idem*. Generał Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sadem moskiewskim. Warszawa, 1989; *Salmonowicz S.* Polskie państwo podziemne. Kraków, 1994; *Strzembosz T.* Refleksje

- o Polsce i podziemiu 1939–1945. Warszawa, 1990; *Grabowski W.* Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj. Warszawa, 1995; *Idem.* Polska Tajna Administracja Cywilna 1949–1945. Warszawa, 2003; *Górski G.* Administracja Polski Podziemnej w latach 1939–1945. Toruń, 1995. *Idem.* Polskie Państwo Podziemne 1939–1945. Toruń, 1998. О различных направлениях и формах деятельности подпольной Польши см.: *Lewandowska S.* Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939–1945. Warszawa, 1982; *Gondek L.* Polska karząca 1939–1945: Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa, 1988; *Matusak P.* Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939–1945. Siedlice, 1997.
- ⁶⁶ Это был III том труда, упоминавшегося в примеч. 47.
- ⁶⁷ *Terej J.J.* Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej, wydanie II. Wrocław, 1980.
- ⁶⁸ *Szarota T.* Stefan Rowecki "Grot". Warszawa, 1983.
- ⁶⁹ *Mazur G.* Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945. Warszawa, 1987.
- ⁷⁰ *Ney-Krwawicz M.* Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945. Warszawa, 1990; *Idem.* Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej. Warszawa, 1999; *Armia Krajowa / Red. K. Komorowski.* Warszawa, 2000.
- ⁷¹ См.: *Ney-Krwawicz M.* Powstanie powszechne.
- ⁷² *Terej J.J.* Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji. Warszawa, 1979. Wyd. II.
- ⁷³ См.: *Buczek R.* Stronnictwo Ludowe w latach 1939–1945: Organizacja i polityka. Londyn, 1975; *Przybysz K., Wojtas A.* Bataliony Chłopskie. Warszawa, 1985. T. I–III.
- ⁷⁴ *Dunin-Wąsowicz K.* Polski ruch socjalistyczny 1939–1945. Warszawa, 1993.
- ⁷⁵ *Siemaszko Z.* Narodowe Siły Zbrojne. Londyn, 1982; *Narodowe Siły Zbrojne: Dokumenty, struktury, personalia, opracował L. Żebrowski.* Warszawa, 1994–1996. T. I–III; См. также обстоятельную монографию о вооруженных отрядах правонационалистического лагеря: *Komorowski K.* Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego. 1939–1945. Warszawa, 2003.
- ⁷⁶ Самые репрезентативные среди них, по нашему мнению, книги: *Nazarewicz R.* Drogi do wyzwolenia. Koncepcje walki z okupantem w Polsce i ich treści polityczne 1939–1945. Warszawa, 1979; *Wieczorek M.* Armia Ludowa. Powstanie i organizacja. 1944–1945. Warszawa, 1979; *Idem.* Armia Ludowa. Działalność bojowa 1944–1945. Warszawa, 1984. Историей коммунистического движения занялись в последнее время и историки правого толка. См.: *Gontarczyk P.* Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy. Warszawa, 2003.
- ⁷⁷ См об этом монографию польско-американского историка П. Вандыча (*Wandycz P.* Czechoslovak-Polish Confederation and the Great Powers 1940–1943. Bloomington, 1956), а также работу варшавского исследователя Т. Киселевского (*Kisielewski T.* Federacja środkowoeuropejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939–1943. Warszawa, 1991).
- ⁷⁸ См.: *Duraczyński E.* ZSRR wobec projektów polsko-czechosłowackiej konfederacji // *Dzieje Najnowsze.* 1997. № 3.
- ⁷⁹ Основные польские источники по истории польско-советских отношений в годы Второй мировой войны опубликованы несколько десятков лет назад. См.: *Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945.* London, 1961–1967. Vol. I–II. Среди работ можно отметить следующие: *Kamiński B.K.* Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939–1945. Warszawa, 1992; *Ślusarczyk J.* stosunki polsko- sowieckie. 1939–1945. Warszawa, 1993. До сих

- пор, однако, нет объективной монографии, посвященной этому ключевому вопросу.
- ⁸⁰ *Karski J.* Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945. Warszawa, 1992.
- ⁸¹ *Kersten K.* Jalta w polskiej perspektywie. Londyn; Warszawa, 1989.
- ⁸² См. *Duraczyński E.* Polska 1939–1945. S. 252–253.
- ⁸³ Проект польско-советской демаркационной линии был предложен в 1920 г. британским министром иностранных дел Дж.Н. Керзоном. Линия проходила приблизительно в 200 км к западу от линии государственной границы, установленной в 1921 г. по Рижскому договору.
- ⁸⁴ *Tebinka J.* Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945. Warszawa, 1998.
- ⁸⁵ *Pastusiak L.* Roosevelt a sprawa polska 1939–1945. Warszawa, 1980.
- ⁸⁶ *Kersten K.* Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22.VII – 31. XII.1944. Lublin, 1965.
- ⁸⁷ *Kersten K.* Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Poznań, 1990 (ранее эту книгу автор опубликовала в Лондоне).
- ⁸⁸ О спорах вокруг варшавского восстания см.: *Duraczyński E.* Powstanie warszawskie – badań i sporów ciąg dalszy // *Dzieje Najnowsze.* 1995. № 1 (то же по-английски: *Acta Poloniae Historica,* 1996. Vol. 70).
- ⁸⁹ *Skarżyński A.* Polityczne przyczyny powstania warszawskiego. Warszawa, 1964; *Ciechanowski J.M.* Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Warszawa, 1984 (значительно раньше эта монография вышла на польском и английском языках в Лондоне).
- ⁹⁰ См. примеч. 88.
- ⁹¹ См.: *Duraczyński E.* Polska 1939–1945. S. 511.
- ⁹² См. примеч. 88.
- ⁹³ *Kunert A.K.* Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie. Kalendarium. Warszawa, 1994.
- ⁹⁴ *Wielka Encyklopedia Ilustrowana Powstania Warszawskiego.* Warszawa, 1999–2004. T. 1–3.
- ⁹⁵ *Borkiewicz A.* Powstanie warszawskie 1944. Warszawa, 1964.
- ⁹⁶ *Kirchmayer J.* Powstanie warszawskie. Warszawa, 1984. Wyd. IX.
- ⁹⁷ *Grzelak Cz., Stańczyk N., Zwoliński S.* Bez możliwości wyboru. Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943–1945. Warszawa, 1993.
- ⁹⁸ *Wojsko polskie w II wojnie światowej (opracowanie zbiorowe).* Warszawa, 1994.
- ⁹⁹ *Wrzesiński W.* Sąsiedzi czy wróg? Wrocław, 1992.
- ¹⁰⁰ *Dmitrów E.* Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945–1948. Warszawa, 1987.
- ¹⁰¹ *Dmitrów E.* Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 1933–1945. Warszawa, 1997.
- ¹⁰² *Szarota T.* Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa, 1996.
- ¹⁰³ *Czubinski A.* II wojna światowa. Poznań, 1998. T. I–II.
- ¹⁰⁴ *Kowalski W.T.* Wielka koalicja 1941–1945. Warszawa, 1972–1977. T. I–III.
- ¹⁰⁵ *Kowalski W.T.* Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939–1945. Warszawa, 1985. Wyd. VI.
- ¹⁰⁶ *Historia dyplomacji polskiej.* Red. W. Michowicz. Warszawa, 1999. T. V (1939–1945).
- ¹⁰⁷ *Pobóg-Malinowski W.* Najnowsza historia Polski.
- ¹⁰⁸ *Łuczak Cz.* Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. Poznań, 1993.
- ¹⁰⁹ *Duraczyński E.* Polska 1939–1945.

- ¹¹⁰ *Tarka K.* Konfrontacja czy współpraca. Litwa w polityce rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1945. Opole, 1998.
- ¹¹¹ *Torzecki R.* Kwesia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933–1945. Warszawa, 1972; *Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej.* Warszawa, 1993.
- ¹¹² См., например: *Motyka G.* Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948. Warszawa, 1999; *Siemaszko W., Siemaszko E.* Ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności Wołynia. Warszawa, 2000.
- ¹¹³ См., например: *Prekerowa T.* Zarys dziejów Żydów w Polsce 1939–1945. Warszawa, 1992; *Sakowska R.* Dwa etapy. Hitlerowska eksterminacja Żydów w oczach ofiar. Wrocław, 1986; *Stoła D.* Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP 1940–1945. Warszawa, 1995.
- ¹¹⁴ *Iranek-Osmecki K.* Kto ratuje jedno życie. Polacy i Żydzi 1939–1945. Londyn, 1968; *Bartoszewki W., Lewinówna Z.* Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945. Kraków, 1969; *Prekerowa T.* Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945. Warszawa, 1982.
- ¹¹⁵ *Duraczyński E.* Polska 1939–1945. S. 363–364.
- ¹¹⁶ *Gross J.T.* Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Warszawa, 2000. В 2001 г. книга была издана на английском языке в США, а потом в Германии. Гросс является автором еще нескольких книг, посвященных судьбам Польши и ее граждан в годы Второй мировой войны, изданных в Соединенных Штатах.
- ¹¹⁷ *Nowak A.* Westerplatte czy Jedwabne // *Rzeczpospolita.* 2001.
- ¹¹⁸ *Kersten K.* Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Wrocław, 1974.
- ¹¹⁹ *Ślabeck K.* Dzieje polskiej reformy rolnej 1944–1948. Warszawa, 1972; *Historia społeczna Polski Ludowej (1944–1970).* Warszawa, 1988.
- ¹²⁰ *Kamiński Ł.* Strajki robotnicze w Polsce 1945–1948. Wrocław, 1999; *Idem.* Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Toruń, 2000.
- ¹²¹ *Kozłowski Cz.* Rok 1948. Warszawa, 1988.
- ¹²² *Maciejewski J. Trojanowicz Z.* Poznański Czerwiec. Poznań, 1981 (Poznań, 1990. Wyd. II.); также: *Czubinski A.* Czerwiec 1956 w Poznaniu. Poznań, 1986.
- ¹²³ *Rykowski Z., Władyka W.* Polska próba – Październik 1956. Kraków, 1989.
- ¹²⁴ *Machciewicz P.* Polski rok 1956. Warszawa, 1993.
- ¹²⁵ *Eisler J.* Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991. См. также: *Oseka P.* Syjoniści, inspiratorzy, wicherzyciele. Obraz wroga w propagandzie Marca 1968. Warszawa, 2000.
- ¹²⁶ *Głowacki A.* Kryzys polityczny 1970 roku w świetle wydarzeń na wybrzeżu szczecińskim. Szczecin, 1985; *Kozłowski K.* Od Października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956–1970). Szczecin, 2002; *Eisler J.* Grudzień 1970. Geneza-przebieg-konsekwencje. Warszawa, 2000; *Danowska B.* Grudzień 1970 na wybrzeżu gdańskim. Gdańsk, 2000; *Paziewski M.* Grudzień 1970 w Szczecinie. Szczecin, 2000.
- ¹²⁷ *Eisler J.* Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych. Warszawa, 2001.
- ¹²⁸ *Paczkowski A.* Droga "do mniejszego zła" Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980-styczeń 1982. Kraków, 2002.
- ¹²⁹ *Friszke A.* Opozycja polityczna w Polsce 1945–1980. Londyn, 1994
- ¹³⁰ *Holzer J.* "Solidarność" 1980–1981: Geneza i historia. Paryż, 1984; *Holzer J., Leski K.* "Solidarność w podziemiu", Łódź, 1990.
- ¹³¹ *Lipski J.J.* Komitet Obrony Robotników. Komitet Samoobrony Społecznej. Londyn, 1983.

- 132 *Friszke A., Machcewicz P., Habielski R.* Druga wielka emigracja 1945–1990. Warszawa, 1999. T. I–III.
- 133 *Kosecki A.* Bułgaria w polityce europejskiej 1944–1948. Warszawa, 1975.
- 134 *Rutyna Z.* Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943–1948. Warszawa, 1981.
- 135 *Koryn A.* Rumunia w polityce wielkich mocarstw 1944–1947. Wrocław, 1983.
- 136 *Zacharias M.* Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940–1945. Wrocław, 1985.
- 137 *Nowak J.* Geneza i pierwsze lata demokracji ludowej na Węgrzech 1944–1948. Warszawa, 1987.
- 138 *Kamiński M.K.* Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948. Warszawa, 1990; *Idem.* Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945–1948. Warszawa, 1991.
- 139 *Kastory A.* Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945–1947. Kraków, 1996.
- 140 *Borodziej W.* Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947. Londyn, 1990.
- 141 *Wandycz P.* Stracone szanse. Stosunki polsko-amerykańskie 1939–1987. Warszawa, 1997.
- 142 См., например: *Bernatowicz G.* Stosunki polsko-włoskie 1944–1989. Warszawa, 1990; *Linowski J.* Stosunki polsko-brytyjskie 1945–1956. Łódź, 1990.
- 143 *Małendowski W.* Zimna wojna. Poznań, 1994.
- 144 *Walicki A.* Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii. Warszawa, 1996.
- 145 *Holzer J.* Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy. Warszawa, 2000.
- 146 *Roszkowski W.* Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945. Warszawa, 1997.
- 147 *Czubiński A.* Europa XX wieku. Zarys historii politycznej. Poznań, 2000. Wyd. 3.
- 148 *Bartoszewicz H.* Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy środkowo-wschodniej w latach 1944–1948. Warszawa, 1999.
- 149 *Waszkiewicz Z.* Polityka Watykanu wobec Polski 1939–1945, Poznań, 1980.
- 150 *Fijałkowski Z.* Kościół Katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej. Warszawa, 1983.
- 151 *Zaryn J.* Kościół i władza w Polsce 1945–1950. Warszawa, 1995; *Idem.* Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944–1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie. Warszawa, 1998.
- 152 *Cywiński B.* Ogniem próbowane. Lublin; Rzym, 1990. T. I–II.
- 153 *Jedrzejewicz W.* Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935. Londyn, 1977; T. 1–3. *Idem.* Józef Piłsudski 1867–1935. Londyn, 1982.
- 154 *Garlicki A.* Józef Piłsudski. Warszawa, 1988. Wyd. 3.
- 155 *Suleja W.* Józef Piłsudski. Wrocław, 1995.
- 156 *Kukiel M.* Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. Londyn, 1970.
- 157 *Wapiński R.* Władysław Sikorski. Warszawa, 1978.
- 158 *Korpalska W.* Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna. Wrocław, 1981.
- 159 *Wapiński R.* Roman Dmowski. Warszawa, 1988.
- 160 *Wapiński R.* Ignacy Paderewski. Warszawa, 1999.
- 161 *Zakrzewski A.* Wincenty Witos. Warszawa, 1980.
- 162 *Buczek R.* Stanisław Mikołajczyk. Toronto, 1996. T. I–II.
- 163 *Paczkowski A.* Stanisław Mikołajczyk czyli klęska realisty (zarys biografii politycznej). Warszawa, 1991. Интересную политическую биографию одного из соратников Витоса и Миколайчика, посла правительства Сикорского в СССР (1941–1942) Станислава Кота, опубликовал один молодой варшавский историк. См.: *Rutkowski P.* Stanisław Kot. 1885–1975. Warszawa, 2000).

- ¹⁶⁴ Werblan A. Władysław Gomułka, Sekretarz Generalny PPR. Warszawa, 1988.
- ¹⁶⁵ Góra W. Polska Ludowa 1944–1984. Zarys dziejów politycznych. Lublin 1986.
- ¹⁶⁶ Albert A. (*Roszkowski W.*). Najnowsza historia Polski 1914–1993. Londyn, 1994. T. I–II.
- ¹⁶⁷ Czubiniński A. Dzieje najnowsze Polski XX wieku, Poznań, 2000.
- ¹⁶⁸ Paczkowski A. Pół wieku dziejów Polski 1939–1989. Warszawa, 1995.
- ¹⁶⁹ В этой связи следует упомянуть две интересные монографии: *Skrzyperk A.* Mechanizm uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1947. Pułtusk, 2002; *Jarosz D.* Polacy a stalinizm 1948–1956. Warszawa, 2000.
- ¹⁷⁰ О "круглом столе" см. изложение известного варшавского историка: *Garlicki A.* Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole. Warszawa, 2003; *Он же.* Rycerze Okrągłego Stołu. Warszawa, 2004. По этому же вопросу политизированную, в духе критиков "круглого стола", опубликовал книгу молодой краковский политолог и историк правого толка (*Dudek A.* Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990. Kraków, 2004).
- ¹⁷¹ См.: *Dzieje Najnowsze.* 1999. № 2.
- ¹⁷² *Wandycz P.* O dobrych i złych. См. примеч. 15.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.А. АЛПАТОВА

*

В.М. Алпатов

ОБ ОТЦЕ

О своем отце Михаиле Антоновиче Алпатове я мог бы сказать словами его ровесника Аркадия Гайдара: "Обыкновенная биография в необыкновенное время". Судьба его отразила многие перипетии нашей истории XX в. Впрочем, все это относится к первой половине его жизни; вторая, послевоенная, не была богата внешними событиями.

Михаил Антонович родился 7(20) ноября 1903 г. в казачьем хуторе Сибилёве Митякинской станицы Донецкого округа Области Войска Донского. Ныне это Каменский район Ростовской области. Он был старшим из шести детей Антона Даниловича (1883–1964) и Агриппины Дмитриевны (1885–1975) Алпатовых. Мой отец никогда не скрывал свое казачье происхождение. Наоборот, он очень гордился тем, что он казак и именно донской казак.

Обычное крестьянское детство, о нем отец любил вспоминать. Тогда в Сибилёве открылась приходская школа, и он отучился положенный срок у учителя Степана Васильевича. Потом он изобразил этого учителя в романе "Горели костры", сохранил ему подлинное имя и отчество, но приукрасил биографию, сделав революционером. На деле учитель не занимался политикой и был горьким пьяницей. Но он был добрым человеком, и отец сохранил о нем хорошую память.

На этом его образование должно было закончиться. Как-то Антон Данилович, действительно мастер на все руки, сказал: "Все я умею, одного не умею и не люблю – тачать сапоги. Пусть мой старшой будет сапожником". И он уже договорился с местным сапожником, что с осени, по окончании полевых работ, Мишка пойдет к нему учеником. Но это было лето 1914 г., отец Михаила ушел на войну, мать вернулась к своему отцу Дмитрию Петровичу Алпатову (они были однофамильцы с зятем), а тот был совсем другим человеком. Сам он не получил никакого образования (умел только расписываться), но уважал "ученых людей" и хотел, чтобы его внук учился дальше. Обучение у сапожника не состоялось. Но вряд ли бы что-то получилось, если бы не подвернулся случай. Летом

1915 г. по хуторам был объявлен набор в Каменскую мужскую гимназию.

У нас историки мало пишут о тех изменениях в системе образования России, которые произошли незадолго до революции по инициативе министра П.Н. Игнатьева. Период ограничений для "кухаркиных детей" тогда закончился, и по всей России появилась возможность способным детям из "простых" получить образование. Эти "игнатьевские гимназисты" в дальнейшем заняли заметное место среди советских интеллигентов и управленцев, достаточно назвать две фамилии: Шолохов и Брежнев. Из Сибилёва учитель Степан Васильевич порекомендовал троих, все они поступили в гимназию. Всех я потом знал, один стал инженером, начальником строительного управления, другой учителем, Михаил Антонович пошел дальше всех. А из братьев и сестер отца и из его друзей детства больше никто не получил образование выше начального.

Гимназия в Каменской станице (ныне г. Каменск-Шахтинский) значила для деревенского мальчишки очень много. Он изучал языки (всю жизнь очень любил латынь и через много лет, когда я был студентом, гонял меня по всем склонениям и спряжениям), учился играть на мандолине и рисовать (долго мечтал стать художником). Но любимым его педагогом стал Митрофан Петрович Богаевский, директор гимназии и учитель истории. Его называли "донским златоустом". Позже он стал правой рукой Каледина и после победы красных в феврале 1918 г. был расстрелян (в "Тихом Доне" он упоминается). И став коммунистом, отец всегда вспоминал о Митрофане Петровиче с большим уважением. Именно после его уроков гимназисту захотелось стать историком. Но до осуществления мечты было еще много лет.

Началась гражданская война. Гимназисты видели и Каледина, и Краснова, а бой под Глубокой, описанный у Шолохова, гремел совсем рядом. Отец много слышал про этот бой от его участников и потом часто рассказывал про то, что у Шолохова в его описании много ошибок. В начале 1919 г. занятия прекратились, пришлось вернуться на хутор. К этому времени дед умер, снова командовать стал Антон Данилович, вернувшийся с фронта, человек властный и упрямый. А мимо Сибилёва, отступая, дважды проходила армия Деникина. Антон Данилович свое уже отвоевал и вместо себя отправил сына. Первый "отступ" оказался коротким, быстро удалось вернуться домой. Второй раз деникинцы отступали уже окончательно в конце 1919 г. Отец, которому только что исполнилось 16 лет, ушел из дома с родительскими конями и подводой в обозе армии Деникина. За три или четыре месяца ему пришлось прошагать от Сибилёва до Новороссийска.

Белую армию Михаил Антонович увидел уже в период ее разложения. Холод, голод, вши, развал дисциплины и чудовищная озлоб-

ленность солдат и офицеров. Немногих попадавших им в руки красных пытали и убивали. Подводу и коней уже в конце пути украли. Наконец, в марте 1920 г. белые оказались прижаты к Черному морю. Ночь под Новороссийском они называли "ночью Страшного суда". Отец через много лет говорил моей матери, что это была самая жуткая ночь в его жизни. Масса народа пыталась погрузиться на не очень большой корабль. Сели в основном "господа офицеры", для большинства места не хватило, корабль отправился, толпа бросилась вплавь, пытаясь забраться на борт. И тогда ударили по толпе из корабельных орудий. Били по своим! Это нельзя было уже никогда забыть.

Оставшиеся на берегу без всякой надежды ждали появления красных. Думали, что всех убьют. Случилось иначе. Кого-то отправили под трибунал, но многим предложили вступить в Красную Армию (вспомним Григория Мелехова), а мальчишек, вроде моего отца, отпустили домой. Красноармейцы его обогрели, накормили и отнесли по-человечески. Все могло быть и иначе, он мог бы и сесть на тот корабль и оказаться в эмиграции. Но получилось именно так: 16-летний юноша увидел у белых все самое худшее, а встреча с красными оказалась счастливой. И неудивительно, что он сделал выбор в пользу красных на всю жизнь. С большими приключениями, то пешком, то на подножках и в товарных вагонах, он добрался до своего хутора.

Отец любил рассказывать о самых разных событиях своей жизни, но о том, что побывал у белых, он, конечно, должен был молчать. Я ни разу эту историю от него не слышал. Единственный раз он рассказал ее моей матери вскоре после того, как они соединились, а она поведала мне о ней уже после смерти отца. Но события эти его волновали, а поскольку он был не только историк, но и писатель, в 1970-е годы он решил о них написать. Получилась повесть "Вадимка", последнее законченное его сочинение, завершенное менее чем за год до смерти. Книга вышла посмертно в 1985 г. По-моему, это лучшее из его художественных произведений. Он пишет о юноше с хутора Козорезовки Вадимке, но, даже не зная биографию автора, легко почувствовать, что книга автобиографична. Сам он называл повесть "книгой о доброте". Добрые люди не раз встречались ему в жизни.

Вернувшись в Сибилёв, Михаил Алпатов вступил в комсомол и скоро был зачислен в Часть особого назначения (ЧОН) по борьбе с бандитами. Гражданская война на Дону кончилась, но казаков, недовольных новой властью, было много (опять можно вспомнить "Тихий Дон", теперь уже самый его конец). Шла жестокая с обеих сторон борьба, отец рассказывал о том времени много страшного. Далеко не все из этого вошло в повесть "Вадимка". Если первая ее часть, посвященная пути ее автора с Дона в Новороссийск и обрат-

но, по-видимому, очень близка к реальности, то вторая половина, где речь идет о ЧОН, несколько приукрашена, к тому же добавлена любовная история Вадима, которой у Михаила на самом деле не было.

Вот один из эпизодов того времени. Как-то отец поздно вечером шел один, без оружия. Его нагнали конники, он понял, что это бандиты. Силы были неравные. Но бандиты его не знали и потребовали документы. В кармане у него лежали комсомольский билет, удостоверение ЧОН и справка о воинской обязанности. При предъявлении любого из первых двух документов его немедленно бы убили. Надо было вытащить из кармана именно справку о воинской обязанности. Комсомольцу повезло: он вынул как раз ее, его отпустили.

В те годы отец не только боролся с бандами, но и учил детей в начальной школе сначала на Сибилёве, потом на хуторе Грачки. Но хотелось учиться дальше. Райком комсомола дал ему летом 1923 г. направление в педагогический техникум в Ростов. Но разъярился Антон Данилович, для которого любая "легкая" работа была невыносима. Он заявил сыну: "Я думал, из тебя выйдет мастер, а из тебя выходит босяк!" Они крепко поругались и помирились только через 30 лет.

В Ростове по комсомольскому направлению отец смог без экзаменов оформить сразу в три учебных заведения: университет, педагогический техникум и художественное училище. Но дальше надо было выбирать, а тут в техникуме его избрали в студенческий комитет. Он решил, что "нельзя ставить личное выше общественного", и остался в техникуме. Потом он очень жалел об этом выборе, сильно отдалившем завершение его образования. Особенно ему было жалко, что он не стал художником.

Но годы техникума и комсомольской юности он потом долго вспоминал. Жить было трудно и голодно, но весело. С товарищами по техникуму он дружил всю жизнь (многие тоже потом оказались в Москве, большинство, как и он, учились дальше). Уже в техникуме ему захотелось вспомнить свою комсомольскую жизнь, и он написал сочинение под названием "Комсомольская бурса". Этот текст не сохранился, но через 50 лет Михаил Антонович снова сел писать "Комсомольскую бурсу", которая, правда, получила в итоге название "Возращение в юность". Эта повесть, уже открыто автобиографическая, вышла в журнале "Молодая гвардия" в 1978 г. и отдельной книгой посмертно в 1983 г.

Техникум был окончен в 1927 г. Уже там у Михаила Антоновича была историческая специализация, хотя преподавать ему пришлось, в соответствии с программами тех лет, не историю, а обществоведение. Пять лет он учительствовал, сначала недолго в с. Белая Глина, потом в 1928–1932 гг. в станице Романовской на Дону (не-

далеко от тогда еще не существовавшего г. Волгодонска) был директором школы. Это были годы коллективизации. Как более образованного и коммунистических взглядов человека (как раз в Романовской он вступил в партию) его активно привлекали к самым разным мероприятиям. Приходилось ездить по хуторам и селам, агитировать в колхозы, выполнять хлебозаготовки. Отец любил все это вспоминать и написал позднее рассказ о том, как ему даже пришлось быть судьей. Вышло постановление о том, что педагогов нельзя надолго отвлекать от работы и посылать в длительные командировки. Тогда его товарищи, которых продолжали отправлять на хлебозаготовки, свалили на него все дела в станице. В том числе уехал надолго в колхозы и судья, и Алпатову пришлось несколько месяцев выносить приговоры. Были и весьма интересные.

Первоначально отец очень активно вел такую работу и был полностью убежден в необходимости коллективизации. Но потом он начал понимать, что происходит что-то не то. Однажды он выступил против закрытия церкви, считая это несвоевременной мерой. Церковь все же закрыли. Тогда к райкому прибежала толпа старух с криками: "Открывай церкву!" Кто-то из них заявил: "Вот Алпатов – умный человек, правильно говорит!" Начались неприятности для отца, но кое-как дело замяли. И независимо от этого дела шли все хуже и хуже. Началось раскулачивание, потом борьба с "кулацким саботажем", в еще недавно зажиточной станице начался голод. Довольно твердые с 1920 г. убеждения отца впервые дали трещину (вторым тяжелым моментом для него станет XX съезд в 1956 г.). Позднее, на моей памяти, он много говорил о коллективизации. Чувствовалось, что это была большая боль для него. И видна была двойственность его позиции. Он много знал о том, что тогда творилось (а один из его братьев умер в 1933 г. от голода), и не мог этого простить. Но ему нужно было убеждать всех и самого себя в том, что все-таки деятельность его и его товарищей не была напрасной, и проводить преобразования в деревне было нужно. Об этом он кое-что написал и опубликовал в 1977 г. в журнале "Дон".

В романе "Горели костры" его персонажи в другую эпоху и по другому поводу ведут споры о том, что лучше: делать историю или ее писать. Мне кажется, что здесь как-то отразились его собственные мысли в Романовской станице в 1931–1932 гг. Тогда отцу надоело участвовать в истории, которая не всегда развивалась так, как хотелось, и очень захотелось историю писать самому. В райкоме он получил разрешение ехать в Москву и поступать на исторический факультет МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории). В МГУ тогда не было гуманитарных факультетов, и МИФЛИ был главным центром подготовки историков.

После 1932 г. отец надолго потерял связь с Доном. Лишь после войны к нам в Москву стала приезжать его мать. На вопрос о том, как живут сибилёвцы, она махнула рукой и сказала: "Пьют да воруют!" Михаилу Антоновичу тяжело было это слушать, и он не торопился на родину. Лишь в последнее десятилетие жизни, после выхода в свет в 1970 г. романа "Горели костры", он начал снова ездить на Дон, где еще жила его мать, был и в Сибилёве, и в Романовской. Его там тепло принимали как писателя-земляка, и выход романа немного помог уже угасавшему Сибилёву. Именно благодаря роману туда провели асфальтовую дорогу и пустили автобус. К тому времени жить на Дону стало лучше, чем в послевоенные годы, и отец радовался: он мог считать, что его труды все-таки не были напрасны.

В Москве началась совсем другая жизнь. Михаил Антонович поступил в институт в 28 лет и закончил его в 33 года. Уже в Романовской у него была семья, а к моменту окончания МИФЛИ детей стало уже двое. Учился он хорошо. В студенческие годы специализировался по античной истории (может быть, сказывалась любовь к латыни), занимался у В.С. Сергеева, диплом писал у Н.А. Машкина. В 1937 г. институт он окончил и был зачислен в аспирантуру, но учиться ему тогда не пришлось.

Летом 1937 г. арестовали его друга с донских времен Николая Жарикова, также переехавшего в Москву. В доносе было сказано: "Жариков ругал товарища Сталина, а Алпатов с ним спорил" (то и другое соответствовало действительности). В самом начале учебного года обсуждалось персональное дело Алпатова о "приутилении классового бдительности" (надо было не спорить, а сообщить куда следует). Стоял вопрос об исключении из партии, а это обычно было первым этапом перед арестом. Как это ни кажется сейчас странным, но мнению коммунистов МИФЛИ было отнюдь не единодушным. Были люди, которые не побоялись выступить в защиту Михаила Антоновича. Особенно ему помог профессор Алексей Петрович Гагарин. Благодаря ему первоначальный вердикт об исключении в райкоме был заменен "строгим выговором с занесением", но из аспирантуры отца исключили. Ему посоветовали пойти в Наркомпрос. Там по коридорам ходили представители периферийных вузов и искали людей для заполнения преподавательских вакансий, образовавшихся в связи с арестами. Отца нашел представитель Сталинградского пединститута и предложил ехать с ним. Отец предупредил о строгом выговоре, тот ответил: "Так не исключили же!" Они вскоре уехали в Сталинград. Потом отец говорил о 1937 г.: "Тогда меня потянуло за штаны, но отпустило".

В Сталинграде Михаила Антоновича больше не трогали. Но трудностей было немало. По древней истории преподавателем был

А.И. Дмитриев, но средние века некому было читать. Отец, хотя и слушал курс средних веков у Е.А. Косминского, но никогда по ним не специализировался. А где взять литературу? Накануне его приезда в институте из-за сочинений "врагов народа" сожгли библиотеку. Очень мало что уцелело, но, к счастью, в числе этого оказалась энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Факты можно было набирать оттуда, а затем самостоятельно давать этому марксистскую интерпретацию. Готовиться к занятиям приходилось, особенно поначалу, всю ночь, а халтурить отец не умел. Утром он клал голову под кран с холодной водой и шел на лекции. С тех пор он на всю жизнь полюбил Брокгауза и Ефрона и, работая в начале 50-х годов в энциклопедии, сумел по знакомству купить полный комплект, которым потом пользовался, а теперь пользуюсь я.

В Сталинграде Михаил Антонович проработал три года. В 1940 г. он вернулся в Москву, преподавал на Ленинских курсах (его учеников потом послали политруками на фронт, и почти все погибли) и восстановился в аспирантуре. Но поскольку он привык уже к средним векам, то стал аспирантом у Косминского. Некоторое время он учился и у только что вернувшегося из эмиграции Р.Ю. Виппера, о котором потом любил вспоминать.

В октябре 1941 г. отец ушел в ополчение, но пробыл в армии недолго и был комиссован. Он оказался в Чкалове (ныне Оренбург) и через знакомого по МИФЛИ Семена Павловича Сурата был взят на работу в обком партии. Там он был уполномоченным, снова, как и в Романовской, ездил по колхозам, выбивал поставки зерна и скота. Как-то он спросил Сурата, зачем вообще мы нужны, мы же ничего не знаем в сельскохозяйственном производстве. Тот ответил: "Мы нужны самим фактом своего существования. Председатель колхоза знает, что есть человек, который может приехать и его разогнать, вот и старается".

В Чкалове он встретился с будущей моей матерью Зинаидой Владимировной Удальцовой (первая его семья распалась еще до войны); она была в эвакуации в Бугуруслане Чкаловской области и преподавала там в учительском институте. Оба они к 1941 г. были аспирантами Косминского, но их вся предшествующая жизнь и среда были совершенно разными, и в Москве они почти не знали друг друга. Теперь же они встретились и больше не расставались до смерти Михаила Антоновича.

В конце 1943 г. отец вернулся в Москву и никуда уже больше из нее надолго не уезжал. Хотелось заняться наукой, но опять оказалось много помех. В период борьбы с "низкопоклонством" и "космополитизмом", его как человека с очень хорошей анкетой (выговор уже давно был снят), все время тянули на разные административные должности, он отбивался, но не всегда получалось. Первые годы он преподавал в Высшей партийной школе, где, не

имея еще степени, был заместителем заведующего кафедрой всеобщей истории (заведующим был А.Д. Удальцов). Преподавание и кафедральные дела забирали много времени, с трудом удалось на год прикрепиться к Академии общественных наук и подготовить под руководством Косминского кандидатскую диссертацию "Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в.", вскоре вышедшую отдельной книгой (первая книга Михаила Антоновича). Но и после этого сосредоточиться на науке не удавалось. В 1948 г. его назначили заведующим исторической редакцией Издательства иностранной литературы, затем в 1951 г. он стал помощником главного редактора Большой советской энциклопедии. Тогда шло ее второе издание. Главным редактором был физик академик Б.А. Введенский, мало разбиравшийся в гуманитарных науках, поэтому соответствующая часть издания в основном лежала на Михаиле Антоновиче. Это был, может быть, пик его карьеры, должность давала блага вплоть до персональной машины, но сама работа ему быстро надоела, хотелось писать. К тому времени он параллельно с работой в энциклопедии по совместительству работал в Институте истории АН СССР. 1 сентября 1954 г. Михаил Антонович Алпатов ушел из энциклопедии и перешел на полную ставку в Институт истории (с сильным понижением в зарплате). В 50 лет он получил, наконец, то место работы, которое ему было нужно. Уже в середине 50-х годов ему предложили поехать на несколько лет в Париж на высокую должность в ЮНЕСКО, но он решительно отказался. В институте (после реорганизации в 1968 г. – в Институте истории СССР АН СССР) он проработал до 17 декабря 1980 г. (день смерти).

С 1954 г. главным местом, где проходила его жизнь, стало кресло возле письменного стола. Хотелось многое успеть, и не только в истории, но и в литературе (всерьез писать свой роман отец начал с конца 1940-х годов, хотя закончен и опубликован он был много позже). Под конец жизни он уже почти не ходил на работу и вообще куда-либо, все" было отдано письменному столу, исключая разве что заботу о коте Ферапонте, тоже изображенном в романе "Горели костры". И в последний день жизни (умер он от третьего инфаркта) Михаил Антонович писал главу о Шлёцере для третьего тома своего труда "Русская историческая мысль и Западная Европа".

Не хочу много писать об отце как историке, об этом лучше судить профессионалам. Хочу отметить лишь три вещи. Во-первых, конечно, многое в его работах, особенно ранних, имело отпечаток своего времени. Однако в нем не было "двоемыслия" и конъюнктурности, он писал то, что думал. Что-то в его взглядах могло меняться, за что-то ему потом бывало стыдно. Он не любил свою вторую книгу "Американская буржуазная историография на службе поджи-

гателей войны" и со временем даже перестал включать ее в списки научных трудов. Это была заказная работа, связанная с его деятельностью в Издательстве иностранной литературы; к тому же работа была основана на рефератах американских книг, сделанных не им, а английского языка отец не знал (в гимназии он научился читать по-французски и по-немецки, а английского языка там не было). Но от "Политических идей..." он никогда не отказывался и свои (весьма критические) оценки Токвиля и Фюстеля де Куланжа считал правильными. Пережитый им опыт гражданской войны влиял на его взгляды до конца жизни.

Но, во-вторых, он не был догматиком. Он всю жизнь был благодарен своему первому учителю истории Богаевскому, чьи взгляды были кадетскими. Оставаясь, конечно, марксистом, отец часто говорил: "Вот все у нас производительные силы и производственные отношения, а где же человек?" Его всегда интересовали живые люди. Видимо, поэтому он довольно рано остановился на историографии, где человек, в данном случае историк, оказывается в центре внимания исследователя. Он всегда интересовался своими героями, изучал их биографии, искал какие-то их живые черты. Он мог сильно критиковать того или иного автора, но тот был всегда ему интересен как личность. Когда он писал главы "Очерков истории исторической науки в СССР" (а это еще 50-е годы), то интересовался всеми авторами, даже самыми по тем временам одиозными. Он считал нужным рассмотреть взгляды А.С. Вязигина, крайне правого историка, расстрелянного красными в 1919 г. Долго выяснял биографию Л.П. Карсавина и не сразу узнал о том, что тот кончил жизнь в советском лагере и еще не реабилитирован. Тем не менее ему было важно включить в свою галерею историков этого примечательного ученого. Сейчас имя Карсавина широко известно (правда, обычно его считают лишь крупнейшим философом, не учитывая, что он был и историком), а Михаил Антонович – первый, кто его вспомнил после забвения.

В-третьих, Михаил Антонович всегда стремился к объективности и избегал крайних точек зрения, часто обусловленных ненаучными соображениями. Это проявилось и в его трактовке "варяжского вопроса", и в характеристике П.Я. Чаадаева, и в другом. Поэтому многие высказанные им мнения не устарели и сейчас.

Вот такая сложная судьба, в которой много было тяжелого и горького, но все же потом жизнь постепенно налаживалась. По не зависящим от него обстоятельствам Михаил Антонович Алпатов поздно пришел в науку. И все же он смог пройти путь от крестьянина до ученого и писателя, реализовав свои способности.

ВАРЯЖСКИЙ ВОПРОС В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. АЛПАТОВА

М.А. Алпатов, принадлежа к той плеяде ученых, которой по плечу было решение сложных задач, не мог обойти вниманием варяжский вопрос и его историографию. Но, уделяя этой теме значительное внимание, он все же специально ею не занимался и рассматривал ее в контексте проблемы, которая была для него главной, — "Русская историческая мысль и Западная Европа". В этом случае исследователь, конечно, шел в привычном русле историографической традиции, лишь добавляя к ней некоторые штрихи. Так, он увидел в норманизме еще и "идейный реванш за Полтаву", за победу в Северной войне, после которых "в России существовал большой национальный подъем". Поэтому Г.З. Байер, конкретизировал свою мысль историк, проникнутый, как и все академики-иностранцы, антирусским настроением, "мечом Рюрика" нанес "удар по национальным амбициям русских с исторического фланга", выдвинув тезис о том, что "русские не умели создать даже своего государства, им его создали варяги — предки тех самых шведов, победой над которыми так кичатся русские". В связи с чем Сказание о призвании варяжских князей, заключал Алпатов, веками служившее прославлению Руси, получило теперь новое истолкование. В глазах Байера оно представляло собой поношение русского народа и его государства: "В этом состояла *политическая* (курсив автора. — В.Ф.) задача бироновщины, которая господствовала в стенах Петербургской Академии наук"¹.

Мнение о Байере как родоначальнике норманской теории является в отечественной и зарубежной историографии аксиомой, утвержденной в науке не одним поколением исследователей. Подобным образом рассуждал и Алпатов. В то же время он (что ярко характеризует его научный потенциал) поставил под сомнение этот взгляд, к сожалению, не придав (или не успев придать) своему очень важному наблюдению надлежащего значения. В 1985 г. (уже после смерти ученого) вышла заключительная часть его знаменитой трилогии "Русская историческая мысль и Западная Европа". В ней при разговоре о первом номере "Sammlung russischer Geschichte" (1732) отмечено, что журнал "открывается статьей Г.Ф.Миллера о русской летописи", где он "рассказал о варягах, пришедших из Скандинавии..." И, как подчеркивал Алпатов, "это та самая статья, которую затем прочитает Байер, вследствие чего и возникнет пресловутый *варяжский* (курсив автора. — В.Ф.) вопрос"². А уже из этих слов вытекает, что первенство в зарождении норманского вопроса не может принадлежать Байеру. Глухой намек на это имеется и в посмертной статье историка за 1982 год³.

Действительно, Миллер, начав издавать в 1732 г. в "Sammlung russischer Geschichte" извлечения из списка Радзивилловской летописи⁴, содержащей Повесть временных лет, предварил их небольшим вступлением. Давая некоторые разъяснения к памятнику, он, упомянув варягов, пояснил, что не считает это имя собственным. Не соглашаясь с теми, кто производит его от древнеготского Warg-Wolf (волк), Миллер настаивал, что варягами в IX–X вв. именовали норманнов, "которые, возможно, так назвали себя при первом прибытии на русский берег и, тем самым, дали повод тому, что в дальнейшем это слово, из-за незнания северного языка, рассматривалось как имя собственное". Причем в варягах он видел прежде всего выходцев из норвежского королевства, что подтверждается, по его мнению, обширными связями Руси с Норвегией в последующие столетия, о чем так много говорит Снорри Стурлусон (XIII в.). При этом ученый не мог понять только одного, как могли "норвежские и древние датские поэты и историки в своих произведениях забыть об этом"⁵. В примечании к тексту летописи Миллер указал, что на Русь были приглашены три брата "варяжской национальности" – Рюрик, Синеус, Трувор⁶. К сказанному следует добавить, что во второй части первого тома "Sammlung russischer Geschichte" (1733) историк опубликовал выдержки из Снорри Стурлусона. Свидетельство последнего о женитьбе Ярослава Мудрого на шведке Ингигерде Миллер сопроводил уточнением, что он был супругом "варяжской принцессы"⁷.

Свой взгляд на этнос варягов Миллер изложил в 1732 г., т.е. за три года до выхода в свет статьи Байера "De Varagis" ("О варягах")⁸, которую принято рассматривать как положившую начало норманизму в отечественной и зарубежной науке. Важно отметить, что знаменитый исландец Снорри Стурлусон, создатель замечательных памятников скандинавской литературы, к показаниям которых апеллировал Миллер, абсолютно ничего не ведал о летописных варягах, так что в их норманство ученый никак не мог уверовать из этого источника. А тот факт, что он с кем-то полемизирует по поводу значения термина "варяги", явственно свидетельствует в пользу наличия в современной ему историографии хорошо известных тогдашнему научному миру работ по варяжскому вопросу.

О норманистах, предшественниках Байера, мимоходом упоминали Г.З. Байер, В.Н. Татищев, В.К. Тредиаковский, А.Л. Шлёцер⁹. Внимание на этом вопросе несколько заострял, начиная с 1844 г., А.А. Куник, назвав при этом "первым норманистом" шведа Петра Петрея де Ерлезунда (ок. 1570–1622)¹⁰. В 1614–1615 гг. в Стокгольме вышла книга Петрея "История о великом княжестве Московском" (с дополнениями и исправлениями переизданная на немецком языке в 1620 г. в Лейпциге), где он впервые сказал, "что варяги вышли из Швеции..."¹¹ Эту тему будут затем активно развивать и

также способствовать ее проникновению в труды западноевропейских ученых его соотечественники Ю. Видекинди (работа которого "История десятилетней шведской войны в России" была опубликована в 1671 г. на шведском языке в Стокгольме, а на следующий год в несколько сокращенном варианте на латинском – в Германии)¹², О. Верелий, О. Рудбек, А. Скарин, исследования которых вышли соответственно в 1672, 1689 и 1698, 1734 гг.¹³ Зарождение норманизма в шведской историографии XVII в. было вызвано антирусской направленностью внешней политики Швеции того времени, претендовавшей на политическое господство в балтийском Поморье. Еще в 1580 г. наш северный сосед разработал "Великую восточную программу", направленную на то, чтобы отбросить Россию от Балтийского и северных морей, поставить "всю русскую внешнюю торговлю" под свой контроль¹⁴. Шведские ученые (приведен далеко не полный их перечень), обслуживая великодержавные замыслы своего правительства, обратились к варягам, некогда господствовавшим на Балтике и основавшим на Руси династию Рюриковичей, доказывая их якобы шведское происхождение¹⁵.

Так что именно шведам, говоря словами норманиста Куника, "принадлежит честь заложения первых камней в здании норманизма"¹⁶. По его же оценке, "в период времени, начиная со второй половины 17 столетия до 1734 г., шведы постепенно открыли и определили все главные источники, служившие до XIX в. основой учения о норманском происхождении варягов-руси"¹⁷. Но поиском источников шведские историки себя отнюдь не ограничивали: они, вместе с тем, определяли новые темы в варяжском вопросе и выдвигали доказательства, обычно приписываемые норманистам XVIII–XIX вв. Именно они отождествили летописных варягов с византийскими "варангами" и "верингами" исландских саг, а слово "варяг" выводили из древнескандинавского языка, скандинавскими также полагая имена первых русских князей. Указали они и на якобы существующую лингвистическую связь между именем "Русь" и названием части береговой полосы шведской области Упланда Roslagen, что напротив Финского залива, искали основу финского наименования шведов *guotsolainep* в словах *go* – "грести" и *godher* – "гребец". Поэтому, полностью был прав Куник, определивший время с 1614 по 1734 г. как период "первоначального образования норманской системы", отметив при этом сильное влияние шведских историков на Байера¹⁸.

И роль Байера в истории норманизма была куда значительно скромнее, чем это обычно преподносится в литературе: он, как указывал на это еще Куник, лишь ввел в научный оборот Бертинские анналы, неизвестные шведским историкам XVII в.¹⁹, и, надо добавить, всемерно популяризировал и закреплял своим авторитетом крупного европейского ученого норманскую теорию в русской науке.

Первым же ее перенес на русскую почву Миллер, знакомый с трудами норманистов XVII – начала XVIII в. и сказавший под их влиянием в 1732–1733 гг. на страницах "Sammlung russischer Geschichte" о скандинавской природе варягов. Эти же труды знал и Байер. Именно они явились истоком безапелляционного тезиса ученого: "А я утверждаю, что варяги русских летописей были люди благородного происхождения из Скандинавии и Дании, которые служили на жалованье у русских, были их сподвижниками в войне, сопровождаемыми их царей, оберегателями их границ... и что по ним русские называют варягами всех вообще шведов, готландцев, норвежцев и датчан"²⁰.

Первый же обзор имеющейся литературы по проблеме этноса варягов, видимо, связан с именем шведского историка Рудбека, который в 1698 г., отстаивая шведское происхождение варягов и киевской княжеской династии, привел суждения на сей счет С. Герберштейна, А. Гваньини, П. Одеборна, определявших в качестве местожительства находников на Русь южнобалтийское побережье²¹. Справедливости ради следует заметить, что уже у Петрея видна слабая попытка произвести нечто подобное. Он подытоживал, не называя никого конкретно, что к его времени "многие стали держаться мнения, что варяги были родом из Энгерна, в Саксонии, или из Вагерланда, в Голштинии"²². Историография варяжского вопроса уже более полно представлена у Байера. В 1735 г. он отверг сообщения "августианской" легенды Одеборна и Петрея о выходе Рюрика из Пруссии, мнения Герберштейна, Ф. Хемница, Б. Латома о Вагрии как о родине варягов, М. Претория, что русские призвали себе "владельца от народа своей крови". При этом ученый ссылался на этимологические изыскания шведов Верелия и Рудбека, которые убеждали в том, что слово "варяг" на скандинавском языке означает "разбойник", на Г. В. Лейбница, согласно с ними, на А. Моллера, в 1731 г. объяснившего его из языка эстов ("вор", "грабитель")²³.

История разработки того или иного вопроса важна, конечно, не сама по себе. От нее зависит состояние его изученности в целом. Так, выяснение истинных причин и обстоятельств, вызвавших норманизм к жизни, позволяет совершенно по-иному взглянуть на норманскую теорию, на ее доказательную базу (в основе которой лежит ложный посыл), положительно отразиться на перспективах решения варяжской проблемы. И в этом есть определенная заслуга М.А. Алпатова. Полностью же раскрыться дарованиям ученого в этой области помешала его вера в норманство варягов, хотя он и выходил за рамки норманистских стереотипов, ощущая их несостоятельность. Тому есть еще один пример.

Исследователи XIX–XX вв. возвели русских летописцев в ранг "первых норманистов", родоначальников "норманской теории", да-

же ее "сознательных" творцов (Н. Ламбин, А.А. Куник, В.О. Ключевский, А.А. Шахматов, В.А. Пархоменко, Б.Д. Греков, М.Д. Приселков, Д.С. Лихачев, Б.А. Рыбаков, И.У. Будовниц, И.П. Шаскольский, Е.А. Мельникова, В.Я. Петрухин, Х. Ловмянский и др.). И это устойчивое мнение за многие годы своего существования встретило возражение со стороны, видимо, только одного Алпатова, но оно, к сожалению, было сделано им в норманистском духе. Как рассуждал историк, думать о летописцах как первых норманистах, "значит судить по формальному признаку", ибо, полагал он, норманизм ставил себе совершенно иные цели, чем летописец. По его представлениям, "норманская идея в русской историографии прошла разные этапы и в совершенно разном качестве". Так, у киевского летописца, нисколько не сомневавшегося в норманском происхождении династии Рюриковичей, она несла больше идейно-политическую нагрузку. Идя в своих мыслях вслед за Лихачевым, Алпатов говорил, что норманская идея в летописные времена была попыткой спасти Русь от развала, а символом единства Руси и династии был Рюрик. Одновременно с тем Русь вела с Византией борьбу за свою независимость, чему также способствовало "скандинавское происхождение Рюрика", которое в этом случае имело ярко выраженную антивизантийскую направленность, аргументировало возникновение русского государства независимо от Византии. Рюрик, таким образом, служил славе и величю Руси. Норманизм же в современном его значении был порожден бироновщиной, когда русский патриотизм преследовался как государственное преступление. Поэтому, подытоживал Алпатов, "варяжский вопрос... родился не в Киеве в летописное время, а в Петербурге в XVIII в. Он возник как антирусское явление и возник не в сфере науки, а в области политики"²⁴.

Специальные изыскания ряда авторов последних лет показали всю несостоятельность утверждений о норманизме русских летописцев, их явную антинаучность, так как неправомерное использование в отношении средневековых книжников термина "норманисты", имеющего определенную хронологическую привязку и соответствующее значение, ведет, преднамеренно или нет, к серьезнейшему искажению исторической ретроспективы²⁵, а это, в свою очередь, приводит и к основательному смещению исторической перспективы, создает путаницу в историографии, в умах начинающих исследователей, направляет разговор о варягах по ложному пути. Ведь летописцы, зачисленные в "норманисты", нигде не утверждают, что варяги — это шведы. Как раз напротив. Ведя речь об основании варягами Новгорода, Изборска, Белоозера, городов со славянскими названиями, они, тем самым, прямо говорят в пользу того, что языком общения варягов был именно славянский, а не какой-то иной язык. А этот факт указывает, что родина варяжской руси находилась не

на северном побережье Балтийского моря, не в Скандинавии, а на его южном и восточном берегах, где было известно несколько Русий: Любек с окрестностями, остров Рюген (Русия, Ругия, Рутения, Руйяна), район устья Немана, побережье Рижского залива (устье Западной Двины), западная часть Эстонии (Роталия-Руссия).

- ¹ Алтаев М.А. Как возник варяжский вопрос? // Тезисы докладов Четвертой всесоюзной конференции по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии. Петрозаводск, 1968. Ч. I. С. 119–120; *Он же*. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973. С. 12, 31, 46–47; *Он же*. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII – первая четверть XVIII века. М., 1976. С. 6; *Он же*. Варяжский вопрос в русской дореволюционной историографии // *Вопр. истории*. 1982. № 5. С. 32–34, 40, 42; *Он же*. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М., 1985. С. 9–10, 12, 14, 17–19.
- ² Алтаев М.А. Русская историческая мысль... (XVIII – первая половина XIX в.). С. 19–20.
- ³ Алтаев М.А. Варяжский вопрос... С. 33.
- ⁴ Первый том "Sammlung russischer Geschichte" состоит из шести частей, где были опубликованы извлечения из летописи с 860 по 1175 г.: Sammlung russischer Geschichte. St.-Petersburg, 1732. Bd. I, stud. I. P. 9–33 (860–945 гг.); Stud. II. P. 93–113 (945–1015 гг.); Stud. III. P. 171–195 (1015–1055 гг.); 1734. Stud. IV. P. 349–358 (1056–1078 гг.); Stud. V. P. 359–406 (1078–1138 гг.); 1735. Stud. VI. P. 455–494 (1138–1175 гг.).
- ⁵ Müller G.F. Nachricht von einem alten Manuscript der rußischen Geschichte des alten Theodosii von Kiow // Sammlung russischer Geschichte. Bd. I, stud. I. P. 4, anm.*
- ⁶ Auszug russischer Geschichte nach Anleitung des Cronici Theodosiani Kioviensis // Ibid. Bd. I, stud. I. P. 10, anm.**
- ⁷ Auszug russischer Geschichte dex X. und Jahrhunderts: Aus des Snorrois Sturlesons Historie der nordischen Könige // Ibid. Bd. I, stud. II. P. 119, anm.**
- ⁸ Bayer G.S. De Varagis // Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Petropoli, 1735. T. IV. P. 275–311.
- ⁹ Ibid. P. 276–279, 295–297; *Татищев В.Н.* История Российская с самых древнейших времен. М.; Л., 1962. Т. I. С. 291; *Тредиаковский В.К.* Три рассуждения о трех главнейших древностях российских. СПб., 1773. С. 199, 205; *Шлёцер*. Нестор. СПб., 1809. Ч. 1. С. 367.
- ¹⁰ Kunik A. Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen. St.-Petersburg, 1844. Bd. I. S. 115–116; Дополнения А.А. Куника // *Дорн Б.* Каспий. СПб., 1876. С. 460–461; Замечания А. Куника. (По поводу критики г. Фортинского) СПб., 1878. С. 1–4; *Куник А.А.* Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах. СПб., 1903. Ч. 2. С. 031, 039, 047, 054.
- ¹¹ *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. М., 1867. С. 91.
- ¹² *Widekind J.* Thet svenska i Russland tijo åhrs krijgz-historie. Stockholm, 1671. S. 511; *Idem.* Historia belli sveco-moscovitici decennalis. Holmiae, 1672. P. 403; *Будекинд Ю.* История шведско-московитской войны XVII века. М., 2000. С. 280.
- ¹³ *Verelius O.* Hervarar Saga. Upsala. 1672. P. 19, anm. 192; *Rudbeck O.* Atlantica sive Manheim pars secunda. Upsalae, 1689. P. 518; *Rudbeck O.* Atlantica sive Manheim pars tertia. Upsalae, 1698. P. 184–185; *Scarin A.* Dissertatio historica de originibus priscae gentis varegorum. Aboae, 1734.

- ¹⁴ *Шаскольский И.П.* Столбовой мир 1617 г. и торговые отношения России со шведским государством. М.; Л., 1964. С. 6, 24, 27–28; *Кобзарева Е.И.* Смута. Иностранцы интервенции и их последствия (конец XVI – первая половина XVII в.) // История внешней политики России. Конец XV–XVII век. (От свержения ордынского ига до Северной войны.) М., 1999. С. 195; История Швеции. М., 1974. С. 166–168.
- ¹⁵ *Фомин В.В.* Норманизм и его истоки // Дискуссионные проблемы отечественной истории. Арзамас, 1994. С. 18–30; *Он же.* Норманизм русских летописцев: миф или реальность? // Межвузовские научно-методические чтения памяти К.Ф. Калайдовича. Елец, 2000. Вып. 3. С. 134–136; *Он же.* Кто же был первым норманистом: русский летописец, немец Байер или швед Петрей? // Мир истории. М., 2002. № 4/5. С. 59–62; *Он же.* Норманская проблема в западноевропейской историографии XVII века // Сборник Русского исторического общества (Сб. РИО). М., 2002. Т. 4(152). С. 305–324.
- ¹⁶ *Куник А.А.* Известия ал-Бекри... С. 039.
- ¹⁷ Замечания А. Куника. С. 2.
- ¹⁸ Дополнения А.А. Куника. С. 461; Замечания А. Куника. С. 2, 4.
- ¹⁹ Замечания А. Куника. С. 2.
- ²⁰ *Bayer G.S.* Op. cit. P. 280.
- ²¹ *Rudbeck O.* Atlantika sive Manheim pars tertia. P. 184–185.
- ²² *Петрей П.* Указ. соч. С. 90.
- ²³ *Bayer G.S.* Op. cit. P. 276–279, 295–297.
- ²⁴ *Алпатов М.А.* Русская историческая мысль... XII–XVII вв. С. 39–41, 46–47; *Он же.* Русская историческая мысль... XVII – первая четверть XVIII века. С. 4; *Он же.* Варяжский вопрос... С. 38–40; *Он же.* Русская историческая мысль... (XVIII – первая половина XIX в.). С. 9–10, 12, 14, 16–17.
- ²⁵ *Рапов О.М.* Были ли норманистами создатели "Повести временных лет"? // Сб. РИО. М., 1999. Т. 1(149). С. 110–119; *Фомин В.В.* Норманизм русских летописцев... С. 128–139.

Р.А. Киреева

**М.А. АЛПАТОВ И "ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В СССР"
(М., 1955–1985. Т. I–V)**

С Михаилом Антоновичем Алпатовым меня связывала совместная работа в Институте истории АН СССР, где он проработал почти 30 лет, из них не менее 28 – в нашем Центре (тогда он назывался Комиссией по истории исторических наук, потом Группой, затем Сектором истории исторической науки, теперь Центром "Историческая наука России"). Официально Алпатов был зачислен в штат Института в 1954 г., но до того по совместительству с основной работой в Большой советской энциклопедии Михаил Антонович сотрудничал с институтским Сектором средних веков. Он был автором ряда работ по западноевропейской медиевистике, и уже тогда, по собст-

венным словам, под влиянием своего учителя академика Е.А. Косминского обращался к историографии¹ – писал о Фюстель де Куланже, Токвиле, Гизо, Тьерри.

В начале 1950-х годов в Институте начиналась работа по созданию фундаментального обобщающего коллективного труда по истории исторической науки в СССР (в области историографии до этого издания коллективных работ еще не было). Авторы для "Очерков" выделяли все сектора Института истории, смежные институты АН СССР (славяноведения, востоковедения, истории материальной культуры, этнографии) и академий союзных республик. Всего в первом томе "Очерков" приняли участие 17 институтов. Сектор средних веков представил для этой работы М.А. Алпатов.

Во главе Комиссии истории исторических наук, возглавившей работу над "Очерками", стоял Михаил Николаевич Тихомиров (в те годы член-корреспондент АН СССР, с 1953 г. – академик). Историографическая обстановка тех лет была крайне трудной. Тогда были еще слишком свежи в памяти времена "борьбы с космополитизмом", "низкопоклонством перед Западом", с "буржуазным объективизмом". Мишенью для острейшей критики в области исторической науки стала книга Н.Л. Рубинштейна "Русская историография" (М., 1941). Не менее резкой критики в прессе подвергались и статьи о дореволюционных, "буржуазных" историках (например, А.И. Андреева о Соловьеве, А.И. Яковлева о Ключевском и др.). Тогда же не была дана возможность А.А. Зимину писать докторскую диссертацию о В.О. Ключевском². Считалось, что подобные труды "принижали" марксистскую историческую науку перед буржуазной. Авторы обвиняли в "буржуазном объективизме", академизме и прочих "грехах". Заниматься историографией стало небезопасно, и изучение истории исторической науки замерло. В такой обстановке развертывалась работа над первым томом "Очерков истории исторической науки в СССР".

Если раньше М.А. Алпатов как медиевист писал о западноевропейских ученых, то теперь для "Очерков" он стал автором глав об историках России, изучавших всеобщую историю, начиная с Грановского и его последователей – Кудрявцева, Ешевского, Куторги. Кроме того, ему принадлежат тексты об исторических взглядах на всеобщую историю Ломоносова и Радищева. (Тогда же во втором номере "Вопросов истории" за 1953 г. была опубликована его статья "Взгляды А.Н. Радищева на всеобщую историю"). В следующих томах Алпатов писал и о "забытых" русских медиевистах (Стаскулевиче, Бильбасове, Осокине, Вязигине), и о крупных ученых Васильевском, Виноградове, Гревсе, Ковалевском, Герье, Петрушевском, Добиаш-Рождественской и других, изучение творчества которых с историографических позиций было новым для того времени. Особое внимание Алпатов уделял вопросам методологии истории в трудах

русских медиевистов, что в советской историографии впервые становилось темой специального изучения. Алпатов был одним из первых, кто заговорил и о важности изучения не только печатных работ, но и литографированных лекций, где наиболее отчетливо отражалась эволюция исторических взглядов ученых. В "Очерках истории исторической науки в СССР" М.А. Алпатовым написано о 23 историках.

Работа над первым томом книги близилась к завершению – все авторы представили тексты, М.Н. Тихомиров сам написал ряд глав и очерков и трижды отредактировал всю книгу. Не было лишь одного – политически заостренного, "правильного" Введения, без которого книга не могла выйти в свет. Правда, для написания Введения были предусмотрены партийные члены редколлегии – А.М. Панкратова и А.Л. Сидоров. Всегда чрезвычайно занятая Анна Михайловна предпочла выйти из редколлегии. А.Л. Сидоров, ставший к тому моменту директором Института истории АН СССР, писать Введение отказался. Взоры обратились к еще одному члену партии – Михаилу Антоновичу Алпатову. Он-то и написал Введение. Оно было одобрено редколлегией и без подписи опубликовано как редакционное. Алпатова ввели в члены редколлегии, и в конце концов он оказался единственным, кто входил в члены редколлегий всех пяти томов "Очерков", двух томов "Библиографий. История исторической науки в СССР" – дооктябрьский период и советский период (октябрь 1917–1967 гг.) и сборников "История и историки", которые выходили при его жизни.

Припоминаю еще два эпизода, связанные с первым томом "Очерков" и в какой-то степени с М.А. Алпатовым.

По лучшим образцам "соседей" ("Всемирной истории", "Историей Москвы", "Очерков истории СССР"), которые на титульные листы своих изданий выносили ученые звания и степени редакторов, автор этих строк подготовила и наш титул. После названия книги указала: "Под редакцией академика М.Н. Тихомирова, доктора исторических наук А.Л. Сидорова, кандидата исторических наук М.А. Алпатова". Михаил Николаевич посмотрел на титул и сказал мне: "Ключевский никогда на своих книгах не писал "академик", а все его знали, ценили и читали. Надо имя иметь, а не титул". И вычеркнул слово "академик" перед своей фамилией. "Вот мы напишем кандидат исторических наук Алпатов, – продолжал Михаил Николаевич, – а он возьмет и защитит завтра докторскую диссертацию! А мы его припечатаем навсегда кандидатом" – и вычеркнул "лишние слова". "Снял степень" он и у Сидорова, да еще поместил его фамилию по алфавиту после Алпатова. Этот стиль титульного листа выдержан во всех томах "Очерков истории исторической науки в СССР".

Второй эпизод. Получили сигнал первого тома – это всегда праздник в истории издания книги! Но переплет был цвета грязной ох-

ры, на котором почти не читалось набранное золотыми буквами название. Творческий человек, мыслящий образами Михаил Антонович сразу определил: "это цвет живота лягушки в обмороке!" Предложенный цвет переплета просто обидел Михаила Николаевича. Он написал сердитую резолюцию о том, что подобный цвет является знаком неуважения к такому важному, солидному изданию, что он категорически против него и поставил свою подпись. Через секунду Михаил Николаевич дописал перед своей фамилией: "Академик", приговаривая: "Вот им!"

Цвет был заменен. С тех пор все тома "Очерков истории исторической науки в СССР" публиковались в синих переплетах.

По первоначальному замыслу предполагалось издать всего два тома "Очерков" – дооктябрьского и советского периодов. Но собранный материал перерос объем и сломал намеченные хронологические рамки.

Первый том решили ограничить 1861 г. (т.е. завершением периода феодализма), а подготовленный материал переместить во второй том. Так и было сделано. Однако М.Н. Тихомиров категорически отказался оставаться главным редактором тома, посвященного периоду капитализма. Так как им был сделан большой задел для второго тома, то он согласился остаться в составе его редколлегии, но в редколлегии следующих томов не вошел.

Со второго тома во главе всех последующих "Очерков" встала член-корреспондент АН СССР Милица Васильевна Нечкина (с 1958 г. – академик). У нее за спиной был большой опыт работы и руководство коллективными трудами (например, вузовский учебник по истории СССР периода капитализма). Милица Васильевна ввела в редколлегию новых членов (Б.Г. Вебера, С.М. Дубровского, А.М. Станиславскую, а с третьего тома – Е.Н. Городецкого), создав постоянно активный работающий коллектив кураторов (все члены редколлегии были и авторами соответствующих глав). Разделы тома пропорционально разделялись между кураторами, в функцию которых входила связь с авторами и подготовка их текстов к обсуждению. К примеру, М.А. Алпатов был куратором разделов "Изучение истории древнего мира в России", "Изучение истории средних веков", "Историография Украины" и "Историография Белоруссии". Кураторы работали не только над "своими" частями книги, но обязательно читали и обсуждали все главы. Авторы обычно приглашались на заседания редколлегии, где на высоком научном уровне проходил оживленный, заинтересованный обмен мнениями и царила доброжелательная обстановка. Подготовленные к печати тома выносились на всесоюзные обсуждения. Участники обсуждений получали сильный, благотворный импульс к дальнейшей работе.

Влияние "Очерков истории исторической науки в СССР" оказалось огромным. На их основе начали выходить из печати один за

другим учебники по историографии. Во многих союзных республиках издавались книги по истории развития исторических знаний в этих республиках. Творческая атмосфера работы над "Очерками" стала своеобразной школой и для ее непосредственных участников. Члены редколлегий, не имевшие до того докторской степени, защищали по проблемам историографии докторские диссертации; младшие научные сотрудники, число которых в Секторе постепенно росло – кандидатские (со временем и они стали докторами наук). Историографические диссертации все чаще и чаще стали защищаться во многих вузах страны. В различных местах публиковались специализированные историографические сборники статей. Появлялись и монографии по истории отдельных отраслей науки (византиноведения, источниковедения, историографии и т.д.). Заговорили даже об "историографическом буме"! Для координации историографической работы по всей стране был создан Научный совет "История исторической науки", который проводил так называемые историографические среды, историографические конференции (Москва, Киев, Смоленск, Рига, Воронеж, Калинин и др.), издавал сборники "История и историки", ставшие одно время ежегодниками. Эти сборники выходят и по сей день.

Не случайно, что у такого творческого человека, каким был Михаил Антонович Алпатов, зародился в процессе работы над "Очерками" замысел создания не одной книги, а серии монографий по сложнейшей проблеме "Русская историческая мысль и Западная Европа". О том свидетельствовал он сам: "Каждая книга, – писал Алпатов, – создается в определенной научной атмосфере, в том или ином научном коллективе, на помощь которого автор опирается. Данное исследование создавалось в Секторе истории исторической науки Института истории СССР Академии наук СССР"³.

На заседаниях Сектора Михаил Антонович делился своими наблюдениями и выводами, проверял отдельные положения. Вспоминаются его яркие, эмоциональные выступления.

Много внимания Алпатов уделял так называемому "варяжскому вопросу". Его интересовала проблема, *как* возник "варяжский вопрос" и *какое* содержание вкладывалось в него в разное время. Столетиями, указывал он, летописный сказ о призвании варягов служил делу единства Русского государства, а пресловутый "варяжский вопрос" родился в XVIII в., когда "все начиналось не с науки, а с политики". "Родился он не в Киеве под пером летописца на рубеже XI–XII вв., а в Петербурге под пером Байера в XVIII в. Он родился как антирусское явление, вышедшее из сферы национально-политической". По наблюдению Алпатова, "варяжский вопрос" в XIX в. утрачивает свое антирусское острие и борьба норманистов и антинорманистов стала борьбой двух русских монархических концепций⁴.

Особенно Алпатов интересовал процесс постепенного угасания на Руси византийской традиции и переориентации на Запад, связанной со становлением единого централизованного Русского государства. В истории русской исторической мысли возникали исторические теории, каждая из которых, подчеркивал он, по-своему пыталась осветить связи России с мировыми державами, показать особую роль Русского государства и Русской церкви и обосновать тезис о перемещении в Россию центра мировой истории. Мы до сих пор помним, с каким живым интересом говорил Михаил Антонович о теории "Москва – Третий Рим", "Повести о новгородском белом клобуке", "Сказании о Вавилон-граде", "Сказании о князьях Владимирских".

Прошло почти 50 лет со времени выхода первого тома "Очерков истории исторической науки в СССР" и 30 лет с издания серии книг М.А. Алпатова "Русская историческая мысль и Западная Европа". Напомню, что первая книга Михаила Антоновича начиналась с Повести временных лет, последняя – доведена до первой половины XIX в. включительно (она оканчивается недописанным очерком о К.Д. Кавелине и обрывается на фразе: "Статья Кавелина, как известно, повела за собой ответ Ю.Самарина, вызвавший гневную отповедь А.И. Герцена...")⁵.

За это время произошли крупные перемены. Изменилось и восприятие истории исторической науки. В разные исторические периоды по-разному читаются и понимаются книги, иначе и быть не может. Это естественный ход развития науки, и в прошлом истории науки есть много тому примеров. Излишняя политизированность, полемичность и другие черты времени, присущие исторической литературе тех лет, сегодня видны отчетливо и заметить их – далеко не самое трудное дело. Труднее понимать и уметь спокойно и объективно оценивать историографические явления и не сбрасывать со счетов достоинства памятников историографической мысли, к чему бесспорно относятся и многотомные "Очерки истории исторической науки в СССР" и книги М.А. Алпатова. До сих пор нет в историографии масштабнее трудов по хронологической протяженности, по охвату поставленных проблем, по силе оказанного влияния. Эти произведения останутся навсегда важными вехами в истории отечественной науки.

Позволю себе в заключение процитировать одну из работ Михаила Антоновича конца 1960-х годов, где он говорил о том, что пришлось пережить в трудные годы культа личности. "Но вот, – писал он, – началась реакция на эти сложные годы. Чуждой мы народ, не знаем меры, шарахаемся из одной крайности в другую". Некоторые настолько поглощены страстью "разоблачать" и "ликвидировать", что "в иступленном усердии они готовы вместе с ошибками перечеркнуть все, что [...] сделала советская историческая наука". "Мы, –

разъяснял Михаил Антонович, – стоим на плечах угасших поколений, но вечно живым останется их исторический опыт, к нему нам и нужно обратиться”⁶.

Сохраним же добрую, светлую память о Михаиле Антоновиче, Михаиле Николаевиче, Милице Васильевне, Ефиме Наумовиче, Августе Михайловне, Борисе Георгиевиче, Сергее Митрофановиче, так много отдавших сил, энергии, знаний для развития истории своей науки не только в нашей стране, но и в странах ближнего, да и не только ближнего, зарубежья.

¹ Алтатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973. С. 19.

² См. подробнее: Киреева Р.А. Из истории советской исторической науки конца 1940-х годов: Первое вето в научной жизни А.А. Зимина // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 487–495.

³ Алтатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. С. 25–26.

⁴ Там же. С. 12.

⁵ Алтатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М., 1985. С. 261.

⁶ Алтатов М.А. Письмо историка писателю // Молодая гвардия. 1969. № 9. С. 307, 309.

К 350-ЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

*

Н.М. Рогожин, Г.А. Санин

РОССИЯ И УКРАИНА В XVI–XVIII вв.

Идея государственного единства России и Украины имеет давние исторические корни.

Самосознание русского и украинского народов всегда хранило память об общем историческом прошлом и о государственном единстве Древней (Киевской) Руси. По мере завершения объединения земель вокруг Москвы формируется новое направление геополитики России – воссоединение русских, украинских и белорусских земель. Тогда же, в конце XV и в XVI в., на украинских землях, вошедших в состав Великого княжества Литовского (с 1569 г. – Речи Посполитой), начинается постепенное формирование украинской государственности. Следует отметить, что этот процесс в значительной степени развивался на основе складывающегося украинского казачества. Феодальная элита украинского общества утрачивала национальные черты, ополячивалась и принимала католицизм¹.

Одновременно с формированием государственности складывались и внешнеполитические связи казачества, в том числе его связи с Россией. С 1540-х годов документальные источники фиксируют службу запорожских казаков России, а затем – и просьбы их о приеме "под высокую государеву руку". Вместе с русскими войсками казачьи атаманы и основатель Запорожской Сечи Дмитрий (Байда) Вишневецкий в 1556–1559 гг. не единожды ходили на Крым. Вишневецкий лично был принят Иваном Грозным, поступил к нему на службу, просил подданства и даже породнился с боярами Нагими. Вишневецкий предлагал Ивану Грозному завоевать Крымское ханство, но, получив в 1561 г. отказ, вновь присягнул польскому королю Сигизмунду II. Однако в конце XVI в. целые отряды украинских казаков уже несли сторожевую службу в южных городах России и получали жалованье из Москвы².

В феврале 1620 г. в Москву прибыли посланцы от гетмана Сагайдачного – "бити челом государю, объявляя свою службу, что они все хотят ему, великому государю, служить головами своими по прежнему..."³ Это было первое посольство от главы всего украин-

ского казачества и имело целью, по меньшей мере, сближение с Россией. По мере роста освободительного национального движения на Украине меняется характер контактов с российским правительством. Речь идет уже не о военном найме, а о переходе Украины в подданство царю, о воссоединении с Россией.

Закрепощение крестьян, попытки если не уничтожить казачество, то хотя бы сократить до минимума его реестр, религиозные и национальные притеснения украинцев, политика ополячивания и окатоличивания украинского населения – все это создавало угрозу самому существованию народа и заставляло вновь и вновь браться за саблю в 1620–1630-х годах. После разгрома восстаний тысячи казаков и крестьян спасались в российских пределах⁴.

Впервые идея воссоединения с Россией была четко выражена в августе 1624 г. духовным вождем тогдашней Украины митрополитом Иовом Борецким. Имея высший православный духовный ранг на Украине, он прибыл в Москву формально по церковным делам. И воспользовавшись аудиенцией у царя, он просил принять под высокую царскую руку казаков и освобожденные повстанцами города⁵.

Одновременно за развитием внутреннего конфликта в самой Речи Посполитой внимательно наблюдали ее соседи – Россия и Швеция – и пытались использовать силы восставших казаков в предстоящей войне с ней. В июле 1631 г. к запорожским казакам были направлены два шведских офицера – Пьер Ладмираль и хорунжий Жан де Грев. В Москве к ним присоединились сын киевского митрополита Андрей Борецкий, опытный русский разведчик, не один раз бывавший на Украине – и нелегально, и под видом купца; путивльский сын боярский Григорий Гладкий и переводчик Осип Яганов. Однако к тому времени польские власти контролировали ситуацию на Украине и казаки могли только высказать шведским и русским посланцам свои беды и страстное желание воли⁶. В этот раз надежды Москвы и Стокгольма на украинских казаков не оправдались. Не состоялся и русско-шведский союз: Густав Адольф погиб в ноябре 1632 г. в битве под Лютценом с войсками имперского полководца Валленштейна, но выиграв эту последнюю в своей жизни битву.

Но, уже к 1648 г., когда началась Освободительная война украинского народа, – и в России, и на Украине сложилось сознание исторической общности судеб и понимание необходимости государственного единства с Россией. Эти настроения преобладали в украинском народе и постепенно стали проникать в круги казацкой элиты и высшие слои украинского духовенства.

Во всей этой сложной путанице внутренних распрей, войны и дипломатии неплохо разбирался Богдан Михайлович Хмельницкий. Следует отметить, что он родился в декабре 1595 г. в семье богато-

го и известного на Украине православного шляхтича – чигиринского подстаросты, учился в иезуитском коллегииуме Львова, окончил его, блестяще освоив полный курс наук и свободно говоря на четырех языках (латинском, польском, немецком, французском).

С 1615 по 1620 г. под командой отца он несет опасную службу на степной границе. В 1620 г. началась польско-турецкая война за Молдавию, и отец, Михаил Хмельницкий, погибает, а Богдан попадает в плен. Через два года его выкупает из плена мать, и Богдан записывается в реестровые казаки Чигиринского полка. Сведения о последующих 15 годах жизни Хмельницкого крайне отрывочны, но, несомненно, что эти годы прибавили ему боевой и жизненный опыт.

Хмельницкий, скорее всего, верно служил королю и Речи Посполитой и не разделял планов передачи Украины в подданство царю. Со временем он меняет свою позицию и принимает участие в восстаниях 1637–1638 гг., хотя и не выдвигается на первые роли⁷. Это был уже вполне зрелый казак (42 года), уважаемый в войске опытный воин и администратор⁸.

После разгрома восстания 1637–1638 гг. Хмельницкому удалось скрыть свое участие в этом выступлении. Как генеральный писарь реестрового казацкого войска, он подписал так называемую "Ординацию". По ее условиям, казацкий реестр ограничивался двумя тысячами человек и фактически уничтожалась казацкая автономия. Проблемы Украины силой оружия загонялись в глубь, но это лишь отдаляло социальный взрыв.

Хмельницкий и его сподвижники начали подготовку к новому выступлению. Полагаем, что идея воссоединения, пустившая уже глубокие корни в сознании народа, у гетмана тогда еще не сформировалась⁹. В то время, когда Богдан спасался от преследования властей в Сечи и готовил широкое восстание на Украине, к нему прибыли посланцы ротмистр Ян Хмелецкий и казацкий реестровый полковник Михайло Кричевский от коронного гетмана Николая Потоцкого. Гетман отправил их обратно, передав с ними королевским властям свои первые условия мира. Он требовал отменить "Ординацию" и вывести королевские войска с украинских земель. Пока еще не было и намека на выход Украины из состава Речи Посполитой¹⁰.

Однако, заключив союз с Крымским ханством, Хмельницкий в мае 1648 г. уже уничтожил наемную профессиональную армию Речи Посполитой в сражениях под Желтыми водами и под Корсунем.

Современные украинские историки (В.А. Смолий, В.С. Степанков) пришли к весьма интересному выводу. Они считают, что в ходе Освободительной войны¹¹ сложились не "элементы" украинской государственности, а сама государственность. В основных чертах это наблюдалось уже к осени 1648 г., когда произошло разрушение польских и создание украинских институтов власти.

В мае 1648 г. умер Владислав IV. Предстояли выборы нового короля, которые можно было использовать для выдвижения своих требований и укрепления государственности Украины. Хмельницкий захотел действовать двумя путями. 1) Попытаться создать своеобразную династическую унию Речи Посполитой. Для этого предложить кому-нибудь из соседних государей включиться в борьбу за избрание польским королем. Затем, заключив с ним союз, помочь занять престол, а в ответ получить широкую автономию Украины. 2) Договориться с братом покойного короля Яном Казимиром, претендовавшим на трон, заключить с ним союз и за это решение значительно расширить автономию Украины.

С идеей династической унии Хмельницкий обратился, прежде всего, к российскому царю. В первом письме к Алексею Михайловичу гетман сообщал о смерти короля Владислава IV и предлагал возвести на польский престол российского монарха. В самых общих чертах гетман предложил царю династическую унию и союз ради ее достижения: "...мы со своим Войском Запорожским готовы служить вашему царскому величеству"¹². В Москве не придали значения гетманской идее унии, но гетман добился главного: были установлены политические контакты с Россией.

Между тем военные действия на Украине развивались своим чередом, и в сентябре 1648 г. последовал разгром польского шляхетского ополчения под Пилявцами.

В ноябре 1648 г. сейм в Варшаве избрал нового короля Яна II Казимира, обещавшего поддержать требования казаков о расширении их автономных прав. Но и условия умеренной автономии уже перестали удовлетворять казацкую верхушку. Быстро растет национальное самосознание. Стержнем его была идея освобождения от власти Речи Посполитой – либо формирование независимого государства, либо воссоединение Украины в едином государстве с Россией с максимально широкими автономными правами. Стремление к полной независимости Хмельницкий высказал совершенно отчетливо впервые на февральских (1649 г.) переговорах с Адамом Киселём, присланным к нему для вручения от имени короля знамени и гетманской булавы¹³. Впрочем, факт принятия булавы и знамени говорит о том, что формальное подданство соблюдалось.

Одновременно с идеей независимости осенью 1648 г. Хмельницкий начинает разрабатывать идею воссоединения с Россией. Удобный повод для этого дал проезд через Украину в Москву "за государевым жалованьем" иерусалимского патриарха Паисия. Его-то гетман и просил принять на себя миссию посланца украинского народа. Сопровождал Паисия в Москву киевский посланник Силуян Мужилковский. Патриарх согласился в Москве вести переговоры с царем о подданстве Украины и энергично взялся за дело¹⁴. Это было первое посольство от гетмана, оно "поставило во-

прос о судьбе Украины". Отныне воссоединение России и Украины стало постоянной темой гетманских посольств. С ответным визитом к Хмельницкому был направлен первый российский посол Григорий Унковский.

В следующем, 1649 г., Хмельницкий предпринял новый поход за Днестр, который закончился осадой Яна II Казимира в г. Зборове. По Зборовскому миру Украина получила некоторую автономию, оставаясь в составе Речи Посполитой. Такой мир давал лишь временную передышку. В 1651 г. бои развернулись с новой силой. У г. Берестечко, на Волыни, Хмельницкому было нанесено поражение.

Следствием его был тяжелый Белоцерковский мир. Почти вдвое сокращалась автономная территория Украины, уменьшался реестр до 20 тыс., для крестьян сохранялись феодальные повинности шляхте. Хотя в последующие два года украинские казаки и крестьяне одержали новые победы над Речью Посполитой, но для Хмельницкого стало очевидно, что отстоять независимость своими силами Украина не может. Существует опасность попасть под ярмо хана или султана, открыто претендовавших на Украину. Следовательно, единственным шансом спасти национальную государственность было скорейшее решение вопроса о подданстве Российскому государю.

Весной и летом 1653 г. на Украине складывалось особенно напряженное положение: нарастала усталость населения от шестилетней войны. Польша готовилась нанести решительный удар, крымский хан и турецкий султан открыто требовали признать их власть. Прибывшие в Москву гетманские послы прямо говорили: "А к ним де писали и присылали многажды турский султан и хан крымский, зовучи к себе в подданство"¹⁵. И послы гетмана в Москве, и сам Хмельницкий в Чигирине ставили вопрос остро: если Москва не примет Украину под государеву руку, "и мы де будем слуги и холопы турскому царю, то де учинитца по греху нашему, и поневоле, а нам де без царя не быть"¹⁶. Необходимо было учитывать и то, что разгром Украины отодвигал и возвращение Россией западнорусских городов, утраченных в 1618 г.

Предстоящий выбор был чрезвычайно ответственным. Он не просто менял внешнеполитический курс России, но и определял коренные перспективы исторического развития России и Украины. Склонный защитить православную Украину, царь, тем не менее, не рисковал принимать самостоятельно решение такого масштаба.

В 1653 г. собрался последний в истории России полномасштабный Земский собор. Заседания проходили в мае-октябре (с перерывами). И как уже известно, выборные "люди всех чинов" решили принять Украину и начать войну с Польшей¹⁷. Для торжественного провозглашения воссоединения Украины с Россией на Соборе ут-

вердили состав посольства во главе с боярином Василием Васильевичем Бутурлиным. 20 декабря 1653 г. посольство пересекло границу¹⁸. 31 декабря оно подошло к Переяславлю.

На Раду съехались выборные казаки от всех полков Украины, здесь были также все жители города и крестьяне из прилежащих сел. 8 января Рада провозгласила воссоединение наших славянских народов-братьев в едином государстве. Условия воссоединения были оформлены позже, в ходе переговоров гетманских послов в Москве в марте 1654 г., и получили название "Мартовских статей". Дошедший до нас текст представляет собой разработанные Богданом Хмельницким статьи, определяющие положение и права Украины, с подтверждающими резолюциями Алексея Михайловича (поэтому документ с полным основанием иногда называют "Статьями Богдана Хмельницкого").

По этим "Статьям" Украина, признавая верховную власть царя, сохраняла почти все права самостоятельного государства, в первую очередь – республиканско-казацкий строй. По-прежнему высшая законодательная власть принадлежала войсковой раде. "Войско Запорожское само меж себя гетмана избирали, и его царскому величеству извещали, чтоб то его царскому величеству не в кручину было, понеже тот давний обычай войсковой"¹⁹. Сохранялось административно-территориальное деление на полки, а также структура местных выборных органов власти. Свои выборные органы местной власти имели горожане и крестьяне²⁰. На Украине сохранялась прежняя финансовая и налоговая система²¹. Определялась и самостоятельность судебных властей Украины²². Сохранялись все права и привилегии казаков, крестьян и горожан. Войско Украины не сливалось с российским, подчинялось только гетману и насчитывало 60 тыс. реестровых казаков²³.

Ограничения самостоятельности Украины сводились к двум аспектам. 1) Царь признавался верховным властителем Украины. 2) Гетман должен был информировать Москву о прибывающих к нему иноземных посольствах и о результатах переговоров²⁴. Впрочем, в реальной жизни внешнеполитические действия гетмана ничем не ограничивались, он лишь сообщал о своих решениях и о ходе переговоров, отсылал копии наиболее важных грамот²⁵.

Оценка "Мартовских статей" Хмельницкого в современной историографии достаточно противоречива. Справедливо исходя из тезиса о сформировавшейся в 1648–1654 гг. украинской государственности о том, что переговоры между Украиной и Россией были переговорами двух равноправных сторон, современные украинские историки (В.М. Горобец) утверждают, что произошло не создание общего государства, а состоялся военный и политический союз двух государств²⁶.

Однако в этом случае достаточно обратить внимание на следующее. Дипломаты Хмельницкого говорили о подданстве царю. На Земском соборе и на Раде речь шла именно о подданстве, а не о союзе. В Переяславле украинцы присягали в подданстве. Наконец, Хмельницкий составил договор не о союзе с царем, а именно о подданстве ему.

Если говорить о юридической форме и фактической сути принятых на переговорах в Москве "Мартовских статей", то, по нашему мнению, это был договор о создании конфедеративного государства²⁷.

Воссоединение Украины с Россией стало причиной русско-польской войны 1654–1667 гг.. Основные военные действия развернулись в районе Белоруссии. Украина как бы прикрывала южный фланг российской армии. Победы соединенных сил казаков и направленного на Украину корпуса русских войск в 1654–1655 гг. позволили русской армии на главном направлении к концу 1655 г. занять Белоруссию и выйти на линию Брест–Гродно–Каунас. В этих условиях происходит смена политического курса России. В придворных кругах сочли "украинский вопрос" решенным и наметили пробиться к берегам Балтики. Прекратив войну против Речи Посполитой, в мае 1656 г. начали войну со Швецией, что было явным политическим просчетом²⁸.

К тому же, после смерти Б. Хмельницкого в июле 1657 г. начинается борьба за гетманскую булаву, приведшая к возобновлению в 1658 г. войны за Украину с Речью Посполитой. В итоге Россия проиграла войну со Швецией, подписав в 1661 г. Кардисский мир, и вынуждена была вернуть Речи Посполитой половину украинских и все белорусские земли. По Андрусовскому перемирию 1667 г. к России отходили Смоленск, Левобережная Украина (к востоку от Днепра) и Киев (на правом берегу Днепра).

Поскольку участники Андрусовского соглашения не признавали претензии Османской империи на украинские земли, следовало ожидать конфликта последней с ее северными соседями. На этот случай в Москве в 1667 г. был подписан и в 1672 г. уточнен союзный договор России и Речи Посполитой. Война России с Турцией продолжалась в 1676–1699 гг.

Очевидно, что в условиях постоянных войн за Украину России нужна была не угнетаемая царской администрацией территория, а достаточно самостоятельная, автономная, как политический буфер, снимавший значительную часть проблем с плеч России. Нужен был сильный и деятельный союзник, а не безвластная и враждебная колония. Поэтому новации в положении Украины, вплоть до измены Мазепы в 1708 г., были весьма незначительны. Они являлись как бы ответной реакцией правительства на попытки того или иного гетмана отколоться от России.

При избрании гетманов постепенно ограничивались их права²⁹. Впрочем, дело здесь не в сужении автономии Украины. Думается, что это была реакция старшины на попытки гетманов установить личную неограниченную власть. И в доносе, предшествовавшем свержению Самойловича, казацкая старшина прямо обвиняла гетмана в стремлении установить еще и передачу гетманской булавы по наследству³⁰. Россия, конечно, не поддерживала монархических планов гетманов. К тому же в условиях политического кризиса на Украине Москве нужна была надежная социальная опора и противовес гетманской власти.

Внешнеполитические полномочия украинского государства пострадали сильнее. Внесенные в "Мартовские статьи" ограничения относительно Польши, Крыма, Турции фактически не соблюдались. Более того, в марте 1669 г., при избрании Демьяна Игнатовича, дело дошло до запрещения всяких политических контактов с соседними государствами³¹.

Больше всего население Левобережной Украины было недовольно вмешательством российских воевод в местные дела и бесчинствами русских ратных людей. Появившись со своими войсками на Украине, воеводы пытались жить "в чужом монастыре со своим уставом" и не могли не конфликтовать с местной властью и населением. Необходимо было четче ограничить компетенцию воевод, что и было сделано. В статьях, принятых при избрании Хмельницкого, Многогрешного, Самойловича и Мазепы, воевода предстает только как военачальник российского отряда³².

Вообще усматривать в поведении воевод целенаправленную национальную политику России принципиально неверно. Пожалуй, самое значительное вмешательство воевод в политическую жизнь Украины проходило во время выборов нового гетмана: Рада проводилась в окружении русских войск, а накануне Рады казацкая старшина обязательно "советовалась" с воеводой – кого избирать.

Но к XVIII в. политический курс России резко меняется ввиду начала Северной войны. После подписания мира с Турцией (1700) южный блок проблем отходит на второй план. Отношение Петра I к украинской автономии было в принципе негативным. Но эти планы Петра отчетливо проявились лишь после измены Мазепы и Полтавской победы. А пока царь не обращал внимания на Украину, "передоверив" ее Мазепе³³. Гетману была возвращена полная свобода во внутренних и широкие полномочия во внешних делах³⁴. Украина являлась как бы "буфером", который ослаблял тревогу на южном фланге. Впрочем, не только на южном. Когда Карл XII перенес в 1705 г. военные действия в Польшу и Саксонию, Мазепа по приказу Петра совершил с отрядом рейд, разоряя имения тех магнатов, которые перешли на сторону Карла XII и С. Лещинского. И когда зна-

чительные силы русской армии были блокированы шведами в Гродно, военные действия мазепинских отрядов ослабили шведов и позволили русским полкам выйти из заблокированного города³⁵. Правда, это не помешало гетману осенью 1705 г. установить тайные контакты с С. Лещинским и Карлом XII.

Измена Мазепы дала толчок процессу падения украинской автономии. Избрание нового гетмана – И.И. Скоропадского – впервые было проведено по прямому указу Петра I в ноябре 1708 г. Примечательно, что в условиях войны, когда шведские войска были на территории Украины, манифест Петра подчеркивал, что Мазепа пытался вернуть Украину под власть польского короля и передать церкви и монастыри католикам и униатам. Этим же манифестом объявлялось о снижении налогов. Петр явно старался выбить почву из-под ног Мазепы и его сторонников³⁶. Конечно же, новый гетман действовал под жестким и постоянным контролем российского фельдмаршала Б.П. Шереметева³⁷.

После смерти И.И. Скоропадского в 1722 г. Петр вообще запретил выборы нового гетмана. Для управления Украиной создается Малороссийская коллегия³⁸. То, что коллегия находилась в украинском г. Глухове, а не в Петербурге, свидетельствовало о сохранившихся особенностях управления Украиной. Коллегия ведала гражданскими делами, расходами, содержала наемные войска, контролировала местные выборные полковые власти. Малороссийская коллегия просуществовала до 1744 г. с перерывами, делея свою власть с избранным в 1727 г. гетманом Д. Апостолом (умер в 1734 г.).

Украинская старшина была крайне недовольна ущемлением ее прав и в 1744 г. подала Елизавете Петровне прошение о восстановлении гетманства. В 1750 г. гетманом избрали Кирилла Разумовского; после этого автономия Украины оживает. Усиливаются закрепощение крестьян и нобилитация казацкой старшины. Это вело к слиянию господствующего сословия России и Украины. Гетманское правление Разумовского не устраивало Екатерину II. Тем более императрицу встревожили планы гетмана и старшины сделать гетманскую власть наследственной и таким образом хоть как-то укрепить автономию Украины. 10 ноября 1764 г. последовал указ Екатерины об отставке гетмана и учреждении временной малороссийской коллегии, "пока время и опыт даст нам о его (малороссийского народа. – *Авт.*) благе лучший учинить промысел"³⁹.

Президентом Малороссийской коллегии был назначен фельдмаршал П.А. Румянцев, что многие исследователи связывают с начавшейся в 1768 г. русско-турецкой войной. В ходе русско-турецких войн второй половины XVIII в. опасность захвата украинских земель со стороны Османской империи исчезает, что ведет к ликвидации автономии. После подписания в 1774 г. Кючук-Кайнарджийско-

го мира России с Турцией исчезает нужда в Запорожье как южном форпосте. К тому же в Сечи опасно возросло количество беглых, спасавшихся от крепостнической политики. В апреле 1775 г. Екатерина предписала ликвидировать Сечь. Последний кошевой атаман П. Калнишевский был заключен в Соловецкий монастырь, кошевой судья и писарь сосланы в Тобольск. Часть запорожцев ушла за Дунай (там, в пределах Османской империи возникла Задунайская Сечь). Другие остались на Украине. Третьи основали Черноморское казачество (в подданстве России).

В 1781 г. было упразднено военно-административное деление на казацкие полки, и Левобережная Украина была поделена на три наместничества. В 1763 г. П.А. Румянцев ликвидирует казацкие полки как воинские формирования, слив их с кавалерийскими полками русской армии. В 1780 г. на территории пяти ликвидированных еще в 1765 г. полков Слободской Украины создается Харьковское наместничество. Наконец, 12 декабря 1796 г. Павел I ликвидирует наместничества и утверждает образование Малороссийской губернии.

История показала мудрость решения наших предков. В единстве с Россией Украина сумела сохранить свою национальную государственность на протяжении почти полутора веков. Для сравнения скажем, что в Речи Посполитой казачество (а значит, и автономия Украины) было запрещено в 1699 г. Воссоединение дало силу Российскому государству, русскому и украинскому народам отбить в конце XVII в. наступление османов и, укрепив южные границы, во второй половине XVIII в. решить жизненно важную геополитическую проблему выхода к Черному морю. Автономия Украины отмирала постепенно, по мере того, как ослабевала опасность с юга и Украина утрачивала значение своеобразного барьера-буфера. Следует отметить, что эта политика "буфера" не носила со стороны России какой-то специфически национальной окраски: такие же "буферы" создавались и из русских казацких территорий на Дону, в Сибири, на Северном Кавказе.

¹ Смолий В.А., Гуржий О. Як і коли почала формуватися українська нація. К., 1991. С. 53–54; Они же. Становлення української феодальної державності // Український історичний журнал. 1990. № 10.

² Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы: В 3 т. М., 1953. Т. 1. С. 317. (Далее: ВУР) – 1641 г. января 16. Челобитная путивльского городского казака Г. Канашева о жалованье за службу (примеч. С. 481).

³ ВУР. Т. 1. С. 4–5. – 1626 г. февраля 26. Запись о приеме послов гетмана Сагайдачного. Правда, вступить в русскую службу гетман Сагайдачный не успел: он умер в 1622 г.

⁴ См.: ВУР. Т. 1. С. 28, 56, 61, 86, 109, 113 и др. – Распросные Речи в Посольском и Разрядном приказах выходцев с Украины.

- ⁵ См.: ВУР. Т. 1. С. 48. – 1624 г. августа 24. Челобитная киевского митрополита Иова Борецкого царю Михаилу Федоровичу.
- ⁶ *Поршнев Б.Ф.* Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1979. С. 179; *Щербак В.О.* Украина в политических планах Швеции, Польши: Российской державы в другой половине 20 – на початку 30-х років XVII ст. // Украина і Польща в період феодалізму: Збірник наукових праць. К., 1991. С. 103.
- ⁷ *Крип'якевич П.* Богдан Хмельницький. К., 1954. С. 73; *Смолий В.А.* Великий гетман. Богдан / Зиновий Михайлович Хмельницький // *Котляр Н.Ф., Смолий В.А.* История в жизнеописаниях. К., 1990. С. 196.
- ⁸ См.: *Крип'якевич П.* Назв. твір. С. 45. За грамотность и образованность казаки избрали Хмельницкого генеральным войсковым писарем, вторым после гетмана должностным лицом, которого хорошо знали в придворных кругах Варшавы. Хмельницкий был знаком с французским послом де Брежи; в 1645 г. имел аудиенцию у принца Конде.
- ⁹ В отечественной историографии 1950–1960-х годов утвердилось мнение о том, что уже в процессе подготовки восстания Хмельницкий имел четко разработанный и вполне осознанный план воссоединения с Россией.
- ¹⁰ ВУР. М., 1953. Т. II. С. 16. – 1648 г. марта 21/31. Письмо коронного гетмана Н. Потоцкого королю Владиславу IV.
- ¹¹ Употребляемый ими термин "национальная революция", безусловно, не приемлем.
- ¹² ВУР. Т. II. С. 33. – 1648 г. июня 8. Б.Хмельницкий к царю.
- ¹³ ВУР. Т. II. С. 116. – 1649 г. февраля 20–23. Дневник львовского подкомория В. Мяковского.
- ¹⁴ ВУР. Т. II. С. 93. – 1648 г. декабрь – 1649 май. Дело о пребывании в Москве иерусалимского патриарха Паисия. Прибыв в Москву 29 января 1649 г., он в тот же день говорил думному дяку Михаилу Волошенинову: "А ныне они, гетман и все Войско Запорожское, велели ему, патриарху, бить челом царскому величеству, чтоб он, великий государь, изволил Войско Запорожское держать под своей государскою рукою..."
- ¹⁵ ВУР. Т. III. С. 263. – 1653 г. апреля 23. Запись переговоров с К. Бурляем и С. Мужилевским.
- ¹⁶ ВУР. Т. III. С. 320. – 1653 г. июня 15. Распросные речи гонцов С. Яцына, Д. Литвинова в Путивле.
- ¹⁷ *Черепнин Л.В.* Земские соборы в Русском государстве XVI–XVII вв. М., 1978. С. 331. Примечательно, что депутаты Земского собора прервали заседание, вышли на заполненную народом Соборную площадь Кремля (был праздник Покрова Пресвятыя Богородицы) и стали спрашивать простых "уличных и площадных людей". Простой народ единодушно говорил, что надо спасти православных украинцев и принимать их "под государеву высокую руку". Только после этого Земский собор вынес окончательное решение.
- ¹⁸ Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1878. Т. 10. С. 192. (Далее: АЮЗР). – 1653 октябрь – 1654 май. Статейный список В.В. Бутурлина. В статейном списке В.В. Бутурлина читаем: "Многие люди мужского полу и женского... молили Бога о государском многолетнем здоровье, великою радостью радовались и плакали на радости, чтоб Господь Бог велел им быть под государевую высокую руку".
- ¹⁹ АЮЗР. Т. 10. С. 448. – 1654 г. марта 14. Статьи Богдана Хмельницкого.
- ²⁰ Там же. С. 447.

- 21 Воеводы, прибывшие на Украину с русскими ратными людьми, не имели право собирать налоги (Там же. С. 449). Впрочем, нужно сразу оговориться, что всю вторую половину XVII в. налоги с Украины не поступали в российскую казну, тогда как из казны на Украину постоянно направлялись средства, да это и понятно: на украинских землях почти непрерывно шли боевые действия.
- 22 Там же. С. 446.
- 23 Там же.
- 24 См.: Там же. С. 480. – 1654 г. марта 21. Статьи Б. Хмельницкого.
- 25 Там же. Ряд статей показывал начавшееся социальное расслоение казачества. Гетману "на булаву", полковникам и генеральной старшине гетман просил утвердить земельные владения, мельницы, денежное жалование. Все это царь принял, отметив, что давать нужно "из тамошних доходов".
- 26 *Горобец В.М.* Переяславско-московский договір 1654 р.: причини і наслідки: Історіографічні традиції опа історичні реалії // Українсько-російський договір 1654 р. Нові підходи до сторії міждержавних стосунків. К., 1995. С. 14.
- 27 *Санин Г.А.* Антиосманские войны в 70–90-е годы XVII в. и государственность Украины в составе России и Речи Посполитой // Россия и Украина: История взаимоотношений. М., 1997. С. 63; *Он же.* Внешняя политика России во второй половине XVII в. // История внешней политики России. Конец XV–XVII век: От свержения ордынского ига до Северной войны. М., 1999.
- 28 *Санин Г.А.* Отношения России и Украины с крымским ханством в середине XVII в. М., 1987. С. 177–183. Есть и диаметрально противоположная оценка русско-шведской войны. См.: *Заборовский Л.В.* Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII века. М., 1981.
- 29 АЮЗР. СПб., 1863. Т. IV. С. 265. – Статейный список воеводы А. Трубецкого. Запись о раде 1659 октября 15; Т. IX. С.933. – 1672 июня 15. Статейный список воеводы Г.Г. Ромодановского. Запись от 15 июня.
- 30 Источники Малороссийской истории, собранные Д.Н.Бантыш-Каменским. М., 1858. Ч. 1. С. 302. – 1687 июля 7. Донос В.В. Голицыну на И. Самойловича.
- 31 Полное собрание законов. СПб., 1830. Т. 1. С. 810–814. – Решения рады 1669 марта 6.
- 32 АЮЗР. Т. IV. С. 265. – Статейный список воеводы А. Трубецкого. Запись о Раде 1659 октября 19.
- 33 См.: *Костомаров Н.И.* Мазепа. СПб., 1905. С.423.
- 34 См.: *Грушевский М.С.* Иллюстрированная история Украины. СПб., б/г. С. 375; *Санин Г.А.* Отношения России и Украины с Крымским ханством в первой четверти XVIII в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1996.
- 35 *Павленко Н.И.* Петр I. М., 1978. С. 115; История Северной войны 1700–1721 гг. М., 2004. С. 65.
- 36 *Костомаров Н.И.* Мазепа. С. 638.
- 37 *Заозерский А.И.* Фельдмаршал Б.П. Шереметев. М., 1989. С. 112–154.
- 38 Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие системы управления. М., 1997. С. 137.
- 39 Там же.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕРЕЯСЛАВА И ПОИСК ПУТЕЙ РАЗРЕШЕНИЯ УКРАИНСКО-РОССИЙСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В XX в.

Оценивать историческое наследие Переяславской Рады непросто. Вполне оправдано избегать однозначности, жесткой категоричности.

В плане обозначенной проблемы логичной представляется концентрация внимания на двух главных ее ракурсах (конечно же, с учетом того, что предлагается взгляд, так сказать, с украинской стороны).

Во-первых, прервав польско-татарский геноцид, после Переяслава украинцы получили возможность не просто сохранить свою этническую природу, но и обрели достаточно надежную перспективу, даже гарантию для ее упрочения, развития, формирования полноценного национального организма. Последняя тенденция приобрела устойчивый, необратимый характер. Во-вторых, встав на путь инкорпорации Украины, Российская империя перманентно стремилась к сужению, а затем и искоренению национального начала, естества украинцев.

Именно в этом, очевидно, и можно усмотреть коренное противоречие исторического наследия Переяслава: бросив спасательный круг гибнущему народу, одновременно его будущее как обособленной общности ставилось под сомнение.

Безусловно, обозначенная система координат предполагает рассмотрение проблемы на стержневом срезе. Глубинная ее проработка с неизбежностью обнаружит потребность анализа многочисленных элементов, которые априори не только органично "лягут" в максимально укрупненную схему, но и тех, которые проявляли себя настолько специфически или опосредованно, что будут "выпадать" из целостной конструкции, вызовут необходимость в отдельном разговоре. Впрочем, последнее обстоятельство, надо думать, неспособно сколько-нибудь существенно повлиять на предлагаемую логику оценок и выводов, тем более опровергнуть ее.

Конечно, нельзя не видеть существенной разницы в том, какими путями соседи пытались лишить украинскую нацию перспективы.

Поляки применяли насильственную колонизацию и окатоличивание – те же, кто этому противился, не подчинялся, с презрением отодвигались на положение людей второго сорта – "быдла", по-существу, с губительными последствиями.

Татары в процессе бесконечных опустошительных набегов физически уничтожали, пленили одновременно и продавали в рабство

наиболее продуктивную, в том числе и в детородном отношении часть нации.

Постепенно выработавшийся у российского самодержавия подход был совсем иным. Украинцев не стремились низвести на какое-то второстепенное положение, сознательно ограничить рост продуктивных сил, вводить неэквивалентный обмен, практиковать непропорциональную оплату труда, иную дискриминацию по национальному признаку и т.д. Расхожий тезис о колониальной зависимости Украины – это, скорее гипербола, публицистический прием, который содержательно не подтверждается при сколько-нибудь объективном сравнении положения Украины в составе Российской империи и взаимоотношений классических колоний и метрополий. К началу XX в. в экономическом отношении Украина, как известно, была одним из наиболее развитых регионов России со сравнительно высоким для всей страны уровнем жизни.

Однако украинцев после Переяслава подстерегали свои неприятности и беды, которые воспринимались весьма чувствительно, болезненно, вызывали подчас очень острую ответную реакцию, приобретающую разные формы проявления.

Совсем, видимо, не случайно, наоборот – настойчиво и подчеркнуто именуемых "малороссами", украинцев вполне официально считали лишь ветвью российского народа, а еще точнее – русской нации. Практически единственное отличие этой ветви от основного этнического массива усматривалось разве что в обиходном диалекте. Последний часто трактовался ухудшенным польским влиянием, наслонением русского языка.

Как пытались убедить себя и украинцев (а может быть – только последних) идеологи великодержавничества, не будь упомянутого, в общем-то совсем несущественного различия, не было бы проблем украинско-русских взаимоотношений, тем более – противоречий. А случись, что последние почему-то все же возникли бы, их можно без особого труда преодолеть – настолько сильны, глубинны, фундаментальны исторические корни естественного единства непосредственных наследников Киевской Руси. Однако при этом ощущалась потребность в специальной, неусыпной заботе об обеспечении любыми средствами нерасторжимого, единокровного родства. Поэтому идеологи великодержавничества стремились в тесных "братских" объятиях вытравить любые намеки на отличия от русских, выдавить из украинцев их живой дух.

Именно в этом заключался глубинный замысел и далеко идущий расчет Эмского и Валуевского циркуляров, казалось бы, парадоксальных утверждений о том, что украинского языка не было, нет и быть не может.

Конечно же, хорошо осознавалось, что дело совсем не в самоценности языка, как такового, когда можно было бы проявить и

терпимость, даже благосклонность к региональной "экзотике". Именно сохранение собственного языка как естественного водораздела между близкими нациями, которые все же не были этническим монолитом, служило той неистребимой базой, которая с неизбежностью продуцировала бы "особность", отдельность многомиллионного народа с обширнейшей территорией, огромными природными ресурсами, развитыми продуктивными силами, детерминировала у народа ту неотвратимую потребность самоидентификации и самореализации, на которую по праву претендует и рано или поздно осуществляет любая, тем более – мало-мальски зрелая, потенциально предрасположенная к самосовершенствованию этническая общность. Безусловно, в своем высшем проявлении речь идет о естественном праве нации самой определять свою судьбу, при желании – создавать свою собственную государственность, выбирать вектор движения в мировом пространстве со всеми вытекающими для соседей – пусть самых близких и даже родных – вероятными последствиями. Что уж говорить о перспективе прямой утраты того, что беспрекословно именовалось "исконно русским" ?!

Так что на самом деле ставка в, казалось бы, не имеющем первостепенной важности языковом вопросе на самом деле оказывалась чрезвычайно высокой, приобретала ключевое значение, а потому и была сопряжена с огромными усилиями не только официальных идеологических институтов Российского государства, но и всей имперской системы в целом. Имеются в виду запреты на создание и функционирование практически любых украинских организаций, которые вынуждены были действовать нелегально, жестокие преследования их членов, показательные расправы над ними (чего стоит только один пример Т. Шевченко!), попытки подорвать, разрушить традиции – препятствовать в увековечивании памяти выдающихся национальных героев, практиковать даже недопущение скромных чествований в дни их юбилеев и т.п.

Однако потенции национального самосохранения оказались настолько велики, а импульсы, сообщенные национально-освободительной революцией середины XVII в. и подкрепленные тем же Переяславом настолько могучи, что утратить своей самобытности украинцы уже не могли. Более того, они не просто с непониманием, но и со все более нарастающим раздражением, усиливающейся неприязнью, готовностью сопротивления реагировали на любые, малейшие покушения на свою самобытность, тем более – на попытки возвести на пути естественного развития, функционирования национального организма ограничения и преграды. Ситуацию усугубляло то, что преимущественная часть цензовых элементов в Украине была русского, еврейского и польского происхождения, тогда как подавляющая часть украинцев являлась крестьянами, преимущественно сельскими низами.

Развитие национальной жизни, национального самосознания привело к началу XIX в. к оформлению двух идеологических платформ, обосновавших пути разрешения украинско-российских противоречий. Первая, ставившая во главу угла полную независимость (самостийность), ориентировала на обособление Украины, создание отдельного украинского государства. Ее репрезентантами, в частности, были радикально настроенные члены "Братства тарасовцев", Украинской народной партии во главе с Н. Михновским. Вторая платформа, автономистско-федералистская, была рассчитана на ликвидацию в России самодержавия как оплота социального и национального гнета, переустройство демократической России на федералистских началах, в которой Украина получила бы права национально-территориальной автономии. Эта тенденция зародилась еще в среде Кирилло-Мефодиевского братства в середине XIX в. и через М. Драгоманова, "украинские громады", нашла продолжение в мировоззренческой, теоретико-политической позиции М. Грушевского, В. Винниченко, Н. Порша, С. Ефремова, воплотилась в программах большинства политических партий украинства начала XIX в.

Начавшаяся в 1917 г. Украинская революция (она явилась составной частью демократических процессов, порожденных Февралем) легализовала обе платформы, создала предпосылки для их возможной реализации. Следует сказать, что революционная эпоха (1917–1920) стала наиважнейшим этапом теоретических и практических поисков путей разрешения украинско-российских противоречий, во всяком случае порожденных Переяславом и наслонившихся в последующие периоды относительно плавного, эволюционного развития, когда сколько-нибудь реальных возможностей для радикальных сущностных подвижек в этой области просто не возникало. Отмеченное, конечно, предопределяет повышенный интерес именно к данному историческому отрезку. Несколькое забегая хронологически вперед (а логически это представляется вполне оправданным), можно говорить о том, что в революционные годы частично были разрешены противоречия, которые вполне правомерно относятся к историческому наследию Переяслава. Те же, которые не были разрешены, в горниле невиданного социального катаклизма "переплавились" в некое новое качество, что потребовало впоследствии для оценки и снятия назревавших проблем поиска соответствующих, отличных от предшествовавших подходов.

В 1917 г. довольно быстро выяснилось практически подавляющее доминирование автономистско-федералистского курса, положенного в основу деятельности Центральной Рады. Главный теоретик и вдохновитель претворения в жизнь этого курса М. Грушевский исходил из неотвратимости торжества в России демократии. Он предлагал не отделяться от России, наоборот – принять максимально активное участие в ее превращении в "народоправную" республи-

ку, добровольный союз (федерацию) национально-государственных образований и, тем самым, добиться обеспечения прав угнетенным ранее народам самостоятельно, соответственно собственным интересам и целям налаживать жизнь через систему национально-территориальных органов. В Украине материализацией такого права должно было стать Украинское учредительное собрание.

В самых общих чертах стратегию Украинской национально-демократической революции и государственного созидания М. Грушевский четко сформулировал в одной из первых статей 1917 г. – "Свободная Украина" ("Вільна Україна"): "Требование народоправия и подлинно демократического строя на Украине в отделенной, несмешанной автономной Украине, связанной только федеративными узлами то ли с иными племенами славянскими, то ли с другими народами и областями Российского государства, – это старый наш лозунг, – отмечал глава Центральной Рады. – Поднятый еще в 1840-х годах наилучшими сынами Украины Шевченко, Костомаровым, Кулишом, Гулаком, Белозерским и иными, он с того времени не переставал быть руководящим мотивом украинской политической мысли, организационной работы, культурной и общественной деятельности.

...Несомненно, он останется той средней политической платформой, на которой будет идти объединение жителей Украины без различия слоев и народностей. Средней между программой простого культурно-национального самоопределения народностей и требованием полной политической независимости"¹.

Следует иметь в виду, что предложенный вариант разрешения украинско-российских противоречий был научно обоснован, теоретически просчитан в целом ряде публицистических, адаптированных на рядового читателя, однако не утрачивавших высокого уровня работ М. Грушевского той поры. Среди них: "Кто такие украинцы и чего они хотят", "Откуда пошло украинство и к чему оно идет", "Какой автономии и федерации хочет Украина", "Центральная Рада и ее универсалы: первый и второй", "На пороге Новой Украины" и др.

Глава Центральной Рады убеждал всех честных людей, тех, кто был способен логично мыслить и действовать (и украинцев и русских) в целесообразности, взаимовыгодности, выигрышности отставяемого варианта достижения гармоничных отношений двух соседних народов. Украинцы бы получили возможность распоряжаться своей жизнью сообразно национальному интересу. Ведь обретением нацией демократических гарантий распоряжаться собственной жизнью, исключением вмешательства в украинское возрождение (в его основе – осуществление "украинизации Украины") несомненно (во всяком случае – с достаточно высокой степенью вероятности – прогнозируемо) было развитие такой масштабной воли и энергии, что "украинству" стали бы вовсе не нужны искусственные отмежевания

от чужих влияний или конкуренций. А принадлежность к великой и могучей державе позволяла бы эффективно воспользоваться ее очевидными преимуществами, особенно важными в условиях продолжения мировой войны².

Предоставление автономии Украине, по мнению М. Грушевского, не только не привело бы к ослаблению, децентрализации общероссийского государства, означало бы начало его распада, чего панически боялась и чем всех так грозно пугала русская элита, а, наоборот, – усилило бы тягу автономных национально-государственных образований к сплочению вокруг исторически сложившегося центра к осознанному объединению (а в результате, понятно, – умножению) усилий для совместного решения назревших проблем, продвижения по пути прогресса.

Автономистско-федералистский курс Центральной Рады не оставался голой кабинетной абстракцией, а довольно оперативно превратился в устойчивые убеждения миллионов украинцев и материализовался в тысячах и тысячах резолюций самых различных форумов: от общенациональных и общепартийных до уездных и сельских, узкокорпоративных. Происходило уникальное органическое единение порождения научного интеллекта с инстинктивными стремлениями (точнее – неоформленными), с волеизъявлением широких масс.

Естественно, все это служило для руководителей украинского движения дополнительным стимулом для приумножения усилий в реализации избранного курса. В значительной мере становится понятной та настойчивость, с которой Центральная Рада, получив от народа своеобразный мандат, стремилась претворить в жизнь автономистско-федералистскую программу в трех первых своих Универсалах, принципиально отстаивала во взаимоотношениях с Временным правительством и ленинским Совнаркомом.

Конечно, в данном случае речь идет о различных этапах революционной и государственно-созидательной поступи, и, естественно, увенчались они различными результатами.

Временное правительство, как известно, после определенных трений и неуклюжих попыток противодействия неконтролируемым процессам все же согласилось с введением явочным порядком автономии Украины, легитимизировало Центральную Раду договоренностью о ее превращении в краевой орган (через включение в ее состав представителей национальных меньшинств), утвердило, хотя и с серьезным ограничением прерогатив, Генеральный секретариат как исполнительную краевую, т.е. автономную власть, вело с Центральной Радой и Генеральным секретариатом переговоры как с государственными институтами, по существу, на межгосударственном уровне, даже конфликтовало, как с вполне реальной серьезной государственной силой (речь, в частности, идет и о Временной инст-

рукции Генеральному секретариату от 4 августа 1917 г. и о распоряжении открытия уголовного дела за попытку начать подготовку к созыву Украинского учредительного собрания) и т.д.

Таким образом, невзирая на стремления некоторых тогдашних политиков достичь большего (что, кстати, имманентно и ретроспективным оценкам определенной части современных историков), осуществлялась реальная, в основе своей демократичная трансформация украинско-российских отношений, снимавшая существовавшие острые противоречия и закладывавшая неплохую основу для их предупреждения в будущем.

Приход к власти большевиков внес существенные коррективы в этот процесс. Воспользовавшись исчезновением Временного правительства – до того главного тормоза процесса автономизации Украины, а также "Декларацией прав народов России", провозгласившей государственным принцип права наций на самоопределение, Центральная Рада 7 (20 н.ст.) ноября 1917 г. обнародовала свой III Универсал. Провозглашение в нем Украинской Народной Республики, инициирование строительства из Киева федеративной демократической республики из тогдашних национально-государственных и краевых образований на основе признания однородно-социалистической власти (Совнарком центральным правительством России не признавался; украинская власть подчиняться ему не собиралась) было энергичным выражением решимости осуществлять все тот же автономистско-федералистский курс, однако уже в максималистском, не усеченном варианте.

"Не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, – заявлялось в III Универсале, – мы твердо встанем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся республика Российская стала федерацией равных и свободных народов.

...Имея силу и власть на родной земле, мы той силой и властью встанем на страже прав и революции не только нашей земли, но и всей России.

...Именем Народной Украинской Республики в федеративной России, мы, Украинская Центральная Рада, призываем всех к решительной борьбе со всякими беспорядками и разрушительством и к дружному великому строительству новых государственных форм, которые дадут великой и изможденной Республике России здоровье, силу и новую будущность"³.

За Универсалом последовали обращения, ноты к руководству национально-территориальных и территориально-административных образований с предложениями присылать своих представителей в Киев для решения вопроса о судьбе России, т.е. о ее федеративном переустройстве. Нет оснований подозревать лидеров Украинской Народной Республики в неискренности, попытках вести какую-либо сложную политическую игру со скрытыми целями. Украинские га-

зеты взახлеб патетически вещали, что "подобно тому, как когда-то свет христианской веры пошел по всей великой земле русской именно из Киева, так и ныне порядка, спасения народы России ждут из все того же златоглавого Киева"⁴.

Конечно, подобный поворот событий вряд ли ранее мог быть спрогнозирован. Редактор шовинистической газеты "Русская жизнь" А. Погодин с изумлением замечал: "История сыграла с нами странную шутку. Украина, которая отделялась от России (надо учитывать, что любые, самые ограниченные требования украинцев подобного рода силами квалифицировались сепаратизмом, положившим начало отделению Украины от России. – В.С.), теперь оказалась призванной начать новое собрание земли русской"⁵.

Однако поведение лидеров украинского национального движения было отнюдь не спонтанным, имело (больше всего – для самих себя) обусловленную логику. За украинскими политическими деятелями уже на протяжении достаточно продолжительного времени начало закрепляться лидерство (современным языком, очевидно, – неформальное) в национально-освободительном движении в целом по России. Еще до начала Первой мировой войны вокруг Товарищества украинских поступовцев ("поступовців" – ТУП) стал оформляться союз автономистов-федералистов во всероссийском масштабе. Не следует сбрасывать со счетов и того психологического эффекта, которое оказал на М. Грушевского и его коллег Съезд народов, проведенный в Киеве в середине сентября 1917 г. Он стал яркой демонстрацией поддержки во всероссийском масштабе автономистско-федералистских стремлений лидеров украинского движения, признания их несомненной авангардной роли в выработке планов демократического переустройства многонационального государства.

Очевидно, не лишним будет упомянуть и о том, что логика расчетов Центральной Рады, пусть и с серьезными оговорками, немало в чем совпадала с генеральным направлением политических поисков путей создания советской федерации. Вспомним хотя бы ленинский лозунг "Пусть Россия будет союзом свободных республик", родившийся в полемике именно вокруг вопроса об отношениях Украины с другими национально-государственными образованиями, возникновение которых считалось не просто вероятным, но, в сущности, неизбежным и желательным⁶. А одно из ключевых положений "Декларации прав народов России" (2 ноября 1917 г.) – областная (территориальная) автономия для тех национально-административных единиц, которые не пожелают довести дело до национально-государственного отделения, – четкое декларирование прерогатив и принципов взаимоотношений субъектов будущей федерации.

Все сказанное, естественно с вышеупомянутыми предостережениями, может служить предметом для размышлений о тогдашних

общих тенденциях, если не закономерностях российского развития. Поэтому и с данной точки зрения лидеры Центральной Рады искали и находили пути преодоления украинско-российских противоречий на обусловленном объективными обстоятельствами направлении. Из возможных вариантов они избирали принципиально исходный, перспективный путь поступи и, хотя и не с оптимальными достижениями, все же неуклонно преодолевали морально, политически да и физически самый сложный, трудный начальный отрезок.

Однако именно попытка разрешения украинско-российских противоречий на избранном Центральной Радой пути привела к эффекту, обратному ожидавшемуся. Вопреки оптимистическим надеждам, никто из "негосударственных" прежде наций не спешил приступить к строительству новой федерации. Ближайшие соседи, на которых рассчитывали как на непременных, заинтересованных партнеров, судя по всему, просто не дозрели, чтобы быть активными факторами, субъектами архисложного процесса.

Единственная же позитивная реакция на инициативы Центральной Рады – главного тогдашнего врага большевистской власти генерала А. Каледина, сформировавшего самый мощный военный антисоветский оплот на Дону, – была равносильна вызову "огня на себя" как со стороны местных советов, так и петроградского центра, объективно и автоматически поставила Центральную Раду в трагически самоубийственное для лидеров УНР положение воюющей стороны с СНК России.

Один из активных участников событий того времени, талантливый историк Д. Дорошенко вынужден был честно признать: "Это была явно непосильная и ненужная для Украины задача. Логика событий показала, что Украине надо было совсем отделиться от России, стать самостоятельным и независимым государством; она должна была признать правительство Народных Комиссаров, как правительство России, на основе обоюдного признания (большевики сами тогда раз за разом подчеркивали, что признают за каждой нацией право на самоопределение, вплоть до отделения) и – дать всероссийским делам покой. Украина имела перед собой такие колоссальные задачи внутренней организации, что гоняться за созданием всероссийской федерации, подвергая себя враждебности уже существующего фактически нового российского правительства – это была неосуществимая в тогдашних условиях задача"⁷.

Соглашаясь в целом с довольно категоричными оценками и выводами Д. Дорошенко, допустимо предположить, что и сформулированные им соображения, как вариант (в нем, правда, не учитывался фактор нарастания социального напряжения и динамично усиливавшейся борьбы за установление советской власти в самой Украине), могли все же быть выходом из кризиса украинско-российских отношений, разрубить "Гордиев узел", образовавшийся

еще в Переяславе. Надо иметь в виду, что СНК РСФСР, по многим причинам вплоть до конца 1917 г., упорно искал пути налаживания отношений с Центральной Радой, а это оставляло надежду для взаимоприемлемого компромисса. Однако шанс был упущен. Мысли и планы, подобные высказываниям Д. Дорошенко, оформились в систему несколько позднее.

А в ноябре-декабре 1917 г. в результате реализации выработанного Центральной Радой курса вместо разрешения украинско-российских противоречий разразился острейший конфликт с радикальным (военным) финалом. Последнее, в сочетании с потребностями выхода УНР на международную арену, участия в Брест-Литовской мирной конференции убедило Центральную Раду в необходимости пересмотра государственного статуса Украины⁸.

Впрочем, провозглашенные 9(22) января 1918 г. независимость, полный суверенитет Украины вовсе не означали отказа от разрешения украинско-российских противоречий все тем же путем – через достижение федеративных отношений. Однако желанная федерация должна была объединить уже не автономные образования, а самостоятельные, суверенные, что, собственно говоря, больше соответствует общепринятым представлениям о конфедеративной модели государственного устройства.

Как бы там ни было, федеративному принципу (как способу объединения национально-государственных, территориальных образований в одном государстве) М. Грушевский, В. Винниченко, большинство их единомышленников не изменили и после эмоциональной реакции на сокрушительное поражение от советских, в том числе и российских, войск в январе 1918 г., снова и снова возвращались к нему на новых витках революции.

Основная причина такого последовательного, даже упорного поведения заключалась, очевидно, в несокрушимой вере в научно обоснованные, неоспоримые преимущества федералистской модели украинско-российских отношений, несомненное ее торжество в ближайшей или более отдаленной перспективе.

Особняком тут стоит стремление гетмана П. Скоропадского принять участие в возрождении осенью 1918 г. федеративной России на несветской основе ("небольшевистской России"). Конечно, нельзя упускать из виду, что инициатива приходится на момент поражения Четверного союза в империалистической войне, а это сразу ставило под большой вопрос дальнейшую судьбу гетманского режима, державшегося в огромной степени на силе немецко-австрийских штыков. Однако нельзя пренебрегать и тем, что генерал российской армии, дававший присягу на верность царю, убежденный монархист и, одновременно, украинец по происхождению, искренне желал бы оздоровления отношений юридически самостоятельной Украины, к руководству которой он пришел в экстремальных обстоятельствах

(вынужден был "терпеть власть чужеземцев"), со столь же горячо любимой им великой Россией. В плане ведущегося разговора, уместной выглядит несколько обширная, однако весьма красноречивая, выдержка из мемуаров П. Скоропадского.

«Великоросы, – писал он, касаясь рассматриваемой ситуации, – должны понять, что старого не вернуть, и что как бы ни была ошибочна политика украинцев, Украина не погибнет, а снова и снова будет добиваться того, чего ей не дают.

В данное время мы вернулись к временам старых гетманов. Снова Украине предстоит решить жгучий вопрос: "З москалями чи з ляхами?" Другого решения вопроса нет. Но, наученная горьким опытом Украина будет осторожнее писать договор с одними или с другими ...Лично я думаю, что народ на комбинации с поляками не пойдет ни при каких условиях, но Переяславский договор должен быть и обдуман и проведен в жизнь украинцами с большей осторожностью...

Россия может возродиться только на федеративных началах, а Украина может существовать, только будучи равноправным членом федеративного государства. У русских кругов до сих пор живет сознание, что с Украиной это только оперетка, что теперь можно дать хоть и "самостийность", а потом все это пойдет на смарку. Это колоссальная ошибка русских кругов, унаследованная старой системой политики. Эта система и повела к тому озлоблению и тому недоверию, которые многие питают к идее великой России. Все окраины думают: окрепнет Великороссия и снова примется за старый гнет всякой национальности, входящей в состав Российского государства. Я видел много украинцев, которые высказывали подобные опасения, да нечего далеко искать, тот же самый Винниченко, сидя у меня в кабинете, говорил при мне одному украинцу-федералисту, что он и сам ничего не имеет против федерации, но когда теперь говорить о федерации, то тогда русские ничего не дадут впоследствии, поэтому нужно стоять за "самостийность" до конца, которая и приведет к федерации⁹.

Однако щепетильность ситуации заключалась в том, что лишенный поддержки австро-немецких оккупантов, не имея сколько-нибудь надежной гарантии (немцы серьезно побеспокоились о том, чтобы помешать созданию украинских вооруженных сил), гетман не мог «стоять за "самостийность" до конца», вынужден был пасовать перед партнерами (генерал П. Краснов, нарождавшееся и упрочивавшееся белое движение), идеологической платформой которых являлась концепция "единой и неделимой России". Принимая чужие правила игры, П. Скоропадский, видимо, осознавал (хотя это и не помешало ему провозгласить 14 ноября 1918 г. Грамоту о федерации с несоветской Россией – однако это уже другой разговор: о тактике выживания), что реализация договоренностей с П. Красновым не оставляла места не только самостоятельной, но и автономной, в сущности, – никакой Украине, просто ликвидировала бы ее как целостность и обособленность, возвращала бы украинско-российские отношения к их исходному дореволюционному состоянию, т.е. реализующему старые, казалось бы, уже превзойденные противоречия, к имманентно-конфликтному межнациональному состоянию.

Возвращаясь к пророчествам В. Винниченко, П. Скоропадский с горечью должен был констатировать: "Как только я объявил федерацию с Россией, я сразу понял, что Винниченко был прав. Через несколько дней после появления грамоты великорусские круги уже никакой Украины совершенно не признавали"¹⁰.

При определенных обстоятельствах перспективными могли оказаться планы самого В. Винниченко, оформившиеся в альтернативной плоскости, – разрядить напряжение в отношениях возрожденной в ходе антигетманского восстания Украинской Народной Республики и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (конец 1918 г. – начало 1919 г.).

Критически проанализировав причины поражения УНР времен Центральной Рады, предвосхищая неизбежное после жестокого гетманско-оккупационного террора тяготения народа Украины к советской власти (нетрудно было предположить, что на стороне последней тенденции, как и в декабре 1917 – январе 1918 г., окажется несравненно превосходящий военно-политический потенциал РСФСР), В. Винниченко считал единственным способом преодоления умножившейся на протяжении последнего года взаимной национальной вражды и предотвращения надвигающейся войны введение в Украине "системы советской власти"¹¹.

Конструктивные соображения в этом плане были сразу же отвергнуты большинством Директории и руководством основных украинских политических партий, после чего В. Винниченко весьма оперативно предложил "усовершенствованный" вариант – идею формирования в Украине республики трудового народа, политическим и государственным фундаментом которой явились бы трудовые советы ("рады"), а венчал конструкцию политической системы Трудовой конгресс Украины¹².

Трудовые советы, сформированные не по строго классовому принципу – в их выборах имели бы право принимать участие все, не эксплуатирующие чужого труда – несмотря на палиативный характер, по расчету В. Винниченко, больше бы отвечали социальной структуре украинской нации, ее крестьянскому характеру и, одновременно, были достаточно близкими российским, точнее – большевистским советам. Глава Директории говорил даже о родстве двух "диктатур" – диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства в РСФСР и диктатуре трудового народа в УНР¹³.

Однако, в данном случае, очевидно, не столь важно выяснение степени тождества или различия между советами рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов и трудовых советов ("рад"). Важно понять, что таким образом глава Директории, изложенные соображения и предложения которого были официально поддержаны руководящими органами украинских партий и правительством, оформлены соответствующими решениями в качестве государст-

венного курса, стремился доказать, что реализацией его плана противоречия между Украиной и Россией снимаются, по крайней мере, утрачивают если не принципиальный характер, то, уж, во всяком случае, антагонистическую остроту, что при доброй воле можно не только надеяться на мирную разрядку конфликтной ситуации, но и достичь заключения межгосударственного союза (федерации) для достижения общих целей, в частности – совместного отпора внешнему врагу, преодоления сопротивления правых, антисоциалистических сил.

Нужно учитывать, что к такому варианту развития отношений проявляло интерес большевистское руководство Советской России, которая в 1919 г. попадала в кольцо фронтов и разорвать их плотную цепь хотя бы в одном звене – означало облегчить общее положение республики. Поэтому, в частности, было уделено подчеркнутое внимание чрезвычайной дипломатической миссии С. Мазуренко, направленного в Москву главой Директории В. Винниченко и председателем правительства УНР В. Чеховским¹⁴.

Однако наметившийся на этом направлении явный прогресс был блокирован С. Петлюрой и его окружением, которые избрали ориентацию на Антанту, саботировали принятые решения о трудовых советах, вводили явочным порядком режим, получивший название атаманщины. С отставкой с высших государственных постов В. Винниченко и В. Чеховского, приходом на первые роли в УНР С. Петлюры возможности украинско-российского диалога исчезли.

Вместе с тем не меньшую ответственность за срыв перспективы украинско-российского компромисса, имевшего не только временную тактическую ценность, но и шансы приобрести долговременное, стратегическое значение, В. Винниченко возлагал и на местных большевиков, Компартию Украины, в частности на Г. Пятакова, возглавлявшего с 20 ноября 1918 г. Временное рабоче-крестьянское правительство Украины. Именно последнее руководило борьбой за восстановление в регионе советской власти (значит – и против Директории), чем подталкивало правые круги УНР к разрыву нормальных отношений с РСФСР, объявлению последней войны¹⁵.

И даже после этого В. Винниченко не изменил убеждению, что соглашение Украины с большевистской Россией на советской основе – наиболее приемлемый, благоприятный, если вообще не единственный и притом принципиальный, вовсе не ситуативный, конъюнктурный вариант разрешения украинско-российских противоречий. Потому, пребывая в эмиграции, он с провозглашением Венгерской Советской Республики весной 1919 г. направился по приглашению Бела Куна в Будапешт для переговоров о возможности создания "советского пояса" – Россия–Украина–Венгрия и, возможно, далее – Бавария¹⁶. В 1920 г. он провел четыре месяца в напряженных переговорах с партийно-советским руководством РСФСР и УССР о сво-

ем предполагаемом возвращении в Советскую Украину, добиваясь при этом больше всего гарантий "украинскости" для Украины как важнейшей предпосылки противодействия наслоениям на не разрешенные вновь нарождавшиеся противоречия, что, несомненно, пошло бы на пользу обоим народам, их отношениям¹⁷.

В данном случае важно иметь в виду, что речь идет не просто о позиции и поведении пусть выдающейся и влиятельной, но все же отдельной личности. В. Винниченко олицетворял довольно мощное течение формировавшегося в 1918–1920 гг. украинского национал-коммунизма. В результате раскола в наиболее многочисленных и авторитетных партиях Украинской революции – Украинской партии социалистов-революционеров и Украинской социал-демократической рабочей партии (они неизменно доминировали и попеременно руководили правительственными кабинетами УНР) – отпочковались, организационно оформились Украинская коммунистическая партия (боротьбистов) (май 1919 г.) и Украинская коммунистическая партия (январь 1920 г.). Обе они приняли советскую платформу, вместе с КП(б)У делегировали своих представителей в состав правительства УССР, что, безусловно, расширяло базу возможного сотрудничества и на межнациональном (внутри многонациональной Украины) и межгосударственном (Украина–Россия) уровнях, способствовало поиску координированных решений вставших задач.

Что касается подходов большевиков к проблеме украинско-российских отношений, то они выкристаллизовывались постепенно. При этом очевидной доминантой практически неизменно оставалась федералистская ориентация.

Надо сказать, что РСДРП(б) первой среди общероссийских партий заменила в политическом лексиконе термины "малоросс" и "Малороссия" на получившие "права гражданства" в 1917 г. определения "украинец" и "Украина". Достаточно вспомнить даже названия ленинских статей "Украина", "Украина и поражение правящих партий России", "Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде"¹⁸ и др. Однако куда важнее было то, что РСДРП(б) принципиально поддержала требования украинства относительно своего автономного статуса, решительно осуждала великодержавничество Временного правительства, а руководители киевских большевиков в знак солидарности с национально-освободительным движением в критические для Центральной Рады моменты направляли в ее состав своих представителей, тем самым усиливая ее авторитет и умножая политический вес.

Преодолев проявления нигилистического отношения к национальному вопросу, национально-освободительному движению первых месяцев революции, местные организации РСДРП(б) к концу 1917 г. были практически едины в вопросе об образовании Украинского советского государства, о принципах его взаимоотношений с

Советской Россией. Провозгласив 12(25) декабря 1917 г. Украину советской республикой (официальное название Украинская Народная Республика), I Всеукраинский съезд Советов заявил о том, что она становится федеративной частью Российской Советской Социалистической Республики.

Был преодолен и сепаратизм части руководства большевистских организаций Донецко-Криворожского бассейна, приведший к образованию в регионах отдельной советской республики с ее прямым вхождением в РСФСР¹⁹ (Донецко-Криворожская Советская Республика).

II Всеукраинский съезд Советов (Екатеринослав, 17–19 марта 1918 г.), исходя из условий подписанного Советской Россией Брестского мира, провозгласил Украину самостоятельной республикой. Национальная государственность стала для местных большевиков одним из важнейших, определяющих мотивов всей политической жизни. Хорошо известно, с какой серьезностью первый официальный глава Народного секретариата (правительства) Украины Н. Скрыпник относился к самому факту существования УССР, как принципиально защищал ее в острой полемике-конflikте со И. Сталиным в апреле 1918 г., когда нарком РСФСР по делам национальностей потребовал от большевиков Украины прекратить игры в правительство и республику²⁰.

Н. Скрыпник, Г. Пятаков и другие видные партийные работники исходили из наличия украинской государственности как важнейшей предпосылки создания Коммунистической партии (большевик) Украины. Придерживаясь интернационалистской позиции, они искали такой вариант организационного оформления КП(б)У, при котором была бы соблюдена буква брестских договоренностей и не нарушено партийное единство, не произошло отмежевания Украины от России²¹.

В последующем, под влиянием известных факторов, порожденных общими потребностями отстаивания советского строя в гражданской войне, отпора интервенции, необходимостью координации и консолидации усилий в реализации планов революционного, социалистического созидания, нарастали объединительные настроения и тенденции. Важными вехами последних стали Военно-политический союз советских республик (июнь 1919 г.), инициатором которого стала УССР, и экономический договор с РСФСР (декабрь 1920 г.). На завершающей стадии объединительного процесса за создание Союза ССР возникли известные трения между главой СНК УССР Х. Раковским и Генеральным секретарем ЦК РКП(б), наркомом по делам национальностей РСФСР И. Сталиным.

Предложенный последним "план автономизации" был воспринят главой украинского правительства как покушение на национальный суверенитет Украины, нарушение достигнутого, пусть несовершенного, неабсолютного, в чем-то даже ассиметричного рав-

новесия в украинско-российских отношениях. Отстаивая украинский интерес, Х. Раковский с демократических позиций выступал за торжество подлинного равноправия в создаваемом государственном объединении принципа добровольности при вхождении в него. В процессе конституирования СССР он последовательно отстаивал необходимость гарантий суверенитета национальных советских республик, хотя добиться успеха не смог, потерпел поражение²².

С образованием Союза Советских Социалистических Республик, одним из учредителей и полноправным членом которого стала Украинская ССР, была подведена серьезная черта под тем, что можно было в юридическом смысле истолковывать как отношения, развивавшиеся на основе решений Переяславской Рады 1654 г. В силу вступила договорная система с качественно иными параметрами, а полученный в результате ее функционирования результат – предмет уже отдельного специального разговора.

Правда, следует сказать, что данный Переяславом заряд автоматически не исчез в 1922 г. Он продолжал давать о себе знать (иногда довольно выразительно) в психологической, духовной, культурной, нравственной, идеологической и иных сферах, привлекал общественное внимание, вызывал повышенное массовое политическое реагирование, иногда даже всплески страстей, особенно в 300-, 325- и 350-летний юбилей.

Понятно, что на моменты последних приходились качественно различные этапы развития Украины и России, неодинаков был характер межнациональных отношений, по-разному проявлялись неизжитые противоречия между ними. Конечно, вряд ли оправданным было бы считать последние непосредственным порождением решений 1654 г. Однако и отрицать того, что из них вырастали главные, определяющие элементы возникавших в этой сфере проблем и, естественно, дополняясь, затем "обрастали" другими факторами, нарождавшимися в процессе исторической поступи, приводили к вызреванию конкретных непростых, подчас конфликтных ситуаций, тоже не стоит.

Поиск путей разрешения означенных противоречий в XX в., как видно, оказался весьма непростым, далеко не всегда приводил к оптимальным результатам. Накопленный опыт заслуживает самого пристального анализа и взвешенной, принципиальной, корректной оценки, позволяя находить дополнительные аргументы в выборе наиболее рациональной линии поведения на современном этапе. Несомненно, здесь можно будет рассчитывать на гораздо больший эффект, если предложенная точка зрения будет существенно дополнена научным анализом проблемы российскими учеными. Априори предполагая естественные определенные расхождения во мнениях, представляется весьма полезным заинтересованный обмен взглядами, совместный поиск сближения исследовательских позиций, что в конце концов может иметь не только научную ценность.

- ¹ Вільна Україна // Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. К., 1997. С. 99–100.
- ² Концепція Української революції детально досліджена в наступних монографіях: *Солдатенко В.Ф.* Українська революція: концепція та історіографія. К., 1997. С. 107–183; *Он же.* Українська революція. Історичний нарис. К., 1999. С. 156–201.
- ³ Нова Рада (Київ). 1917. 8 нояб.
- ⁴ См.: Робітничая газета (Київ). 1917. 5, 7 нояб.; 5, 8 дек.; Селянська думка (Тараща). 1917. 16 нояб.; Изв. Армейского комитета VII Армии (Проскурів). 1917. 20 нояб.; Народна воля (Київ). 1917. 10 дек. и др.
- ⁵ Русская жизнь (Харьков). 1917. 8 дек.
- ⁶ См.: *Ленин В.И.* I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 3–24 июня (10 июня – 7 июля 1917 г.): Речь о войне 9(22) июня // Полн. собр. соч. Т. 32. С. 286.
- ⁷ *Дорошенко Д.* Історія України 1917–1923 рр. Ужгород, 1932. С. 185.
- ⁸ См. подробнее: *Солдатенко В.Ф.* Третій Універсал Центральної Ради і плани федеративного переустрою Росії // Укр. іст. журн. 2003. № 4. С. 3–10.
- ⁹ *Скоропадський П.* Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ; Філадельфія, 1995. С. 307–308.
- ¹⁰ Там же. С. 308.
- ¹¹ См.: *Винниченко В.* Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). Київ; Відень, 1920. Ч. III. С. 133–140.
- ¹² Подробнее см.: *Солдатенко В.* "Вінницькі щаблі" державного проводу УНР // Україна: минуле, сьогодні, майбутнє: Зб. наукових праць. К., 1999. С. 3–15.
- ¹³ *Винниченко В.* Указ. соч. С. 141.
- ¹⁴ См.: *Симоненко Р.Г., Реєнт О.П.* Українсько-російські переговори в Москві (січень-лютий 1919 р.): Зб. док. К., 1996. 85 с.
- ¹⁵ См.: *Винниченко В.* Указ. соч. С. 222–230.
- ¹⁶ См.: *Винниченко В.* Щоденник // Київ. 1990. № 10. С. 105, 106, 107.
- ¹⁷ См.: *Солдатенко В.Ф.* Епізод політичної біографії В. Винниченка: спроба повернення в Україну // Події і особистості революційної доби. К., 2003. С. 205–250; *Он же.* Епізод політичної біографії В. Винниченка: спроба повернення в Україну в 1920 р. // Іст. журн. (Київ). 2003. № 1. С. 14–24; № 2. С. 14–21; № 3. С. 21–30.
- ¹⁸ См.: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 32. С. 341–342, 350–352; Т. 35. С. 143–145 и др.
- ¹⁹ См.: *Курас І., Солдатенко В.* Люзії й практика національного нігілізму: погляд із сьогодні на Донецько-Криворізьку Республіку // Пам'ять століть (Київ). 2000. № 6. С. 60–77; *Они же.* Соборництво і регіоналізм в українсько-державотворенні (1917–1920 рр.). К., 2001. С. 37–64.
- ²⁰ См. об этом: *Солдатенко В.* Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. К., 2002. С. 62–65.
- ²¹ См.: *Солдатенко В.* Початок звитяжного шляху (Створення Комуністичної партії України). К., 2003. С. 42–92.
- ²² См.: Изв. ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 191–217; *Мельниченко В.* Християн Раковський: Неизвестные страницы жизни и деятельности. К., 1992. С. 42–77.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

<i>В.В. Фомин.</i> Ломоносов и Миллер: два подхода к решению варяжского вопроса	3
<i>С.Н. Богатырев</i> (Финляндия). Грозный царь или грозное время? Психологический образ Ивана Грозного в историографии	62
<i>А.Г. Гуськов.</i> Великое посольство Петра I в исторической науке	82
<i>Т.А. Володина.</i> Учебники отечественной истории как предмет историографии: середина XVIII – середина XIX в.	104
<i>А.Ю. Андреев.</i> А.Л. Шлецер и русско-немецкие университетские связи во второй половине XVIII – начале XIX в.	136
<i>М.Г. Вандалковская.</i> Либерально-консервативная мысль эмиграции: сущность и особенности (20–30-е годы XX в.)	158
<i>А.Н. Шаханов.</i> Борьба с "объективизмом" и "космополитизмом" в советской исторической науке: "Русская историография" Н.Л. Рубинштейна	186
<i>Л.А. Сидорова.</i> Советские историки послевоенного поколения: собирательный образ и индивидуализирующие черты	208
<i>Н.Ф. Бугай.</i> Проблемы реабилитации этносов Союза ССР в российской историографии	223
<i>Э. Дурачинский</i> (Польша). О польской историографии новейшей истории	264

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.А. АЛПАТОВА

<i>В.М. Алпатов.</i> Об отце	311
<i>В.В. Фомин.</i> Варяжский вопрос в творчестве М.А. Алпатова	320

Р. А. Киреева, М. А. Алпатов и "Очерки истории исторической науки в СССР" (М., 1955–1985. Т. I–V) 326

К 350-ЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ
С РОССИЕЙ

Н. М. Рогожин, Г. А. Санин. Россия и Украина в XVI–XVIII вв. 333

В. Ф. Солдатенко. Историческое наследие Переяслава и поиск путей разрешения украинско-российских противоречий в XX в. 345

Научное издание

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
2004

Историографический вестник

Утверждено к печати
Ученым советом
Института российской истории
Российской академии наук

Зав. редакцией *Н.Л. Петрова*

Редактор *Л.М. Кузнецова*

Художественный редактор *В.Ю. Яковлев*

Технический редактор *Т.В. Жмелькова*

Корректор *Т.И. Шеповалова*

Подписано к печати 29.04.2005. Формат 60×90 1/16
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 23,0. Усл.кр.-отт. 23,0. Уч.-изд.л. 25,5
Тираж 450 экз. Тип. зак. 4073

Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП "Типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12